ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2009. № 4

(октябрь - декабрь)

Научный журнал.

Издается с 2009 года

Политическая концептология:

журнал метадисциплинарных исследований
Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, Доктор политических и доктор философских наук, профессор **В.П.Макаренко**
Кандидат философских наук, доцент **С.П.Поцелуев** (зам.главного редактора)
Кандидат политических наук **М.С.Константинов** (ответственный секретарь)

Редакционный совет:

Председатель редакционного совета
Доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор А.В.Лубский (Ростов-на-Дону)
Доктор политических наук, доцент А.И.Бардаков (Волгоград)
Доктор экономических наук, профессор В.В.Вольчик (Ростов-на-Дону)
Профессор ординарный, доктор габилитованы Анджей Захариаш (Жешов, Польша)
Доктор политических наук, профессор В.С.Малахов (Москва)
Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ О.Ю.Мамедов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор Н.С.Розов (Новосибирск)
Доктор философских наук, профессор В.В.Савчук (Санкт-Петербург)
Доктор исторических наук, профессор В.Н.Ткаченко (Киев, Украина)
Доктор исторических наук, профессор И.М.Узнародов (Ростов-на-Дону)
Доктор философских наук, профессор С.Г.Чукин (Санкт-Петербург)
Доктор философских наук, кандидат психологических наук В.И.Шкуратов (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г.Ростов-на-Дону
ул. Б.Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344038, г. Ростов-на-Дону
пр.Нагибина, 13, к.308
тел. (863) 230 3090
факс: (863) 230-30-71
e-mail: politconcept@mail.ru

Содержание

Слово редактора
МАКАРЕНКО В.П. Советская катастрофа: от азиатской чумы до основной личностной структуры.....5

Общие проблемы политической концептологии
ЛЕЙСИ Д. Принцип непреднамеренности: «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна и принцип политической непреднамеренности (пер. С.П. Поцелуева).....33
LACEY D.J. The Inadvertency Principle: Wittgenstein's *Tractatus* and Political Inadvertency (оригинал статьи).....45
БАРДАКОВ А.И. Эпистемология власти и культуры в концептологии.....55

Русская власть: описания и рефлексии
ЛЕДЯЕВ В.Г. Власть, авторитет и господство в России: основные характеристики и формы.....61
НИКОЛЬСКИЙ С.А. Российское самосознание в реалиях XXI столетия.....95
МАКАРЕНКО В.П. Политическая бюрократия и народная разведка.....111
ДЕРЛУГЬЯН Г.М. Суверенная бюрократия. Тезисы к изучению властвующих элит.....140

Экономический выбор и политические концепты
МАМЕДОВ О.Ю. Регенерация экономической системы в России: специфика и тенденции.....157
НИКОЛАЕВ И.В. Экономический кризис в зеркале публичного дискурса, или почему зеркало рисует нас.....171

Национальный и региональный контекст
ШНИРЕЛЬМАН В.А. Арийцы или тюрки? Борьба за предков в Центральной Азии.....192
ПЕТРОВ М.А. Война как традиция и традиции войны.....213

Научное сообщество
САВЧУК В.В. О ресурсе русской философии.....224
ШКУРАТОВ В.А. Похороны и торжества (к скриптополитике и скрипторелигии русской интеллигенции).....248

Аналитическое правоведение
КРАВЦОВ Н.А. Философия права Мишеля Вилле (Главы 1 и 2).....266

На соседних полях
От редакции.....339
ШТУБОВ В.Н. Армия. Венок сонетов.....340

Научная жизнь
СУББОТИН А.И. Современность: дилеммы и парадоксы.....348
РОЗОВ Н.С. Заметки о V Российском философском конгрессе.....355

Наши авторы.....359
Contents.....361
К сведению авторов.....363

Слово редактора

СОВЕТСКАЯ КАТАСТРОФА: ОТ АЗИАТСКОЙ ЧУМЫ ДО ОСНОВНОЙ ЛИЧНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Поводы и ссылки

Герой «Бухтин вологодских, завиральных» Василия Белова говорит: «Хорошо жить, когда ты Кузька. Едва станешь Кузьма Иванович – сразу кидает в задумчивость». Действительно, в возрасте Кузьки я читал все, вплоть до надписей на заборах и в вокзальном сортире. Детство мое проходило на вокзале – батька был железнодорожником. Среди прочего читал и сочинения Константина Симонова - пьесу «Русский вопрос» и стих «Митинг в Канаде» в сборнике «Друзья и враги». Хорошо помню - книжечки эти были небольшого, почти карманного формата.

В пьесе К.Симонов отождествлял СССР с Россией по обеим сторонам «железного занавеса». Согласно «логике» Симонова, люди злой воли видят в России угрозу для свободы и мира жителей Запада. А люди доброй воли считают Россию духовным центром мира и прогресса во всем мире. В стихе «Митинг в Канаде» пятикратный (Или шестикратный…? Подскажи, читатель!) лауреат Сталинской премии провозглашал лозунг «Россия! Сталин! Сталинград!». С первого класса нас гоняли на парады и на районные смотры самодеятельности. Среди прочего мы пели «Гимн демократической молодежи мира» А.Новикова и Л.Ошанина с призывом: «Вставайте, люди доброй воли!»

Уже давно я Кузьма Иванович. С юности знаю: пьеса, стихи и песнопения о «людях доброй воли» воплощали идеи доклада А.А.Жданова о международном положении в сентябре 1947 г., на 1 Совещании Информационного бюро коммунистических и рабочих партий. В речи сталинского холуя[1] был сформулирован тезис о противостоянии на

[1] Здесь позволю себе личное замечание. Со времени учебы на философском факультете я называл абсолютное большинство своих преподавателей, прошлых и настоящих коллег «холуями» в отношении власти. Теперь с удовольствием могу сослаться на коллег. На основе социологических исследований они доказали:

международной арене двух лагерей – «лагеря империалистического и антидемократического, с одной стороны, и лагеря антиимпериалистического и демократического, с другой»[2]. Под эти панфары загремели под расстрел, на виселицу, в тюрьмы немало порядочных людей в СССР и в Восточной Европе.

Все это вспомнилось потому, что и сегодня есть люди, группы и целые институты, отождествляющие СССР с Россией, Сталиным и демократией. Таков внешний повод данной статьи. Он прямо связан с задачей нашего журнала – выявление и критика идеологических гибридов, распространенных в массовом сознании, политической сфере и институтах духовного производства России. Теоретической предпосылкой реализации этой задачи является развиваемый мною концепт *дистанции* при описании социополитической динамики России и анализ *интеллектуально-политических мод*[3]. Никакой Америки я здесь не открываю. Сходные когнитивные установки можно обнаружить где угодно. Приведу пару-тройку примеров. По принципу противоположности они направлены на оценку творчества ждановых, симоновых, новиковых, ошаниных и им подобных особей.

Полвека назад В.Набоков показал, что именно СССР заложил основы примитивной, провинциальной, политизированной, консервативной, трафаретной литературы. Истинным героем всех советских романов было полицейское государство. Поэтому пошлость реализуется не только в литературе, но и в правительстве и рекламе. Советское правительство - это самая пошлая организация на свете, не допускающая индивидуального поиска и творческой смелости. «В современной России, - констатировал классик русской литературы, – стране моральных уродов, улыбающихся рабов и тупоголовых громил - перестали замечать пошлость, поскольку в Советской России развилась своя, особая разновидность пошляка, сочетающего деспотизм с поддельной культурой»[4].

Значит, литературу, правительство и рекламу можно рассматривать как сферы проявления пошлости. Применим ли этот принцип к анализу литератур, правительств и реклам постсоветской ойкумены?

холуйство в досоветской, советской и постсоветской России есть тип господствующей политической культуры, и порождается на вершине политической иерархии. См.: Гудков Л., Дубин Б., Левада Ю. Проблема «элиты» в сегодняшней России. М., 2007, с.202-203.

[2] См.: Системная теория международных отношений. Под ред. Богатурова А.Д. М., Московский рабочий, 2000, гл.2, http://www.diphis.ru/content/view/211

[3] См.: Макаренко В.П. Власть, оппозиция и выбор политолога // Проблемы преподавания политологии в вузах России. Ростов-н/Д, изд.РГУ, 1991; Он же. Власть и нейтралитет // Дон. 1992, № 10-12; Он же. Totalitaryzm czy modernizacja. Problem dystansu przy opisie spoleczno-politycznej dynamiki Rosji // Filozofia rosyjska wobec problemow modernizacyjnych. Krakow. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 1999; Он же. Проблема дистанции при описании социополитической динамики России // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009, № 1 (http://politconcept.sfedu.ru); Он же. Научно-обывательское знание – интеллектуально-политические моды?.. // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009, № 2 (http://politconcept.sfedu.ru)

[4] Набоков В. Лекции по русской литературе. М., Независимая газета, 1996, с.388

Для уточнения вопроса сошлюсь на констатации Исайи Берлина о русской культуре и «советской интеллигенции»[5]. Сталин создал, а его последователи применяли методы, которые привели к ряду последствий: полной деморализации художников и ученых («интеллигенции»), поскольку единственным шансом выжить была поддержка абсурдных политических принципов; истощению умственных способностей данного слоя людей в борьбе со смертельной опасностью («невозможно обдумывать собственные замыслы или скрываться в крепости своего внутреннего мира, оставаясь тайным еретиком»); минимизации контактов между научными учреждениями, лабораториями и институтами, блокировка появления влиятельных интеллектуальных центров; подавлении идей как таковых. Сталин – это коновал, которому «…удалось выхолостить русское общество, некогда одно из самых талантливых и продуктивных»[6]. В итоге система науки и образования в СССР оказались наводнены авантюристами, шарлатанами, профессиональными осведомителями.

Советская культурная политика тождественна интеллектуальной кастрации людей, занятых культурой. Эта политика привела к развитию в СССР двух форм эксплуатации: 1. Экономической, в которой эксплуататором выступало государство и его аппарат власти. Причем, в СССР экономическая эксплуатация осуществилась в «чистом виде», в лабораторных условиях, немыслимых на Западе. 2. Идеологической, которую осуществляли поддерживаемые властью советские интеллектуалы - лакеи правящей элиты; их продукция (идеология, литература и искусство) есть «опиум для народа». По этой причине советское общество нельзя считать цивилизованным в привычном смысле слова.

Свободно ли современное российское государство и общество, его властители и интеллектуалы от советской пошлости, экономической и идеологической эксплуатации?

Освобождение идет вяло. Л.Гудков показал, что до середины 1970-х гг. власть требовала от так называемых «общественных наук» идеологического обеспечения и подтверждения легитимности репрессивного режима, критики буржуазной идеологии, научного обоснования пропаганды и контрпропаганды, подготовки кадров для аппарата управления и контроля[7]. В 1970-е гг. в социологии сложилось «чекистское направление» – тайные опросы населения по заданиям КГБ и других директивных органов. Руководители соответствующих отделов в дальнейшем становились директорами социологических институтов (В.Н.Иванов, В.Н.Кузнецов, Г.В.Осипов).

---

[5] См.: Берлин И. Молчание в русской культуре. Советская интеллигенция // Берлин И. История свободы. Россия. М., НЛО, 2001, с.335-365, 499-509

[6] Берлин И. Указ.соч., с.358

[7] См.: Гудков Л. О положении социальных наук в России // НЛО. 2006, № 1/77, с.314-339

Стало быть, основная масса обществоведов (сотрудников Академии наук и преподавателей университетов) были заняты в сфере идеологической эксплуатации. Поэтому они восприняли крах СССР и последующие реформы со скрытым негативизмом и с пассивным сопротивлением. Идеологический плюрализм был декларирован сверху и не касался институциональной организации науки. Весь корпус преподавателей остался на своих местах, переквалифицировался в социологов, политологов, психологов, политтехнологов, экспертов по политическому пиару и рекламе. С тем же убогим уровнем знаний, кругом идей и сервильных установок.

По идее, развитием теории, осмыслением и применением западного опыта к российским реалиям должны заниматься академические или университетские ученые. Но этого не происходит из-за низкой квалификации персонала, отсутствия когнитивной культуры, критических дискуссий, незнания языков и литературы. Прежняя функциональная роль общественных наук пока не потеряла значение. Понятие академической автономии в большинстве голов обществоведов не возникло. Они по-прежнему готовы обслуживать власть. Верноподданническая и клиентельная установки практически полностью парализуют познавательные интенции в этих дисциплинах. За это же время увеличилось число докторов в сфере социально-политических наук на 26%. Философский и исторический факультеты в МГУ, а также Институт философии РАН превратились в прибежище захолустного антисциентизма, имперской геополитики, религиозного национализма.

Короче говоря, социальные науки до сих пор занимаются защитой распавшегося советского порядка и его идеологических постулатов. Образовательные учреждения являются не столько генератором инновационных разработок, а системой консервации старого знания и идеологических предрассудков, средством блокировки процессов модернизации.

Далее. В свежей дискуссии М.Липовецкого – А.Эткинда показано, что до сих пор нет музеев советской катастрофы, память о ней непроработана. Не было и не будет суда над палачами – личностями и институтами. Попытки возвести памятники жертвам советской власти сталкиваются с сопротивлением. Жуть советского опыта воспроизводится в современном российском романе. Но исторические объяснения политических процессов снимают ответственность с прошлых и современных политиков и управленцев.

В целях полемики с указанными тенденциями А.Эткинд разрабатывает теорию внутренней колонизации. Она относится к досоветской, советской и нынешней России. В русской истории модернизация осуществлялась властью и интеллигенцией. Та и другая относились к населению своей страны с той же отчужденностью и жестокостью, с какой европейские империи «цивилизовали» колонии. СССР реализовал внутреннюю колонизацию, а не модернизацию

страны. Нынешняя очередная попытка модернизации может стать новым витком внутренней колонизации со всеми вытекающими последствиями.

Борьба «либерального» и «силового»/националистического» сценария модернизации-колонизации шла с 1970-х годов. В годы перестройки она вылилась в острую журнальную войну. В 1990-е годы возобладала либеральная колонизация – «…с тем, чтобы, потерпев поражение, уступить место неоконсервативному и почти религиозному этатизму путинского периода»[8].

А.Эткинд определяет современных кремлевских политтехнологов как новых опричников: «Ведомый случайностями природы и истории, российский режим формирует двойную монополию – на натуральные ресурсы и силовую политику. Эта двойная монополия неумолимо подчиняет себе все разнообразие современной жизни. Все, что есть в стране; все, что нужно стране; все, что известно стране, - все зажато в тиски этой двойной монополии. Это не постиндустриальное развитие, но противоположность ему. Все, что было похоже в России на современность, разрушается и отступает. Россия живет не в мире пост-, а в мире де-: деиндустриализации, дедемократизации, демодернизации. То, что происходит в России, не вписывается в постмодерн; это антимодерн, агрессивное и (сегодня) сознательное сопротивление современности»[9].

Постсоветская ситуация – это реакция на советскую катастрофу. Своеобразие постсоветского момента – в его советском прошлом и в нефтяном проклятии: «У нас незаработанные нефтедоллары восстанавливают институты государства, которые так и не узнали других образцов, кроме советских, и делают неконкурентноспособными другие способы организации жизни, кроме государственной»[10]. Паразитируя на населении, силовики и государственники воюют с торговцами и либералами. Нефтяное проклятие водит Россию по кругу. Литература сосредоточивается на том, чтобы понять происхождение и механизм нового русского проклятия.

Итак, для ответа на поставленные вопросы можно использовать концепты русского проклятия, советской катастрофы и религиозного этатизма. Двинусь-ка и я этим путем…

Почему Россия до сих пор жива?

Опять начну с уточнения. Если Россия всегда была проклятой страной и испытала советскую катастрофу, то почему она до сих пор жива? Ответ я обнаружил при чтении текстов модного нынче хвилософа И.А.Ильина. Он пишет: «Зимой 1918 г. мой друг Николай Вячеславович Якушкин привел ко

[8] М.Липовецкий – А.Эткинд. Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман // НЛО. 2008, № 6/94, с.196

[9] Там же, с.190-191

[10] М.Липовецкий – А.Эткинд. Возвращение тритона. Советская катастрофа и постсоветский роман // НЛО. 2008, № 6/94, с.198

мне московского мирового судью Константина Ивановича Лучинского… Он сказал мне, что состоял и состоит при бактериологической лаборатории, в которой работал добровольцем во время войны. Он и его друзья заявляют мне, что в их распоряжении имеются две банки с бактериями азиатской чумы, что они думали о том, не следует ли использовать эту возможность для борьбы с большевизмом, и, не решив вопроса, постановили обратиться ко мне в строго доверительном порядке и предоставить эту возможность на мое усмотрение и в мое распоряжение: как только я дам распоряжение, они, в самсоновском порядке, пустят чуму в народ, чтобы погубить большевиков и погибнуть самим. Через два дня я дал ему устный ответ: «Большевизм может быть и должен быть преодолен только духовно, религиозно и государственно, но не массовым вымиранием народа от эпидемии». Ясно было, что в хаосе того времени удержать чуму было бы совершенно невозможно: она расползлась бы по *всей* России и унесла бы много миллионов жертв. Но жертв физических, бессмысленных, не очистительных: это был бы хаос гибели, но не гибели большевизма. Это губило бы этническую субстанцию России, не освободив ее духа от дьявольского наваждения. Это открыло бы доступ в Россию той державе (Германия), которая сумела бы победить эпидемию: а обезлюдение России входило в ее программу.

Я наложил на это предприятие запрет и взял с них честное слово в повиновении»[11].

Значит Россия жива до сих пор потому, что идеолог РОВС сразу после революции спас ее этническую субстанцию, не взирая на дьявольское наваждение большевизма… Потому, видимо, не зря бывший президент В.В.Путин распорядился о перезахоронении его праха и до сих пор ссылается на И.А.Ильина.

Но как быть с «дьявольским наваждением»? Тоже есть предпосылки для ответа. Современный русский философ сообщает: «Власть начала искать идеологические альтернативы марксизму рано. Уже в 1973 году мы знали, что военные политические стратеги планируют скинуть марксизм и взять на идеологическое обеспечение армии православие»[12].

Неужели советский генералитет первым унюхал дьявольщину большевизма?.. Ведь марксизм официально сброшен, в стране реанимирована религия, в армии насаждается православие. Вот информация *солдата* второй российско-чеченской войны: «Когда начальники в «войнушку» наигрались, за нас поп взялся: освящал и раздавал маленькие иконки, вроде медальонов, но я не стал подходить, так как надо было крест и руку попу целовать, а я не хотел». В честь военной присяги перед солдатами выступала группа «Эдельвейс», которая все песни пела про Бога в современной аранжировке… Если раньше в армии коммунизмом долбили, то теперь – Богом. Устраивают всякие лекции,

[11] И.А.Ильин: pro et contra. СПб, изд.Русского Христианского гуманитарного института, 2004, с.126-127
[12] Бибихин В.В. Другое начало. М., 2003. С.181.

фильмы крутят соответствующие, но что интересно, упирают на православие, а куда же податься, скажем, католику или иудею? Похоже, что даже богов в строй поставить норовят по ранжиру»[13].

Или же пальму первенства в осознании дьвольщины отдать писателю? В.Войнович предугадал знаковую фигуру отца Звездония – генерал-майора религиозной службы в рясе и с лампасами, и национальную идею нынешних «государственников»: «Составные нашего пятиединства: народность, партийность, религиозность, бдительность и госбезопасность»[14]. Это было написано до того, как коммунисты зачастили в церковь. Однако Войнович конструировал не наивероятнейший (как Д.Оруэлл и А.Зиновьев), а наиабсурднейший (как тогда казалось) вариант будущего. Между тем, абсурд успешно воплощается в жизнь. Опять приведу несколько примеров, обусловленных моим неизлечимым пороком – чтением всего, что попадется под руку.

Журналистка заметила появление «местечковых русских» («Конгресс русских общин», А.Проханов, В.Шандыбин, А.Дугин и прочие так называемые «патриоты»). Это - «…вполне сформировавшаяся общественная группа, со своими опознавательными знаками (славянская вязь, камуфляжная форма, высокие шнурованные ботинки, береты), своей песенной культурой (песни про Афган, про Кандагар, про Чечню, про однополчан, про то, как прорывались, но не прорвались), со своей географией – спальные районы Москвы, Подмосковье, близкие к Москве области (Владимирская, Тверская), южные области (Ростовская), со своим бизнесом, иногда даже не мелким, а средним»[15].

«Местечковые русские» используют славянскую вязь, обращение к дохристианским богам - Сварогу, Даждьбогу, Перуну. Воинственная часть местечковых русских ненавидит православие как «жидовскую религию». А близкая к отставным спецслужбистам часть почитает РПЦ не как религиозный институт, а как структуру, которая имеет преференции от власти в сфере бизнеса и лицензии на торговлю сигаретами и водкой. Значит, наметился союз современных язычников с целовальниками.

Сформировался также опыт применения православных попов в предвыборной агитации (наряду с баннерами, старушками, однодневными газетами). Вот глава избирательного штаба рассказывает: «Жадные и хитрые святые отцы стали постоянно подставлять нас по срокам. Они в ужасе бубнили о какой-то свирепой комиссии Патриархии, которая может отнять у них намоленный и выстраданный приход и создать большие проблемы нам. Вообще лично у меня сложилось мнение, что тот бизнес, который возник вокруг церквей, уже давно живет своей келейной жизнью и связываться этим воротилам в рясах с любым кандидатом не хочется.

---

[13] Анпилогов И. Уроки армии и войны, или Хроника чеченских будней // Континент. 2002, № 114, с.204-270, с.204, 207

[14] Войнович В. Москва-2042. М., ЭКСМО, 2004, с.113, 137

[15] Токарева Е. Записки рядового информационной войны. М., «Пресском», «Яуза», 2005, с.240

Один батюшка, бывший комсомольский работник (от него всегда благовонило коньяком) всю дорогу был в затруднительном материальном положении. Деньги, полученные от нашего кандидата на ремонт храма, у него сразу же забрала жена и закупила за мелкий прайс партию алюминиевых крестиков. Поп сразу же смекнул, что надо реализовать свое высокое предназначение, и пошел в ближайшую воинскую часть – договорился с командиром части, что надобно произвести массовое крещение новобранцев-нехристей, вот тут и партия крестиков… Командир части приказал оплатить обряд крещения полностью, с крестиками, елеем, святой водой и молитвенниками. Плюс сюда же пошла закупка чудотворной иконы. Командир части получил мелкий откат, плюс они с батюшкой два дня квасили коньяк в комнате офицерского отдыха. За эти хлопоты поп дополнительно стесал с нашего кандидата денег за то, что ведет агитацию среди военнослужащих.

Мне, кстати, мой отец перед смертью сказал: «Если ты, сынок, совсем уж ничего не достигнешь – иди в попы! Там не пропадешь!»[16].

Стало быть, концепт религиозного этатизма не случайная обмолвка в дискуссии. Он позволяет систематизировать не только попутные суждения писателей, солдат и журналистов, но и обобщать важный *исторический* материал. В.В.Поликарпов показал, что в 1974 г. КГБ СССР с сенсационным антуражем напечатал фрагменты показаний двух масонов (Н.В.Некрасова и Л.А.Велихова). «Введение их в оборот составляло звено идеологической операции, нацеленной на укрепление мнимо-оппозиционной национал-коммунистической альтернативы диссидентству, пропагандировавшему демократические и общечеловеческие ценности»[17]. Непосредственным исполнителем акции был Н.Н.Яковлев. Он получил материалы из рук председателя КГБ Ю.В.Андропова. Тот при разъяснении смысла поручения оперировал следующими аргументами: в 1970-е годы в СССР нарастало противостояние между гражданским обществом и властью; диссиденты подрывают политическую стабильность страны; внутренние проблемы СССР дают повод для вмешательства Запада; диссидентов мало судить – слову надо противопоставить слово; призывы к демократии неизбежно ведут к развалу традиционного российского государства. По мнению Андропова, официальная идеология изжила себя; требовались «книги должного направления», помогающие в борьбе с нынешними нигилистами, демократами и русофобами. Ф.Д.Бобков, ведавший идеологическими спецоперациями КГБ, преподал будущему автору основные посылки будущей книги: не навязывать читателю своей точки зрения; писать так, чтобы книга приобрела популярность среди массового читателя; делился с автором своими сведениями о масонах накануне революции 1917 г. и советовал «попробовать силы на этом поприще».

[16] Там же, с.302-303

[17] Поликарпов В.В. От Цусимы к февралю. Царизм и военная промышленность в начале XX века. М., «Индрик», 2008, с.513

Так появилась книга Яковлева «1 августа 1914». Она не содержала никаких новых толкований истории, а воспроизводила те трактовки роли масонов в революции 1917 г., которые распространялись в черносотенной, затем эмигрантской литературе. Но в угоду официальной идеологии Яковлев добавил: масонским проискам положили конец большевики - истинные русские патриоты, перехватившие инициативу и власть у масонского Временного правительства. «В целом проводимой операцией, - пишет В.В.Поликарпов, - подавался сигнал к легализации ультранационалистической пропаганды: привычные официальные интернационалистские оценки революционных событий 1917 г. теряли монопольный статус и даже подменялись сугубо шовинистическими с камуфляжным коммунистическим налетом»[18].

Теперь промежуточное резюме. Элементарное чтение позволяет зафиксировать важный факт: *хронологическое совпадение (начало 1970-х гг.) решений военных стратегов о замене марксизма православием с введением в публичный оборот документов из архива КГБ под предлогом устарелости марксизма*[19]. Отсюда уже вытекает тенденция – определенная идеологическая политика нынешнего правительства России. Факт и тенденция порождают множество вопросов. Здесь я рассмотрю один: каково соотношение между большевизмом и историей и культурой России?

Две концепции

В социально-исторических науках сложились два основных ответа на этот вопрос.

Большевизм - типично русский феномен, связанный с отечественной традицией понимания социальных конфликтов и технологии власти. Большевизм закрепил преемственность российской истории и культуры. Ленин с дружиной «профессиональных революционеров» и наследники Ленина с кликами «аппаратчиков» – это продолжатели дела Ивана Калиты, Алексея 1, Петра 1, Екатерины 11, Николая 1. Они обновили политическую теологию (модель суверена) и политическую технологию царизма (правила реализации

[18] Там же, с. 514

[19] Я здесь не буду специально рассматривать проблему «устарелости марксизма», поскольку рассматривал ее в предыдущих публикациях. См.: Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1992. Здесь я хотел бы согласиться с В.В.Налимовым, который проводит *строгое различие между марксизмом Маркса и русским марксизмом*. Первый не устарел до сих пор: «Была какая-то мрачная прелесть в марксизме, когда он выступал в своей дикой непреклонности и целостности. А что теперь в этой одряблости?». См.: Налимов В.В. Искушение святой Руси. Томск-Москва, «Водолей», 2002, с.96. Дряблость характерна как раз для русско-советского марксизма. Это относится к его семантике, логике, аксиоматике, эпистемологии, отношению к науке, онтологии, трактовке детерминации исторических явлений, учения о цели, представления о свободе, трактовке отчуждения, атеизма, проблем трансцендентности, неизменности во времени, персонализации истины и притягательной силы. Однако все эти признаки парадигмы русско-советского марксизма являются следствием воздействия на него православия. См.: Налимов В.В. Указ.соч., с. 95-135. Значит, проблема смещается к реконструкции мрачной прелести, непреклонности и целостности марксизма с учетом маразма, обусловленного превращением марксизма в официальную идеологию и связанными с ней идеологическими спецоперациями.

планов в соответствии с доктриной reason d'etat – государственного разума, которая приобрела ранг государственных интересов). Сторонники данной концепции для понимания большевизма предлагают учитывать следующие феномены истории и культуры России: самодержавие как способ осуществления власти; нигилизм как способ преобразования общества в соответствии с принципом равенства; принцип единственно верной истины, отвергающей любые тезисы оппозиции.

Приверженцы этой концепции выводят большевизм из истории России. Показательным примером могут быть труды советологов (россиеведов) типа Р.Пайпса, З.Бжезинского и их многочисленных эпигонов в стране и за рубежом. Все они считают большевизм частным случаем российской политики и управления государством. Но задолго до советологов марксисты Р.Люксембург и К.Каутский говорили о русско-татарском происхождении большевизма и подчеркнули экзогенность большевистской патологии. Ханна Арендт отмечает, что события доказали правоту Р.Люксембург: ужасно быстрое моральное вырождение коммунистических партий во всем мире – прямое следствие русской революции[20]. Отсюда вытекает: большевизм как русский продукт чужд и враждебен европейской культуре, политической мысли и действию, является азиатской агрессией в отношении Европы.

Большевизм - порождение и внутренняя патология европейской традиции. Именно в Европе сложились проекты: нового прекрасного мира; устройства социальной жизни по общему плану; очищения мира от «сорняков» ради устройства «сада земных радостей». При создании данных проектов важную роль сыграли: платоновская модель идеального государства; якобинская модель единой и неделимой республики, в которой свобода народа и гражданские добродетели достигаются постоянной прополкой общества от «врагов народа»; гегелевская доктрина исторической логики, которая в диалектическом процессе ведет к разумному обществу как воплощению действительной свободы; марксова доктрина всемирной истории как классовой борьбы, которая в диалектическом процессе ведет людей к коммунизму, а с помощью пролетарской революции и диктатуры пролетариата устраняет прибавочную стоимость путем экспроприации капиталистов и передачи производителям средств производства. Именно европейская традиция (а не ханы и цари) обусловила доктрину ленинизма и практику большевизма.

Сторонники этой концепции вместо анализа генезиса большевизма в российском обществе, государстве и культуре предлагают изучать доктрину и технологию радикального изменения России как вотчины большевиков. Большевизм – это новый принцип создания общества, государства, экономики, права, науки, образования, труда и искусства. Средством реализации данного

[20] См.: Ханна Арендт. Люди в темные времена. М., Московская школа политических исследований, 2003, с.67

принципа является «партия нового типа», а продуктом воспитания и социализации - человек «нового типа».

Например, И.Бунин и А.Солженицын понимают большевизм как инновацию западного происхождения, которая прерывает общую преемственность российской культуры и связана лишь с некоторыми стандартами мысли и действия в наследстве старой России. А.Валицкий подчеркивает западное происхождение большевизма как эндогенной патологии социальной жизни и осуществления власти. М.Геллер, А.Некрич, А.Авторханов считают большевизм альтернативным социальным порядком в отношении как русского, так и европейского прошлого.

Какую же концепцию избрать для оценки всей цепи ранее указанных фактов – от спасения Ильиным русского народа до действий руководителей силовых структур по отмене марксизма и замене его православием?

Надо сказать, что на протяжении последних двадцати лет издаются целые книжные серии о соотношении между большевизмом и историей и культурой России. При этом сторонники азиатской концепции обычно подчеркивают автохтонность большевизма. Его истоки - Иван Грозный, опричнина, Николай 1, Собственная Его Императорского Величества Канцелярия, Корпус Жандармов, С.Нечаев, П.Ткачев. К этому добавляют влияние татаро-монголов - от битвы на Калке (1223) до взятия Казани Москвой (1552). Основание большевизма - монгольский деспотизм (татарское воспитание Ивана Калиты и его наследников), византийское самодержавие (абсолютная и неделимая власть царя), народный бунт («пугачевщина» – пролог «прямого действия» нигилистов-террористов, которые ради освобождения народа предлагали разрушить существующий социальный порядок с иерархией статусов и элитарной культурой), доктрина «Третьего Рима» (как исходный пункт доктрины 3 Интернационала о руководящей роли ВКП(б) в международном коммунистическом движении).

Сторонники европейской концепции выводят большевизм из текстов Платона, Гегеля, Фейербаха, Маркса и действий якобинцев. Доктрина Маркса включает следующие основные идеи: прибавочной стоимости; пролетариата как «класса для себя»; диктатуры пролетариата; коммунизма как всемирного социального строя, функционирующего по принципу «От каждого по способностям, каждому по потребностям»; борьбы классов как движущей силы прогрессивных изменений всемирной истории. В этом контексте Ленин квалифицируется как ортодоксальный последователь доктрины Маркса, а Сталин и Грамши - как лучшие ученики Ленина. Отсюда вытекает: большевизм в российской социал-демократии появился как альтернативное движение в отношении доктрины и практики 2 Интернационала. Большевизм отрицает капитализм и социал-демократию. Большевизм – это движение строителей утопии и воинов-завоевателей всего мира ради ее воплощения.

Следует подчеркнуть, что полемика между сторонниками конкурирующих концепций обусловлена разным способом *описания преемственности и изменений* между большевизмом и Россией. Этот способ прямо или косвенно связан с различными теориями исторического процесса. Отбор значимых факторов при этом более или менее произволен. Спор на эту тему длится давно и порождает частные вопросы:

1. Каков статус и функции византийско-туранского и европейского источников при формировании большевизма?

2. Какова была повседневная жизнь при большевиках? Маркиз де Кюстин более полутора столетий назад написал книгу *Россия в 1839 г.*, но популярной в России она стала в 1990-е гг. Если считать большевизм только версией российского самодержавия, то Россия 1839 года становится основанием для понимания царской и советской России[21]. Если же большевизм - новый феномен, не имеющий ничего общего с царизмом, то любые описания жизни при царизме не являются основанием для понимания большевизма. В лучшем случае они описывают некоторые образцы, которые были заимствованы социальной инженерией большевиков.

3. Каково происхождение этой инженерии? А.Солженицын, М.Геллер-А.Некрич, В.Буковский фиксируют идиоматичность большевизма как изобретения «нового типа» государства, общества и человека. Конечно, большевики заимствовали образцы социальной инженерии в прошлом и настоящем. Но отсюда не вытекает, что они были просто коллегами всех прошлых и современных участников борьбы за взятие, укрепление и расширение власти. Нетрудно провести аналогию между показательными процессами тамплиеров во времена Филиппа 1У во Франции и показательными процессами в Москве 1935-38 гг., Тиране, Будапеште, Софии в 1949 г., Праге в 1952 г. Но это не доказывает подобие между монархией Капетингов и большевизмом.

Генеалогия и состав социальной инженерии

Все эти вопросы связаны с общей проблемой генеалогии большевизма. Но *практика его воплощения важнее многоаспектного генезиса* большевизма. Этот вывод важен для оценки экономической, политической и идеологической бюрократии СССР[22]. Политико-идеологическое эпигонство у других – только часть большевистской социальной инженерии, канон которой изобретен и проверен членами «партии нового типа». Социальная инженерия большевизма описана в «классическом» тексте: «Овладеть марксистско-ленинской теорией –

[21] Свежим примером реализации такого подхода является опус русско-французского советолога: Жорж Соколофф. Бедная держава. История России с 1815 года до наших дней. Перевод с французского. Второе издание. М., Издательский дом ГУ ВЩЭ, 2008

[22] См.: Макаренко В.П. Идеологическая бюрократия. Политическая бюрократия // Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993

значит усвоить существо этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении практических вопросов революционного движения в различных условиях классовой борьбы пролетариата»[23]. Шаблон социальной инженерии вытекает из связи между действиями на своей стройплощадке (в СССР) с действиями на войне за захват новых стройплощадок (других стран и континентов). Генеральная линия властвующей клики определяла инструментарий разных времен и пространств.

Дело, за которое взялись большевики, было принципиально *новым*. На X1X съезде ВКП(б)) Сталин говорил: «Понятно, что наша партия не может оставаться в долгу по отношению к братским партиям, и она сама должна со своей стороны уделять им поддержку, а также поддерживать их народы в их борьбе за освобождение, в их борьбе за поддержание мира. Как известно, она именно так и поступает. После взятия власти нашей партией в 1917 году и после того, как партия предприняла реальные шаги для ликвидации капиталистического и помещичьего угнетения, представители братских партий, преисполненные восхищением перед отвагой и успехами нашей партии, назвали ее «штурмовой бригадой» мирового революционного и рабочего движения. Этим они выражали надежду, что успехи «штурмовой бригады» облегчат положение народов, стонущих под ярмом капитализма. Полагаю, что наша партия не обманула эти надежды… Конечно, было трудно выполнять эту почетную роль до тех пор, пока существовала только одна «штурмовая бригада» и пока она вынуждена была выполнять эту авангардную роль почти в одиночестве. Но это было давно. В настоящее время дело обстоит совсем иначе. В настоящее время, когда на пространстве от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии возникли новые «штурмовые бригады» в форме народно-демократических стран – в настоящее время нашей партии уже легче бороться, и работа также пошла быстрее»[24].

Большевики обладали доктриной и социальной инженерией. Поэтому считались *абсолютным авторитетом* в международном коммунистическом движении. Уже Ленин поставил перед Коминтерном задачу большевизации других компартий на основе учета социокультурных особенностей среды при выработке тактики. Но это не меняло генеральной линии: Москва – это режиссерский центр, в котором учатся все актеры всех остальных партий на одной сцене борьбы за мировое господство. Коминтерн был партией, а отдельные партии - его секциями. Большевики контролировали его центральные органы и были режиссерами данных партий. Поэтому канон социальной инженерии штаба первого и следующих «штурмовых бригад» списан не у Малюты, Шувалова, Панина, Горчакова, Аракчеева, Бенкендорфа,

[23] История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. Изд.ЦК ВКП(б) «Правда», 1939, с.339-340

[24] Stalin J. Przemowienie na X1X Zjezdzie Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego // Nowe Drogi. Pazdziernik 1952, s.4 (цитирую речь «великого вождя и учителя народов» на польском языке, поскольку в библиотеке Южного федерального университета не нашел материалов X1X съезда ВКП(б).

Витте, Столыпина и прочих «гусударственных мужей» России. Канон – это продукт Коминтерновского единства доктрины и социальной инженерии на всемирном уровне. Даже титоистский и маоистский ревизионизм не изменили суть дела: большевизм как классическая версия «философии практики» оставался парадигмой объяснения и управления миром.

Социальная инженерия – это единство теории и практики, мысли и действия. Хорошо известно, что Ленин списал аграрную программу у эсеров. Вся социальная инженерия большевиков тоже продукт эпигонства. При этом надо учитывать следующие традиции:

1. Царское самодержавие как особый вид политического режима.

2. Нигилизм, терроризм, атеизм в истории революционной борьбы с царизмом.

3. Утопизм при проектировании альтернативного общества и государства на основе авторитаризма в управлении, коллективизма в повседневной жизни, унификации при воспитании и образовании жителей СССР и других стран реального социализма.

4. Якобинство: связь террора сверху с террором снизу; связь доктринальной экспроприации с тактической (репрессии против врагов «нового порядка»); внедрение новой сакральности взамен уничтожения существующей религии; соединение преследования за «умыслы» с преследованием за поведение, не соответствующее кодексу добродетелей; соединение требования абсолютного послушания граждан власти с требованием абсолютной вражды к лицам и группам, которых она провозглашала «врагами народа».

5. Материализм как способ отражения мира и диалектика в виде софистики при ведении дискуссий (включая фигуры сикофанта и диффаматора).

6. Марксизм как философия практики при строительстве всемирного коммунизма путем революции и диктатуры пролетариата под руководством партии, формирующей нужный «класс для себя».

Большевики возродили и усилили все указанные традиции. Но при использовании этих образцов самой важной оказалась *ловкость* большевиков. Под ловкостью я имею в виду такую связь ума и изобретательности, которая воплотилась в *чекистской системе контроля и коррекции мыслей, слов и дел*. Эта систему изобрели не Малюта, Шувалов и Бенкендорф, а Ленин, Троцкий, Сталин, Дзержинский, Берия и Андропов[25].

Советская власть подчиняла население с помощью системы чекизма[26], который выступал в виде «народной разведки». Она была фактом повседневной жизни, воплощая карьерные и верноподданические стремления тех, кто стремился «выбиться в люди» - попасть в привилегированные сословия. Распространение этой системы происходило по мере роста «штурмовых

[25] Некоторые аспекты данной системы обсуждаются в моей статье «Политическая бюрократия и народная разведка», опубликованной в данной номере журнала.

[26] См.: Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. Русская система: генезис, структура, функционирование (тезисы и рабочие гипотезы) // Русский исторический журнал. Том 1, лето 1998, № 3, с.32, 70

бригад»[27]. Большевики применяли ее ко всем генералам и солдатам на фронтах борьбы с капиталом и на стройплощадках планируемого развития. Понимание ставки в игре большевистской «внутренней партии» позволяет постичь смысл и масштабы их «большой игры».

Предметы раздумья

Стало быть, для ответа на вопрос о характере связей между большевизмом и российским самодержавием надо скорректировать существующие подходы. И отвергнуть те труды, которые недостаточно учитывают факты и целостные мистификации. Большинство данных работ написано по молчалинскому шаблону умеренности и аккуратности. Этот шаблон при описании большевизма (от агентов «Искры» до горбачевского Политбюро) выражался в хрущевских шаблонах об «ошибках и извращениях», «культе личности», «отступлении от ленинских норм»[28].

Часть прошлых и современных авторов считает, что главный грех большевизма - подобие с царизмом. Дело обстоит иначе: недостаток царизма состоял в том, что с определенной точки зрения он подобен большевизму.

Либералы полагают, что главный порок большевиков состоит в сотрудничестве с нацистами. Дело обстоит совсем наоборот: нацисты на пути к моральному и политическому самоубийству рискнули вступить в союз с большевиками[29].

---

[27] Например, в Венгрии в 1945 г. коммунисты скрывали свое истинное лицо. В секретной директиве, адресованной возвращающимся на родину партийным кадрам, говорилось, что «руководители партии не должны выставляться: всегда, когда это представляется возможным, целей партии следует достигать посредством других людей, зачастую посредством другой партии». При этом всей тайные осведомители были венграми, а их число росло (в 1951 г. – 34626, 1952 – 40842, 1953 – 45521. 1954 – 35900, 1955 – 37174, 1956 – 35793). Примечательно, что тайной полиции не удалось завербовать ни одного иностранца, работавшего в западных посольствах или дипмиссиях в Будапеште. В то время число жителей Венгрии было около 9 млн.человек, откуда нетрудно извлечь примерную цифру сексотов, необходимых для установления власти по советскому сценарию. Поэтому движение за реформирование системы происходило одновременно с революцией против нее. Выдвигалось требование Революционного совета университетской молодежи о роспуске тайной полиции. В массе мятежники не были ни хулиганами, ни представителями старорежимного высшего сословия. Утверждения Кремля о том, что венгерская революция против СССР была поднята уголовниками, несостоятельны. Повстанцы взбунтовались против неспособности власти воплотить идеал, а не против самого идеала. Восстали против собственных обманутых ожиданий социалистического будущего. См.: Гати Ч. Обманутые ожидания. Москва, Вашингтон, Будапешт и венгерское восстание 1956 года. М., Московская школа политических исследований, 2006, сс.55, 76, 193-199

[28] В книге двадцатилетней давности я показал, что сталинизм есть социальная и политическая система, а не прихоть отдельной личности. См.: Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону, изд.РГУ, 1989. В другой книге обосновал положение о том, что миф о культе личности всегда выгоден для всех отрядов политической и идеологической бюрократии. См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, изд. СКНЦ ВШ, 1998. Однако указанные стереотипы до сих пор воспроизводятся не только в современных учебниках, но и в монографиях, претендующих на «научность». Показательным примером может служить писанина Р.А.Медведева, роль которого в современной идеологической манипуляции требует особого анализа.

[29] Эта тема детально описана в книге: Нольте Э**.** Европейская гражданская война (1917-1945). Национал-социализм и большевизм. М., Логос, 2003

Я предлагаю рассматривать общую проблему укорененности большевизма в истории России через призму конкретных вопросов:

Каким было ликвидированное большевиками российское общество? В период от реформ Александра 11 до Николая 11 Россия в значительной мере была подобна Германии (после образования империи в 1871 г.), Японии (после реформ Мейдзи) и Австро-Венгрии (после реформы 1867 г.). Однако *с военной точки зрения это общество было крайне неэффективным*. Напомню, что на протяжении 70 лет (с 1854 г. по 1918 г.) Россия проиграла три войны – Крымскую, Японскую и первую мировую. Крымская война и особенно война с Японией были сигналом тревоги, на который власть не хотела и не сумела отреагировать адекватно. Поэтому историю России в Х1Х-ХХ вв. я предлагаю рассматривать как историю поражений – от Крымской до «холодной войны»[30].

Между тем в досоветской, советской и постсоветской историографии господствует иная точка зрения: о поражениях и их причинах предпочитают говорить сквозь зубы и не замечать их системного характера. На мой взгляд, такой подход в значительной степени объясняется особенностями властвующих клик России. В частности, конкретное изучение 545 биографий «гусударственных мужей» (в терминологии героев В.Шукшина) показывает, что ложь была ведущим мотивом их поведения, даже в сфере сообщения о себе элементарных сведений (дата и место рождения, материальное положение и пр.). Например, едва во второй трети Х1Х в. Сенат стал требовать у желающих причислиться к дворянскому роду метрических свидетельств, как сразу оказалось: многие метрические книги неожиданно сгорели при пожаре или были утрачены другим путем; государственные служащие ради получения материальных благ от верховной власти систематически преуменьшали собственное благосостояние; подавляющее большинство записывали себя в меценаты, хотя в истории русской науки и культуры остались считанные единицы. Этот мотив усиливался при изображении военной деятельности: «Как показывает изучение формулярных списков членов Государственного совета, состоявших на военной службе, приводимые в них сведения о боевой деятельности наименее достоверны… В целом, если судить по формулярным спискам, ни один член Государственного совета никогда не участвовал ни в одном проигранном сражении, превосходящий силами противник всегда и везде поражался и т.п.»[31] Не является ли этот психологический мотив основанием изображения истории России как истории побед?

Ложь и аберрация зрения русской власти относится и к борьбе с революционными движениями: царская политическая полиция считала эсеров большей угрозой по сравнению с большевиками. Столыпин пытался осуществить структурные реформы ради социальной инженерии. Однако у него были враги не только среди разномастной оппозиции, но и в кругах царской

[30] См.: Макаренко В.П. Кавказ, концептологический анализ // Социс. 2001, № 12

[31] Шилов Д.Н., Кузьмин Ю.А. Члены государственного совета Российской империи. 1801-1906: Биобиблиографический справочник. СПб, Дмитрий Буланин, 2006, с.7

клики. Значит, с полицейской точки зрения русское общество было еще более неэффективным. Отсюда вытекает уже более конкретный вопрос: можно ли считать сословия профессиональных военных и полицейских России предпосылкой военных поражений и революций?

Принято считать, что во второй половине Х1Х-начале ХХ вв. в России возникало гражданское общество по образцу Европы. Шла институционализация социальных конфликтов в рамках политического плюрализма и социального порядка «органической солидарности» (в смысле Э.Дюркгейма). Одновременно головка партии нового типа начала превращать Россию в стройплощадку и штурмовую бригаду для завоевания мира. Начав с издания декретов в Смольном, руководящая клика большевиков систематически уничтожала общество, которое люди Запада посещали без ощущения того, что оказались в ином мире (хотя и здесь возможны разночтения). Действительность реального ленинизма строилась и совершенствовалась внутренней партией большевиков. Со знанием дела в ней двигался Воланд, посетивший стройплощадку в период возврата от нэповского интермеццо к нормам «генеральной линии».

Как восстановить нормальный социальный и политический порядок в России? Ее политики состоят в основном из бывших функционеров КПСС, к которым в последнее десятилетие прибавились представители военно-репрессивных структур[32]. Отношение этих людей к главным проблемам сегодняшнего дня сходно с поведением номенклатуры. Особенно в сфере понимания и трактовки человеческих потребностей, прав рабочих и крестьян, процессов правоприменения, освободительных тенденций малых народностей, ответственности перед населением, критики со стороны журналистов, информации общества о собственных действиях и т.д. Фактически среди этой публики нет реальной оппозиции. Поэтому трансформация СССР в Россию плюралистической и рыночной демократии с гражданским обществом идет с большим трудом. Значит, успехи большевиков обнаруживаются именно тогда, когда нужен возврат России к норме.

Большевики разорвали преемственность цивилизации потому, что начали строить новый порядок и воспитывать нового человека. Поэтому российское общество пока не может создать политиков, которые хотят и умеют управлять возвратом к норме. Война с Чечней, братание политиков России с кликой Лукашенко (которая целенаправленно реставрирует советскую власть в

[32] В частности, В.В.Согрин показал, что процессы демократизации в России стали ослабевать с 1996 г. При Б.Н.Ельцине военные составляли во властных структурах 6,7%, при В.В.Путине – 26,6%, а в высшем руководстве – 58,3%. При Путине по количеству миллиардеров Россия вышла на третье место в мире после США и Германии (в 2003 г. их было 25); в 2004 г. в России было 84 тыс. долларовых миллионеров. Одновременно существует 15-кратный разрыв между 10% самых богатых и самых бедных россиян. При Путине государство освободило себя от обязательств по обеспечению жильем нуждающихся граждан, а по объему социальных обязательств опустилось на уровень стран Запада в период до второй мировой войны. Путинский авторитаризм состоит в заполнении государственных должностей военными, желании соединить вождизм и этатизм с либерализмом. См.: Согрин В.В. 1985-2005: три превращения современной России // Отечественная история. 2005, № 3, с.13-22

Беларуси) показала жизненность советской ментальности. Правда, некоторые современные политики стран Запада (например, Г.Шредер) говорят и пишут о российских политиках как людях, в значительной степени подобных им, хотя имеющих недостатки и борющихся с трудностями. Но это не отменяет факта: большевизм радикально изменил общество. Поэтому **реставрация нормального общества в России происходит скорее в воображении, чем на деле**.

Какова объяснительная ценность формулы «Марксизм – не доктрина, а метод»? Для ответа надо заново перечитать тексты Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме», его речи на X и X11 сьездах ВКП(б), и тексты Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», «Об основах ленинизма», «О недостатках в партийной работе и мерах по ликвидации троцкистских и иных двурушников». Во время хрущевской кампании по «восстановлению ленинских норм партийной жизни» квалификация массовых репрессий как «ошибок и извращений времен культа личности» доказывает скорее чувство юмора у автора программы за краткий срок «догнать и перегнать США по производству мяса, молока и яиц на душу населения», чем осознание им ранее указанных проблем. Оно свидетельствует и о том, что большевиков никогда всерьез *теория не интересовала*. Зато их всегда занимала политическая тактика и социальная инженерия ради захвата новых полей для устройства социальной жизни.

Не менее ошибочно приписывать большевикам догматизм. Догматиками были Л.Троцкий и Н.Бухарин. Сталин понимал теорию марксизма-ленинизма как чистый лист, на котором можно написать все, что в данный момент диктует логика политической борьбы, а не требования ортодоксии. Коба – виртуоз борьбы за установление, укрепление и расширение власти, поскольку определял, что является и не является теорией. Сталин расширил формулу К.Шмидта: диктатором в СССР был не только человек, который устанавливает чрезвычайное положение и время проведения войны, но и обязательное толкование доктрины[33]. Поэтому никакая догма не может помешать действиям по реализации плана. *Логика ситуации у Сталина всегда преобладала над теоретической принципиальностью*. Еще до октября 1917 г. Сталин говорил, что есть догматический и творческий марксизм, а он сам стоит на платформе второго.

Зато большевики (от Ленина до Сталина и его последователей) всерьез признавали теории И.П.Павлова об условных рефлексах и второй сигнальной системе. Поэтому работы Сталина «О недостатках партийной работы и средствах ликвидации троцкистских и иных двурушников» (1937), «Марксизм и вопросы языкознания» (1950) и «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) могут рассматриваться как введение в теории Павлова. Первая

[33] См.: Шмит Карл. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы. СПб, Наука, 2005

есть слово в дискуссии о применении теории второй сигнальной системы, вторая и третья – слово в дискуссии о практической пользе условных рефлексов[34]. Произвольная ревизия официальной доктрины ради использования ее в политической борьбе - такова большевистская традиция отношения между доктриной и методом. От Ленина до Горбачева большевики никогда не считали себя обязанными соблюдать собственную официальную доктрину и программу в целом и частностях, едва только она противоречила логике ситуации, в которой принимались решения для борьбы за взятие, укрепление и расширение власти.

Главная цель большевиков - власть над мировой стройплощадкой путем захватов в ходе войны между двумя лагерями. Большевики всегда вели, как минимум, три войны одновременно: против «лагеря империализма»; против всего мира за мировое господство; против населения страны. Во всех войнах доктрина была средством. Всю ловкость (как синтез хитрости, изворотливости, предприимчивости) большевики свели к совершенствованию стратегии и тактики борьбы как методе достижения цели. Поэтому доктрина (декларации) и метод (техника) противоречили друг другу. Пропаганда была адресована некоммунистам, а для коммунистов значили только действия.

Большевики рассуждали согласно теории Парето: серьезного отношения заслуживают только резидуи (остатки), поскольку они определяют направления поиска способов и средств достижения стратегических и тактических целей. Дериваты служат только для очаровывания чужих (прежде всего врагов), а также масс и союзников. Такой тип рассуждения воплощен в поведении Сталина. Большевистская клика руководствовалась политическим прагматизмом и этическим релятивизмом. Удивление перед советской политикой нередко вытекает из того, что многие ее критики понимают рациональность иначе, чем большевики: «Разговор о рационализации и эффективности без строгого определения цели или целей, которые должны быть достигнуты, не имеет смысла. Ибо то, что рационально и эффективно с точки зрения одной цели, может быть крайне неэффективно и нерационально с точки зрения другой цели, и даже мешать ее реализации»[35].

Большевистская рациональность и капиталистическая рациональность (политического плюрализма) – это совершенно разные рациональности. Первая не направлена на прибыль на основе калькуляции игры с ненулевой суммой. Большевики хотели подчинить весь мир и полностью господствовать над всеми в игре с нулевой суммой. Такую игру они вели против всех, кто сопротивлялся, не соглашался, не поддерживал, не сотрудничал, мешал моральными упреками, критикой официальных фактов и реальных действий. Большевики вели борьбу со всеми, кто не желал участвовать в реализации плана борьбы за мировое господство.

[34] Насколько мне известно, под таким углом зрения теория И.П.Павлова еще не рассматривалась.
[35] Andreski S. Maxa Webera olsnienia I pomylki. Warszawa, 1992, s. 85

Политическая практика большевистской клики отличалась рядом особенностей: канон доктрины подчинялся стратегии и тактике управления своей стройплощадкой и войны за новые; тексты основателей коммунистического движения служили для убеждения масс и обоснования текущих решений, но ничуть не обязывали клику; любые программы, конституции, постановления, резолюции и уставы любых органов, превращались в клочок бумаги, едва менялась ситуация в борьбе за установление, укрепление и расширение власти; главный критерий большевистской политики и социальной инженерии (способа организованного присутствия в мире) - воспитание актуальных и будущих подвластных; единственная действительная цель большевиков - глобальный и тотальный контроль над людьми и вещами.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ленинскую характеристику профессиональных революционеров («нового эксплуататорского класса», по определению М.Джиласа) в его работе «Что делать?», и трактовку философии в «Материализме и эмпириокритицизме» – средстве интеллектуальной унификации партийных рядов и всего населения.

Как понимать историю России в аспекте создания новой традиции? Большевики понимали собственную, российскую и всеобщую историю в соответствии с формулой: «Тот, кто контролирует настоящее - контролирует прошлое». История осовременивалась путем поправок и уточнений производно от логики ситуации и в соответствии с требованиями тактики здесь и сейчас. История была важным средством убеждения в верности актуальной интерпретации генеральной линии для достижения успеха в меняющихся ситуациях, определяющих тактику. Письмо Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» "О некоторых вопросах истории большевизма» и «Замечания о конспекте учебника истории СССР» за подписью Сталина, Кирова и Жданова - важные свидетельства инструментализма и презентизма в трактовке истории как нарратива об истории.

Таким же образом обстояло дело с традицией. В общем виде традиция – это единство трех тенденций: передачи накопленного опыта и знаний от одного поколения к другому; давления прошлого на настоящее; оценка прошлого ныне живущим поколением людей[36]. Отношение большевистской клики к традиции может быть определено как *универсальный синдром изменения* следующих феноменов: коллективной памяти и забытья путем постоянного заучивания и переучивания; толкования элементов традиции; лиц и событий в составе традиции; способов приспособления к актуальным выборам «союзников» и «врагов»; различий между реальной (трансляция образцов мысли и действия, полезных в борьбы за установление, укрепление и расширение власти) и мнимой традицией (декларации о преемственности идеалов эгалитаризма, интернационализма и критицизма).

[36] См.: Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990

Напомню, что ради доктрины идеологические дирижеры задвигали в тень С.Разина, Е.Пугачева, декабристов, А.Герцена, В.Засулич, Г.Плеханова, заменяя их Ю.Долгоруким, А.Невским, Д.Донским, И.Грозным, Петром 1, А.Суворовым и М.Кутузовым. Социальная инженерия требовала объединения «винтиков» для подготовки к войне с мировым капитализмом.

Каковы пункты сходства и различия СССР с прежними обществами и государствами всех времен и пространств, включая Россию? Сторонники разных концепций согласны в том, что большевики использовали наследство социальной инженерии царизма. В ней давно сложилась *самодержавная политическая культура как связь периодических чисток элиты с держанием масс на коротком поводке и тактикой осадного положения.* Большевики были апологетами и инженерами этой культуры. После реформ Александра 11 Россия постепенно отходила от культуры абсолютного господства. Большевикам было близко то, что связывало их стиль самодержавия с жестокими и грозными Рюриковичами и их наследниками при Романовых.

А.Солженицын в «Архипелаге Гулаге» обратил внимание на социальную близость «урок» и большевиков. С точки зрения социальной инженерии им были близки Малюта, Шувалов, Аракчеев, Дубельт и Муравьев. На этой основе можно выделить ряд *заимствований* в большевистском управлении стройплощадкой, очищении советского сада от сорняков «измены», ведении войны с мировым капиталом и его социал-демократическими лакеями:

1. Универсальная самодержавная техника борьбы за взятие, укрепление и расширение власти, независимо от ее модификаций, времени и методов.

2. Современная техника политической игры (использование СМИ и других средств коммуникации между властвующими кликами, методов сбора информации обо всем на всякий случай посредством слежки, розыска, расследования).

3. Российская самодержавная техника борьбы с оппозицией (для предотвращения дворцовых заговоров) и восстаниями масс (гражданские мятежи и народные революции), а также техника нигилистического и террористического течения в русском революционном движении.

4. Специфическая техника тиранических режимов (включая революционные), которые прежде всего ликвидируют право на сопротивление (jus resictae) путем превентивных репрессий и постоянного наблюдения за лицами с оппозиционным образом мысли и поведения.

Ядром этой социальной инженерии была изобретательность большевистской клики. Ее политическая культура выражалась в особой социотехнике, в состав которой входят: создание институтов, целевой и реальной функцией которых является выработка и реализация программ воздействия на индивиды и группы; установки, навыки, ценности, цели, конвенции, процедуры, технологии, методы, директивы и операции проектирования и реализации программ; информация, знаки, символы и коды,

используемые при обучении социальных инженеров и адресатов их деятельности; сравнение с определенным критерием уровня интеллекта, технологической исправности и технического оборудования в сфере проектирования и реализации программ; сравнение с определенным критерием характера отбора ценностей и решений о целях и задачах проектировщиков и реализаторов программ.

Социальная инженерия большевиков вытекает из революционного проекта - стратегического плана создания штурмовой бригады для захвата новых территорий-стройплощадок и создания новых штурмовых бригад в войне за полное преобразование мира. Поэтому модель «машины и винтиков» М.Геллера удачно схватывает специфику этой инженерии. Замена (на мировом уровне) существующих обществ утопией реализованного ленинизма – такова цель, которая определяла и освящала способы и средства. Партия нового типа стремилась к этой цели независимо от расходов людей и вещей, состояния естественной среды и уровня жизни реализаторов плана. Следует подчеркнуть, что *сами большевики часто подчеркивали сходство собственной аксиологии и технологии с другими*.

Например, при назначении Дзержинского на пост председателя ВЧК Ленин обосновывал свое решение нуждой в настоящих революционерах-якобинцах. Сталин упрекал Эйзенштейна за то, что в фильме «Иван Грозный» опричники подобны членам Ку-Клукс-Клана. И поучал: люди, которые носят волчьи головы и метлы, - институт борьбы прогресса с реакцией. С их помощью Иван Грозный подавил заговоры изменников-бояр, недовольных реализацией программы периферийной трансформации Великого Княжества Московского в современную Российскую державу со столицей в Москве-Третьем Риме. В книге о холодной войне читаем: «На конференции в Ялте Франклин Д.Рузвельт спросил Сталина, что за человек в пенсне сидит напротив Громыко. «Ах, этот, - отвечал Сталин. - Это наш Гиммлер. Это Берия»[37]. Коба считал Орден Меченосцев предшественником и образцом большевистской партии с точки зрения иерархии статусов, ролей, посвящения и значения, хотя высказывался так в узком кругу лиц, в лояльности которых не сомневался.

Стройплощадка или ухоженный сад – таков способ мышления большевистской клики о подчиненном ей обществе.

Для доказательства приведу отрывок из популярной книги: «Освобожденная» Грузия напрасно старалась освободиться от своих «освободителей». Осенью 1921 и осенью 1922 года вспыхнули два восстания против большевиков. Оба были подавлены, но до мира все еще было далеко. Постоянно возникали волнения и конфликты. Советское правительство предложило Сталину поехать на Кавказ и объяснить своим землякам, что они играют с огнем. Сталин выполнил задачу. Перед отъездом чекисты и друзья устроили ему пышные проводы. Как обычно, ели шашлыки, пили кахетинское

[37] Zubok W., Pleszakow K. Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa. Warszawa, 1999, s.175

вино и говорили в который раз о «чистке Грузии». При этом соблюдались чисто кавказские обычаи. Избранный руководитель пира - тамада - провозглашал тосты и диктовал порядок. Также в соответствии с обычаем гостей обслуживал самый молодой из присутствующих. Он в молчании стоял позади, доливал вино и поспешно выполнял все указания тамады, пил только по его знаку. Когда в последний раз были наполнены вином рога (по старому грузинскому обычаю вино пьют из рогов), тамада, который до этого пил мало и говорил неохотно, хотя очень внимательно слушал, сказал по-грузински краткую заключительную речь. – Много сорняков накопилось в Грузии. Грузию надо перепахать! – так звучали его последние слова. Старые грузинские большевики Мдивани, Махарадзе, Орхелашвили в молчании проглотили вино и тост. Однако молодой помощник, нарушая кавказский церемониал, ответил тамаде: «Мы сорняки истребим, а Грузию перепашем» и одним глотком выпил вино, не ожидая разрешения тамады. Присутствующие вопросительно посмотрели друг на друга, но тамаде очень понравился такой ответ. Тамадой был Сталин, а его помощником Берия. После банкета Сталин уехал, а Берия на следующий день был назначен заместителем шефа Чека. Это произошло в конце 1922 года, когда Берии было только 23 года»[38].

Теперь еще одна цитата: «Наука не занималась исследованием ради исследования. Наука воспринималась прежде всего как средство обуздания мощных сил, которые обеспечивали тем, кто ими овладел, улучшение и дальнейшее совершенствование действительности, преобразование ее таким образом, который соответствовал человеческим планам и намерениям. Конструктивными образцами науки считались садоводство и медицина, а представления о нормальном здоровье и гигиене служили метафорами для социальных целей и стратегий их реализации. Предметом планирования и управления стали человеческая жизнь и человеческие контакты. Подобно садовым растениям и живым организмам, жизнь и контакты человека нельзя предоставить самим себе - в этом случае они зарастут сорняками и выродятся. С функциональной точки зрения садоводство и медицина – это две различные формы одного и того же типа активности - отделения полезных элементов (чтобы они могли жить и развиваться) от вредных и бесполезных элементов, которых надо уничтожить»[39].

Здесь уместно напомнить, что Сталин сравнивал дирижера кадровой политики с садовником, который заботится о состоянии сада.

Таким образом, при анализе истоков большевизма надо учитывать идеи мыслителей Запада, а не только политическую традицию России. Я имею в виду следующий политико-мировоззренческий блок: теорию демократии как политического строя, в котором равенство предпочитается свободе (А.Токвиль); диагноз об эндогенности болезней и патологий цивилизации

[38] Awtorchanow A. Zagadka smierci Stalina. Spisek Berii. Londyn, 1983, s.33-34
[39] Bauman Z. Nowoczesnosc I zaglada. Warszawa, 1992, s.109

Запада (Ф.Знанецкий); концепцию массового человека (Х.Ортега-и-Гассет); концепцию преобразования либеральной демократии в массовую по мере роста иррациональности в функционировании политики (К.Мангейм); закон олигархизации политических партий (Р.Михельс) - преобразование массовых демократических движений в союзы под руководством олигархии, использующей автономную от масс бюрократию.

Метод устройства социальной жизни

Выведение социокультурного феномена большевизма только из туранской, византийской и иудейско-христианской цивилизаций не объясняют его характер. Большевизм – это *беспрецедентный* во всемирной истории демиург метода устройства общества. Большевизм создал цивилизацию, которая радикально отрицала все предшествующие. Отдельные аспекты большевизма сближают его с некоторыми мертвыми и живыми цивилизациями. Но как социокультурная формация («организованная философия практики», в терминологии А.Грамши) он является интенциональной и реальной альтернативой всем остальным методам устройства социальной жизни.

Большевизм - творец троевластия, связавшего в программе полного изменения мира экономическую, политическую и идеологическую власть, воспитание, строительство и войну с нетерпимостью к любым анклавам и маргиналиям. По сравнению со всеми другими обществами большевизм иначе решал вопросы истины, добра, здоровья, благосостояния, красоты, взаимоотношения права, морали, государства и гражданина. Для описания цивилизационной специфики мира реального социализма в большевистской модификации исходным пунктом может служить метафора и книга «Машина и винтики» М.Геллера. Такой подход особенно продуктивен в отношении к зрелому советскому обществу[40].

Лагерь – это характеристика всего общества, а не мест заключения[41]. Поэтому большевизм как социальная инновация требует пристального внимания историков и теоретиков. Большевизм создал «иной мир», ядром которого была партийный аппарат, а элементами – чекистская система контроля и коррекции, планирование производства и потребления, воспитание нового типа человека (homo soveticus, обогащающего таксономию культурной антропологии), милитаризация как метод обучения индивидов социальному поведению и одновременно - состояние перманентной готовности всех к «освободительным походам» ради завоевания новых стройплощадок (в соответствии с принципом «Будь готов – всегда готов!).

При создании этого «иного мира» частично воплотились предсказания Ф.М.Достоевского. Если использовать жаргон К.Юнга, архетипом советской

[40] См.: Экштут С. Предвестие свободы, или 1000 дней после Победы. М., Дрофа-Плюс, 2006

[41] См.: Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М., Инфра-М, 2001

власти является Фома Фомич Опискин из «Село Степанчиково и его обитатели». Он олицетворяет беспредельное самолюбие при полном ничтожестве. Именно такой тип человека приобретает авторитет при отсутствии публики, которая хочет и может пользоваться критической рефлексией. «Преступление и наказание» повествует о следствиях появления индивидов, оправдывающих свои действия логикой истории. Они решают, кто является сорняком, и кого надо уничтожить, поскольку он мешает новому обществу. «Бесы» повествуют о следствиях связи революционного радикализма с этическим нигилизмом. В «Братьях Карамазовых» описан атеизм не как следствие органического развития рационалистической традиции в лоне религиозной, а как специфически-русское мировоззренческое обоснование античеловеческих действий.

Я хотел бы провести параллель между указанными произведениями Достоевского и «уроками большевизма» как способа изменения России и русских. В *Что делать?* и *Детской болезни левизны в коммунизме* Ленина дан образ революционера. В так называемой «Ленинской клятве» (которую я учил в школе) и *Экономических проблемах социализма в СССР* Сталина наиболее достойны внимания те фрагменты, в которых говорится о коммунистах как людях особого склада, скроенных из особого материала, об обязанности выполнить наказ Ленина по укреплению и расширению Союза Республик, для чего нужно укреплять Красную Армию и Красный флот, укреплять и расширять Коммунистический Интернационал - союз рабочих масс всего мира. Соотношение политики и морали при этом определялось идеей Ленина: морально то, что служит диктатуре пролетариата - насильственной и неограниченной никаким законом власти над врагами коммунистического порядка.

Метод устройства социальной жизни – это система техник и процедур модели, выбор которой принадлежит властвующей клике общества, в котором жизнь устроена по избранной модели. М.Геллер, А.Авторханов, А.Солженицын, В.Шаламов, М.Булгаков, В.Буковский, А.Зиновьев с разных сторон описали цивилизационный характер большевиков - творцов нового метода - и реального ленинизма.

Добавлю свое предложение к указанному списку авторов. В мировоззрении большевиков есть два типа на букву П:

1. Английский мистер К.Поппер венского происхождения. Он дал такую интерпретацию Платона, согласно которой греческий философ является отцом-основателем традиции проектирования «закрытого общества». В таком обществе владычествует клика, связывающая деонтический и эпистемический авторитет. Первый вид авторитета – это предмет общеобязательных решений людей в сфере поведения, второй - предмет общих определений, связывающих людей в сфере представлений и воображений о мире.

2. Русский господин - ученый И.П.Павлов рязанского происхождения, выходец из духовного сословия. Он создал теорию условных рефлексов и двух сигнальных систем. Эти теории позволяют связать социотехнику с двумя видами обучения: создание определенных условий; убеждение в форме «новояза».

Стало быть, буква П способна порождать не только термины одесского жаргона… *В мировоззрении большевиков соединились Вена и Рязань, западная и русская традиции, философия и наука*. Английский мистер-философ родом из Вены и русский господин-ученый из Рязани выражают этого синтез.

Заключительные рефлексии

Большевиков можно назвать также предшественниками А.Кардинера. Они предвосхитили его теорию, согласно которой сохранение идентичности социального порядка зависит от устойчивости и всеобщности «основной личностной структуры»[42]. Не исключено, что данная теория была известна и М.Геллеру, работа которого о машине и винтиках посвящена классическим темам Кардинера:

- «основной личностной структуре» советских людей, которая (в соответствии с моделью) формировалась на многих полях образования и социализации, при использовании множества техник контроля и корректировки;
- базисным институтам – организованным системам целенаправленной деятельности, которые действуют по определенной модели и плану образования, социализации и вмешательства для контроля и корректировки.

Деление советского общества под властью «внутренней партии» можно описывать по-разному. С точки зрения экономической социологии это общество делится на плановиков и исполнителей. Теория цивилизации при описании СССР позволяет использовать результаты политической и экономической антропологии. Образование и социализация процессов создания и воспроизводства «основной личностной структуры» в обществе нового типа связаны с такой практикой определения ситуации, при которой само определение есть элемент формирования ментальности ради успешного контроля представлениями и убеждениями.

Приведу фрагмент, в котором хорошо описан большевистский метод определения ситуации: «Если ты или я, или кто-то другой из нормальных людей в нормальных условиях захочет, к примеру, соврать, что потолок не белый, а черный, это покажется нам сразу крайне сомнительным. Мы начнем ходить вокруг да около, кашлять, указывать на тени в его углах, будем объяснять, что по существу он не совсем белый. Одним словом, мы будем пользоваться сложным методом, который в конечном счете не приведет к цели,

[42] См.: Лефорт Клод. Формы истории. Очерки политической антропологии. СПб, Наука, 2007, с. 67-109

поскольку никого не убедит в том, что потолок черный. А как поступают большевики? Они указывают на потолок и сразу говорят: «Видите потолок? Он черный как смола». И кончено – сразу доказали. Ты, наверное, думаешь, что людям важно, что истина совсем иная? А большевики на практике убедились, что истина вообще не имеет важности. Что утверждать можно все, что угодно, и утверждение зависит не от содержания, а от способа выражения. И вот мы видим, как они переходят к следующему этапу и говорят: «А теперь представьте, что есть подлые лгуны, враги любой научной истины, прогресса и знания, которые столь низко пали в своей никчемной лжи на деньги капиталистов, что осмеливаются врать в глаза, что потолок белый!» И собравшаяся толпа выразит свое возмущение, презрение и даже будет высмеивать очевидную ложь этих врагов истины»[43].

Думаю, мои соображения можно использовать при ответе на вопрос: почему марксизм был неудобен советской власти? Руководители силовых структур СССР получили негласное право устанавливать религию и идеологию потому, что они до сих пор исповедуют все перечисленные в статье стереотипы мысли и действия[44]. Эти стереотипы можно свести к той версии «русского вопроса», который упоминался в начале статьи.

В версии литературных и идеологических холуев Сталина, а также их западных прихлебателей[45], «русский вопрос» - это проблема характера СССР с точки зрения западных ценностей. Однако в свете проблем, обсуждаемых в этой статье, «русский вопрос» - это проблема характера прошлого России и определения современной ситуации в стране вместе со сценариями поведения России в будущем.

При анализе большевизма нельзя уподобляться старым и новым «гимнюкам» (типа С.Михалкова, который трижды переписывал гимн СССР-России). Здесь нужна особая осторожность. Нельзя смешивать большевизм и Россию, признать Рюриковичей и Романовых белыми, а большевиков – красными царями. Маркс и Энгельс к этому не имеют никакого отношения. Надо изучать генезис и следствия «Манифеста Коммунистической партии», а не искать разгадку большевизма в Тайной истории монголов (как предлагают старые и новые евроазиаты). Большевизм – лишь одна из версий марксистской практики, потерпевшая полный крах под влиянием проблем, порожденных самим большевизмом. Однако нет никаких оснований отождествлять ленинизм и большевизм с марксизмом, особенно с его советской версией.

Память об этом позволит избежать трех шаблонов:

- Сталин изобрел троцкизм как мнимую ересь, которая ведет к измене марксистско-ленинской ортодоксии;

---

[43] Mackiewicz J. Droga donikad. London, 1989, s.107

[44] См., например: Николаев А.И. На переломе. Записки русского генерала. М., Современный писатель, 1998

[45] Под «прихлебателями» я имею в виду феномен американского «советоложества», детально описанный в литературе. См.: Бирман И. Я – экономист. М., Время, 2001, особенно главы 13-14

- Троцкий изобрел сталинизм как уголовную девиацию ленинизма (по мнению Троцкого, ленинизм - якобы приемлемая интерпретация марксизма;

- А.Грамши и Л.Альтюссер изобрели еврокоммунизм как феномена, который одновременно является и не является ленинизмом, а образует ленинизм без загрязнения российским ядом.

Все эти изобретения были институционализованы. Поэтому указанные шаблоны мысли распространены в подавляющей массе социально-политической и исторической литературы как в России, так и в западных странах[46]. Освобождение от них вызывает интеллектуальное и институциональное противодействие отечественных и европейских интеллектуалов и политиков. Причины этого нуждаются в особом анализе.

[46] См.: Макаренко В.П. Почему ошибаются советологи? // http://www.politphilosophy.ru/m/146

Общие проблемы политической концептологии

ПРИНЦИП НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТИ: «ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ТРАКТАТ» Л.ВИТГЕНШТЕЙНА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННОСТЬ

Д. Лейси
Колледж гуманитарных и социальных наук
Университета Объединённых Арабских Эмиратов

В древности политика представлялась понятием естественным, если не сказать космологическим; принадлежность к полису была частью естественной ситуации человека и даже определяла человека как такового, как это выражено, прежде всего, в известной аристотелевской дефиниции человека как политического животного. Правда, в политической мысли раннего модерна проводилось различие между естественным состоянием человека, с одной стороны, и потребностью в политическом управлении с целью улучшить это состояние, - с другой. Этот переход очевиден у Гоббса, для которого естественное положение человека выступает основой учреждения социальной организации посредством политической модели, однако у Гоббса еще четко обосновывается различие между естественным состоянием и нормой закона. У Витгенштейна же – как я покажу в данной работе – данное различие, можно сказать, выпадает при допущении еще более резкого разделения, а именно, когда политическое как таковое существует только в изобразительной форме, исключая таким образом возможность существования политического факта в мире. В этом смысле данный статус политического может сам по себе быть описан на основе представления, учитывающего отношение между предложениями и фактами, а это представление, в свою очередь, может быть адекватно понято согласно тому, что мы будем называть здесь *принципом непреднамеренности*.

При помощи этого принципа мы можем осознать, каким образом фактическое событие должно быть нацелено на то, чтобы быть событием политическим. А также понять, что, делая это, данное событие, однако, не может быть политическим фактом, разве что лишь посредством своих изображений как таковых. Тем не менее, с другой стороны, это широкое различие между естественными и изобразительными условиями может, в свою очередь, вернуть политическое в естественный контекст, ибо статус картины [Bild] или изображения [representation] есть сам по себе статус факта, то есть изобразительного

факта в мире. Следовательно, широкое различие, упомянутое выше, не означает различия между природой и изображением (или обычаем), но, скорее, различие между двумя видами естественных или мирских фактов: с одной стороны, теми, что мы могли бы назвать фактами события [facts of occurrence], а с другой стороны, - фактами изображения [facts of representation].

Когда мы спрашиваем себя, что мы подразумеваем под «политикой», мы в целом можем согласиться с тем, что мы понимаем под ней нечто такое, что относится к вопросам полиса [polis] или государства. Но тут возникает вопрос – а для чего существует такая вещь как «государство»? Более того, из этого вопроса вытекает другой, может быть, не столь прямой вопрос: какую функцию выполняет государство? Последний вопрос может быть понят как вопрос, относящийся не столько к тому, *что* есть государство, сколько к тому, *как* оно есть, то есть, как оно существует, и что оно делает. Другой способ вопрошания о природе государства, вытекающий из вопроса о том, как оно существует, или в чем может состоять его функция, есть вопрошание о цели государства: а зачем оно существует? Благодаря такой постановке вопроса мы можем довольно отчетливо заметить, что появилось еще нечто помимо государства – нечто, для чего само государство существует. Это подразумевает, что государство не есть цель в себе самом. Если это так, а именно, что государство существует для чего-то еще, тогда, даже если мы действуем, еще не зная, чем это «что-то» могло бы быть, мы можем сказать, что все вещи, полагающие политику и государство как свою цель, действуют непреднамеренно. Ибо в то время, когда они направлены на политику и государство, они, тем не менее, случайно обнаруживают (или не обнаруживают) другую, возможно, неизвестную цель.

В этой связи мы обсудим здесь «Логико-философский трактат» Витгенштейна, чтобы не просто выяснить, как политика изображена в языке, но рассмотреть, как полис сам по себе может быть изобразительным тем же способом, что и язык. Более того, следует выяснить, каким образом полис – в точности, как и язык, который может лишь показывать логическую форму своего изображения, но не может изображать саму эту форму – тоже может лишь показать то, что он сам по себе не может изображать в своем политическом языке. Этот феномен может быть понят посредством анализа различия, которое Витгенштейн проводит между показыванием и говорением. Предложение намеревается сказать то, что оно говорит, но каждое предложение, имеющее смысл, также показывает свою логическую форму. Это показывание, однако, само по себе не может быть сформулировано или высказано. Даже когда сам Витгенштейн говорит, что предложение показывает свою логическую форму, это его утверждение тоже показывает такого рода форму, однако сформулировать или высказать это показывание оно не способно. Все же, если из того, что показывается, извлекается смысл, то это делается не просто посредством косвенности, которую показывает осмысленное говорение, но скорее посредством непреднамеренности.

Различие между косвенностью и непреднамеренностью редуцируется к различию между намерениями: косвенность является преднамеренной как в терминах того, *что* косвенность подразумевает по видимости, так и того, *что* она действительно подразумевает посредством такой видимости. Непреднамеренность, с другой стороны, может подразумевать лишь то, что она по видимости подразумевает. В противном случае, то, что действительно достигается, не было бы достигнутым непреднамеренно, а скорее, преднамеренно. Следовательно, кажущаяся цель достигнутого была бы, скорее просто косвенной, чем непреднамеренной. Это различие станет яснее, если мы рассмотрим некоторые страницы из текста Витгенштейна. После этого мы сможем сравнить различие между говорением и показыванием в предложениях со схожим, если не с тем же различием, которое содержится в нашей концепции следствий, вытекающих из этого различия для сферы политики и политического.

Рассмотрим, прежде всего, страницы, относящиеся к основе этого различия, а именно, к понятию «картины», как его дает Витгенштейн:[1]

2.171. Картина может изображать любую действительность, форму которой она имеет…

2.172. Свою же форму изображения картина изображать не может, ее она показывает.

2.173. Картина изображает свой предмет изображения извне (ее форма изображения — это ее точка зрения) …

2.174. Но вне своей формы изображения картина находиться не может.

2.18. То, что во всякой картине, при любой ее форме, должно быть общим с действительностью, дабы она вообще могла — верно или неверно — изображать ее, суть логическая форма, то есть форма действительности.[2]

Если мы позволим себе гибкое применение витгенштейновского понятия *das Bild*, то сразу сможем увидеть одну возможную черту, относящуюся к сфере политики, а именно, что все то, что кажется на самом деле политическим и осознается в качестве такового, оказывается уже и картиной, *ein Bild* самого политического. И все же, если мы принимаем витгенштейновский аргумент о том, что *das Bild* не может изображать свое собственное изображение, тогда политический факт не может – тем же способом и в то же время – быть также изображением политического, или, более конкретно, он не может изображать себя в качестве политического факта. Ведь делая это, он означал бы политический факт, изображающий себя в качестве политического, то есть факт, изображающий собственное изображение. Из этой возможности мы можем сделать простой вывод: то, что изображается как политическое, само по себе вообще не является политическим, но скорее должно пониматься как факт другого рода. Возможно, любой вид факта может, напротив, изображать политическое, но возможно и то,

[1] Здесь и далее мы цитируем «Логико-философский трактат» Л.Витгенштейна в русском переводе. См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1. М.: Гнозис, 1994 (Прим. пер. - С.П.)

[2] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат …, с. 9.

что лишь определенные виды фактов могут образовывать такие изображения, или, возможно, всего один вид факта. В любом случае, каким бы ни был вид факта, главное, он должен быть отличным от того, *что* он изображает.

Нашей задачей является, далее, определить, согласно принципу непреднамеренности, какой вид (или виды) фактов могут изображаться как политические. Делая это, мы можем развить понятие непреднамеренности с помощью следующей исходной идеи: нечто является непреднамеренным, когда, стремясь достигнуть одну цель, оно достигает нечто другое. В этом смысле, далее, факт, который стремится достичь политическую цель и быть таким образом политическим фактом, может непреднамеренно достичь цель другого рода и таким образом быть фактом другого рода.

Важно, конечно, не забывать, что сам Витгенштейн не говорит о политическом, и что мы здесь, скорее, применяем его анализ языка и мысли к понятию политического. Делая это, мы можем экспериментировать с различными возможностями такого применения, одно из которых заключено в понимании «политического» как «имени» [Name]. Имя, расположенное внутри предложения, согласно Витгенштейну, есть «элемент» или «простой знак» предложения (TLP 3.144 – 3.202).[3] В качестве предварительного примера политического как имени мы можем использовать определение термина «политика», как его дает В.Хёсле в своем труде «Мораль и политика». Хёсле пишет:

> Под ‘политикой’ я понимаю действия, которые в контексте борьбы за власть направлены на определение и/или реализацию государственных целей. О каких целях идет речь – это мы пока оставляем без рассмотрения; защита от внутреннего и внешнего насилия наверняка является такой целью, однако не единственной. Так как определение является теоретической задачей, эта дефиниция подразумевает, что публичное занятие вопросами политической философии тоже должно считаться политикой. … В любом случае, было бы серьезной ошибкой полагать, что политика возможна только как действие государственных органов.[4]

Если мы соединим это определение с некоторыми аспектами витгенштейновского трактата, то увидим тот вид связи, который позволяет нам лучше уяснить природу политического. В самом деле, мы уже выделили виды фактов, которые изображаются как политические, то есть эти факты (или «факты события») понимаются как «действия, которые в контексте борьбы за власть направлены на определение и/или реализацию государственных целей». К этому можно добавить два элемента из витгенштейновской теории, которые заключаются в том, что термин «политическое» является сам по себе тоже фактом, а именно, фактом изображения и, более того, он появляется рядом с дефиницией, как сам по себе некий объект. Признавая прочность дефиниции Хёсле (а я нахожу ее весьма удачной), наше внимание к «политическому» перенаправляется на действия, просвещенные относительно государственных целей, и, следовательно, относится к понятию того, что есть государство само по себе (т.е. направляется

[3] Здесь и далее аббревиатурой TLP мы вслед за автором обозначаем «Логико-философской трактат» Витгенштейна с указанием номера соответствующего пассажа. – Прим. пер. – С.П

[4] Hösle V. Morals and Politics. (trans. by Steven Rendall). Notre Dame, IN.: University of Notre Dame Press, 2004. P. 68.

на вопрос, который мы уже поставили выше). В самом деле, если определение целей государства есть само по себе теоретическая задача, и если в этом смысле вещь определяется согласно своей цели, тогда цели государства определяют то, что есть государство, подразумевая, что государство теоретически определимо. Однако никакое государство не является просто теоретическим; еще и потому не является, что цели государства полностью овеществлены или существуют в качестве теории, когда государство, о котором идет речь, уже существует. Следовательно, и государство, которое определяется согласно своим целям, и сами эти цели суть тоже средства для некоторых иных целей.

В этом пункте мы можем обратиться к другому аспекту витгенштейновского трактата, аспекту, затрагивающему наше субъективное и этическое отношение к миру. Одна из ясных позиций, которую Витгенштейн занимает, заключена в мысли о том, что последствия действия не являются релевантными относительно его этической ценности:

> 6.422. При установлении этического закона, имеющего форму «ты должен...», сразу же приходит в голову: а что, если я этого не сделаю? Ясно, однако, что этика не имеет ничего общего с наказанием и вознаграждением в обычном смысле. Следовательно, вопрос о *последствиях* поступка не должен иметь значения. — По крайней мере эти последствия не должны быть событиями. Ибо должно же быть что-то правильное в такой постановке вопроса. Действительно, должно существовать некоего рода этическое вознаграждение и этическое наказание, но они должны заключаться в самом поступке. (И ясно также, что вознаграждение должно быть чем-то приятным, а наказание — чем-то неприятным.). [5]

Эта идея, соединенная с упомянутым выводом о целях государства, подразумевает, что государство не может распознавать этические versus неэтические цели как таковые. Вместо этого, государство может применять меры поощрения или наказания как следствие данного акта, но награда или наказание не могут использоваться для оценки того, является ли данное действие само по себе нравственным или безнравственным. Но Витгенштейн фактически идет еще дальше, утверждая:

> 6.42. Потому и невозможны предложения этики.
> Высшее не выразить предложениями.
> 6.421. Понятно, что этика не поддается высказыванию.
> Этика трансцендентальна.[6]

Проблема здесь состоит в том, заключена ли этическая ценность в самом действии, или же действия, как таковые, не могут иметь этической ценности. Или, возможно, есть, так сказать, среднее основание, в соответствии с которым действие реально имеет этическую ценность, но ни действие в отношении этого действия, ни какое-либо предложение о нем не могут быть выражением чего-то этического. В самом деле, мы можем выразить это философски более привычным способом, если помыслим действия как всегда относящиеся к сфере особенного, как то, что существует в качестве особых событий в мире. И, следовательно, постольку, поскольку этика трансцендентна, то и действия, в ка-

[5] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат …, с. 70-71.
[6] Там же.

честве действий, не могут быть каким-либо выражением этики. Основная проблема тогда состоит не в том, что нет ничего этического, но скорее в том, что этическое не может быть выражено, что и утверждает Витгенштейн. Здесь, однако, мы натолкнулись на значение принципа непреднамеренности, ибо в какой мере государство стремится быть нравственным, оно в то же время не может быть нравственным, если этика трансцендентна.

Как тогда мы сможем оценить успех или неудачу государства, его конституции, законов, если у нас нет пристанища в оценивающей моральной инстанции? Ответ на этот вопрос заключается в том, может ли государство оцениваться не сообразно этике, а, скорее, с точки зрения истинности или ложности. Это, по крайней мере, один из путей, по которому мы можем пойти, и который ниже я обрисую более детально. Другой путь, который, по-видимому, предлагает Витгенштейн, включает в себя понятие счастья, которое, правда, только вскользь упоминается в витгенштейновском тексте. Причина, по которой счастье является значимой в этом контексте категорией, относится к тому факту, что – как это видно у Платона и еще в большей мере у Аристотеля – нравственная добродетель объединена со счастьем. Ведь согласно Аристотелю, добродетельный индивид есть индивид, совершающий добродетельные действия, которые в свою очередь суть действия в соответствии с рациональным принципом и, соответственно, источник реального счастья, в какой мере счастье само по себе есть именно разумная деятельность души. И хотя Витгенштейн устраняет нашу способность устанавливать добродетель как таковую, он, по-видимому, сохраняет нашу способность быть счастливыми или несчастными:

> 6.43. Если добрая или злая воля изменяет мир, то ей по силам изменить лишь границы мира, а не факты, — не то, что может быть выражено посредством языка.
>
> Короче, мир благодаря этому должен тогда вообще стать другим. Он должен как бы уменьшиться или увеличиться как целое. Мир счастливого отличен от мира несчастного. [7]

До известной степени эта концепция счастья может совпадать с аристотелевскими заключительными замечаниями из «Никомаховой этики»[8] о счастье как созерцательной деятельности, однако то пространство действия в практическом смысле, которое у Аристотеля тоже есть, позиция Витгенштейна уже включить не может. Таким образом, для Витгенштейна должно иметься взаимодействие или отношение между тем, что есть положение дел, или истина (в отношении к миру) и понятием счастья, находящегося, тем не менее, вне этого мира. Следовательно, или факты мира счастья отличны от фактов мира несчастья, или те же самые факты мира могут каким-то образом быть различными для счастья versus несчастья. Однако Витгенштейн не дает нам какой-то дефиниции счастливого и несчастного, поэтому мы должны рассмотреть его понятие фактичности и истины, чтобы определить, должны или не должны факты и истина всегда оста-

[7] Там же, с. 71.

[8] См. Аристотель. Никомахова этика. 1176 b и далее. – Прим. Пер.

ваться одними и теми же, или факты могут действительно меняться, продолжая оставаться истинными.

В своем «Трактате» Витгенштейн, конечно, говорит много об истине, но мы можем просеять эти многочисленные страницы с целью установить те высказывания, которые относятся к нашему делу. В этой связи есть смысл возвратиться к понятию картины у Витгенштейна:

4.05. Действительность сопоставляется с предложением.

4.06. Предложение может быть истинным или ложным лишь в силу того, что оно — картина действительности.

4.061. Не приняв во внимание, что предложение имеет смысл независимо от фактов, можно с легкостью уверовать в то, что истинность и ложность — равноправные отношения знаков и обозначаемого. В таком случае можно было бы говорить, например, что «p» обозначает истинным образом то, что «~p» обозначает ложным образом, и т. д. [9]

Суть дела в последнем случае заключается в признании того, что предложения действительно имеют смысл независимо от фактов именно потому, что они могут быть истинными или ложными предложениями в той мере, в какой они суть картины реальности. Но что тогда значит для предложения – иметь смысл и быть картиной реальности? Витгенштейн дает нам такой возможный ответ на этот вопрос:

4.027. В самой природе предложения заложено то, что оно способно сообщить нам *новый* смысл.

4.03. Предложение может передавать *новый* смысл старыми выражениями. Предложение повествует о некоей ситуации, следовательно, оно должно быть *существенно* связано с этой ситуацией. И эта связь состоит как раз в том, что оно является ее логической картиной.

Предложение высказывает нечто лишь постольку, поскольку оно есть картина. [10]

Отправляясь от этой страницы и с учетом того, что цитировалось выше, мы уже можем начинать делать выводы, которые покажутся несколько резкими, к примеру: постольку, поскольку предложение содержит политическое в качестве этического, оно (предложение) стремится обозначить нечто такое, что не находится в мире и, следовательно, не может иметь смысла. Поясняя этот вывод, мы можем рассмотреть определение «политического», которое направило нас в сторону действий, предназначенных для государственных целей, а оттуда – к вопросу, касающемуся установления государственных целей. Вопрос состоит в том, имеют ли эти цели отношение к достижению добродетели, соответствующей счастью, или, вместо этого, представляют точку зрения, что добродетель и этика не находятся в мире, тогда как счастье может, тем не менее, как-то отделяться от добродетели, поддерживая некоторый род отношения к миру. Это дает нам в остатке счастье и предложения, относящиеся к политике, так что посредством непреднамеренного представления о государстве как относящемся к этике, наши предложения относительно политического нацелены на этическое,

[9] Витгенштейн Л. Логико-философский трактат …, с. 22.

[10] Там же, с. 21.

относясь, тем не менее, к счастью. Другими словами, предложения, касающиеся политического, суть непреднамеренно этические предложения ради счастья. Если это верно, тогда остается вопрос о том, что подразумевает Витгенштейн под счастьем, и каким образом счастье связано (если вообще связано) со смыслом, фактами, а также с истинными или ложными предложениями.

Короче говоря: если этическое не может быть высказано, и если этическая или нравственная добродетель все же соединена со счастьем, тогда счастье не может просто иметь какое-либо прямого отношения к истинным или ложным предложениям. Заключительный пассаж витгенштейновского «Трактата», кажется, проливает некоторый свет на то, как следует в целом трактовать предложения:

6.54. Мои предложения служат прояснению: тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью — по ним — над ними, в конечном счете признает, что они бессмысленны. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как поднимется по ней.)

Ему нужно преодолеть эти предложения, тогда он правильно увидит мир.

О чем невозможно говорить, о том следует молчать.[11]

Если мы соотнесем политические предложения относительно государства с этим пониманием вещей, тогда они оказываются непреднамеренными таким же образом, что и лестница, о которой пишет Витгенштейн. Ибо когда некто взбирается по лестнице, у него есть представление о лестнице как таковой, иначе он вообще бы не стал по ней подниматься. Все же в некоторых моментах установление этой самой непреднамеренности как таковой означает отбрасывание лестницы. Конечно, мы не можем отсюда делать вывод, что следует отбросить само государство или полис; скорее, это значит, что можно понять все политические дела как непреднамеренные средства – с тем, чтобы «правильно видеть мир». В этом смысле, если «Трактат» есть тоже такая «лестница», тогда цель текста можно усмотреть в том, чтобы отражать цель политики и государства. Как, в таком случае, сам «Трактат» является средством для достижения счастья? Помощь в ответе на этот вопрос мы находим в книге Джеймса Эдвардса «Этика без философии: Витгенштейн и моральная жизнь»:

> Согласно «Трактату», «Я» [the Self] есть граница мира, а не его часть. (TLP 5.641). Поскольку мир уже есть мир фактов, а не вещей (1.1), и поскольку это значит, что мир есть мир, показывающий себя в предложениях, и поскольку «Я» есть необходимое условие пропозиционального изображения, тогда «Я» есть необходимое условие самого мира. «Мир является *моим* миром» (TLP 5.62). Но это трансцендентально необходимое «Я» есть просто *граница* мира, видящий глаз, который никогда не является частью визуального поля, которое он обводит взглядом. (TLP 5.633).
>
> Философское «Я», которое есть граница мира, является, однако, также центром этической привязанности или – как выражается Витгенштейн – центром *воли*. Не потому, конечно, что воля есть способность действовать, метафизическое «Я» совершенно бессильно как-то повлиять на случайности мира. (TLP 6.373). «Я» есть центр воли только в том смысле, что оно судит о мире с определенной (счастливой или несчастной) позиции. (NB, p. 87).[12] Мир счастливого «Я» отличен от мира не счастного «Я». (TLP 6.43). Воля есть модус метафизического видения, присущего «Я», окрашивание мира отчаянием или блаженством; и открытие смысла жизни – ответ на

[11] Там же, с. 72-73.

[12] См.: Wittgenstein L. Notebooks 1914-1916. Oxford: Basil Blackwell, 1979. – Прим. пер.

этический вопрос – будет отмечен изменением того, каким образом воление «Я» позволяет несчастному миру стать счастливым.[13]

Благодаря этому описанию и пониманию, извлеченному из «Трактата», мы можем четко расположить политику и государство внутри мира фактов, то есть, мира, который «показывает себя в предложениях» и «пропозициональном изображении». Отсюда следует, что чье-то метафизическое «Я» не может взаимодействовать с политическим или с государством как таковым, но, скорее, маркирует их границы. Поэтому никакое государство и никакая политика сами по себе не могут произвести счастья. Но остается вопрос о том, как можно оценивать политическую систему или вообще что-либо политическое. Несомненно, у государства есть реальные последствия, и все же может обнаружиться, что чья-то воля не оказывает влияния на что-то политическое, но, скорее, может лишь привлекаться как трансцендентальное и неизобразимое отношение к политике и государству. Таким образом, мы как будто снова пришли к мнению, что политическое, в качестве пропозиционального изображения, должно оцениваться согласно не этике, но пропозициональной истине, что значит, осмысленному показыванию.

Если это так, тогда мы можем сделать вывод, что оценивать можно лишь конститутивные предложения, предложения, сформулированные политиками относительно государственных дел, а также все другие политические предложения, сформулированные согласно двух оснований. Первым из этих оснований выступает принцип непреднамеренности. Он обнаруживает смысл, в котором такие предложения не могут быть этическими, даже если они мотивированы, в конечном счете, стремлением достичь то, чего может достичь только трансцендентальное «Я», а именно, счастья, лежащего, в свою очередь, в основе этического проекта. Вторым основанием для оценки политических предложений могло бы послужить рассмотрение их как картин реальности, а также оценка их истинности или ложности согласно витгенштейновскому логическому анализу. В конечном счете, мы можем видеть, каким образом «должное» было передано метафизике, оставляя даже политические предложения предметом более классического стандарта «сущего». Поэтому более радикальный раскол между государством и природой у Витгенштейна, посредством чего государство приобретает непреднамеренную и изобразительную фактичность, тем не менее, возвращает политические дела к «естественному» анализу истинности и ложности в предложениях. Таков на самом деле мир Витгенштейна, включающий и мир политики.

До сих пор мы старались обрисовать следствия и выводы, которые можно сделать относительно политики, применяя витгенштейновскую теорию изображения и этики. С исторической точки зрения наиболее убедительным является способ, каким государство характеризуется как естественное в античном смысле, но неестественное в смысле раннего модерна, и, кроме того, опять же есте-

[13] James C. Edwards. Ethics without Philosophy: Wittgenstein and the Moral Life. Tampa: University Presses of Florida, 1982. P. 67-68.

ственное в качестве изображения в современном [modern] или – в любом случае – витгенштейновском смысле. Однако на скорее политическом уровне мы можем рассмотреть теперь наш собственный опыт знакомства с государством и политикой сообразно этой последней (витгенштейновской) точке зрения, а также исследовать пределы, до каких непреднамеренность может или не может точно характеризовать наш политический опыт. С учетом проведенного выше анализа, мы можем сформулировать проблему в гораздо более ясной форме, поставив некоторые вопросы.

Первый вопрос: как, в точности, действует «государство»? Другими словами, – как утверждает и В.Хёсле в приведенном выше фрагменте, – политические действия совершаются отнюдь не только посредством «государственных органов», так что мы должны также поразмыслить над тем, как вообще можно утверждать о государственных организациях, что они совершают действия как таковые. По-видимому, такое действие, что значит, действие государства или государственной институции (министерства, департамента и т.п.) есть только «государственное» действие согласно изобразительной реальности самого политического. Или, если выразить это более резко: люди совершают действия, и эти действия только в изобразительном смысле суть действия государства. Различие, которое Витгенштейн приписывает этому сценарию, состоит в следующем. Вместо того чтобы просто называть государство человеческим конструктом, мы сталкиваемся теперь с видом реальности или естественности, которой действительно обладают изобразительные факты. Соответственно, если мы спросим «Каким образом реально государство?», то ответ в этом случае будет гласить: оно реально в качестве изображения. Дополнительным элементом нашего анализа является то, что изобразительная реальность есть также реальность непреднамеренная. Таким образом, утверждать, что политическое реально в качестве изображения, отнюдь не значит преуменьшать его реальности и способа, каким оно реально. Как тогда мы на самом деле понимаем эту природу политического? И что значит быть непреднамеренной реальностью?

Целью акцентирования здесь понятия непреднамеренности является то, что мы можем удалиться от представления, будто изображение есть нечто искусственное или просто символическое. Символизм и непреднамеренность не суть одно и то же, и структура изображения, по-видимому, больше совпадает с непреднамеренностью, чем с символизмом. Это, возможно, так же просто, как сказать, что когда люди совершают действия от имени государства, они не действуют символически, в какой мере они действуют непреднамеренно. Их действия задуманы как государственные действия, однако то, чего эти действия достигают, выходит за рамки самого государства. Таким образом эти изобразительные / государственные действия оказываются реальными в качестве изобразительных, но поэтому они непреднамеренно также производят факты события, которые никогда не могут быть редуцированы к фактам изображения или государству, даже когда они лишь задуманы как государственные действия.

В качестве примера мы можем рассмотреть избирательную компанию нынешнего президента США Барака Обамы. С исторической точки зрения выборы, как процесс голосования, а также инаугурация, маркируют собой значительные и в известной мере символические события. И все же, говоря политически, ничего выдающегося не происходит – налицо лишь мирная передача власти, соответствующая тому же процессу, которым характеризовалась политическая система США двести лет тому назад. Этот процесс сам по себе не может быть назван действием; вместо этого мы имеем людей, которые голосуют, людей, которых избирают, всех, кто вовлечен в организацию и протекание этого события, - одним словом, большое количество человеческих индивидов, совершающих всякие действия. И эти индивиды действуют так не ради самого политического; но, скорее, ради того, ради чего существует само политическое в качестве изобразительной реальности. В нашем анализе это «ради чего» есть счастье. Тот факт, что счастье остается для Витгенштейна субъективным поведением, лишь усиливает роль, которую оно играет в выработке различия между индивидуальными действиями как фактами события и политическими «действиями» как непреднамеренными фактами изображения.

В данной работе есть маленькая тайна; в известном смысле, наш анализ несколько больше реалистической редукции политического к индивидуальным человеческим действиям. Важность такой редукции, однако, может лежать не столько на ее уровне достоверного описания, сколько в ее следствиях для идеологического мышления. Витгенштейновская мысль, прилагаемая, как здесь, к статусу и природе политического, по-видимому, предполагает, что не может быть таких вещей, как реально существующее «идеальное» государство. Я имею в виду, что понятие совершенной политической системы завершается бессмыслицей, за исключением того, что государство совершенно, в какой мере оно функционирует как непреднамеренное средство изображения ради счастья. Или, в более резкой формулировке: правительство любого рода, если его редуцировать к человеческим действиям, есть нечто несуществующее – за исключением того, что оно фактически есть просто непреднамеренное бытие. Если мы перевернем это утверждение, тогда будет легче схватить нашу основную идею: убери от данного правительства все индивидуальные действия, и оно просто исчезнет. Где государство, и как существует государство, если оно берется вне индивидуальных действий, которые существуют как факты события, и которые составляют это самое государство? Ответ гласит: государство существует непреднамеренно, оно есть то, ради чего совершаются такого рода действия, однако только в такой мере, в какой само государство существует непреднамеренно ради счастья, – а в этом случае, согласно Витгенштейну, оно есть счастье субъективное.

Если мы приложим витгенштейновские идеи к политике, мы действительно не сможем избежать этого вывода. Ведь мы вынуждены, в терминах наших субъективных «я», размышлять о правильном способе существования, которое

государство могло бы иметь в мире. Но когда мы размышляем об этом, мы можем лишь вернуться к себе самим в мире, и никакая часть нашей самости не может быть каким-либо действительным способом конституирована государством или политической системой. Даже наши действия не могут быть учреждены, потому что в таком случае этическое должно быть частью фактического мира, а для Витгенштейна этого быть не может. Тем не менее, с более широкой политико-философской точки зрения я бы сказал, что есть немало выгод, которые приносит с собой исключение возможности совершенного государства. Действие, совершенное ради идеального государства, по-видимому, отличается от действия, совершенного просто ради государства, когда оно не украшено внешними атрибутами совершенства. Действие какого-то лица, которое допускает, что государство, для которого это действие совершено, подвержено ошибкам, уже подразумевает, что само государство не может быть конечной целью данного действия. Таким образом, это мышление ближе к признанию государства как непреднамеренной цели, нежели действие, совершенное для государства, поскольку то совершенно, или даже с целью какого-то совершенствования государства. Другим словами, наша критическая способность, как может показаться, до некоторой степени атрофируется, если мы действуем ради совершенной политической системы, тогда как мы, по-видимому, сохраняем б*о*льшую дистанцию и различие между нашим действиями и политическим, когда мы устраняем возможность такого явления как совершенное правительство. В самом деле, действие ради более подходящего правительства или улучшения государства – это нечто совсем другое, чем действие ради уже совершенной системы. На самом деле эти два представления взаимно исключают друг друга, ибо как же можно улучшить уже совершенную систему?

В заключение заметим, что идеи Л.Витгенштейна позволяют нам позиционировать государство как естественный феномен, поскольку его фактическое существование есть бытие изображения и непреднамеренности. Анализ Витгенштейном смысла делает невозможным для фактов изображения быть равными фактам события, а витгенштейновская оценка статуса этического как чего-то субъективного и не являющегося частью мира делает невозможным, чтобы наши действия учреждались политикой. Кроме того, счастье, что бы оно ни значило в действительности для Витгенштейна, вновь вводится в политическое – как то, ради чего политическое есть непреднамеренная цель. Таким образом, мы видим, каким образом, по крайней мере, в этих двух смыслах, витгенштейновские идеи возвращают политическое к более классическим дискуссиям, которые вращаются вокруг полиса как естественного феномена и возможной формулы для реализации счастья. Однако способ, каким полис является естественным, вполне современен, ибо он есть факт не события, но изображения, и он есть непреднамеренное средство всецело субъективного способа быть счастливым.

Перевод с англ. С. Поцелуев

General Problems of Political Conceptology

THE INADVERTENCY PRINCIPLE: WITTGENSTEIN`S *TRACTATUS* AND POLITICAL INADVERTENCY

D.J. Lacey
College of Humanities and Social Sciences
United Arab Emirates University

In ancient times the political was conceived of as a natural if not cosmological notion; to belong to a polis was part of the natural human condition and even defined the human as such, as is seen, most notably, in Aristotle's famous formulation that the human is a political animal. With early modern political thinking, however, a division is made between the natural human condition, on the one hand, and the need for political administration to better that condition, on the other. This transition is evident in Hobbes, for while the natural human state is the basis for the advent of societal organization via a political model, still the distinction between a state of nature and the rule of law is firmly grounded. With Wittgenstein, as I intend to show here, this distinction can be seen to fall subject to a more drastic division, namely that the political as such only exists in representational form, and thereby excludes the possibility of there being a political fact in the world. The status of the political, in this regard, can itself only be described by an account that incorporates the relationship between propositions and facts, which in turn can be adequately conceived according to what we will call a principle of inadvertency. With this principle, we can realize how a factual event must aim to be political, but that in so doing it cannot be a political fact, save through its representation as such. On the other hand, however, this wider division between natural and representational conditions may in turn reposition the political again within a natural context, for the status of a *Bild* or representation is itself that of a fact, i.e., a representational fact in the world. Hence, the wider division described above would not mean that between nature and representation or custom, but rather a distinction between two kinds of natural or worldly facts, namely between what we might call on the one hand facts of occurrence, and on the other hand facts of representation.

When we ask ourselves what we mean by 'politics', we can generally agree that we mean something that somehow pertains to matters of the *polis* or the state. The question arises, however, as to what this thing is which we call a 'state'? From

this question, moreover, another perhaps less immediate question likewise follows, namely, what function does the state serve? The latter question is can be understood as a question not so much regarding what the state is, but rather how it is, i.e., how does it exist and what does it do? Another way of inquiring into the nature of a state that follows from asking about how it exists or what its function might be, is to ask what is its purpose, what is the state for? With this last way of phrasing the question, we can notice quite clearly that something else emerges besides the state—something for which the state itself exists, which would imply that the state is not an end in itself. If this is the case, namely that the state exists for something else, then even if we do not as of yet know what that something else might be, we can say that all things which posit politics and the state as their end are acting inadvertently, for while they aim toward politics and the state, they nevertheless hit upon (or fail to hit) another, possibly unknown target.

In this regard, we will here discuss Wittgenstein's *Tractatus* in order to explore not simply how the polis is represented in language, but rather how the polis itself may be representational in the same way as language; and moreover, that just as language can only show the logical form of its representation, but cannot represent that form itself, so too may the polis show that which it itself cannot represent in its own political terms. This phenomenon is can be understood by examining the difference that Wittgenstein draws between showing and saying. A proposition is intended to say that which it says, but any proposition that has sense also shows its logical form. This showing, however, cannot itself be articulated or said; even when Wittgenstein himself says that a proposition shows its logical form, that very statement shows such form without being able to articulate or say such showing. Yet if sense is derived from that which is shown, then it is not simply through indirection that a sensible saying shows, but rather through inadvertency.

The difference between indirection and inadvertency reduces to that between intention: indirection is intentional both in terms of what it appears to intend, and also in terms of what it actually intends through such appearance. Inadvertency, on the other hand, can only intend what it appears to intend, otherwise that which it actually achieves would not be inadvertently achieved, but rather advertently achieved, hence its apparent goal would be merely indirect, rather than inadvertent. This difference will become clearer once we examine some passages from Wittgenstein's text, after which we will then be able to compare the difference between saying and showing in propositions to a similar if not the same difference in our conception of the consequences this has for politics and the political.

First, then, let us consider passages dealing with the basis for this difference, namely those concerning the notion of a 'picture' as Wittgenstein presents it:

> 2.171 The picture can represent every reality whose form it has . . .
> 2.172 The picture, however, cannot represent its form of representation; it shows it forth.
> 2.173 The picture represents its object from without (its standpoint is its form of representation) . . .

> 2.174 But the picture cannot place itself outside of its form of representation.
> 2.18 What every picture, of whatever form, must have in common with reality in order to be able to represent it at all—rightly or falsely—is the logical form, that is, the form of reality.[1]

If we allow ourselves a flexible application of this notion, *das Bild*, then we can immediately recognize a possible feature concerning the realm of politics, namely, that anything that is seemingly in fact political, when recognized as such, is therefore also already a picture, *ein Bild*, of the political itself. Yet if we accept Wittgenstein's argument that a *Bild* cannot represent its own representing, then a political fact cannot, in the same way and at the same time, also be a representation of the political, or more specifically it cannot represent itself as such, for to do so would be a political fact representing itself as political, i.e., for it to represent its own representing. The conclusion that we can draw from this possibility is simply that what is represented as political, is not itself political at all, but must rather be understood as a fact of a different kind. Perhaps any kind of fact can in turn represent the political, but it is also possible that only certain kinds of facts can form such a representation, or perhaps only one kind of fact; either way, the kind of fact that a thing is must be different from what represents it.

The task before us, then, is to determine, according to the principle of inadvertency, what kind or kinds of facts can be represented as political. To do this, we can develop the notion of inadvertency with the following initial idea: something is inadvertent when, in aiming to achieve one objective, it achieves something else. In this sense, then, a fact that aims to achieve a political objective, and thereby itself be a political fact, would inadvertently achieve another kind of objective and thus be a fact of a different kind.

It is of course crucial to remember that Wittgenstein does not himself speak of the political, but rather that here we are applying his analysis of language and thought to that concept. In so doing, we can experiment with different possibilities of such application, one of which is to understand 'political' as a "name" (*Name*). A name when situated within a proposition, according to Wittgenstein, is an "element" and "simple sign" of the proposition (3.144 – 3.202). As a preliminary example of the political as a name, we can utilize a definition of the term 'politics' given by Vittorio Hцsle from his work *Morals and Politics*. Hцsle writes:

> I use the word "politics" to refer to acts that are directed toward the determination and/or implementation of state goals in the context of power struggles. What goals are involved can remain an open question here. Protection from civil and foreign violence is certainly such a goal, but not the only one. Since the determination of goals is a theoretical task, this definition implies that public concern with questions of political philosophy must also be considered political [. . .] In any case, it would be a serious mistake to believe that political action is possible only through organs of the state.[2]

[1] These and all other quotations of Wittgenstein's text are taken from: Ludwig Wittgenstein. *Tractatus Logico-Philosophicus*, trans. C. K. Ogden, with an Introduction by Bertrand Russell (New York: Routledge, repr. 1990).

[2] Vittorio Hцsle. *Morals and Politics*, trans. Steven Rendall (Notre Dame, IN.: University of Notre Dame Press, 2004), p. 68.

When we combine this definition with certain aspects of Wittgenstein's treatise, we begin to see a kind of continuity that may allow us to better ascertain the nature of the political. Indeed, we already find an option for the kinds of facts that are represented as political, i.e., these facts or facts of occurrence are understood as "acts that are directed toward the determination and/or implementation of state goals in the context of power struggles." Two added elements from Wittgenstein's account are that the term 'political' is itself also a fact, namely a fact of representation, and moreover it occurs alongside the definition as itself an object. Accepting the soundness of Hцsle's definition, which in my estimation is quite good, our attention upon the 'political' is redirected toward actions informed according to state goals, and therefore pertains to a notion of what the state itself is, which was the question we raised above. Indeed, if the determination of state goals is itself a theoretical task, and if in this sense a thing is defined according to its end, then the goals of a state determine what the state is, implying that the state is theoretically defined. Yet no state is simply theoretical; nor, for that matter, are the goals of a state completely reified or existent qua theory once the state in question already exists. Therefore, both the state, which is determined according to its ends, and those ends themselves, are likewise means to some other end.

At this point we may turn to a different aspect of Wittgenstein's treatise, one that involves a set of propositions involving our subjective and ethical relation to the world. One explicit point that Wittgenstein makes is that the consequences of an action are irrelevant to the ethical value of that action:

> 6.422 The first thought in setting up an ethical law of the form "thou shalt . . ." is: And what if I do not do it? But it is clear that ethics has nothing to do with punishment and reward in the ordinary sense. This question as to the *consequences* of an action must therefore be irrelevant. At least these consequences will not be events. For there must be something right in that formulation of the question. There must be some sort of ethical reward and ethical punishment, but this must lie in the action itself.
> (And this is clear also that the reward must be something acceptable, and the punishment something unacceptable.)

This idea, coupled with the preceding inferences regarding the goals of a state, implies that a state cannot identify ethical versus unethical actions as such. Instead, a state can administer reward or punishment as a consequence to a given act, but reward and punishment cannot be used to evaluate whether the action is itself ethical or unethical. Indeed, Wittgenstein goes further than this, and states:

> 6.42 Hence also there can be no ethical propositions.
> Propositions cannot express anything higher.
> 6.421 It is clear that ethics cannot be expressed.
> Ethics is transcendental.

The problem here is that either the ethical value of an action lies in the action itself, or else even actions as such cannot have ethical value. Or, perhaps there is a middle

ground, so to speak, whereby the action itself does have ethical value, but neither the action nor any proposition about that action can be an expression of anything ethical. Indeed, we can make this more philosophically familiar when we think of actions as always pertaining to particulars, as being particular events in the world, and therefore, insofar as ethics is transcendental, so too would the action, qua action, not be any kind of expression of ethics. The underlying problem, then, is not that there is nothing ethical, but rather that the ethical cannot be expressed, which is Wittgenstein's claim. Here, however, we have hit upon the meaning of the inadvertency principle, for insofar as a state *aims* to be ethical, so too can it not be ethical if ethics is transcendental.

How, then, can we evaluate the success or failure of a state, its constitution, and its laws if we do not have recourse to ethical evaluation? The answer to which lies in whether the state can be evaluated not according to ethics, but rather according to truth or falsity. Such, at least, is one path we might follow, which I will draw out in more detail momentarily. The other path, however, that Wittgenstein seems to offer involves the notion of happiness, which is nevertheless only briefly mentioned in Wittgenstein's text. The reason why happiness is relevant in this context pertains to the fact that, as far back as Plato and to a greater degree Aristotle, ethical virtue is tied together with happiness, for according to the latter the virtuous individual is one who performs virtuous actions, which in turn are actions according to a rational principle and are thus the source of real happiness insofar as happiness itself is just such an activity of the soul. Yet Wittgenstein removes our ability to identify virtue as such, whereas he preserves our ability, it seems, to be happy or unhappy:

> 6.43 If good or bad willing changes the world, it can only change the limits of the world, not the facts; not the things that can be expressed in language.
> In brief, the world must thereby become quite another. It must so to speak wax or wane as a whole.
> The world of the happy is quite another than that of the unhappy.

In a sense, this conception of happiness may coincide with Aristotle's last comments about happiness in the *Nicomachean Ethics* as the activity of contemplation, yet the realm of action in the practical sense which Aristotle also upholds cannot factor into this account of Wittgenstein's. Thus, there must be for Wittgenstein an interaction or relation between that which is the case, or true, as it pertains to the world, and the notion of happiness as nevertheless outside of that world. Either, then, the facts of the world of the happy are different from the facts of the world of the unhappy, or the same facts of the world can somehow be different for the happy versus the unhappy. Yet Wittgenstein offers us little if anything by way of a definition of happy and unhappy, such that we must examine his notions of factuality and truth to determine whether or not facts and truth must always be the same, or instead whether facts can indeed change yet still be true.

Wittgenstein, of course, says many things about truth in the *Tractatus*, but we can sift through these many passages in order to identify those that most pertain to our concerns. Thus, again, in what follows we return to the notion of a picture or *Bild*:

> 4.05 Reality is compared with the proposition.
> 4.06 Propositions can be true or false only by being pictures of reality.
> 4.061 If one does not observe that propositions have sense independent of the facts, one can easily believe that true and false are two relations between signs and things signified with equal rights. One could then, for example, say that "*p*" signifies in the true way what "~ *p*" signifies in the false way, etc.

The point in this latter case is that one should recognize that propositions do have sense independent of the facts, precisely because they can only be true or false propositions insofar as they are pictures of reality. What, then, does it mean for a proposition to have sense and to be a picture of reality? Wittgenstein supplies us with a possible answer:

> 4.027 It is essential to propositions, that they can communicate a *new* sense to us.
> 4.03 A proposition must communicate a new sense with old words.
> The proposition communicates to us a state of affairs, therefore it must be *essentially* connected with the state of affairs, and the connexion is, in fact, that it is its logical picture.
> The proposition only asserts something, insofar as it is a picture.

From this passage together with what we have quoted above, we can already begin to draw what may seem to be rather dramatic conclusions, for example, that insofar as a proposition involves the political qua ethical, it therefore attempts to signify something that is not within the world, and thus cannot have sense. To clarify this conclusion, we can consider the definition of 'political' which directed us toward actions aimed at state goals, and from there the question regarding the determination of state goals as either pertaining to the achievement of virtue as coincident with happiness, or instead the notion that virtue and ethics are not in the world, whereas happiness can somehow still be separated from virtue and bear some kind of relation to the world. This leaves us as a remainder both happiness and propositions that refer to politics, such that, through an inadvertent notion of the state as pertaining to ethics, our propositions concerning the political are aimed at ethics while nevertheless pertaining to happiness, i.e., propositions involving the political are inadvertently ethical for the sake of happiness. If this is accurate, then the question remains as to what Wittgenstein means by happiness, as well as how happiness is, if at all, connected with sense, facts, and true or false propositions.

To put the matter succinctly, if the ethical cannot be said, and if ethics or moral virtue are still connected with happiness, then happiness cannot easily bear any direct relation to true or false propositions. Wittgenstein's concluding passage of the

Tractatus seems to shed some light on how one should thus situate propositions altogether:

> 6.54 My propositions are elucidatory in this way: he who understands me finally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them. (He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed upon it.)
>
> He must surmount these propositions; then he sees the world rightly.
>
> Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.

If we relate political propositions concerning the state with this latter conception, then they are inadvertent in the same manner as the ladder Wittgenstein describes. For one climbs the ladder with the ladder itself in mind, otherwise one could not climb it at all. Yet at some point, recognizing this very inadvertency as such, means to kick the ladder away. Of course, we cannot say that this means one ought to kick away the state or polis itself, but rather that one can recognize all things political as an inadvertent means toward "seeing the world rightly." In this regard, if the *Tractatus* is also such a ladder, then the purpose of the text can be seen to mirror the purpose of politics and the state. How, then, is the *Tractatus* itself a means to happiness? Here we find assistance in the work of James C. Edwards' *Ethics Without Philosophy: Wittgenstein and the Moral Life*:

> According to the *Tractatus*, the self is the limit of the world, not part of it (TLP 5.641). Since the world is already the world of facts, not of things (1.1), and since that means that the world is the world that shows itself in propositions, and since the self is a necessary condition of propositional representation, then the self is the necessary condition of the world itself. "The world is *my* world" (TLP 5.62). But this transcendentally necessary self is merely the *limit* of the world, the seeing eye that is never a part of the visual field it surveys (5.633).
>
> The philosophical self which limits the world is, however, also a center of ethical affection, or, as Wittgenstein puts it, a center of *will*. Not, of course, that the will is a faculty of agency, the metaphysical self is completely powerless to alter the world's contingencies (6.373). The self is a center of will only in that it views the world with a certain (happy or unhappy) attitude (NB, p. 87).[3] The world of the happy self is a different world from that of the unhappy (TLP 6.43). Will is a mode of the metaphysical self's vision, staining the world with either despair or bliss; and the discovery of the sense of life—the answer to the ethical question—will be marked by the change in how the self's willing allows the unhappy world to become the happy one.[4]

With this picture and understanding of the *Tractatus*, we can clearly situate politics and the state within the world of facts, i.e., a world that only "shows itself in propositions" and "propositional representation." Hence it follows that one's "metaphysical self" cannot interact with the political or the state as such, but rather marks the limit thereof. Therefore, no state and nothing political can itself produce happiness. The question remains, then, how does one evaluate a political system or anything political

[3] Wittgenstein L. *Notebooks 1914-1916*. Oxford: Basil Blackwell, 1979.

[4] James C. Edwards. *Ethics Without Philosophy: Wittgenstein and the Moral Life* (Tampa: University Presses of Florida, 1982), pp. 67-68.

at all? Surely the state has real consequences, and yet it would appear that one's will has no influence over anything political, but rather can only engage itself as a transcendental and unrepresentable attitude or disposition toward politics and the state. Thus, we once again seem to arrive at the notion that the political, qua propositional representation, must be evaluated not according to ethics, but according to propositional truth, i.e., sensible showing.

If this is the case, then we can conclude with the suggestion that one can only evaluate the propositions of a constitution, the propositions stated by politicians concerning matters of state, and all other political propositions, according to two standards, one being the principle of inadvertency, which reveals the sense in which such propositions cannot be ethical even though they are motivated, ultimately, by the attempt to achieve that which only the transcendental self can achieve, namely happiness, which in turn underlies the ethical project. The second measure for evaluating political propositions, then, would be to judge them as pictures of reality and examine their truth or falsity according to Wittgenstein's logical analysis. Finally, we can see how the 'ought' has been relegated to metaphysics, leaving even political propositions subject to the more classical standard of the 'is'. Hence, Wittgenstein's more radical split between the state and nature, whereby the state takes on an inadvertent and representational factuality, nevertheless returns political matters to the 'natural' analysis of truth and falsity in propositions. Such, indeed, is the world for Wittgenstein, politics included.

Up to this point we have attempted to outline the consequences and conclusions that can be drawn about politics when applying Wittgenstein's theory of representation and ethics. From a historical perspective what is most compelling is the manner in which the state is characterized as natural in the ancient sense, unnatural in the early modern sense, and then natural again qua representation in a modern or in any case Wittgensteinian sense. On a more practical level, however, we can now consider our own encounter with the state and politics according to this latter view, and likewise investigate the extent to which inadvertency may or may not accurately characterize our experience of the political. With the above analysis in place, we can formulate the issue in a much clearer manner by asking a few questions. One question is: how, exactly, does a 'state' act? In other words, as Hцsle mentions in the passage above, political actions do not only occur through "organs of state," and therefore we must also wonder how it is even possible that state entities can be said to perform actions at all. It seems that such action, i.e., the action of a state or state entity (ministry, department, etc.), is only a 'state' action according to the representational reality of the political itself. To put it bluntly, people perform actions, and they are only the actions of a state in a representational sense. The difference that Wittgenstein's thinking places on this scenario is that instead of simply calling the state a human construct, we now encounter the kind of reality or naturalness that representational facts actually have. Thus, if we ask, how is the state real? The answer in this case would be that it is real qua representation. The added element of our analysis is

that a representational reality is likewise an inadvertent reality. Thus, saying that the political is real qua representation does not lessen its reality, but rather further characterizes the nature of its reality and the manner in which it is real. How, then, do we understand this nature; what does it mean to be an inadvertent reality?

The purpose in emphasizing the notion of inadvertency here is so that we can move away from the notion that representation is somehow artificial or merely symbolic. Symbolism and inadvertency are not the same, and the structure of representation seems to coincide more with inadvertency than it does with symbolism. This is, perhaps, as simple as saying that when people perform actions in the name of the state, they are not acting symbolically as much as they are inadvertently. Their actions are intended as state actions, yet what those actions achieve goes beyond the state itself. It is in this way that representational/state actions are real as representational, yet therefore inadvertently also produce facts of occurrence that can never be reduced to facts of representation or the state even when they are only intended as state actions.

As an example we might consider the recent election of now U.S. President Barack Obama. Historically speaking the election, the voting process, and the inauguration mark significant and in certain ways very symbolic events. Yet politically speaking, nothing much happened – there was a peaceful transfer of power that corresponded with the same process that has characterized the U.S. political system for over two-hundred years. This process in and of itself cannot be called an action; instead, it was the people who voted, the people who were elected, and all of the individuals involved in making this come to pass, in short, a large number of individual humans, who performed any actions, and they did so not for the sake of the political itself, but rather that for the sake of which the political itself qua representational reality exists – in this analysis, this 'for the sake of which' is happiness. Thus, each individual action is direct and intentional, it contributes to the political process, but the political process as such is an inadvertent goal for the sake of happiness. The fact that happiness remains for Wittgenstein a subjective disposition only strengthens the role it plays in carving the difference between individual actions as facts of occurrence, and political 'acts' as inadvertent facts of representation.

There is little mystery in this account, for in a way it is little more than a realist reduction of the political to individual human actions. The importance of such a reduction, however, may lie less in its level of accurate description, and more in its consequences for ideological thinking. What Wittgenstein's thinking seems to imply, when applied as it is here to the status and nature of the political, is that there can be no such thing as an actual 'ideal' state. By this I mean that the notion of a perfect political system ends up making no sense, save insofar as it is perfect in its functioning as an inadvertent means of representation for the sake of happiness. Put more emphatically, a government of any kind, when reduced to human actions, is one that does not exist – save insofar as it is indeed simply an inadvertent existence. If we reverse this suggestion it is easier to grasp: remove all individual actions from a gov-

ernment, and the government in question simply disappears. Where is the state, how does it exist, without the individual actions that exist as facts of occurrence which constitute such a state? The answer is that the state exists inadvertently, it is that for the sake of which such actions are performed, yet only insofar as the state itself exists inadvertently for the sake of happiness – and in this case, following Wittgenstein, it is a subjective happiness.

When we apply Wittgenstein's thought to politics we cannot really escape this conclusion, for we are forced, in terms of our ethical subjective selves, to reflect on the exact mode of existence a state might have in the world, and when we so reflect, we can only come back to ourselves in the world, and no part of us is in any factual way constituted by a state or political system. Even our actions cannot be so constituted, because then the ethical would have to be part of the actual world, and for Wittgenstein this cannot be the case. From a broader political-philosophical point of view, however, I would argue that there is much to be gained from eliminating the possibility of a perfect state. An action done for the sake of a perfect state is, it seems, different than action done simply for the sake of a state when it is not adorned with the trappings of perfection. An action done by someone who admits that the state for which the act is performed is still fallible, already recognizes that the state itself cannot be the ultimate aim of that action. Thus, there is a closer proximity to recognizing the state as an inadvertent goal in such thinking, than there is in an action done for a state because the state is perfect, or even for the goal of somehow perfecting the state. In other words, our critical ability is, it would seem, somewhat atrophied if we act for the sake of a perfect political system, whereas we seem to retain a greater distance and distinction between our actions and the political when we do away with the possibility of such a thing as a perfect government. Indeed, acting for the sake of a better government, or the improvement of a state, is a far cry from acting in the name of an already perfect system. In fact, the two notions are mutually exclusive, for how could one improve a perfect system?

In conclusion, Wittgenstein's thinking allows us to resituate the state as a natural phenomenon insofar as its actual existence is one of representation and inadvertency. His analysis of sense makes it impossible for facts of representation to be on a par with facts of occurrence, and his estimation of the status of the ethical as subjective and thus not part of the world makes it impossible for our actions to be constituted by politics. Furthermore, happiness, whatever that may truly mean for Wittgenstein, is also reintroduced into the political, as that for the sake of which the political is an inadvertent goal. Thus, we how, in at least these two senses, Wittgenstein's thinking brings the political back into more classical discussions, which centered around the polis as a natural phenomenon and a possible formula for the instantiation of happiness, yet the way in which the polis is natural is entirely modern, for it is a fact not of occurrence, but of representation, and it is an inadvertent means to an entirely subjective mode of happiness.

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ ВЛАСТИ И КУЛЬТУРЫ В КОНЦЕПТОЛОГИИ

А.И. Бардаков
Волгоградская академия государственной службы

Многообразие прошлых и современных исследований о мире социальности, к сожалению, не приближает человечество к постижению истины о путях его развития. Наше обращение к проблемам познания власти и культуры в концептологии обусловлено ее позиционированием как метадисциплинарного знания, пределы релевантности которого требуют своего определения.

Солидаризируясь с мнением С.С.Неретиной и А.П.Огурцова в том, что концепт следует истолковать не только «… как логически смысловой компонент глубинной семантической структуры отдельного высказывания или цепочки высказываний. … схватывание, замысел, но и зачатие»,[1] отметим, что сама концептология находится на этапе зачатия или своего раннего становления. К ее становлению причастны лингвисты, философы и политологи, которые единодушны во мнении об аксиологической атрибутивности концептов. Ценностный аспект концепта закладывает определенную логику восприятия мира и самым непосредственным образом влияет на эпистемологию власти и культуры.

Надо заметить, что лингвистическая концептология тесно переплетена с культурой и, по мнению В.И.Карасика, наличие лингвокогнитивного и лингвокультурного подходов понимания концептов предполагает «… выход на концептосферу социума, т.е. в конечном счете на культуру, а концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта, который становится достоянием индивида».[2] Ориентация лингвистов на ценностную сторону культуры позволяет им достигать высокой научной продуктивности при решении лингвокультурологических проблем. В пределах лингвистического исследовательского поля дефиниция концепта лингвокультурологии обладает полнотой и точностью: «… **культурный концепт – *многомерное смысловое образование, в котором выделяются ценностная, образная и понятийная***

[1] Неретина С.С. Концепты политического сознания / С.С. Неретина, А.П. Огурцов // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2009. – № 1. – С. 64.

[2] Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002. – С. 139.

стороны»[3], концепт является «… базовой единицей культуры, ее концентратом»[4] и первичным культурным образованием.[5]

В политической концептологии не наблюдается непосредственной включенности термина «культура» в исследовательское поле, но, характеризуя властно-управленческие отношения, политологи всякий раз апеллируют к уровню культуры исследуемого общества и оценивают власть в координатах культуры. Так, В.П.Макаренко, осуществляя критический анализ коммунитаристской теории, замечает: «Люди не могут выпрыгнуть за рамки собственной истории и культуры, которые воплощены в конкретных состояниях общества».[6]

Наиболее наглядно это проявляется в исследованиях А.В.Лубского, который утверждает, что «политическая концептология В.П.Макаренко – это стремление к целостному теоретическому и аксиологическому восприятию и воспроизводству политической реальности».[7] Развивая идеи политической концептологии, А.В.Лубский полагает, что «семантически политическая концептология – это наука о политических концептах»[8], а политические концепты в научном дискурсе, по его мнению, «… это теоретические конструкты, наполненные аксиологическим содержанием».[9] На ценностный характер политической концептологии обращает внимание и С.Г.Чукин в своей рецензии на книгу В.П.Макаренко «Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии».[10] Несмотря на краткость выстроенной аргументации, можно утверждать, что в политической концептологии, оперируя социально-политическими концептами как инструментарием познания социальности, определяют общественную значимость власти в лоне ценностного подхода культуры.

Трактовка культуры как части, элемента, момента, функции общества является доминирующим в научном знании. Попытки сформулировать универсальное понятие «культура» и тем более сформировать некое однозначное представление об этой, всеми признаваемой реальности, остаются безуспешными. Одной из причин этого состояния знания, на наш взгляд, является восприятие данного феномена, как части или сферы общественной жизни.

Так, Н.Ф.Алефиренко в предисловии к своей книге «Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры» констатирует, что

[3] Там же. – С. 129.

[4] Там же. – С. 138.

[5] Там же. – С. 147.

[6] Макаренко В.П. Политическая концептология: обзор повестки дня. – М., 2005. – С. 169.

[7] Лубский А.В. Политическая концептология как «захват мира политики» и приглашение к дискурсу // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2009. – № 1. – С. 122.

[8] Лубский А.В. Указ.соч., – С. 117.

[9] Там же. – С. 117.

[10] Чукин С.Г. Размышления над книгой В.П. Макаренко «Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии». Рецензия. [Электронный ресурс]. – Ростов-на-Дону, 2006. – http://polittheory.narod.ru

культура является особой сферой общественной жизни.[11] Раскрывая механизмы взаимосвязи знания, языкового сознания и культуры, ученый пишет: «… культура – это исторически обусловленный способ организации человеческого сознания».[12] Предлагая свою редакцию цитируемой нами мысли Н.Ф.Алефиренко: *культура – это исторически обусловленный процесс формирования (возделывания) человеческих качеств индивида*, мы разделяем в этой части идею трактовки культуры известным языковедом.

Мысль о корреляции культуры с человеческими качествами высказывается и С.Х.Ляпиным, который участвовал в обсуждении проблем концептологии в 90-е годы XX века. Он определяет культуру как «… универсальное измерение человеческого бытия, в котором любые фрагменты природы и (или) результаты человеческой деятельности становятся образцами, … по которым … развертываются другие … структуры человеческого отношения к миру»[13], или «… как обобщенно-универсальный … способ самоорганизации и саморазвития человеческого бытия».[14] Если же принять исходную посылку, что культура – сфера социума, то надо будет признать, что она формирует социальные качества индивида, в том числе, общественное, а не человеческое сознание. Соответственно, необходимо поставить знак равенства между культурой и идеологией, политическими технологиями и т.д. или, по крайней мере, ставить ее в один ряд с феноменами, которые носят явно антигуманный, антикультурный характер.

Соглашаясь с тем, что концептология значительно расширяет исследовательский потенциал ученых в формулировании оценочных (культурных) характеристик социальных явлений, следует заметить, что корреляция современной культуры с прошлыми и нынешними реалиями власти достаточно затруднена. Надежды на то, что власть обретет культурные формы и будет осуществляться в рамках общечеловеческих ценностей, были окончательно развеяны асоциальными действиями политических систем XX века. Более того «… в XX в., – по мнению С.С.Неретиной и А.П.Огурцова, – наблюдается обратный процесс - проникновения политики, отождествляемой с властью, во все сферы жизни».[15] За многовековую историю человечества сущность власти осталась неизменной – господство внутри социальной системы; стремление к господству над соседом-государством, над соседним континентом остается практикой XXI века.

---

[11] Алефиренко Н.Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. – М., 2002. – С. 8.

[12] Там же. – С. 191.

[13] Ляпин С.Х. Концептологическая формула факта // Концепты / Научные труды Центроконцепта. Вып. 2 (2). Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 1997. – С. 55.

[14] Ляпин С.Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты /Научные труды Центроконцепта. Вып. I. Архангельск: Изд-во Поморского госуниверситета, 1997. – С.17.

[15] Неретина С.С. Концепты политического сознания / С.С. Неретина, А.П. Огурцов // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2009. – № 1. – С. 30.

Все это позволяет полагать, что познание культуры социально-политическим инструментарием уподобляется исследованию социальности индивида путем изучения его анатомии. Видимо, есть необходимость в познавательном процессе вычленить культуру и социум не только как относительно самостоятельные, но и как качественно различные феномены, где власть является составляющей последнего. Возможно, в лингвистической концептологии каузальные нестыковки не обретают своей актуальности, так как за словосочетанием «языковая культура» вполне корректно понимать изысканную речь интеллигентов и специфический лексикон уголовников. В рамках же политической концептологии авторы, рассматривающие развитие форм власти, предлагают различные, а порой и взаимоисключающие варианты решения обозначенной проблемы. Но самое главное, каждый из участников этого процесса считает себя творцом явлений культуры, а других называет ретроградами и дикарями. Националисты всех мастей первейшие радетели культуры.

В.П.Макаренко, обстоятельно проанализировав потенциальные возможности неомарксизма, экзистенциализма, антигуманизма и постмодернизма в решении современных политических проблем, приходит к выводу, что они «… не в состоянии осознать главную дилемму современности: участие в политике по-прежнему необходимо, но успех такого участия все более сомнителен».[16] Сомневаются в возможностях политических систем как основания развития человечества не только теоретики концептологии, но и общественные, религиозные деятели. Высший иерарх одной из мировых религий Его Святейшество Далай-Лама отмечает: «… демократия, либерализм, социализм – все великие общественные движения последней сотни с лишним лет, несмотря на множество замечательных идей, так и не смогли выработать универсальную систему ценностей, которую, по идее, должны были обеспечить».[17] Выход из создавшейся ситуации религиозные деятели видят в преобразовании внутреннего мира индивида, в привитии ему духовности. По мнению же В.П.Макаренко, для преодоления современных негативных социальных тенденций «… политика должна приобрести совещательный, а не обязательный характер».[18] Не отрицая возможность преобразования внутреннего мира человека, достаточно сложно представить общество, в котором при принятии политического решения вождь не реализует свою властно-управленческую функцию, а ограничивается лишь рекомендациями. Надеяться на то, что политика обретет совещательный характер, а политические институты при принятии решения будут соблюдать этические нормы, не следует, поскольку социальность в целом и/или ее отдельные феномены в виде власти не могут остановить саморазвитие этой формы

[16] Макаренко В.П. Политическая концептология: первые итоги разработки // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2009. – № 1. – С. 88.

[17] Далай-Лама Этика в новом тысячелетии. – М., 2004. – С. 38.

[18] Макаренко В.П. Указ.соч., – С. 96.

бытия человечества. Концепт вечности доминанты социальности в формах организации жизнедеятельности людей приводит к социальному абсурду, проявляющемуся в политической борьбе, безмерном увеличении материальных благ отдельных представителей социума, и стремится утвердить себя как высшую ценность человечества. Прекратить абсурд социальности путем изменения политического устройства обществ не представляется возможным.

В многообразии политических решений проблем социальности в целом и власти в частности теории «множеств» М.Хардта, А.Негри, П.Вирно, Ж.-Л.Нанси, В.Мизиано имеют особое место. Подробное исследование данных теорий С.Г.Чукиным позволило сделать ему оптимистические выводы о дальнейшем развитии социальных систем. Автор полагает, что концепт «множество» проявляется в современной практике в том, что «… современные политтехнологи … все чаще сталкиваются с непривычным и неприятным для них фактом исчезновения привычных адресатов предвыборного оболванивания».[19] Признавая факт исчезновения определенного количества масс из коммуникационного поля манипулирования общественным сознанием, обратим внимание на два обстоятельства. Первое, если множества, понимаемые как единичности и сингулярности, отказываются от социально-политической деятельности, но идентифицируют себя в формах социальности, то в терминологии Ж.Бодрийяра – это смерть или конец социального, а в целом все это свидетельствует о рецессии в обществе. Второе, если же множества участвуют в социально-политической деятельности, но идентифицируют себя в формах бытия культуры, то это указывает на реальную практику развития человечества, которая в своем будущем имеет весьма опосредованное отношение к социально-политическим теориям.

Видимо, эффективность политической концептологии значительно возрастет, если ее исследовательское поле ограничить рамками социальной жизнедеятельности, а точнее, пределами, где очевидна доминанта общественных взаимосвязей. Исследователи политических концепций, как правило, обнаруживают тот рубикон, за пределами которого находятся формы бытия природы (биология, этология), где их суждения будут носить явно сомнительный характер. Понимая культуру как третью форму бытия наряду с природой и социумом и признавая ее существующей данностью, вполне логично полагать, что политическая концептология обнаружит свою ограниченность, вторгаясь на ее территорию. Так, культурологический категориальный ряд – «справедливость», «добро», «гуманизм», «счастье», «достоинство» и т.д., используемый политической концептологией, не разрывает замкнутого круга. Вести поиск справедливости в социальной системе или пытаться ее моделировать бесперспективно, поскольку сущностью этой системы является взаимная детерминация отношений и людей, с необ-

[19] Чукин С.Г. Об антропологических предпосылках философии политики // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. – 2009. – № 1. – С. 134-135.

ходимостью полагающая реализацию этой самой справедливости за счет других, другого. Пытаться оценить степень доброты власти или же с маниакальной одержимостью вещать об отстраненной власти как ужасе и зле, можно лишь для реализации идеологических установок существующей власти или же по причине отсутствия достаточной научной компетенции.

Можно полагать, что политическая концептология, синтезирующая теоретические знания, значительно продвинется в своем развитии, не вторгаясь в пределы форм бытия культуры. Например, управление является предметом политологического исследования, в пределах этого предмета исследования, определяя его эффективность, можно найти истину, если же мы попытаемся выяснить степень справедливости или уровень доброты управления, то неизбежно попадем в замкнутый круг. Власть, пытающаяся реализовать себя в формах бытия культуры, так же обнаруживает свою бесперспективность. В формах социального бытия всегда существуют властно-организационные структуры, позволяющие определить вождя не только в политике, экономике, но даже на конкуре «Мисс планеты». В формах же бытия культуры, в координатах человеческих отношений нет необходимости определять, кто самый добрый, справедливый, свободный и даже красивый – власть же, тем не менее, пытается их решить.

Русская власть: описания и рефлексии

ВЛАСТЬ, АВТОРИТЕТ И ГОСПОДСТВО В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФОРМЫ

В.Г. Ледяев
Государственный университет — Высшая школа экономики

Обычно политический режим в современной России характеризуется с помощью концепций авторитаризма, моделей «незрелой (делегативной, деформированной, управляемой, нелиберальной, частичной) демократии и/или как специфический демократически-авторитарный гибрид,[1] рассматриваются отклонения российской политической системы от нормативного идеала либеральной демократии, объясняются их причины и перспективы демократизации режима. В данной статье мною предлагается несколько иной способ анализа властных отношений, опирающийся на набор понятий и дистинкций, разработанных в аналитических и концептуальных исследований власти и ее форм (D. Wrong, S. Lukes, T. Wartenberg, J. Scott). Он предполагает выделение определенного набора форм власти (сила, принуждение, манипуляция, побуждение, авторитет, господство, правление предвиденных реакций, непринятие решений, эффективность власти и др.) и описания их проявлений и характеристик в современной российской политике. Но мой взгляд, данный подход может способствовать преодолению разрыва между теоретическими концепциями власти и способами описания реальных практик, стимулируя исследователей-эмпириков ориентироваться на разработанные концептуальные схемы, в которых выделяется весь спектр властных отношений, требующих изучения или, по крайней мере, учета при объяснении доминирующей модели власти в обществе. Кроме того, он способствует созданию аналитической структуры для сравнительных исследований власти в различных странах и регионах.

[1] N. Robinson, 'The politics of Russia's partial democracy', *Political Studies Review*, Vol. 1, No. 2 (2003), pp. 149-166; Х. Балзер, «Управляемый плюрализм: формирующийся режим В. Путина», *Общественные науки и современность*, № 4 (2004), с. 46-59; Ф. Закария, *Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами* (М.: Ладомир, 2003); В. Меркель и В. Круассан, «Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях», *Полис*, № 1-2 (2004); Л. Шевцова, «Россия – Год 2006: логика политического страха», *Независимая газета*, 16 декабря 2005 г.; D.L. Epstein, R. Bates, J. Goldstone, I. Kristensen and S. O'Halloran, 'Democratic transitions', *American Journal of Political Science*, Vol. 50, No. 3 (2006), pp. 551-569; G. Ekiert, J. Kubik and M.A. Vachudova, 'Democracy in the post-Communist world: An unending quest?', *East European Politics and Societies*, Vol. 21, No. 1 (2007), pp. 7-30; S. Hanson, 'The Uncertain future of Russia's weak state authoritarianism', *East European Politics and Societies*, Vol. 21, No. 1 (2007), pp. 67-81.

Разумеется, в статье вряд ли возможно рассмотреть все основные сферы российской политики, обозначаемые весьма вариативным «вокабуляром власти», тем более, что для предметного анализа нужны соответствующие эмпирические данные. Поэтому я ограничиваюсь лишь некоторыми значимыми направлениями анализа власти, которые базируются на трех концептуальных блоках: (1) господстве, (2) конфигурации форм власти (под ней понимается соотношение силы, принуждения, манипуляции, авторитета и других разновидностей, форм и характеристик власти) и (3) эффективности осуществления власти. Выбор данных концептов акцентирует внимание на ключевых вопросах в исследовании российской власти: *кто правит (господствует), каким образом и насколько эффективно.*

Господство

Господство представляет собой совокупность устойчивых и воспроизводящихся отношений власти и подчинения, обеспечивающих стабильные преимущества одних людей над другими. Оно возникает в результате формирования постоянных и повторяющихся отношений власти между группами людей, в которых господствующие группы используют власть в ущерб интересам других групп. Таким образом, понятие господства имеет два обязательных признака: (1) постоянный (повторяющийся) характер властных отношений и (2) воспроизводство различного рода выгод господствующих групп и ущерб тех, над кем господство осуществляется.[2]

Господство одних групп над другими обеспечивается различными факторами, определяющими специфику его форм и проявлений. Оно может быть основано на силе, численности, военном и техническом превосходстве, сословных привилегиях, религиозных нормах и традициях, экономическом могуществе, культурной идентичности, знании и т.д. Во всех случаях господства привилегированное положение господствующей группы (например, обладание монополией на определенные товары и услуги) позволяет ей контролировать опции, открытые для других групп и тем самым оказывать влияние на их мотивационную структуру, вынуждая принимать определенные (неравные) паттерны обмена и/или (несправедливый) социальный порядок. Господство также проявляется в способности социальных субъектов включать (или исключать) других

[2] В отличие от власти, которая бывает нестабильной, ограниченной по времени своего существования, а ее субъекты и объекты часто меняются своими местами, господство обладает относительной прочностью, которая поддерживается существующими социальными институтами и структурами; оно не сводится к единичным актам реализации воли отдельных людей и групп по отношению к другим, а выражает момент устойчивости в их отношениях между собой. В условиях господства властные отношения постоянно воспроизводят существенные преимущества одних групп над другими (рабовладельцев над рабами, дворян над крестьянами, мужчин над женщинами, собственников над наемными работниками) и тем самым формируют и закрепляют социальное неравенство. Однако не любое неравенство является выражением господства, а только то, в котором господствующие группы направляют и предопределяют действия других групп.

субъектов в какие-то значимые социальные круги (группы), определяя их идентичность и жизненные перспективы.[3]

Применительно к *западной демократии* концепция господства обычно используется для объяснения доминирующего положения в обществе крупного (корпоративного) бизнеса (капиталистического класса). Например, У. Домхофф утверждает, что «владельцы и топ-менеджеры крупнейших корпораций являются доминирующими властными фигурами в Соединенных Штатах. Их корпорации, банки, агробизнес представляют собой *корпоративное сообщество*, которое доминирует над федеральным правительством в Вашингтоне. Их недвижимость, сооружения и компании по использованию земли формируют *коалиции роста*, господствующие на местном уровне. Несмотря на наличие соперничества внутри корпоративного сообщества и в коалициях роста, связанного с борьбой за прибыль и выгодное инвестирование, а также периодически возникающие трения между национальными корпорациями и местными коалициями роста, они едины в тех ситуациях, где решение проблем определяет общий уровень их благосостояния или имеет место вызов со стороны рабочего класса, либералов, защитников окружающей среды и территорий.[4] Аналогичной точки зрения придерживается Дж. Скотт в отношении структуры власти в Великобритании, где, по его мнению, правит «капиталистический класс», чье «экономическое господство поддерживается государством, а члены капиталистического класса диспропорционально представлены во властвующей элите, контролирующей государственный аппарат».[5] Государственной бюрократии (политической элите) в этих концепциях отводится хотя и крайне важная, но все же вторичная (ведомая) роль, ограниченная приоритетами крупного бизнеса.[6]

Иное объяснение системы господства и его субъектов использовалось в отношении *коммунистического политического режима*, длительное время существовавшего в СССР. При всех различия в интерпретации и аргументации,[7] советологи практически единодушно утверждали, что в советском обществе

---

[3] Обстоятельное объяснение господства содержится в следующих работах: M. Weber, 'The economy and the arena of normative and de facto powers', in: G. Roth and C. Wittich (eds), *Economy and Society*, (New York: Bedminster Press, 1968); T. Wartenberg, *The Forms of Power: From Domination to Transformation*, (Philadelphia: Temple University Press, 1990), pp. 115-139; J. Scott, *Power* (Cambridge: Polity Press, 2001), pp. 16-24, 71-91.

[4] G.W. Domhoff, *Who Rules America? Power and Politics in the Year 2000* (L.: Mayfield Publishing Company, 1998), p. 1.

[5] J. Scott, *Who Rules Britain? (Cambridge: Polity Press,* 1991), p. 151.

[6] Следует отметить, что далеко не все исследователи используют концепции господства *применительно к современным западным демократиям*. В частности, сторонники плюралистического подхода к объяснению распределения власти (Р. Даль, Р. Уэйст, Г. Макленнан и др.) отвергают наличие господствующего (правящего) класса, акцентируя внимание на групповом характере политики, обусловливающем наличие разных центров и ресурсов власти в обществе, между которыми ведется постоянное соперничество, предотвращающее формирование единой группы людей, доминирующей в решении важных социальных вопросов. Однако их оппоненты (марксисты и т.н. «элитисты») не склонны преувеличивать уровень дисперсии власти в современном обществе, акцентируя внимание на том, что наиболее важные решения принимаются в интересах определенных групп людей, к которым явно благоволит и само устройство общества.

[7] Подробный анализ советологических интерпретаций советской общественной системы дается Л. Холмсом (L. Holmes, *Politics in the Communist World* (Oxford: Clarendon, 1986).

господствовала партийно-государственная бюрократия, которая не только монополизировала процесс принятия политических решений и выработку идеологических приоритетов, но и фактически была «совокупным капиталистом», распоряжаясь объектами государственной собственности.

Кто доминирует в *современной России* – крупный бизнес (капиталистический класс) или административный класс (бюрократия)? Сегодняшняя структура политической власти и господства в России, казалось бы, более соответствует традиционным объяснениям господства в западных (капиталистических) странах, поскольку крушение коммунизма и переход к рынку привели к становлению общественной системы, воспроизводящей капиталистические паттерны господства. Относительно второй половины 90-х гг. XX века данное объяснение представляется довольно убедительным, что косвенно подтверждается распространением утверждений об установлении в России в этот период *авторитарно-олигархического* режима, в котором слабая политическая власть оказалась зависимой от представителей крупного бизнеса. Однако в настоящее время данное объяснение стало менее популярным, что отразило определенные изменения, ассоциирующиеся с деятельностью В.В. Путина.

Большинство исследователей называют современный политический режим в России *авторитарно-бюрократическим*, акцентируя внимание на том, что именно бюрократия стала ведущей силой в определении ключевых аспектов российской политики и выработки базовых принципов функционирования социальной системы. Так, А.И. Соловьев считает, что в современной России режим «управляемой демократии» трансформируется в «административный режим»; это сопровождается созданием «структурных предпосылок для складывания неономенклатуры, то есть целостного, закрытого от общественности слоя, контролирующего все рычаги власти и управления».[8] М.Н. Афанасьев определяет господствующий слой в России как «постноменклатурный патронат», в котором при Путине изменилось соотношение сил в пользу личной власти Президента и центральной бюрократии.[9] Л.И. Никовская и В.Н. Якимец пишут о «бюрократической стабилизации», которая характеризуется тем, что в отсутствии консолидированного гражданского общества бюрократические структуры «*из инструмента управления превращаются в управляющую силу*»,[10] а В.-Граждан размышляет о том, возможна ли в России антибюрократическая революция.[11]

---

[8] А.И. Соловьев, «Технологии администрирования: политические резонансы в системе власти современной России», *Власть*, № 1 (2005), с. 53-57 (с. 56-57).

[9] М.Н. Афанасьев, «Российская Федерация: слабое государство и «президентская вертикаль»», *Страна после коммунизма: государственное управление в новой России*. Т. 1. (М.: Институт права и публичной политики, 2004), с. 175-206 (с. 183-201).

[10] Л.И. Никовская и В.Н. Якимец, «Развитие публичной политики в России и Украине», М.Б. Горный и А.Ю. Сунгуров, ответственные редакторы, *Публичная политика*: Сборник статей (СПб: Норма, 2006), с. 21-34 (с. 22).

[11] В. Граждан, «Антибюрократическая революция: возможна ли она?», *Власть*, № 10 (2004), с. 42-52.

Попробуем систематизировать аргументы в пользу тезиса о (преимущественно) бюрократическом характере господства в российском обществе. Начнем с того, что для целого ряда аналитиков оно является естественным (аксиоматичным) в силу некоей *предрасположенности России к доминированию властно-политических (административных, бюрократических, государственнических)* факторов, определяющих все остальные аспекты общественной системы, место и роль социальных групп, в том числе и ресурсы влияния экономических акторов;[12] Россия всегда была «политическим» обществом в отличие от «экономического» общества европейского типа.[13] По их мнению, несмотря на периодические смены элит, в России сохранялся данный тип господства, и в своих основных чертах он естественным образом продолжает воспроизводиться в современной российской практике.

Однако мне представляется более продуктивным вывести за скобки рассуждения о предопределенности данного типа общественного устройства и рассмотреть конкретные факторы (основания) господства и его проявления в различных сферах общественной жизни: 1) кто занимает стратегические властные позиции, 2) получает наибольшие выгоды, 3) успешно инициирует, корректирует или блокирует ключевые политические решения, 4) определяет «повестку дня», 5) оказывает наибольшее влияние на общественное мнение, 6) успешно мобилизует политические ресурсы и 7) обладает «властной репутацией»?[14]

На мой взгляд, наиболее существенным стратегическим фактором, обусловливающим доминирующее положение административно-бюрократического класса в России является *расширение сферы государственного (бюрократического) контроля в осуществлении экономической и социальной регуляции*. Независимо от того, как оценивается «строительство вертикали власти в России» – как механизм укрепления дееспособности государства или средство сохранения власти в руках господствующих групп – объективно данная политика реализует стратегические цели бюрократии, которая становится основной силой, цементирующей общество и определяющей направление его развития. Попытки поставить под контроль те зоны, которые при предшествующем (ельцинском) режиме были относительно свободными (СМИ, политические и гражданские организации, региональные и муниципальные структуры), усиление контролирующей роли государства в экономической сфере (увеличение числа крупных компаний, в которых государство владеет контрольным пакетом, растущая практика использования разнообразных способов вмешательства в дела бизнеса, например, с целью сделать его «социально ответственным») и фор-

[12] Ю. Пивоваров и А. Фурсов, «Русская система», *Политическая наука*, № 3-4 (1997); А. Ахиезер, *Россия: критика исторического опыта* (Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997).

[13] О. Гаман-Голутвина, *Политические элиты: Вехи исторической эволюции* (М.: РОССПЭН, 2006); О. Крыштановская, *Анатомия российской элиты* (М.: Захаров, 2005).

[14] G.W. Domhoff, 'Who Rules America?', pp. 18-23; D. Vogel, 'The power of business in America: A re-appraisal', *British Journal of Political Science*, Vol. 13, No. 1 (1983), pp. 19-43.

мировании общественного сознания неизбежно ведут к «расширенному воспроизводству» бюрократии, несмотря на непрекращающиеся попытки (или имитации попыток) сокращения государственного аппарата.

Поддержанию доминирующего положения бюрократии в современном российском обществе способствует *упрочившаяся практика «управляемой демократии»*. Для правящей элиты, более всего заинтересованной в стабильности, выгоднее не уничтожение демократических институтов, а их адаптация к собственным интересам. Наличие формальных демократических институтов создает (наряду с закулисными площадками) важный механизм упорядоченного торга и согласования интересов различных групп правящего класса, оставляющий возможность апелляции к институционализированным правилам игры и формализованным процедурам; демократические институты способствуют легитимации режима и служат дополнительным каналом рекрутирования кадров и вертикальной мобильности.[15]

Важнейшим фактором бюрократического господства является *слабость правовых начал в российском обществе*. Вследствие этого бюрократия имеет большой диапазон действий по своему усмотрению, обладает возможностью менять (формальные и неформальные) правила игры, в то время как общество ограничено в возможностях контроля за принятием и исполнением государственных решений. Преобладание неформальных практик и избирательное применение закона (об этом речь пойдет в следующей части статьи) позволяют бюрократии использовать государственные полномочия для достижения своих корпоративных интересов и подчинения (*в качестве реального субъекта власти, а не формального транслятора нормы закона*) других общественных групп, в том числе высоко-ресурсных (бизнес).

Неэффективность права напрямую связана с *сохранением очень высокого уровня коррупции в государственном аппарате*.[16] Он свидетельствует (кроме всего прочего) о высокой зависимости общества от лиц, наделенных государственными полномочиями. Кроме того, данный процесс указывает на наличии серьезных барьеров на пути «нормального» (в соответствии с законом) решения экономических, коммерческих, профессиональных, организационных и других вопросов, в которых заинтересовано большинство простых граждан.

Высокий уровень коррупции выступает и в качестве базового показателя *перераспределения общественных благ в пользу административного класса*. Другими показателями привилегированного положения бюрократии в системе распределения являются устойчивый рост доходов государственных служащих, значительно опережающий рост доходов других «бюджетных» слоев населе-

[15] К.Г. Холодковский, «Политическая модернизация и будущее России», А.И. Соловьев, отв. редактор, *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004* (М.: РОССПЭН, 2004), с. 251-265 (с. 256-258).

[16] В. Граждан, «Коррупция: одолеют ли ее россияне?», *Власть*, № 12 (2004), с. 4-14; Г. Сатаров, «Транзит, демократия и коррупция: региональные особенности в России», отв. редактор А.И. Соловьев, *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004* (М.: РОССПЭН, 2004), с. 230-248.

ния, иной по сравнению с основной массой населения уровень пенсионного обеспечения, сохраняющиеся социальные льготы и др.[17]

Однако главным свидетельством доминирующей роли бюрократии в распределении экономических благ является бюрократическое происхождение значительной части современного российского бизнеса; многие государственные служащие являются бизнесменами и естественным образом используют формально-властные полномочия для успешного продвижения своих бизнес-интересов («административное предпринимательство»); для них данная функция является определяющей в их повседневной мотивации при осуществлении своих государственных функций (об этом речь пойдет далее). В совокупности все эти факторы позволяют говорить о «распределительном господстве» (Э. Гидденс) административно-политического класса в российском обществе.

Существенным фактором усиления господства бюрократии является нарастающее после 2000 года *распространение идеологии, в которой превозносятся ценности государства, державы, стабильности, порядка, управляемости, традиционного уклада, самобытности.* Соответственно, ценности демократии, свободы, модернизации и вхождения в мировое сообщество занимают периферийное место в общественном сознании и системе ценностей политического класса.

Данный идеологический поворот в российском обществе был обусловлен различными причинами, но не последнюю роль здесь сыграли прагматические ориентации правящего класса. Если доминирующей идеологией начала и середины 90-х гг. был экономический либерализм, ориентированный на минимизацию регулирующих функций государства и выполнявший при этом роль идеологического прикрытия завоевания собственности, то к началу 2000-х гг. наметился «консервативный сдвиг», что вполне отвечало потребностям доминирующих акторов в поддержании статус-кво.[18] Таким образом, *российский правящий административный класс осуществляет культивацию ценностей, способствующих воспроизводству условий своего господства*.

Наконец, решающим фактором, определившим доминирующее положение государственной бюрократии в современной российской политике стало существенное *снижение политического влияния крупного бизнеса*, связанное как с последствиями дефолта, так и, прежде всего, с целенаправленными действиями новой политической элиты по ограничению политического пространства и вытеснению из него автономных высоко-ресурсных акторов. Опираясь на высокий персональный авторитет В.В. Путина, бюрократии в целом удалось добиться желаемых результатов. Крупный бизнес и ранее не обладал

[17] По основным показателям удовлетворенности жизнью (материальная обеспеченность, возможность хорошо питаться, одеваться, жилищные условия, социальный статус в обществе и др.) отечественные чиновники стоят на несколько порядков выше подавляющего большинства населения (см. *Бюрократия и власть в новой России* (М.: ИС РАН, 2005), с. 96.

[18] В. Радаев, *Экономическая социология* (М.: ГУ-ВШЭ, 1998), с. 297-301; В. Гельман, «Институциональное строительство и неформальные институты в современной российской политике», *Полис*, № 4 (2004), с. 6-26 (с. 13).

высоким уровнем (политической) организованности,[19] что позволило некоторым аналитикам говорить об «олигархах без олигархии» (А. Зудин). А после предпринятой массированной атаки на тех, кто стремился сохранить свою политическую автономию и участвовать в публичной политике (особенно после «дела Юкоса») российский бизнес, по сути, смирился с новым форматом отношений с властью и перестал претендовать на публичную роль в российской политике.

В новой системе отношений власти и бизнеса ведущую роль играет административно-политический класс, тогда как бизнесу отводится роль ведомого: отношения и консультации с бизнесом не затрагивают стратегических направлений общественного развития («полный запрет на политику»). Кроме того, административный класс все более отстраняет бизнес от участия в принятии основных экономических решений народнохозяйственного уровня («частичный запрет на экономику»), от обсуждения ключевых вопросов, касающихся естественных монополий (в данной сфере бизнес допускается лишь к участию в реализации решений, принятых властью), содержательных аспектов деятельности федеральных электронных СМИ и др.[20] В отличие от ельцинского правления, в период которого имел место «захват государства бизнесом»,[21] в настоящее время можно говорить скорее о «захвате бизнеса государством» в лице бюрократии – установлении чиновниками неформального контроля над теми или иными бизнес-структурами и использовании их ресурсов для решения некоторых ведомственных или личных задач.[22]

Усилению позиций административно-политической элиты в отношениях с бизнесом способствовала их постепенная *институционализация и формализация*. Некоторое повышение статуса ряда организаций бизнеса (РСПП, ТПП, «Деловая Россия и др.) и формирование «режима консультаций», с одной стороны, предоставили бизнесу легальную площадку для переговорного процесса с административной элитой, с другой стороны, формальные структуры оказались под контролем Кремля, который осуществляет «сертификацию» участников переговорного процесса. Тем самым «трансформируется политический статус групп интересов: «группы давления» фактически сменяются «группами влияния». Плюрализм системы сохраняется, но каждое звено становится менее автономным. Вместе с институционализацией групп интересов одновременно происходит и закрепление их слабости и зависимости от государства. Соотно-

[19] Единственное исключение составляет альянс крупного бизнеса вокруг кандидатуры Б.Н. Ельцина на президентских выборах 1996 г.

[20] Я. Паппэ, «Отношения федеральной экономической элиты и власти в России в 2000-2004 годах: торможение в центре и новая стратегия в регионах», отв. ред. Я. Фрухтман, *Региональная элита в современной России* (М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005), с. 77-92 (с. 81).

[21] А. Яковлев, «Эволюция взаимоотношений между властью и бизнесом и движущие силы экономического развития в России: до и после «дела Юкоса»», отв. ред. Я. Фрухтман, *Региональная элита в современной России* (М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005), с. 12-36 (с. 13-18).

[22] Паппэ, с. 81.

шение сил внутри системы фактически исключает ситуации, когда интересы групп давления могут быть навязаны власти».[23]

В «повседневных» отношениях между бюрократией и бизнесом доминирование бюрократии осуществляется с помощью избирательного применения закона, использования контролирующих структур (СЭС, налоговые инстанции, экологические службы и др.), создания и/или сохранения всевозможных (формальных и неформальных) барьеров, которые бизнес должен преодолевать.[24] Бюрократия в целом заинтересована в сохранении данной ситуации, поэтому принципиальных изменений в системе, дающей чиновникам возможность извлекать «статусную ренту» не происходит, несмотря на постоянные попытки (или их имитации) реформирования государственной структуры.

Наконец, существенным фактором, ограничивающим политическое влияние бизнеса, является то, что он не обладает достаточной популярностью среди других социальных групп российского общества. Именно поэтому он не может успешно апеллировать к общественному мнению. В России доминируют негативные установки массового сознания в отношении бизнеса, что в целом поддерживается властью, которой выгодно снять с себя и переложить на крупный бизнес значительную долю ответственности за положение дел в стране.[25]

В результате бизнес-сообщество вынуждено принять новый формат отношений с властью, подчиниться попыткам чиновников навязать ему «социальную ответственность» и отказаться от публичных выступлений против власти по принципиальным вопросам.

В контексте данной ситуации правомерно возникает вопрос о том, обладает ли бизнес т.н. «структурной властью» – т.е. преимуществами перед другими группами, обусловленными чисто институциональными и структурными факторами?[26] Эмпирическим путем наличие и силу структурной власти можно

[23] А. Зудин, «Взаимоотношения крупного бизнеса и власти при В. Путине и их влияние на ситуацию в российских регионах», отв. ред. Я. Фрухтман, *Региональная элита в современной России* (М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005), с. 37-64 (с. 44-45).

[24] Граждан, с. 48-49.

[25] Зудин, с. 47-53.

[26] Изначально идея структурной власти была сформулирована марксистами и противостояла т.н. «инструменталистской» концепции господства, которая объясняла доминирующее положение капиталистического класса в буржуазном обществе его преобладанием в государственных структурах (R. Miliband, *The State in Capitalist Society* (L.: Weidenfeld and Nicolson, 1969)). В отличие от «инструменталистов», сторонники структуралистского подхода акцентировали внимание на объективном и имперсональном характере связи между государством и господствующим классом. По их мнению, в капиталистическом обществе государство действует в интересах класса буржуазии не (столько) в силу преобладания представителей класса в государственном аппарате и их конкретных усилий: сама структура современного государства и его место в буржуазном обществе обусловливают объективную (структурную) зависимость государства от характера капиталистического производства и потому действует в определенной логике во многом независимо от носителей государственной воли. Подчеркивается, что в условиях частной собственности государство не обладает непосредственным контролем за средствами производства, и поэтому его доходы зависят от наличия сильного частного сектора, что заставляет государство ориентироваться на поддержку бизнеса (C. Offe, *Contradictions of the Welfare State* (L.: Hutchinson, 1984)). Идея структурной власти («привилегированной позиции») бизнеса получила распространение и среди немарксистских исследователей (Ч. Линдблом, С. Элкин, К. Стоун, Дж. Драйзек). При этом было признано, что структурная власть бизнеса не является постоянной и абсолютной, а существенно варьируется в различных странах. Ее уровень зависит от параметров экономической системы (соотношения частного

определить только в ситуациях явного (открытого) расхождения ее приоритетов с общественным мнением и приоритетами населения, групп давления или интенциями отдельных политиков. Исходя из некоторых косвенных признаков (создание условий для развития бизнеса, общий рост доходов предпринимателей, «рыночные» ориентации «красных» губернаторов в регионах) можно предположить, что *структурный фактор присутствует*.

Однако можно предположить, что его влияние в России существенно слабее по сравнению с развитыми странами. Это обусловлено тем, что по большинству из указанных выше параметров Россия вряд ли может быть отнесена к странам, в которых структурные факторы максимально благоприятствуют доминирующей роли бизнеса: инвестиционный климат остается не самым благоприятным в силу высоких рисков, значительная часть капиталов продолжает вывозиться за рубеж, растет доля государственной собственности, что объективно подрывает позиции частного капитала; при этом у правящей элиты есть масса своих собственных ресурсов, прежде всего административных, для сохранения своей власти, а электоральное поведение значительной части россиян слабо коррелирует с динамикой экономического развития.

Аналитики специально подчеркивают, что у нынешней административной элиты нет особой необходимости в стратегическом союзе с бизнесом (как, впрочем, и с любым другим социальным слоем или группой). «С одной стороны, она «аффилирована» со сверхпопулярным В. Путиным, с другой – экономический рост и благоприятная внешняя конъюнктура позволяют государству выполнять свои обязательства, не прибегая к экстраординарным механизмам финансирования». Другим объективным фактором, снижающим структурный потенциал доминирования бизнеса выступают эгалитарные настроения в российском обществе, поддерживаемые «антиолигархической риторикой» правящего класса.[27]

В любом случае, *конкретная политика автоматически не предопределяется влиянием структурных факторов, а формируется в ходе политической борьбы*, в которой интересы бизнеса могут сталкиваться с мощными противовесами, что имеет место и в современной России. Структурная власть влияет на политику не столько на уровне конкретных решений, сколько в процессе формирования предмета принятия решений («повестки»), где преобладают вопросы обеспечения национальной конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, поддержки бизнеса и экономического роста, которые часто оттесня-

капитала и государства в экономике, инвестиционного климата в стране, мобильности капитала, зависимости бюджетов (федерального, региональных и местных) от успешного развития бизнеса и др.), специфики политических институтов и особенностей политического процесса (степени реальной зависимости между успехами экономической политики правящей элиты и уровнем ее электоральной поддержки со стороны населения, готовности бизнеса финансировать электоральные кампании политических элит в обмен на политику наибольшего благоприятствования, свободное развитие бизнеса, защиту частной собственности, гражданских прав и свобод) (см. Д.Б. Тев, «Теория структурной власти бизнеса: сущность и критика», отв. ред. А.В. Дука, *Власть и элиты в российской трансформации* (СПб.: Интерсоцис, 2005), с. 30-64).

[27] Паппэ, с. 81.

ют на второй план проблемы социальной защиты, экологической безопасности, социального равенства и другие темы, обычно более всего волнующие простого избирателя.[28] Структурная власть изменяет структуру стимулов акторов в пользу определенных альтернатив, однако процесс их выбора все же остается за субъектами. В данном случае – за административным классом.

Вывод о том, что господствующей силой в современном российском обществе является административный класс, до сих пор основывался на его противопоставлении бизнесу. Между тем в российской реальности эти две группы не только тесно взаимосвязаны, но и, в известной мере, взаимопроникают друг в друга. О сращивании административной элиты и бизнеса пишут многие исследователи. Например, В. Шляпентох: «В сегодняшней России границы между публичной и частной сферами либо размыты, либо вообще не существуют; власть и собственность настолько переплетены, что их часто невозможно отделить друг от друга. Подобно средневековым баронам, российские бюрократы на всех уровнях иерархии используют свою политическую власть для осуществления контроля над собственностью, в то время как богачи обменивают деньги на власть, чтобы контролировать политические решения».[29] Генетическая связь российского бизнеса с административным классом уходит корнями к рубежу 80-90-х гг., «комсомольской экономике», приватизации, залоговым аукционам. «Российская олигархия вышла из недр старого политического класса – *номенклатуры*» – пишет О. Крыштановская.[30]

Сегодня «административное предпринимательство» по-прежнему является массовым явлением; чиновники и политики, в том числе занимающие самые высокие должности, используют свои властные позиции для продвижения своего бизнеса. С этой целью основная масса предпринимателей стремится попасть в государственные структуры различного уровня.[31]

Это означает, что значительная часть административно-политического класса одновременно является и представителем класса предпринимателей. Сказанное отнюдь не противоречит выводу о том, что доминирующее положение в современном российском обществе занимает административно-политический класс, поскольку именно принадлежность к данному классу, как правило, является важнейшим фактором успешного бизнеса «бюрократических капита-

[28] Тев, с. 59-64.

[29] Цит. по: В. Ачкасов, «Российская правящая элита и построение «эффективного, конкурентоспособного государства»», отв. ред. А.В. Дука, *Власть и элиты в российской трансформации* (СПб.: Интерсоцис, 2005), с. 110-121, (с. 117-118).

[30] Крыштановская, с. 332.

[31] В Государственной Думе не менее 300 депутатов (из 450) в той или иной степени связаны с бизнесом (в качестве владельцев крупных или средних предприятий, «политических менеджеров», делегированных в парламент крупными корпорациями, профессиональных лоббистов или просто объектов политических инвестиций со стороны спонсоров), в Совете Федерации представлены лоббисты большинства крупных компаний, причем прорыв бизнеса в верхнюю палату парламента состоялся уже в период правления В. Путина (Зудин, с. 39, 54-58). В региональных парламентах также наблюдается устойчивый рост представительства бизнеса. 13 российских губернаторов – бывшие топ-менеджеры или крупные собственники (О. Крыштановская, «Формирование региональной элиты: принципы и механизмы», *Социологические исследования*, № 11 (2003), с. 3-13).

листов», а не наоборот. При этом обладание экономическими ресурсами усиливает властные возможности бюрократии, а «двойная идентичность» может способствовать более устойчивому взаимодействию между двумя группами. «Чиновничий бизнес» не только не подрывает основы бюрократического господства, а, безусловно, усиливает его, свидетельствуя о привилегированном положении административного класса в российском обществе, которое достигается, в том числе, и с помощью воспроизводства условий для успешного совмещения и эффективного использования административных и коммерческих возможностей. При этом доминирующие позиции в решении стратегических вопросов остаются в руках административного класса, который обладает возможностью принять (в случае необходимости) жесткие меры по отношению к бизнесу или его отдельным группам (но не наоборот).

Не противоречит нашему выводу и тот факт, что благосостояние (богатство) бизнеса (несмотря на «запрет на политику» и «равноудаленность») отнюдь не снизилось, а количество богатых людей в России увеличивается быстрее, чем в других странах. Дело здесь не только в «структурной власти», но и том, что рост доходов бизнеса сам по себе не вызывает каких-либо негативных последствий для административного класса: здесь нет «игры с нулевой суммой» (в отличие от политики, где чрезмерное возвышение отдельных групп крупного бизнеса несло угрозу бюрократическому господству). Господство отнюдь не предполагает, что остальные социальные группы совсем не имеют влияния и находятся в угнетенном положении. Последнее имеет место в том случае, если оно является условием сохранения привилегий доминирующей группы, которая (и это главный показатель господства) обладает способностью устанавливать правила, по которым должны действовать другие группы.[32] *Бизнес и другие группы могут получать выгоду из создавшейся ситуации, но они не могут изменить ее*. Для ее обозначения К. Доудинг предпочитал термин «системная удача» (вместо «власти бизнеса»), под которой он понимал возможность субъекта получить то, что он хочет, не прибегая к каким-либо усилиям.[33]

В отличие от «удачи», власть предполагает способность субъекта преодолевать сопротивление объекта или изменять ситуацию. С этой точки зрения, можно говорить о власти (господстве) административного класса и «удаче» бизнеса, который в отдельных ситуациях может быть и субъектом власти, если продемонстрирует способность контролировать (определять) положение дел, а не только пользоваться благоприятным моментом. Бизнес имел власть в 90-е годы, но в настоящее время говорить о том, что в российской политике преобладает бизнес, вряд ли возможно.

[32] Domhoff, p. 5.
[33] K.M. Dowding, *Power* (Buckingham: Open University Press, 1996), p. 71.

Формы власти

Существует много различных классификаций форм власти. В данной статье я использую предложенную мною ранее классификацию форм власти,[34] близкую к известной классификации Денниса Ронга.[35] По источникам подчинения (а именно этот критерий является наиболее существенным для объяснения многообразия властных отношений) набор основных форм власти включает в себя *силу, принуждение, побуждение, убеждение, манипуляцию и авторитет*. Не менее важным представляется характеристика специфических форм власти («*правление предвиденных реакций*» (the rule of anticipated reactions),[36] *принятие и непринятие решений, формирование политического сознания*), которые нередко оказываются вне поля зрения исследователей, изучающих различные проявления политической власти.

С точки зрения нормативного идеала современной либеральной демократии, определяющей формой политической власти являются (должны быть) (1) *легальный авторитет* (в ситуациях, где власть дана определенным государственным структурам или лицам, занимающим государственные должности) и (2) *убеждение* (во взаимоотношениях равноправных (неподчиненных друг другу) субъектов или политических структур). *Легальный авторитет* представляет собой «властное отношение, в котором субъект обладает признанным *правом командовать*, а объект – признанной обязанностью повиноваться».[37] Объект признает и выполняет действующие правовые нормы, что и определяет мотив подчинения субъекту.[38]

В современной России легальный авторитет не занимает должного места в системе политической власти. Данный вывод представляется достаточно очевидным и вполне естественным. Ссылки на превалирование неформальных отношений в системе государственной власти и управления являются общим местом практически всех работ, посвященных изучению российских социально-политических процессов.[39] Засилье неформальных практик и слабость ле-

[34] В. Ледяев, «Формы власти: типологический анализ», *Полис*, № 2 (2000), с. 6-18.

[35] D.H. Wrong, *Power: It's Forms, Bases, and Uses*. With a new introduction by the author (New Brunswick and L.: Transaction Publishers, 2002), pp. 21-64.

[36] Термин «правление предвиденных реакций» (the rule of anticipated reactions) был впервые использован К. Фридрихом для объяснения тех случаев осуществления власти, где объект действует в соответствии с предполагаемыми намерениями субъекта, предвидя его реакции (C. Friedrich, *Constitutional Government and Politics* (NY: Harper and Brothers, 1937), pp. 16-18.

[37] Wrong, с. 49. Ронг предпочитает термин «легитимный авторитет». Однако, на мой взгляд, понятие «легальный» точнее, поскольку оно четко указывает на источник авторитета – легальные нормы, законы, статусные права, тогда как ссылка на легитимность вполне допустима и применительно к другим ситуациям, например, к традиционному авторитету.

[38] Очевидно, что место и роль легального авторитета в системе политической власти непосредственно зависят от уровня правосознания общества и укоренения привычки граждан следовать правовым нормам; в ином случае наличие формального права командовать не позволит субъекту осуществлять власть *в форме легального авторитета*, что вызовет либо вакуум власти, либо необходимость использования субъектом иных ресурсов власти.

[39] Гельман, с. 6-26; М. Афанасьев, «Российская Федерация: слабое государство и «президентская вертикаль»», *Страна после коммунизма: государственное управление в новой России*. В 2 т. Т. 1. (М.: Институт

гального авторитета обычно объясняются отсутствием опыта правового государства и (прочных) правовых традиций в истории российского государства. С этим трудно не согласиться, однако вряд ли данное объяснение является достаточным.

То же самое можно сказать и о другом популярном объяснении, суть которого сводится к тому, что преобладание неформальных практик обусловлено слабостью государства, которую современный режим пытается устранить с помощью укрепления «вертикали власти». Однако хотя преобладание неформальных институтов действительно является атрибутом слабых государств, само по себе укрепление административного потенциала государства не гарантирует верховенства права. «Наоборот, – подчеркивает В. Гельман, – есть немало аргументов в пользу того, что сильное государство может стать ничуть не меньшим препятствием для верховенства права, нежели слабое, если его административный потенциал сочетается с низким уровнем автономии. В этом случае формальные институты оказываются не более чем орудием в руках правительства, инструментом селективного поощрения лояльных и наказания нелояльных».[40]

Наконец, сохранение (и, в значительной степени, упрочение) неформальных практик обусловлено тем, что они обеспечивают реализацию интересов доминирующих акторов, прежде всего административного класса, который в этих условиях оказывается вне контроля со стороны общества. В своей совокупности эти и некоторые другие причины (которые будут упомянуты далее) подрывают эффективность легального авторитета во всех ее проявлениях.[41]

Слабость легального авторитета сказывается не только на дееспособности государственной власти в целом (об этом речь пойдет в третьей части статьи), но и меняет характер властных отношений в обществе (по крайней мере, в сфере политики), усиливая присутствие других форм власти в общей конфигурации властных отношений.[42]

В отличие от легального авторитета, *персональный авторитет*[43] традиционно играет важную роль в отечественной системе политической власти. В Рос-

---

права и публичной политики, 2004), с. 175-206; А. Чирикова, «Региональная власть: формальные и неформальные практики», отв. редактор А. Дука и В. Мохов, *Власть, государство и элиты в современном обществе* (Пермь: Пермский государственный технический университет, 2005), сс. 185-206.

[40] Гельман, с. 10.

[41] Ссылаясь на Бертрана Ювеналя (B. Jouvenel, “Authority: the efficient imperative”, C. Friedrich (ed.), Authority (Cambridge (Mass.), 1958), pp. 159-169 (p. 160), Ронг (Wrong, pp. 14-20) выделяет три основных параметра любой власти – экстенсивность (количество объектов, находящихся во власти субъекта), объем (сферы действий, в которых субъект имеет власть над объектом) и интенсивность (спектр возможностей, которыми обладает субъект в каждой из сфер).

[42] Данную ситуацию можно условно рассматривать как «игру с нулевой суммой», хотя слабость легального авторитета не обязательно полностью компенсируется другими формами власти.

[43] Персональный авторитет представляет собой форму власти, в которой подчинение объекта обусловлено его признанием наличия у субъекта определенных качеств (знаний, опыта, высокой нравственности и др.). Он характеризует неинституционализированное отношение между субъектом и объектом; это скорее отношение между людьми как таковыми, чем между людьми как носителями каких-то социальных ролей. Персональный авторитет связан, с одной стороны, с определенными чертами и способностями субъекта, с другой стороны, он зависит от их восприятия и оценки объектом.

сии верховная власть всегда была *персонифицирована*, «т.е. *обязательно* предполагала определенного ее носителя (в отличие от этого на Западе власть имеет абстрактную природу – отделена, независима от правителя, не является ее личной прерогативой)».[44] В настоящее время персональный авторитет продолжает играть ключевую роль в российской политике, которая – как по ее восприятию в глазах населения, так и по фактическому балансу правовых и неформальных ресурсов – по-прежнему остается в значительной степени персонифицированной. Это характерно и для государственных структур, где власть первых лиц традиционно сильна (хотя, как мы увидим деле, ее сила заключена не только в персональном авторитете), так и в других политических и гражданских организациях (партии, общественные движения, группы давления). Особую роль в современной российской политике играет персональный авторитет В. Путина, который легитимирует режим и избранный политический курс, а также обеспечивает относительную прочность и стабильность системы.

Данное обстоятельство, с одной стороны, повышает эффективность государственной власти (при этом, однако, не добавляя авторитета самому государству как таковому), с другой стороны, естественным образом ослабляет авторитет институтов, поскольку *высокий персональный авторитет позволяет его носителю легко менять правила игры и, при желании, действовать за пределами формальных норм и традиций* без (существенных) политических (имиджевых) потерь. При этом источники и причины высокого рейтинга Путина не находятся в прямой зависимости от его попыток (реальных или мнимых) выстраивания «диктатуры закона»,[45] что делает его относительно свободным в плане выбора форм и методов осуществления власти.

Сила и принуждение. Слабость легального авторитета чаще всего замещается *силой и принуждением* – как легальными, так и нелегальными.[46] Если у субъекта нет легальных (формальных) оснований командовать, и/или объект (в

---

[44] Ю.С. Пивоваров, «О некоторых исторических особенностях русской политии», отв. редактор А.И. Соловьев, *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004* (М.: РОССПЭН, 2004), с. 99-124 (с. 107).

[45] Ряд исследователей считает, что при Путине «диктатуры закона» не стало больше (Афанасьев, с. 204), а сам президент осознанно стремится к сохранению неопределенности. Это позволяет государству компенсировать часть потерь, которые обусловлены, например, теневой экономической активностью. Но в целом это скорее стимулирует последнюю, а не разрешает проблему (W. Tompson, 'Putin's challenge: the politics of structural reform in Russia', *Euro-Asia Studies*, Vol. 54, No 4 (2002), pp. 933-957 (p. 939).

[46] В литературе о власти достаточно распространено определение политического авторитета как легитимной власти: политический авторитет охватывает все случаи выполнения распоряжений обладающего авторитетом субъекта, даже если повиновение мотивируется страхом перед негативными санкциями (D. Easton, 'The perception of authority and political change', C. Friedrich (ed.), Authority (Cambridge (Mass.), 1958), pp. 170-196 (p. 180-182); A.H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracies* (L., Routledge, 1999), p. 32). Тем самым фактически стирается различие между авторитетом и принуждением. Данный подход мне представляется не вполне оправданным (В. Ледяев, «Власть: концептуальный анализ» (М.: РОССПЭН, 2001), с. 16-17), поскольку выполнение команды из страха наказания и на основе понимания обязанности повиновения представляют собой два существенно различных способа деятельности. Между тем для понимания специфики власти важно определить баланс добровольного и недобровольного подчинения, отражающий характер взаимоотношений субъекта и объекта власти. Поэтому дистинкция между легальной властью и легальным авторитетом помогает раскрыть некоторые важные аспекты российской политической практики.

силу тех или иных причин) не желает подчиняться командам субъекта, то наиболее простым и весьма эффективным способом компенсации нехватки легального авторитета является угроза применения негативных санкций или непосредственное силовое воздействие на объект.[47]

Широкое распространение принудительных форм власти в российском обществе – и не только в сфере политики – обусловлено довольно широким спектром взаимосвязанных факторов. Во-первых, сила и (особенно) принуждение не требуют траты большого количества материальных ресурсов, поэтому их рациональнее использовать для замещения (слабого) легального авторитета. Во-вторых, при разрешении острых социальных противоречий сила и принуждение традиционно занимали доминирующее место в системе властных практик российского общества. В советский период распространение силовых форм отношений стало, по мнению М. Афанасьева, результатом формирования «превращенных форм патрон-клиентных отношений».[48] Современный российский режим фактически поощряет традиционализм, закрепляя «привыкание людей к военно-силовым формам урегулирования социальных противоречий… В результате животный страх, ненависть и обожание, склонность к насилию или столь же безотчетная покорность демонстрируют новый виток своей политической репродукции».[49]

В-третьих, распространение силовых форм разрешения социальных и политических конфликтов поддерживается значительной частью населения, приученного ориентироваться на «простые» решения проблем, особенно в отношении «чужих» («инородцев», олигархов, «либералов»). Люди, привыкшие ориентироваться на силу, видят в носителях легального авторитета лишь обладателей принудительных ресурсов. Российские граждане, как отмечает С.В. Патрушев, понимают закон «не столько как ‘некое правило игры’, которое надо соблюдать, уважать и использовать в своих интересах, сколько как исходящее от государства императивное и репрессивное предписание, которое опасно нарушать». По данным социологических исследований лишь незначительное

[47] Принуждение представляет собой способность обеспечить подчинение с помощью *угрозы* применения негативных санкций, а власть в форме силы заключается в возможности субъекта оказать *непосредственное воздействие* на объект (его тело, организацию, психическое состояние) или окружение.

[48] «Номенклатурная организация социума влечет деградацию традиционного социального содержания связи «патрон-клиент»: клиентарные отношения теряют *договорный* характер… Свободные от каких бы то ни было традиционных и правовых ограничений отношения личной зависимости сводятся к единственному «правилу»: у кого сила, тот и прав. Подобное животнообразное поведение, в цивилизованном обществе вытесняемое в маргинальные сферы, в советском – вновь стало общераспространенной моделью общения, жизнедеятельности. Отмеченные А. Антоновым-Овсеенко параллели в поведении уголовников и Сталина со товарищи имеют более глубокий смысл, чем может показаться на первый взгляд. Дело, однако, не в уголовных замашках конкретных большевистских главарей, а в доминирующем архетипе социального бытия/сознания. Общераспространенности таких установок и привычек способствовали армия и лагерь – маргинальные образы жизни, ставшие в СССР важнейшими (пере)воспитательными учреждениями, основными институтами социализации, вытеснившими общину, теснящими среднюю и высшую школу, превратившими в свое продолжение городские дворы» (М. Афанасьев, *Клиентелизм и российская* государственность (М.: МОНФ, 2000), с. 166-167).

[49] А.И. Соловьев, «Институциональные эксперименты в пространстве политической культуры: реалии российского транзита», отв. редактор А.И. Соловьев, *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004* (М.: РОССПЭН, 2004), с. 313-337 (с. 334).

меньшинство граждан (6 % в 2002 г.) исполняет свои обязанности перед другими людьми из уважения к закону.[50] Подчинение носителям формальных государственных полномочий мотивируется не столько обязанностью, сколько боязнью (опасением) использования теми негативных санкций, что, по используемой нами классификации форм власти является не легальным авторитетом, а принуждением.[51] Таким людям вполне удобно «жить по принципу кулака и силы. И они эти принципы кулака и силы защищают на своем уровне, поддерживая тех, кто кажется им носителями этих принципов. Современный «россиянин» не понимает, почему он должен защищать права других, если его собственные права глубоко нарушены. Это является основанием для того, чтобы всякий нарушал права всякого, как только появляется такая возможность»[52].

Данная тенденция во многом обусловлена тем, что избирательное использование права и полномочий лицами, занимающими государственные должности (право как индивидуальный, а не государственный ресурс)[53] закрепляет уверенность объекта в том, что субъект не связан правом, а может использовать принудительные ресурсы по своему усмотрению. Это существенно расширяет объем и интенсивность (по Ронгу) власти субъекта, делая его, бесспорно, более «опасным» для объекта.[54]

В-четвертых, ориентация на силовые (принудительные) формы подчинения является и следствием нынешнего кадрового потенциала российского государства. В этой связи исследователями указываются на факторы, свидетельствующие о качественном ухудшении состава бюрократии или, по крайней мере, о серьезных проблемах профессиональной квалификации государственных служащих. В частности, Г. Сатаров обращает внимание на то, что «распределение чиновников по возрасту имеет абсолютно аномальную U-образную форму: много молодых и пожилых, мало самого продуктивного среднего воз-

---

[50] С.В. Патрушев, «Власть и народ в России: проблема легитимации институциональных изменений», отв. редактор А.И. Соловьев, *Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004* (М.: РОССПЭН, 2004), с. 287-312 (с. 302).

[51] Ронг (Wrong, p. 41) использует термин «принудительный авторитет» (coercive authority).

[52] Патрушев, с. 311. Т.И. Заславская отмечает, что если в развитых странах умышленное нарушение закона имеет осознанно криминальный характер, то в постсоветских обществах оно остается в значительной степени не(вполне)осознаваемым (Т.И. Заславская, «О социальных факторах расхождения формально-правовых норм и реальных практик», отв. ред. Т.И. Заславская, *Куда идет Россия?* (М.: МВШСН, 2002), с. 11-21 (с. 13-14).

[53] В англоязычной литературе используется выражение ‘rule by law’ («правление с помощью закона»), противопоставляемое ‘rule of law’ («правление закона») (T.F. Remington, *Politics in Russia* (NY:Pearson Education Inc., 2006), p. 226).

[54] Как показывают результаты социологического исследования, значительная часть общества не отличается высоким уровнем законопослушания, который (по крайней мере, на уровне деклараций) оказывается ниже уровня законопослушания чиновников. Так, среди работников бюрократического аппарата более половины опрошенных (58,0%) разделяют точку зрения о том, что во всем и всегда следует соблюдать букву закона. Среди населения такой точки зрения придерживается почти в два раза меньшее количество людей – 25,8%. Зато среди граждан заметно больше тех (47,8%), кто считает, что закон надо соблюдать только тогда, когда это делает сама власть, в иных условиях его можно игнорировать и решать свои проблемы более простыми и привычными способами, красиво именуемыми «неправовыми» практиками (Бюрократия и власть в новой России, с. 82).

раста».[55] Разумеется, неоптимальная возрастная структура российского чиновничества не является (непосредственным) свидетельством (причиной) распространения принудительных форм власти. Однако именно в старших возрастных категориях преобладают люди, сформировавшиеся в советских бюрократических организациях и сохранившие советскую ментальность. В бюрократической среде царит убежденность в непогрешимости, недоверие к науке («жизнь гораздо проще, чем говорят умники»), презрение к силе общественного мнения,[56] что косвенно подтверждает возможность произвольного использования государственных ресурсов.

Некоторые исследователи обращают внимание на социальное происхождение современного административно-политического класса как фактор, влияющий на способы и культуру осуществления власти и управления. Например, А. Чернышов отмечает, что в составе российской правящей номенклатуры «очень сильно влияние сельского образа жизни, вследствие чего широкое распространение получили и получают социальные стандарты и ориентации деревенских жителей. А в самой власти уже давно стала заметна динамика к односложности, негибкости, нетолерантности, упрощенности и примитивизации при определении тактических и стратегических задач». Данный процесс получил название «синдром сельских парней».[57] Однако в последнее время исследователи чаще стали обращать внимание на увеличение доли (бывших) военных в составе административно-политического класса. По данным О. Крыштановской, с 1998 по 2002 гг. она увеличилась почти в 7 раз, при этом особенно сильно «процесс милитаризации» затронул высшее руководство страны (рост в 12 раз!)»[58]. Оценивая последствия данного процесса, исследователь обращает внимание на то, что современная политика приобретает ряд специфических особенностей, которые связаны с профессиональными качествами военных – группы, формирующейся в замкнутом иерархизированном социальном пространстве. «Сама военная среда является *авторитарной*, демократический стиль управления здесь неприемлем»; военная среда приучает людей не рассуждая подчиняться приказам, строго следовать уставам, безусловно уважать старшего по званию.[59] Можно предположить, что приход людей в погонах естественным образом повышает роль силовых инструментов власти (сила и принуждение), но и (вероятно) усиливает позиции легального авторитета, который

[55] В исследовании фонда ИНДЕМ 2003 г. на интервал от 30 до 45 лет приходится менее 21 % служащих, а на интервал от 55 до 70 лет – почти 60 % служащих центральных федеральных ведомств (Г.А. Сатаров, «Введение», *Страна после коммунизма: государственное управление в новой России*. В 2 т. Т. 1. (М.: Институт права и публичной политики, 2004), с. 4-16 (с. 6).

[56] М. Краснов, «Административная реформа (1991-2001): почему сохраняется ее актуальность?», *Страна после коммунизма: государственное управление в новой России*. В 2 т. Т. 1. (М.: Институт права и публичной политики, 2004), с. 84-115.

[57] А.Г. Чернышов, «Власть в России: проблемы поиска элитных составляющих», отв. ред. А.В. Дука, *Власть и элиты в современной России* (СПб.: Социологическое сообщество им. М.М. Ковалевского, 2003), с. 92-101 (с. 101).

[58] Крыштановская, с. 270.

[59] Там же, с. 283.

базируется именно на привычке автоматического подчинения субъекту власти. Последнее обстоятельство можно воспринимать вполне позитивно, но только в том случае, если речь идет действительно об укреплении легального авторитета, а не элементарном росте скрытого принуждения.

В-пятых, замещение легального авторитета принуждением (и другими формами власти) в значительной степени связано с отсутствием необходимых правовых актов (законов), *ясно и недвусмысленно* определяющих субординацию различных государственных структур. Аналитики указывают на (1) неоптимальность критериев разграничения полномочий, (2) отсутствие строгой классификации органов исполнительной власти (определения видов и критериев их разграничения), (3) неразработанность типологии «политических» и «карьерных» должностей, (4) сохранение обильного подзаконного, в том числе ведомственного регулирования, через которое осуществляется консервация прежних (советских) методов управления, (5) направленность многих актов не столько на конкретизацию обязанностей должностных лиц, сколько на дополнительное обременение граждан и хозяйствующих субъектов, (6) психологический дискомфорт служащих, которые сознают, что их статус и объем функций могут в любой момент измениться и др.[60]

Конкретные проявления силы и принуждения в российской практике (как и в практике любого государства) многообразны и варьируются в зависимости от того, какие группы и организации являются объектом власти. Широкий набор инструментов давления используется против политической оппозиции, бизнеса, региональных и муниципальных органов власти и их носителей. Общим местом стали избирательное (произвольное) использование (сила) или угрозы использования (принуждение) правоохранительных и контролирующих органов[61] для создания атмосферы страха, неуверенности и неудобства, угрозы сокращения финансирования, лишения налоговых льгот или протекции организаций и групп, действия которых не соответствуют пожеланиям политико-административной элиты,[62] принудительное голосование, давление на СМИ и т.д.

Принуждение совсем не обязательно осуществляется в открытой (явной) форме. По мнению некоторых аналитиков, более распространены формы подчинения, осуществляющиеся в силу того, что объект действует в соответствии с волей субъекта без (постоянных) команд или угроз с его стороны, предвидя (негативные) реакции субъекта в случае отклонения объекта от данного поведения («правление предвиденных реакций»). Наглядными примерами «правления

[60] Краснов, с. 85-91.

[61] Один из премьер-министров ельцинской эпохи рассказывал о том, что во многих ситуациях только использование угрозы «прислать комиссию из Генпрокуратуры» оказывало должное воздействие на руководство регионов. При Путине «присылки комиссии» стали основным политинструментом власти (М. Ростовский, «Вертикаль в пасти», *Московский комсомолец*, 5 июня (2006), с. 5).

[62] Например, во время выборов губернаторов Центр недвусмысленно намекал на то, что поражение его ставленника приведет к снижению финансирования региона; в основе модели «патронажа» в отношениях между региональной властью и бизнесом, сложившейся во многих регионах России лежит постоянная и вполне реальная угроза использования негативных санкций со стороны местных властей в случае нарушения бизнесом утвердившегося характера отношений.

предвиденных реакций» являются самоцензура в СМИ, «добровольное спонсорство» бизнеса,[63] существенное ослабление политических амбиций корпоративного капитала после «дела Ходорковского», готовность поддерживать власть в обмен на налоговые льготы и др.[64]

По мере усиления административно-политической элиты необходимость в специальных акциях по устрашению снижается, что косвенно отражается в очевидном уменьшении количества *открытых* столкновений (конфликтов) с властью со стороны (потенциальных или актуальных) оппозиционеров (бизнес-групп, политической оппозиции, региональных элит и др.). Укрепление позиций федеральной административной элиты и рост ее независимости от других социальных групп и организаций проявляется в ее способности не реагировать (адекватно) на многие запросы, идущие из общества, ограничивая спектр проблем, подлежащих обсуждению. После публикаций американских политологов П. Бахраха и М. Баратца[65] данная форма власти («второе лицо власти» или «непринятие решений») – способность субъекта ограничить сферу принятия решений «безопасными проблемами» – стала объектом исследования. Как показывает политическая практика, непринятие решений – это, прежде всего, удел сильного (в нашем случае – административно-политического класса), способного использовать различные барьеры и фильтры (идеологические, процедурные, финансовые, организационные) для формирования необходимой правящему режиму повестки дня.

«Непринятие решений» не может быть отнесено непосредственно ни к одной из выделенных мною форм власти. Однако с точки зрения характера воздействия субъекта на объект оно, на мой взгляд, ближе всего именно к силе, поскольку, как и сила, обусловливает ограничение возможностей объекта (оппозиции), форматируя политическое пространство в интересах субъекта. В современной российской политической практике наиболее важные (с точки зрения

---

[63] Речь идет, разумеется, не обо всех случаях спонсорства, а только о тех, которые имели место именно потому, что бизнесу было важно продемонстрировать свою готовность помогать властям, рассчитывая на их благосклонность или, по крайней мере, нейтралитет. Косвенным показателем распространенности такого рода практики являются масштабы спонсорства российских кампаний, которые в относительном выражении намного превосходят западные. По данным Ассоциации менеджеров России, американские корпорации расходуют на благотворительность около одного процента своей прибыли, а российские компании направляют на эти цели от 8 процентов прибыли в сырьевом секторе до 24 процентов в обрабатывающем и 30 процентов – в сфере услуг; по результатам опроса российских предприятий средняя по выборке доля расходов на благотворительность оценивается в 11 процентов валовой прибыли (Л. Полищук, Бизнесмены и филантропы, *Pro et Contra*, № 1 (2006), с. 59-73 (с. 62, 71)).

[64] Один известный ярославский политик следующим образом описывает происходящее в Ярославской Думе: «В областной Думе губернатор все контролирует. Рычагов влияния у власти много. *До скандалов доводить и на кого-то давить вовсе не надо (курсив мой – В.Л.)*. Директора – люди с пониманием. Практически все директора, заседающие сегодня в Думе, имеют налоговые льготы. А ведь можно их и не получить, если не так проголосуешь (А.Е. Чирикова, «Региональные парламенты: ресурсный потенциал и неформальные правила политической игры», отв. ред. А.В. Дука, *Власть и элиты в российской трансформации* (СПб.: Интерсоцис, 2005), с. 194-222 (с. 210)).

[65] P. Bachrach and M. Baratz 'Two faces of power', *American Political Science Review*, Vol. 56, No. 4 (1962), pp. 947-952; P. Bachrach and M. Baratz 'Decisions and nondecisions: An analytical framework', *American Political Science Review*, Vol. 57, No. 3 (1963), pp. 641-651.

сохранения и воспроизводства господства политико-административного класса) и вполне очевидные формы непринятия решений имеют место в сфере контроля за медиапотоками (где фактически осуществляется легитимация «повестки дня»), проявляются в уже отмеченной ранее «сертификации» Кремлем участников переговорных процессов, в выстраивании мощных барьеров на пути (пока еще имеющих место) инициатив, направленных на ограничение бюрократического контроля в экономике,[66] выравнивание доходов различных групп населения и т.д., а также в лишении оппозиционных групп реального доступа к телевидению и «фильтровании» информации на государственных каналах.

Указанные выше способы осуществления власти относятся в основном к (собственно) политическим аспектам социального процесса, в которых реализуется господство одних групп над другими. Что касается практики повседневного государственного управления, то здесь распространение принудительных форм власти обычно обусловлено, как уже отмечалось ранее, неразвитостью правосознания как объектов управления (не воспринимающих правовую норму как руководство к действию), так и субъектов управления, склонных использовать принуждение и в тех случаях, где без него можно было обойтись.[67]

Сказанное не означает, что власть в форме силы и/или принуждения *обязательно* заключает в себе негативные коннотации.[68] Однако злоупотребление принудительными формами власти имеет существенные недостатки, главный из которых состоит в том, что принуждение формирует внешнее отношение между субъектом и объектом, сохраняя и усиливая (открытый и/или подавленный) конфликт. При этом использование принуждения – открытого или скрытого – в ситуациях, где у субъекта нет государственных полномочий *в данной конкретной сфере*[69] может вести к разрушению правовых (легальных) форм власти.[70]

---

[66] В качестве примера можно привести неудачную попытку Г. Грефа в 2001 г. инициировать законопроект, который бы ограничил вмешательство бюрократии в экономическую сферу (Thompson, p. 943).

[67] Один региональный руководитель признался, что ему «страшно выйти в региональный парламент и попросить реальную сумму на финансирование спортивной команды. Мне легче надавить на какое-то предприятие, представить ему преференции, тем самым, отобрав ресурс у других» (Лапина, с. 104).

[68] Во многих случаях (пресечение нарушений закона, устрашение потенциальных преступников, наказание за неповиновение должностному лицу, гарантии осуществления субординации и т.п.) принуждение и сила остаются единственными и/или наиболее эффективными средствами и потому полностью оправданы.

[69] В государственной системе предусмотрены различные формы взаимодействия между ее субъектами; в одних случаях имеет место формально зафиксированная субординация, дающая право одним людям (органам) командовать другими; в других случаях такого права нет, что делает попытки командования нелегитимными (нелегальными) и даже противозаконными. В этих ситуациях предполагается, что субъекты должны приходить к консенсусу или компромиссу в результате рационального и свободного обсуждения проблемы. Однако на практике различение легального и нелегального принуждения часто бывает затруднено в силу уже указанной мною слабости законодательной базы. При этом у субъекта, обладающего большими ресурсами и возможностями, всегда возникает соблазн использования их за пределами формально установленных полномочий для достижения своих интересов («власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно»). К тому же граница между скрытым принуждением и легальным авторитетом, как уже отмечалось ранее, не всегда бывает до конца осознана как объектом, так и субъектом власти.

[70] А. Этциони считает, что существует изначальная неконгрунтность во взаимодействии убеждающих и моральных форм власти с угрозой применения силы и, тем более, с ее осуществлением, что ведет к их нейтрализа-

Побуждение. В данном случае источником власти является вознаграждение, которое получает объект в обмен на подчинение. Также как и принуждение, использование побуждения в политической и государственной практике крайне вариативно. Государственные полномочия позволяют их носителям не только заставлять подчиненных выполнять приказы, угрожая наказанием за неповиновение, но и стимулировать определенные формы поведения путем повышения выгод и снижения издержек в случае повиновения объекта в результате подчинения. Побуждение может быть легальным (узаконенным), так и нелегальным. В последнем случае субъект использует свои возможности стимулировать определенные формы деятельности объекта, не имея соответствующих полномочий и даже непосредственно нарушая закон.

В российской политической и управленческой практике побуждение (наряду с силой и принуждением) активно используется для «компенсации» слабости легального авторитета. В тех ситуациях, где объект не выполняет свои обязанности, а субъект не может или не желает использовать негативные санкции, побуждение становится основным средством достижения подчинения. Распространению побуждения способствует и то обстоятельство, что в условиях произвола чиновников гражданам (группам, организациям) рациональнее (с точки зрения баланса выгоды/издержек) не добиваться своих законных прав и безусловного выполнения чиновниками своих обязанностей, а договариваться с ними. Данная ситуация может рассматриваться (в зависимости от оценки изначальной позиции объекта) и как определенный вид принуждения (например, к даче взятки под угрозой негативных санкций), и как побуждение, если чиновник поощряет объект (поддерживает кандидата в депутаты, осуществляет протекцию бизнесмену, предоставляет не (вполне) законную льготу определенным гражданам и др.) за оказание соответствующих услуг самому чиновнику. Чаще всего, такой «услугой» являются денежные средства, оплата мероприятий, финансирование проектов, поддержка в СМИ и т.д.[71] Возможность произвольного применения нормы права[72] превращает ее носителя в обладателя (часто монопольного) определенным набором (потенциальных) наград, от которых зависит благосостояние (положение) объекта. Возникающая зависимость поддерживает коррупцию (по уровню которой Россия оказывается в числе «передовых» стран), протекционизм, сокрытие преступлений, политический монополизм (власть может «купить» (многих) потенциальных оппонентов) и другие подобного рода явления. Именно побуждение наиболее ассоциируется с моральным разложением, циничным карьеризмом, «готовностью на все» и другими атрибутами значительной части современного российского административно-политического класса.[73]

ции (A. Etzioni, *The Active Society* (NY: The Free Press, 1968), p. 364-366).

[71] Взятка может рассматриваться и в терминах манипуляции, если субъект формирует готовность объекта к даче взятки, скрывая информацию об иных возможностях получения услуги.

[72] М. Афанасьев использует выражение «право как услуга».

Готовность, как бюрократии, так и населения, принять незаконные (взаимные) услуги имеет во многом те же корни, что и распространение принуждения. При этом в общественном сознании «легкие» формы коррупции фактически легитимированы, особенно в некоторых южных регионах.[74] Сравнивая роль и распространенность принуждения и побуждения в современном российском обществе можно предположить, что *в континууме принуждение/побуждение превалирует принуждение.* Это обусловлено тем, что побуждение все же более характерно для олигархических государств, где власть опирается на собственно экономические ресурсы, обеспечивающие ее обладателям доступ к принятию ключевых политических решений. В России же доминирующей силой сегодня является административно-политический класс, главными ресурсами которого выступают средства государственного принуждения и возможности произвольного использования формальных полномочий. Политические (административные) ресурсы в России – в особой цене,[75] именно они во многом определяют общий спектр возможностей и потенциал влияния. Но обладание принудительными ресурсами позволяет приобрести и другие ресурсы, которые могут быть использованы с меньшими издержками, чем принуждение. Главное преимущество побуждения над принуждением заключается в том, что оно не ассоциируется с насилием и сохраняет (относительно) бесконфликтные отношения между субъектом и объектом.[76]

---

[73] Сегодня около 40 процентов молодых людей одобрительно относятся к стремлению «делать деньги» любой ценой, даже в обход закона, а более 60 процентов согласны с тем, что сегодня нет нечестных способов зарабатывать деньги, а есть только легкие и трудные их пути (Ю.Н. Мазаев, «Социальные отношения коррупции (по материалам социологических исследований)», *Материалы научно-практической конференции «Социология коррупции»* (М., 2003), с. 42-45 (с. 43). При этом даже среди профессиональных публичных политиков только 10 процентов в своей деятельности руководствуется социоцентрическими мотивами (Е.Б. Шестопал, *Психологический профиль российской политики 1990-х.* (М.: РОССПЭН, 2000), с. 365).

[74] Описывая коррупцию в Дагестане, А. Быстрова подчеркивает, что традиционная соционормативная культура дагестанцев поддерживает коррупционные практики, которыми пропитано все общество. «Авторитет народной мудрости освящает произвол и коррупцию властей. На бытовом уровне представления о власти чаще всего связываются не с радением об общественном благе и ответственностью перед обществом, а с получением определенных преимуществ, выгод» (А.С. Быстрова «Коррупция как элемент механизма осуществления власти в России», отв. ред. А.В. Дука, *Власть и элиты в современной России* (СПб.: Социологическое сообщество им. М.М. Ковалевского, 2003), с. 186-200 (с. 199)).

[75] Один российский политолог в своем устном выступлении высказал интересную фразу: «Власть нельзя купить», имея в виду, что административно-политическая элита очень дорожит своим господством и поэтому не «продает» свои ресурсы.

[76] Если немедленной реакцией на принуждение являются страх, беспокойство и сопротивление, то побуждение чаще всего связано с надеждой и поддержкой. Позитивные санкции имеют тенденцию создавать ощущения симпатии к объекту и заботы о его нуждах, тогда как негативные воспринимаются как проявления безразличия или враждебности по отношению к нему; первые укрепляют стремление объекта сотрудничать с субъектом в будущем, вторые – препятствуют этому. Однако у побуждения есть очень серьезный недостаток: оно обычно требует больших материальных ресурсов, которые субъект вынужден постоянно тратить для поддержания власти. При этом, как и в случае с принуждением и силой, имеет место (хотя и в меньшей степени) неконгруэнтность во взаимодействии убеждающих и моральных форм власти с утилитарной мотивацией (Etzioni, p. 366-367; Wrong, p. 73).

Манипуляция и убеждение.[77] В России после 1917 г. власть над сознанием людей стала играть едва ли не центральную роль в механизме политического господства; к 90-м гг. идеологический плюрализм и свобода слова разрушили интегральную (по Ронгу) идеологическую власть коммунистической элиты и создали иную ситуацию, хотя в целом роль идеологического фактора (идеологических дискуссий) в общественной жизни не снизилась. В последние годы отчетливо проявилась тенденция к усилению монополии правящей элиты в механизме формирования политического сознания российского общества. Это проявляется, прежде всего, в том, что государственные телевизионные каналы (а именно они остаются главным каналом получения информации для основной массы граждан и наиболее эффективным средством формирования политического сознания населения) строго выдерживают идеологическую линию, заданную правящей элитой, практически не предоставляя эфир политическим оппонентам. Критики нынешнего режима (пока?) могут высказываться в некоторых печатных СМИ и Интернете, однако это не может компенсировать их отсутствия на телевидении. Особенно сильное пропагандистское воздействие имеет место в период избирательных кампаний, когда использование государственного телевидения для поддержки определенных партий и кандидатов выходит далеко за пределы формальных и моральных ограничений.

Таким образом, *значение манипуляции в механизме формирования политического сознания безусловно возрастает*: в содержании новостных программ практически отсутствует объективный анализ нынешнего курса, его недостатков; власти сознательно скрывают информацию о принятии важнейших решений и ключевых назначениях; явно приукрашиваются ситуация в экономике и перспективы ее развития.

Вряд ли можно однозначно оценить, насколько сама административно-политическая элита верит в то, что именно данный курс является оптимальным для развития российского общества: с одной стороны, он в целом соответствует ментальности нынешней номенклатуры, с другой стороны, трудно поверить в то, что власть действительно верит, например, в реальную угрозу со стороны «американского империализма» или считает, что назначения губернаторов действительно будут способствовать борьбе против терроризма. Сомнения в искренности власти (а именно искренность отличает убеждение от манипуляции, заключающейся в *сознательном* навязывании ложной информации) возникают и

[77] В убеждении подчиняющее воздействие на объект заключено в силе (рациональности) аргументов, используемых субъектам для изменения сознания и/или поведения объекта; манипуляция представляет собой скрытое воздействие субъекта на объект, осуществляемое либо путем изменения окружения объекта, либо через селективную подачу информации для объекта. Потенциал использования данных форм власти и их соотношение между собой зависят от ряда условий. В их числе: роль идеологии в системе социальной регуляции, степень открытости режима, концентрации СМИ, успешности в осуществлении экономической и социальной политики, наличие или отсутствие сильных внутренних и/или внешних угроз, особенности политической культуры населения и др. Наиболее интенсивное использование средств воздействия на сознание людей *со стороны правящего режима* имеет место в тоталитарных системах, тогда как в традиционных обществах оно значительно слабее, поскольку социальные коммуникации менее развиты, а население стабильно ориентируется на уже устоявшиеся нормы.

вследствие того, что она сама постоянно нарушает многие заявленные ею ценности и направления деятельности. Это касается, например деклараций о стремлении к «диктатуре закона», демократии, формированию независимого от власти гражданского общества и т.д.

В любом случае, избранная властями ориентация на имперские государственнические ценности, управляемость, иерархию и «свой особый путь» находятся в противоречии с тенденциями, наблюдаемыми в развитых демократических странах, где постепенно формируется гибкая система управления, соединяющая усилия государственных и негосударственных акторов. Происходящие в мире изменения делают устаревшими попытки опереться на традиционные авторитарные методы, которые больше не соответствуют новым условиям жизни, в том числе гибкости и динамизму, необходимым для конкурентоспособности в рамках глобальной электронной экономики. «Политическая власть, основанная на авторитарной командной системе, уже не может опираться на традиционные факторы преклонения или уважения. В мире, основанном на активном обмене информацией, жесткая власть – власть, действующая только «сверху» – теряет свою силу».[78]

Манипулятивные практики распространены во всех режимах, в том числе и в стабильных демократиях. Их функциональная обусловленность заключается в том, что не все политические решения и действия могут быть адекватно объяснены (убеждение) и поняты населением. При этом манипуляция бывает крайне эффективным средством достижения результата (особенно, если используется в комбинации с убеждением), поскольку она не вызывает сопротивления объекта (если люди осознают, что являются объектами манипуляции, то ее подчиняющее воздействие прекращается) и сохраняет людям ощущение самостоятельного (свободного) выбора и действия.[79] Однако когда наступает крах режима и обман властей становится очевидным, обратный эффект может быть разрушительным.

Эффективность власти и управления

Оценка эффективности власти складывается из нескольких ракурсов (аспектов). Во-первых, *оценка способности субъекта (субъектов) обеспечить подчинение объекта (объектов) своей воле.* Это оценка *собственно власти*; она может быть осуществлена в соответствии с критериями, предложенными Ронгом (экстенсивность, объем, интенсивность). Для этого необходимо выделить несколько наиболее важных форм власти, в том числе: (1) власть правящей федеральной элиты над оппозицией, региональными элитами, бюрократическим аппаратом, населением в целом в различных сферах и проявлениях; (2) властные возможности различных государственных структур и групп государственных служащих в контексте решения стратегических задач, определяемых пра-

[78] Э. Гидденс, *Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь* (М.: Издательство «Весь Мир», 2004), с. 86.

[79] Wrong, p. 28-32.

вящей элитой; (3) эффективность власти государственных служащих в повседневном управлении.

Во-вторых, *оценка эффективности подчинения (использования власти) с точки зрения достижения конечных целей субъекта власти*: подчинение объекта (объекта) само по себе (обычно) не является конечной целью субъекта, а выступает средством ее достижения. Это оценка *эффективности управления*. Власть (способность навязать волю) может и не обеспечить достижение конечной цели, если избранные формы и ресурсы власти не соответствовали поставленным целям, последствия осуществления власти не были адекватно просчитаны или цели с самого начала были не (вполне) достижимыми. Таким образом, оценка эффективности (собственно) власти может быть дополнена оценкой эффективности управленческих стратегий и способов их осуществления. При этом оценки власти и оценки управления могут не совпадать: эффективная власть не всегда обеспечивает достижение целей субъектов, а грамотные управленческие действия бывают парализованы отсутствием стабильных властных отношений.[80]

Во взаимоотношениях с политической оппозицией – реальной или потенциальной – власть правящего режима представляется весьма эффективной. В настоящее время правящая элита может принять практически любой закон в послушной ей Думе, она уверенно блокирует сравнительно немногочисленные попытки инициации альтернативных решений, может применять силовые и принудительные технологии в отношении оппонентов и полностью доминирует в информационном пространстве. В последнее время принят ряд законов (закон о выборах по партийным спискам в Государственную Думу, запрет на участие в выборах партийных блоков, возможность снятия с голосования партий за прошлый «экстремизм» их представителей в партийном списке и др.), которые еще более снижают шансы оппозиции на выборах. Судебная и правоохранительная системы выполняют волю федеральной элиты и при необходимости используются в политических целях. В результате реальные возможности оппозиции сведены к минимуму, что является главным основанием для отнесения современного политического режима в России к авторитарным.[81]

Во взаимоотношениях с другими высоко-ресурсными социальными группами (бизнес, региональные элиты) также наблюдается очевидное усиление влияния федеральной административно-политической элиты. Создание федеральных округов, назначение губернаторов, ослабление Совета Федерации, изменение бюджетного финансирования в пользу Центра, активное использование правоохранительных структур для повышения лояльности региональных

[80] Ледяев, Власть: концептуальный анализ, с. 174-177. На необходимость различения властного и управленческого аспектов указывает и А.М. Старостин в его исследовании, посвященном эффективности деятельности административно-политических элит (А.М. Старостин, *Эффективность деятельности административно-политических элит: критерии оценки и анализ состояния в современной России* (Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 2003), с. 224).

[81] Шевцова, указ. соч.

акторов обеспечивают федеральной элите возможность навязывать свою волю регионам. При этом преобладание неформальных механизмов влияния в ряде аспектов усиливает ее власть – особенно в тех сферах, где отсутствует формальная субординация. Разумеется, остаются значительные зоны относительной автономии, однако (и это главное) региональные политические субъекты перестали играть стратегическую роль в определении общенациональных политических приоритетов и не могут диктовать свои условия федеральной элите по принципиальным вопросам взаимоотношений между Центром и регионами.

В отношениях с крупным бизнесом административно-политическая элита также сумела окончательно занять доминирующее положение, особенно после 2003 г. Сегодня бизнес принял предложенный формат отношений и практически не пытается его изменить; наиболее крупные представители «олигархической оппозиции» достаточно эффективно нейтрализованы, а потенциальные оппозиционеры примирились с ситуацией.

Сложнее оценить характер взаимоотношений административно-политической элиты и «народа». Способность навязать волю основной массе населения, как уже отмечалось ранее, может быть оценена в ситуациях, когда элите удавалось принимать явно непопулярные меры и наоборот, блокировать решения, соответствующие преференциям большинства. Другой параметр данного властного отношения проявляется в способности правящей элиты навязать обществу политические приоритеты и ценности, обеспечивающие воспроизводство своего привилегированного положения («третье лицо власти» по С. Луксу). Высокие рейтинги президента Путина отчасти[82] свидетельствуют о том, что значительная часть населения либо поддерживает режим, либо индифферентна к политике и не ощущает связи между своим положением и составом правящей элиты. В любом случае, *режиму не приходится преодолевать масштабного сопротивления со стороны общества*, которое в целом принимает президентский курс, направленный на сохранение «большого» государства в экономике, укрепление «вертикали власти» и бюрократического контроля, усиление имперских внешнеполитических амбиций.

Учитывая сравнительно низкий уровень жизни значительной части населения, можно предположить, что данная ситуация возникла (отчасти) в результате идеологического господства, обусловленного как определенной конфигурацией объективных факторов, так и сознательным стремлением административно-политического класса навязать обществу свою систему ценностей. Очевидное доминирование государственническо-самобытной риторики в российском политическом пространстве и обыденном («кухонном») дискурсе, закрепившееся в общественном сознании оправдание неформальных практик и акцента на силовых способах решения проблем, демонстрируемых нынешней

[82] «Отчасти» – потому, что его популярность во многом обусловлена персональными качествами; при этом другие структуры государственной власти имеют существенно меньшую поддержку.

властью, слабая реакция общества на ограничение политической конкуренции, плюрализма и роли демократических институтов – все это говорит о том, что цели и ценности правящего режима и значительной части населения в совпадают. Хотя нельзя не признать, что для «высокоресурсных» групп населения это далеко не так.

Насколько принятие ценностей режима и избранного курса является результатом целенаправленной деятельности административно-политической элиты («идеологической гегемонии» или «идеологической власти»)? Бесспорно, оно имело объективные, прежде всего политико-культурные предпосылки и стало в значительной степени реакцией на неудачи и ошибки ельцинского правления, что и отразилось в естественном отторжении соответствующих той эпохе ценностей. Однако мне представляется, что *субъективный фактор в формировании политического сознания играет в России более значимую роль, чем в западных полиархиях*. Во всех странах СМИ (главный инструмент формирования политического сознания) используются правящими элитами для поддержания своей политики, однако степень (возможности) их использования в своих целях (медийные ресурсы) существенно варьируются. В России фактически имеет место государственная монополия на основные СМИ, что и дает административно-политической элите широкий спектр возможностей осуществлять планомерное идеологическое воздействие на население. Контроль за идеологической и политической составляющими программ обеспечивается как с помощью целенаправленной (в идеологическом плане) кадровой политики, так и через жесткое форматирование содержания программ.[83]

Разумеется, контроль за деятельностью СМИ не всегда гарантирует планируемый результат.[84] Мне представляется, что в России он достаточно эффективен. Косвенными показателями этого могут служить успешные кампании по удивительно быстрому раскручиванию новых лидеров (В.Путин), партий («Единая Россия», «Справедливая Россия»),[85] успешной пропаганде ряда внешнеполитических акций, в которых активно участвовали российские СМИ.

До сих пор речь шла о властных возможностях правящего административно-политического класса навязать свою волю в решении стратегических проблем общественного устройства и развития безотносительно роли институ-

[83] В России нет *жесткой* цензуры, которая существовала в СССР, однако имеет место самоцензура, поддерживаемая, как уже отмечалось ранее, в форме «правления предвиденных реакций»: руководители государственных СМИ прекрасно знают, что хочет власть.

[84] Здесь я сознательно оставляю в стороне вопрос о том, насколько и в каких формах идеологическая гегемония вообще может иметь место в современном обществе. Мне ближе позиция авторов, которые считают, что даже в ситуациях тотального господства у подвластных остается возможность видеть альтернативные формы социальной организации (J.C. Scott, *Domination and the Art of Resistance: Hidden Transcripts* (New Haven: Yale University Press, 1990), pp. 71-107. Тем не менее, какой-то сегмент населения действительно является объектом идеологической власти субъекта, сумевшего навязать ей свои убеждения и ценности. В данном контексте для меня представляет интерес, насколько поворот политических умонастроений значительной части россиян стал результатом идеологической властной практики режима.

[85] Успешная раскрутка В. Путина и «Единства» имели место еще в условиях ельцинского режима. Сегодня правящая элита, бесспорно, обладает еще большими манипулятивными возможностями и пропагандистскими ресурсами.

циональной составляющей в осуществлении политической власти. Между тем, эффективность политической власти непосредственно зависит от того, насколько базовые политические институты обеспечивают реализацию (трансляцию) воли господствующего класса. Оценивая эффективность *современного российского государства* необходимо отметить, что оно стало *более субъектным, менее зависимым от групп давления и способным гораздо эффективнее реализовывать публичные стратегические цели элиты, чем российское государство 90-х гг*.[86] То есть, *его власть стала более прочной и интенсивной*.

В предыдущей части статьи уже говорилось о том, что в структуре форм властного воздействия существенно усилилось использование силы и принуждения, что собственно и повысило потенциал подчинения. Кроме того, эффективность государственной власти возросла в связи с нейтрализацией (по крайней мере, частичной) альтернативных центров политической власти в лице олигархических, мафиозных и региональных кланов. Наконец, государство стало более сильным *с точки зрения властных возможностей* в силу возрастания его экономических ресурсов, позволяющих осуществлять более эффективное побуждение.

Властный потенциал отдельных государственных структур и их относительная независимость друг от друга существенно варьируются: президентские и силовые структуры занимают доминирующее место в государственном управлении, в том время как правительство, представительные органы власти и судебная система малосамостоятельны (то есть во многих аспектах находятся во власти президентской администрации). Тем не менее, для реализации стратегических целей нынешней элиты данное соотношение властных ресурсов государственных структур вполне адекватно, поскольку способствует укреплению иерархии и соответствует использующейся конфигурации форм власти: строительство «вертикали власти» ориентируется на достижение единства действий государственных структур, а не укрепление их самостоятельности; поэтому рассуждения о разделения властей, «сдержках и противовесах» сегодня не популярны.

Таким образом, в настоящее время в России имеет место достаточно эффективная система политической власти с точки зрения ее способности реализовать стратегические цели правящей административно-политической элиты: по сравнению с 90-ми гг. прошлого века государственная власть существенно укрепилась; население в целом поддерживает избранный курс, политические оппоненты слабы и не в состоянии успешно инициировать альтернативные проекты социального развития.

Однако у многих аналитиков возникают сомнения в том, что нынешняя система власти является *стабильной*. Главная причина состоит в том, что в результате сужения пространства политики создается опасность разрушения си-

[86] Слово «публичные» подчеркивает те цели, которые открыто пропагандировались элитой. Между тем значительная часть правящего класса была заинтересована в слабом государстве, что, разумеется, открыто не артикулировалось.

стемы власти при развитии неблагоприятных тенденций внутри правящего слоя: «любая, возможно, даже незначительная флуктуация внутри правящего класса способна включить реверсивные механизмы власти, поменяв местами его различные сегменты и образования».[87] В отсутствии (сильного) гражданского общества такие потрясения крайне опасны не только для режима, но и для социальной системы в целом.

Вряд ли возможно оценить (общую) эффективность политической *власти* (а не управления) на *микроуровне*, которая проявляется в деятельности отдельных государственных служащих и их взаимоотношениях с гражданами и между собой. По-видимому, она существенно варьируется в различных регионах, сферах государственного управления, и находится в зависимости от личностных и ситуативных факторов.[88] Однако во многих аспектах государство явно не (вполне успешно) справляется со своими обязанностями, поскольку ему не хватает властных ресурсов. Например, для защиты прав и свобод граждан, сбора налогов, борьбы с выполнения некоторых законов, борьбы с преступностью и т.д., где государству не удается обеспечить выполнение принятых им решений[89] и должный контроль за соблюдением правовых норм. Основная масса населения также считает деятельность российской бюрократии неэффективной.[90] Все это свидетельствует о том, что высшее руководство страны не обладает должным контролем за деятельностью бюрократии, а сама бюрократия часто не в силах обеспечить эффективное техническое исполнение решений.

Насколько успешно правящая элита использует свою власть? Дает ли власть желаемый результат? Ответы на данный вопрос раскрывают *эффективность управления*, которое осуществляется на основе власти. Данный аспект не относится *собственно к власти*, но важен для понимания проблем, возникших в российской политической системе.

Исследователями предложены различные критерии оценки эффективности государственного управления.[91] Обычно эффективность государства определяется через его способность воплотить в жизнь определенный набор ценностей, например, как «максимизацию достижения целей путем использования

---

[87] Соловьев, «Технологии администрирования: политические резонансы в системе власти современной России», с. 57.

[88] Управленческая грамотность персонала может служить лишь косвенным показателем, поскольку она более связана с собственно управленческими аспектами, умением правильно ставить задачи и находить оптимальные пути их решения. Данные исследований, посвященных профессионализму и эффективности деятельности государственных служащих, дают весьма сложную и довольно противоречивую картину ситуации в этой области (Старостин, сс. 228-271).

[89] В 2001 г. президент РФ дал 891 поручение в адрес Минимущества, Минфина, Минэкономиразвития, Минтранса и Госстроя, из которых было выполнено в изначально установленный срок только 48 процентов от их общего числа. Что касается поручений правительства федеральным органам исполнительной власти, то здесь пропорция примерно такая же (В. Граждан, «Антибюрократическая революция», с. 45).

[90] Судя по данным социологического исследования бюрократии, так считает 57,1 процентов населения и лишь 9,6 процента оценивает ее деятельность в той или иной степени положительно (Бюрократия и власть в новой России, с. 55).

[91] Здесь мы учитывали, что обычно в них не проводится четкого разграничения властного и управленческого аспектов.

ограниченного набора ресурсов».[92] В.А. Козбаненко выделяет два вида (ракурса) эффективности государственного управления: техническую эффективность (она определяется степенью достижения целей деятельности с учетом общественных целей) и экономическую эффективность (отношение стоимости объемов предоставляемых услуг к стоимости объемов привлеченных для этого ресурсов). А. Старостин оценивает управленческий аспект государственной власти по таким параметрам, как целеориентированность, социальная результативность, социальной затратность, качество выполнения основных государственно-управленческих функций.[93]

Некоторые очевидные проявления слабости государства в области защиты прав и свобод граждан, борьбы с преступностью, обеспечением налоговых поступлений) свидетельствуют, как уже отмечалось ранее, в большей степени о слабости властной составляющей.[94] Однако целый ряд других проблем государственного управления обусловлены не столько отсутствием должных властных ресурсов, сколько ошибками в постановке и определении способов решения государственных проблем. К таковым можно отнести: (1) принятие законов, которые заведомо не будут выполняться,[95] (2) частые колебания курса, обусловленные сиюминутными соображениями, (3) принятие популистских решений; (4) неготовность осуществить модернизационный прорыв, включающий в себя, в том числе, переход к современным формам государственного управления, (5) консерватизм, нежелание менять традиционные (неформальные) способы властвования, и т.д. Все это имеет место в современной России.

В стратегическом плане наибольший ущерб интересам страны наносит сохранение старых форм и механизмов государственного управления. Последние десятилетия показали неспособность централизованной иерархически организованной системы государственного управления справиться с вызовами новой эпохи, ее неготовность адекватно реагировать на изменившиеся запросы граждан. Общий вектор реформирования задается новым пониманием роли и функций государства – превращением его из «верховного правителя» в «мене-

[92] Г.А. Саймон, Д.Х. Смитбург и В.А. Томпсон, *Менеджмент в организациях* (М., 1995), с. 270-271.

[93] См.: Старостин, с. 174, 225. Существуют и другие подходы к оценке эффективности государственного управления, но в любом случае эффективность увязывается с достижением целей государственного управления, полнотой и качеством выполнения государством его основных функций. Так, М. Макфол предложил три основных критерия силы (эффективности) государства: 1) внутренняя связанность государства – идеологическая и институциональная; 2) относительная автономия государства от общества, степень его независимости от частных интересов; 3) способность эффективно реализовать политику (Tompson, p. 936). Первые два критерия фактически относятся к властному аспекту государственного управления, и только третий касается как властного, так и управленческого аспектов.

[94] На самом деле, ситуация может быть несколько сложнее. П. Моррис (P. Morriss, Power: A Philosophical Analysis (Manchester: Manchester University Press, 1987)), скорее всего, обратил бы внимание на то, что у субъекта на самом деле может быть достаточно властных возможностей, но *нет достаточной мотивации к осуществлению власти*. Однако в моей интерпретации (Ледяев, *Власть: концептуальный анализ*, с. 133-155) интенция субъекта является обязательным признаком власти, поэтому и данную ситуацию можно интерпретировать как отсутствие власти.

[95] Примеров принятия российской властью подобного рода законов очень много. Один из последних – запрет на распитие пива в общественных местах, который никто и не пытается по-настоящему реализовать.

джера». Современная система государственного управления не может эффективно функционировать без взаимодействия с гражданами и их ассоциациями; только объединение усилий и ресурсов государственных и общественных структур позволит эффективно решать социальные проблемы. В условиях информационного общества «государство не снимает с себя ответственность за состояние общества, а разделяет ее с заинтересованными в решении той или иной конкретной проблемы общественными структурами. Фактически это означает, что государство делится своими властными полномочиями с общественными организациями».[96] Другое очевидное направление совершенствование механизма власти заключается в укреплении правовой системы и повышении роли формальных оснований государственного управления.

Однако движение в этих направлениях неизбежно затронет и приведет к разрушению нынешней весьма эффективной с точки зрения сохранения господства административно-политического класса системы власти, ограничивающей политический плюрализм, общественную инициативу и опирающейся на неформальные и принудительные практики. Поэтому *изменение характера и направленности государственного управления находится в противоречии с системой власти, на которой держится нынешнее российское государство*: сильная власть, успешно обеспечивающая свою собственную монополию на принятие стратегических решений и эффективно подавляющая альтернативные проекты оппозиции, оказывается слабой в реализации базовых прав и потребностей граждан и неспособной совершить модернизационный прорыв. Выстраивание «вертикали власти», в которой ее высшие звенья оказываются вне сферы правового контроля, закрепляет неэффективные (с точки зрения выполнения государством своих обязанностей перед населением) и ущербные в правовом и моральном плане формы общения. От того, как будет преодолеваться данное противоречие – через движение к новым основаниям и формам власти, их институционализацию или закрепление старых механизмов господства – будет во многом зависеть вектор развития российского общества.

***

Таким образом, именно *административно-политический класс является субъектом политического господства в современной России*, поскольку существующая социальная система и избранный курс воспроизводят выгодные для него условия жизнедеятельности и он контролирует данный процесс, имея возможность (власть) определять стратегию общественного развития, повестку дня и ключевые государственные решения. Административный класс обладает, по крайней мере, тремя из четырех оснований господства по Домхоффу: он занимает ключевые институциональные позиции, успешно инициирует или блокирует определенные политические альтернативы и стабильно извлекает выгоду из своего положения, используя общественные ресурсы для реализации корпо-

[96] В. Комаровский, «Административная реформа в Российской Федерации», *Полис*, № 4 (2005), с. 172-178 (с. 172-173; 177).

ративных и личных интересов. Труднее оценить (без соответствующих эмпирических данных) степень мобилизации корпоративных ресурсов, уровень классового сознания и «контроль за идеями»; но очевидно, что во всех этих компонентах он вряд ли (серьезно) уступит своим «визави» в других странах, а скорее превзойдет их, поскольку члены административно-политического класса объединены не только общностью интересов и корпоративным сознанием, но и совместным выполнением управленческих функций, предполагающих организацию, иерархию и обязанность (разумеется, в определенных пределах) действовать как единое целое.

Социологические исследования подтверждают, что административный класс постепенно превращается в особое сословие, заинтересованное главным образом в обеспечении своего богатства и является наиболее влиятельной силой в российском обществе. Сами государственные чиновники видят специфику интересов российской бюрократии как особой социальной группы «*в сохранении и постоянном увеличении своего влияния и власти, защите собственных интересов*». При этом, как отмечают социологи, «мы сталкиваемся с феноменом сформировавшегося классового сознания, в котором осознанные государственной бюрократией собственные интересы противопоставляются интересам общества».[97]

Конфигурация форм власти в российской политической практике характеризуется слабостью легального авторитета и, соответственно, возрастанием роли иных форм властвования, прежде всего принуждения. Данная ситуация обусловлена как объективными (авторитарные традиции, превалирование пассивных типов политической культуры, слабость законодательной базы, кадровые проблемы), так и субъективными факторами (стремление правящего класса сохранить возможность использования формальных норм по своему усмотрению, заинтересованность в сохранении статус-кво ряда социальных групп, в том числе высоко-ресурсных, высокая доля (бывших) военных в составе правящей элиты). Данная конфигурация форм власти соответствует (конгруэнтна) доминирующей роли административно-политического класса в современном российском обществе.

Сложившаяся система власти административно-политической элиты является одновременно и эффективной, и неэффективной. Она эффективно обеспечивает воспроизводство режима, ограничивает притязания на власть со стороны других групп и позволяет правящей элите реализовывать свои стратегические цели. По сравнению с предшествующим десятилетием государство в России стало внутренне связанным, дееспособным и значительно укрепило свои ресурсы, а его низовые звенья, в существенно большей степени, чем в ельцинский период находятся под контролем федерального центра. Вместе с тем, оно остается слабым в сфере реализации базовых прав и потребностей граждан, а многие его функции не реализуются должным образом

[97] Бюрократия и власть в новой России, с. 95.

– либо в силу неадекватных управленческих действий, либо в результате того, что характер и специфика используемых властных ресурсов препятствует решению стратегических задач модернизации общества, укреплению правовых основ и расширению социальной базы государственного управления. В какую бы сторону ни эволюционировала российская политическая система в ближайшем будущем, в интересах россиян сделать ее эффективной не столько в сохранении и воспроизводстве власти правящей элиты, сколько в создании условий для успешного развития личности в свободном динамично развивающемся обществе.

РОССИЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В РЕАЛИЯХ XXI СТОЛЕТИЯ[1]

С.А. Никольский
Институт философии РАН

Произошедшее двадцать лет назад крушение одного из самых мощных тоталитарных режимов XX века – советского строя в России не привело к автоматическому утверждению демократии. Зачатки ее, появившиеся в начале 90-х годов, менее чем через десять лет были свернуты. И ошибочно винить в этом только новую, пришедшую на смену Б. Ельцину, власть. Большинство населения страны, не выдержав испытания новой, обращенной к началам самоуправления, жизни, приветствовало возвращение авторитарного строя, избавляющего его от ответственности за собственное будущее, но обеспечивающего минимальный уровень материального благополучия. Этот общий вывод может быть конкретизирован по-разному. Я же попытаюсь это сделать в плоскости содержания и перемен в самосознании россиян.

* * *

Под национальным, в том числе и российским самосознанием, следуя философской традиции, я понимаю систему идей, взглядов, представлений, убеждений, верований, норм, целей, ценностей и привычек, сложившихся у отдельного субъекта и народа в целом и проявляющихся в его поведении и действиях в обыденно-типичных или экзистенциально-экстремальных ситуациях. Оно включает в себя понимание индивидом самого себя, своей специфики (отличия) от представителей иных национальных общностей, что происходит как через позитивное отождествление и утверждение, так и через негативное – «мы – не французы, немцы, китайцы и т.д.». При этом, французам, немцам и т.д. может приписываться нечто, им вовсе не свойственное, но что важно для утверждения собственных представлений россиян о себе самих.

Самосознание индивида, будучи связанным с его потребностями и интересами, делает этот взгляд на мир заинтересованным. К тому же, самосознание - эта и осознанная, отрефлексированная и определенным образом упорядоченная система, которая в своем «устойчивом ядре» присуща большим группам людей, по которым эти группы идентифицируют себя, отличают «своих» от

[1] Статья подготовлена в рамках работы по гранту РФФИ 09-06-00171-а

«чужих». В самосознании больших человеческих общностей есть некие базовые элементы, которые присущи многим (если не большинству) людей определенной культуры[2].

Среди этих базовых элементов не последнее место занимают, в частности, языковые проявления самосознания. Это, например, фиксируемые языковедами так называемые «типично национальные» понятия, например, такие сугубо русские, как: *душа, судьба, тоска, счастье,* а также такие глаголы, относящиеся к нашему традиционному пониманию практической деятельности, как: *собираться, постараться, сложилось, довелось, получилось, появилось.* Эти понятия, по мнению филологов, являются специфически русскими, характерными именно для нашей лексики и национальной языковой картины мира и которые в других языковых картинах мира отсутствуют[3]. Сравним, например, приведенные русские неопределенные глаголы с английским глаголом «to do» — «делать». Употребляющий английский глагол субъект сразу же фиксирует по крайней мере три момента заявляемого им намерения практической деятельности. Он четко определяет именно себя в качестве субъекта действия; сообщает о намерении приложить усилия, а именно что-то сделать; даже в мыслях не допускает возможности ожидания каких-то благоприятствующих или исчезновения неблагоприятствующих факторов или обстоятельств. Кроме того, своей определенностью он возлагает на себя личную ответственность за конечный результат. Конечно, глагол «делать» есть и в русском языке. Однако кроме него там есть и названные, а потому итоговая конструкция часто звучит как «постараюсь что-то сделать».

* * *

XXI век наряду с такими важными реалиями как необходимость выработки механизмов согласования экономического развития человечества или недопущения системного экологического кризиса поставил и проблемы, неизвестные прежде. Одной из них, безусловно, является инновационное развитие страны, желающей сохранить или приобрести лидирующие позиции в мире.

Необходимость инновационного развития**,** которое в последнее время в России все больше подается как актуальная экономическая и общественная задача, требует всестороннего анализа, включая его понимание в связи с темой самосознания. При осмыслении этой задачи под определенным углом зрения оказывается, что составными частями общественного развития и самосознания

[2] В развитие этой темы уместно указать на интересное исследование И. Нойманна, который применительно к русским формулировал свою исследовательскую цель так: важно то, «о чем конкретные русские *думают* как о чем-то общем для всех них (будь то цель, проблема или символ) и что составляет русскую идентичность». Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в формировании европейских идентичностей. М.: Новое издательство, 2004. С. 14.

[3] См., напр.: Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 452–460.

индивида и общества выступают архаика, традиция и инновация, при этом у каждой из этих частей есть свое специфическое предназначение, своя роль.

Для конкретизации этого представления следует взглянуть на самосознание как на целостность, состоящую из названных элементов не только тесно связанных между собой, но и различающихся по разной степени подвижности, источника развития и существования каждого элемента. Так, инновации – наиболее подвижная часть триады, представляет собой совокупность непрерывно возникающих в общественном развитии и сознании индивидов, в их отношениях или в производимых ими продуктах модулей разного рода новых элементов и вариантов их взаимосвязей. Однако после возникновения их существование возможно лишь в одном случае – во взаимодействии с традиционными (уже работающими) элементами и сочетаниями вплоть до их полного развития в качестве таковых или же, что также не исключено - до их полного уничтожения (отторжения). В процессе этого взаимодействия некоторые инновации благополучно инкорпорируются, становятся частью, дополнением работающей системы традиций. Некоторые инновации заменяют отдельные элементы (связи) системы традиций на новые. А некоторые отторгаются и исчезают как неприемлемые. Таким образом, по отношению к инновациям существующая система традиций выступает как главный фактор искусственного отбора.

Но и сами элементы традиционного в своем статусе не вечны. В случае, если какие-либо из них, их сочетания или их связи работают в системе слишком долго, они как бы закостеневают, перестают быть восприимчивыми для взаимодействия с вновь появляющимися инновационными элементами и связями и в итоге переходят в наименее подвижную часть системы – архаику. Архаика - это наиболее давние, широко распространенные и укорененные традиции. Примерами таких архаичных элементов могут быть моногамные или полигамные браки, по поводу форм которых споров у подрастающих поколений не возникает.

Инновационное, традиционное и архаичное можно представить как три существующие и взаимодействующие между собой плоскости развития, лежащие одна на другой, но движущиеся с разными скоростями. Нормальное, не испытывающее специального насильственного воздействия общественное развитие естественным образом продуцирует в себе и из себя инновации, обеспечивает их взаимодействие с традицией и передает их отдельные образцы, элементы и связи на нижний, базовый уровень архаики.

Случается и так, что отдельные общественные силы или личности, заинтересованные в активном продвижении каких-то инноваций на традиционный уровень, их длительном на этом уровне существовании или даже переносе на архаический уровень, насильственным образом вмешиваются в этот естественный процесс. И делают они это в основном насильственно, параллельно прибегая к помощи идеологии, которая в этом случае выступает не просто как система идей, взглядов, норм поведения, привычек и т.д., а как система «внушений»

и соответствующего поведения, всеми возможными материальными и идеальными способами понуждаемая к совершению идеологически предначертанного действия. Идеология в этом случае выступает тем, что под ней подразумевал К. Маркс, и что обычно в контексте советской лексики называлось «идеологической работой». Но бывает и наоборот – когда некие элементы, благополучно отжившие и пришедшие в забвение, вновь стараются извлечь из глубокой архаики и придать им форму важной живой традиции.

В действии идеологического «внушения и поведения» не стоило бы усматривать никаких угрожающих совокупному общественному движению негативных последствий, если бы не одно обстоятельство. Идеология не только стимулирует продвижение каких-то определенных инноваций на традиционный и архаический уровень, но и активно препятствует возникновению и закреплению на традиционном уровне инноваций, возникающих в общественном развитии органично и требующихся для того, чтобы развитие продолжалось. В этой своей роли идеология берет на себя роль традиций и начинает проводить среди инноваций своего рода искусственный отбор на предмет их соответствия или несоответствия содержанию своего «внушения» и задачам, заложенным в нее идеологами. Такая «идеологическая работа» тормозит процесс естественного появления инноваций, их проникновения и закрепления на традиционном уровне. В результате, общественное развитие замедляется, наступает стагнация, а вслед за ней и застой. Аналогичные процессы происходят и в сфере общественного и индивидуального самосознания, с той лишь разницей, что индивидам присуща определенная степень личностной свободы.

В случае проведения «идеологической работы» архаический уровень также не ведет себя исключительно пассивно. Под идеологическим воздействием он искусственно активизируется и начинает избирательно извлекать из традиций лишь определенные, санкционированные идеологией, элементы, перенося их на свой уровень и придавая им форму незыблемых, то есть присущих социуму «от века». Под влиянием архаики возможно даже извращение содержания некоторых инноваций. Сделать это тем более просто, поскольку инновационные элементы на своем уровне (то есть до соприкосновения и инкорпорирования в традицию) высоко уязвимы, их легко представить в несвойственном им, извращенном виде, то есть фактически подменить. Эту работу также выполняет идеология.

Описывая инновационный, традиционный и архаический уровни, нужно отметить и присущие каждому из них особенности возникновения и существования. Так, об инновационном уровне нужно сказать, что он почти исключительно связан с такими свойствами и способностями человеческого мышления как воображение и фантазия. На уровне традиции главным образом работают рациональные и чувственные способности, а с архаическим уровнем теснее всего коррелируется иррациональное - вера.

Теперь, когда в общих чертах изложена гипотеза о взаимодействии инновации, традиции и архаики, а также роли в их взаимодействии идеологии, можно перейти к рассмотрению ее (гипотезы) объяснительных возможностей в современных условиях.

* * *

Еще насколько десятилетий назад обычной и комфортной формой существования людей было пребывание в национальном, локальном и групповом обособлении. В этих же параметрах существовало и самосознание. Однако после появления Интернета и информационного общества ситуация кардинально изменилась. Важнейшим фактором, характеризующим самосознание, стала колоссально возросшая взаимосвязь индивидов между собой на основе общего информационного пространства. Тотальность существенно потеснила локальность.

Для развития общества в разрезе «инновации – традиции – архаика» это стало означать, в частности, следующее. Во-первых, произошел огромный рост продуктивности инновационного уровня, который стал мощно предлагать свое включение, активно влиять на уровень традиций. И, во-вторых, за счет тотального оповещения-информирования всех участников информационного пространства существенно расширились возможности развития индивидуального самосознания и, одновременно, ограничились возможности «идеологической работы» - искусственного, выгодного отдельным политическим силам воздействия (искусственного отбора) инноваций и их дальнейшего продвижения на уровень традиций.

Казалось бы, в этих условиях скорость общественного развития и развития самосознания должна автоматически существенно увеличиться. Однако автоматизм не срабатывает. Выяснилось, что для успешного продвижения с инновационного уровня на уровень традиционный, для включения отдельных продуктов воображения и фантазии в действительность также требуется определенная образовательно-просветительская работа. В случае же, если ее нет, процесс внедрения инноваций в традиции замедляется, так как произведенные и не инкорпорированные в традиционное инновации сперва работают вхолостую, а затем отмирают. Таким образом, в новых условиях одной из важнейших общественных потребностей стала потребность в отлаживании (приспособлении) механизмов, регулирующих процесс органичного включения инноваций в традиции и, тем самым, в общественное развитие, в самосознание индивида и общества в целом. Как же содействовать этому процессу, то есть выполнять обозначенную образовательно-просветительскую работу?

По прошествии некоторого времени стало ясно, что ничего нового для выработки оптимальной модели регулирования общественного развития и развития самосознания нет, за исключением двух «вечных механизмов». Это, во-пер-

вых, правовые нормы и соответствующее им правосознание и, во-вторых, закрепленные в обществе и сознании религиозный, моральный, научный и художественный авторитеты. При этом действие закона должно быть безукоризненным и неукоснительным, а действие авторитетов свободно устанавливаемым и ничем не стесняемым.

Конечно, при слабости «вечных механизмов» ничто не гарантирует от попыток регулировать общественное развитие и формирование самосознания с помощью избирательного применения закона, навязывания ложных авторитетов, создания угрозы репрессий и даже диктатуры. Но, во-первых, даже в прошлом, в условиях локальности, эти попытки или практика никогда не давали сколько-нибудь продолжительного эффекта. И, во-вторых, в условиях общего информационного пространства и того, что люди в благополучных демократических странах, выступая в качестве неявного образца для сравнения, сделали выбор и стараются придерживаться «вечных механизмов» общественного развития, иная модель его регулирования тут же обнаруживает свою ущербность, то есть становится невозможной. А если общество все же пытается прибегнуть к какой-либо старой модели, работавшей ранее в условиях локальности, то в новых условиях оно с неизбежностью начинает деградировать. Таким образом, общее информационное пространство, стимулируя процесс возникновения инноваций, превращается в императив создания или упрочения оптимальной модели регулирования общественного развития и становления самосознания.

* * *

К сожалению, в современной России осознание новой реальности – перехода к информационному обществу, от локальности к тотальности и необходимости укоренения «вечных механизмов» оптимального общественного развития до сих пор не произошло. Во-первых, потому, что в стране традиционно слабо действие «вечных механизмов» оптимальной модели регулирования общественного развития и в последнее десятилетие для их укрепления власть делает очень мало. Во-вторых, потому, что из всего спектра «вечных механизмов» нынешняя власть сделала ставку лишь на возрастание роли религиозного авторитета, в то время как остальные их компоненты практически игнорируются. И, наконец, в-третьих, потому, что поддавшись искусу следовать имеющейся в истории страны традиции авторитарного управления, базирующейся на неизжитой иллюзии, что один человек (группа соратников) способны направить общественное движение и самосознание по верной дороге, уже сделаны и продолжают делаться ошибочные шаги. То есть, у неверно избранного в последнее время пути общественного развития уже складывается своя история, что становится фактором дополнительного влияния. У власти также нет и понимания того, что как бы ни были лично честны и разумны отдельные правители, при старой системе общественного развития они рано или поздно становятся одной из мно-

жества властных групп. А при этом условии, если даже отдельные правители сохранят благие намерения, то они все-таки делаются лишь маленьким элементом в конгломерате намерений и интересов прочих властных групп, далеко не столь однозначно настроенных на благо. По этой причине единственная возможность укрепить направленную на благо власть означает отказ от попытки ее сосредоточения в одной честной паре рук и постепенную передачу в сферу ведения «вечных механизмов».

* * *

К сожалению, представления о том, что Россия и самосознание россиян не готовы к иным формам правления, кроме авторитарных, довольно распространены. Так, например, подобные идеи были сформулированы в статье видного представителя современной интеллигенции известного режиссера А. Кончаловского[4], заявившего о «неготовности» нашего народа к цивилизованной жизни. Впрямую к таким идеям примыкают и борцы за русскую национальную самобытность, время от времени выдвигающие разного рода проекты дебилизации российского общества в форме «массовой культуры». Таковой, в частности, недавно был предложен на страницах издаваемого г. Третьяковым журнала «Политический класс»[5].

Моя мысль, которую я постараюсь обосновать, состоит в следующем. Жизнь или смерть культуры зависит не столько от заботы или небрежения со стороны государства (хотя создание минимально необходимых условий, конечно, желательно), сколько от наличия или отсутствия в стране извечного оппонента и, одновременно, партнера государства – развитого гражданского общества и его субъекта – свободной личности. Культуру создают личности, а не чиновники, даже если перед ними поставить общественно значимую цель.

В своих рассуждениях С. Сергеев исходит из ряда сомнительных тезисов: мы присутствуем при умирании Культуры, поскольку из современников некого поставить в один ряд с великими Пушкиным и Толстым; сегодняшняя Культура не выполняет своей эстетической, познавательной и социальной функции; правящая элита отказалась от просвещенческого проекта окультуривания народа; в современной России гуманитарно образованные люди не нужны; идеалы, проповедовавшиеся отечественной литературой, противоречат «полубуржуазным-полууголовным этическим предпочтениям большинства россиян»; общенародный статус отечественной классики фальшив, потому что в стране нет «проекта совместной жизни». И далее - рецепт: государству надо озаботиться созданием эрзаца – масскульта с поп-беллетристикой, комиксами, компьютерными игра-

[4] Кончаловский А. «Верить или размышлять? Как нам взрастить политическую культуру». «Политический класс», 2006, № 7 (19). См. также мой отклик - «Народ к демократии пока еще не готов», или снова о «социализме с человеческим лицом». «Политический класс», 2006, № 10 (22).

[5] Сергеев С. «Имитация Культуры. Высокая Культура перестала быть действенным символом национального единства». «Политический класс».2008, № 4 (40).

ми, приспособленными для «современного массового русского человека». Усваивая их, «массовый человек» получит прививки «национальной солидарности», «социального сотрудничества», достойные примеры «мужчины как воина и труженика», а женщины как «домостроительницы и матери». (Не знаю, как читателю, но мне это отчетливо напоминает проект нацистского ученого - доктора Хасса из фильма С. Кулиша «Мертвый сезон», надеявшегося при помощи газа RH вывести особые породы идеальных счастливых людей – ткача, землекопа, шофера?)

При том, что С. Сергеев беспомощен в анализе и постановке диагноза современного кризиса отечественной культуры, он прав в факте – культура переживает не лучшие времена. Сложное, переходное состояние народного сознания, наблюдаемое нами, фиксируется с момента своего возникновения, в частности, в размышлениях писателей и литературных критиков. «Невиданная ранее черта психологии – раскрепление черт и признаков, - отмечал в конце 80-х годов Л. Аннинский. - Ничто не закреплено: не черты характеров, ни признаки вещей. Каждый готов стать всем и рискует остаться ничем. Отсюда нетерпение в людях, и азарт гонки, и страх обмана, и озлобленность от непрерывного напряжения, и невозможность понять - где что и кто есть кто, ибо все крутится, меняется местами, ролями. В этом вращении всего и вся признаки драматически отлетают от вещей, слова от явлений, традиционные ценности – от ценностей меняющихся»[6].

В более широком смысле на этот же счет высказывался и Виктор Астафьев. «Мы ведь все упавшие духом сейчас. Часто в депрессии пребываем. Да и как избежишь ее, когда посмотришь вокруг, послушаешь… Я потому и в деревню забрался, в огороде копаюсь. Тянет к одиночеству. И по телевизору я уже тяжело переношу как вождей, так и литераторов… Ни в чем не уверен – ни в завтрашнем дне, ни в себе, ни в книгах своих»[7].

«Промежуточное», смутное, мятущееся сознание – отражение состояния самой действительности. Да и какой этой действительности быть? Ведь она и на самом деле в процессе перехода. За спиной у российского общества – семидесятилетняя трагически-неудачная попытка построения административно-бюрократической модели экономики и общественной жизни в целом. Впереди – размытые контуры нового социально-экономического уклада.

Что же касается знания о нашем прошлом, то оно таково, что опираться на него как на объективно-достоверное нельзя. Знание – продукт, отражающий реальное положение вещей в человеческой интерпретации - с оценками и отношением его конкретного носителя. Мы понимаем, что многое из доставшегося нам багажа должно быть культурно преодолено. Но что и в какой мере? И что необходимо с благодарностью наследовать и культивировать в новых условиях? К сожалению, государство, на которое столь сильно уповает г-н Сергеев, не дает

[6] Аннинский Л., Глушкова Т. Фениксы и хамелеоны. Диалог критика и поэтессы. В сб. «Что с нами происходит? Записки современников». М., Современник, 1989, с. 250.

[7] Интервью с В.П. Астафьевым. «Литературная газета», № 39, 26 сентября 1990.

и в принципе не может в этом случае дать нам ясного понимания. Впрочем, когда все же пытается, то возникает несусветное. Пример? Да хотя бы из всем очевидного – государственных символов. Флаг страны – триколор императорской России. Но и знамя СССР не в музее. Герб – двуглавый орел. Но и звезды не погасли. Текст гимна – новый. Но под старую музыку сами собой всплывают слова «Союз нерушимый…» В общем, как верно говорит Анненский, «все крутится, меняется местами, ролями».

Впрочем, в этой круговерти-карусели есть и в последние годы укрепляется константа, всегда бывшая в России, но с особой силой утвержденная советским строем. Это фигура «человека в погонах» или, как раньше говорили, «человека с ружьем». Именно он стал повивальной бабкой нового государства: пятимиллионная, хлынувшая с фронтов армия, смертельно уставшая от бессмысленной бойни, радостно подхватила открывающий низменные инстинкты большевистский лозунг «грабь награбленное». Именно «человек в погонах» стал затем главной скрепой советского строя, выполняя разные, как постыдные, так и героические роли – от вохровца ГУЛАГа и интернационалиста-агрессора - до защитника и спасителя страны в годы Отечественной войны.

Конечно, воины играют существенную роль в истории многих народов. Но если сравнивать с Европой, то тамошний аналог «человека в погонах» – рыцарь – имел свое исторически определенное место и перестал быть центральным субъектом истории под влиянием процессов возрождения, реформации и просвещения. В свою очередь, процессы эти одним из своих результатов имели становление гражданского общества. В России, как известно, возрождение, реформация и просвещение не состоялись. И потому все общественные задачи были возложены на государство. Оно оказалось не только защитником страны, но и единственным организатором развития производительных сил, и церковным реформатором, и просветителем, и защитником униженных и оскорбленных. Естественно, наряду с чиновником, важнейшей деталью в государственной машине стал «человек в погонах».

Постепенно этот главный персонаж российской истории сделался столь табуированной фигурой, зачастую подаваемой как «наше национальное все», что даже недавняя попытка участника Великой Отечественной войны рядового Виктора Астафьева разобраться, кто и что на этой самой войне делал, кто и как зарабатывал награды, кто и всегда ли обоснованно посылал других на смерть, вызвала мало с чем сравнимый припадок национальной истерии – как посмел вопрос задать!? При этом – загадочная русская душа! – равно негодовали как те, кому, как сказал поэт, звезды катилась на погоны, так и те, кому они попадали под сердце[8].

[8] См., например,: Астафьев В. Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952 – 2001. Иркутск: Издатель Сапронов, 2009.

* * *

И, наверное, ничто бы не менялось в родном Отечестве, если бы не вызовы новой эпохи – постиндустриального, а теперь и информационного общества. Оказалось, что даже простое выживание в привычной для нас парадигме «органического производства» (Д. Лал), то есть жизни за счет природного сырья и плодов земли, теперь под большим вопросом. Стало очевидно, что наш тысячелетний «природно-общинный» тип производства не только не конкурентоспособен, но и просто неадекватен задачам элементарного выживания народа в новых исторических условиях. Что привычная советско-армейская управленческая парадигма «не можешь – научим, не хочешь – заставим» и «делай как я» не обеспечивает успеха. Что сконцентрировавшее в себе все жизненные общественные функции государство не только не может выполнять их эффективно, но и вообще сколько-нибудь удовлетворительно, а его центральные фигуры – чиновник и «человек в погонах» - по определению не могут все общественные задачи решать.

Впрочем, легко об этом рассуждать. А жить как? Если российский народ в массе своей привык к тому, что хотя и скверно, но все же государство делает за него то, что вообще-то должен делать он сам. Если 90-е годы показали, что когда меняются фундаментальные условия жизни общества, то, по крайней мере, на довольно продолжительных начальных этапах нового развития большинству будет не лучше, а хуже, чем было. Что не будет привычного всеобщего равенства в нищете и, если желаем жить лучше, то нужно многие функции у государства отобрать, многие упразднить, а многие выполнять самим. А для этого непривычно много без зарплаты и «халявы» трудиться и самоорганизовываться. Что наиболее предприимчивые постараются без меры «откусить» от общего «национального пирога», заботясь лишь о том, чтобы не слишком гневить государство и для этого начнут с ним делиться. Что мировое сообщество и олицетворяющие его страны, как всегда декларируя общность интересов, превыше всего будут ставить собственную национальную выгоду, в том числе и достигаемую за счет других любой ценой. Ведь так, вполне допускаю, и до распада России легко было дойти. Вот тут-то в конце 90-х годов и оказался вновь и тотально востребован «человек в погонах».

Сомнений в подлинности именно такого течения событий в нашей недавней истории у меня нет, равно как и относительно новой призванности воина в качестве главного государственного менеджера, тем более, что от одного из таких людей есть прямое свидетельство. В своей статье в «Комсомольской правде» В. Черкесов, в прошлом - руководитель службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, писал: «чекисты и наша нынешняя Россия оказались исторически связаны… Никто не рвался к власти, не хотел присвоить роль господствующего сословия. История распорядилась так, что груз удержания российской государственности во многом лег на наши плечи. Мы должны при-

знать, что буквальной готовности к этой роли у нас не было и не могло быть. Что чекисты - это не «ум, честь и совесть», а очень разные люди. С одной стороны, безусловные патриоты, сильные и активные, с другой - не без профессиональной ограниченности и корпоративных недостатков. Но так случилось. И просто не оказалось всему этому реальных социальных альтернатив»[9].

Сказанное В.В. Черкесовым – отражение реальной ситуации в современной жизни страны. По оценкам социологов, почти три четверти государственных должностей сегодня занимают выходцы из спецслужб, силовых и военных ведомств. Сколько их среди руководителей столь популярного сегодня «государственного бизнеса» и «частно-государственного партнерства» - можно лишь догадываться. И было бы странно, если бы тот, кто «удержал на своих плечах груз российской государственности», в награде за это себя обделил. Сужу об этом, в частности, по продолжающемуся на российской сцене представлению под названием «процесс Ходорковского – Лебедева», равно как и опереточным процессам над так называемыми «оборотнями в погонах», когда извлекаемое из их сейфов в сотни раз превышает их немалые оклады, но в процессе следствия, которое ведут такие же «люди в погонах», до казны все же не доходит.

Оставлю в стороне рассчитанную на наивного читателя авторскую оценку «так случилось». На мой взгляд, высший жизненный императив «человека в погонах» всегда был, есть и по определению должен быть только один – «выполнение приказа без обсуждения и колебаний любыми средствами и любой ценой». Именно это вытекает из военной присяги - фундаментальной основы его жизни.

Но в какой мере этот привычный для «людей в погонах» тип социального и, в том числе, экономического поведения согласуется с императивными требованиями современного информационного общества? Напомню, что среди них - высокие моральные качества, основанные на реально высоком уровне личной свободы индивида; верховенство закона; неподконтрольный властям и неподкупный суд; независимые СМИ; признаваемое обществом человеческое достоинство каждого. И уже сейчас очевидно, что чем более развиты эти культурные составляющие личности и общества, чем более высокой пробы этот «человеческий капитал», тем на более высокой ступени своего развития уже находится или может подняться экономика, тем она эффективнее. В этой связи вопрос: насколько «люди в погонах» способны преодолеть свою жизненную установку - «императив приказа» и принять современные цивилизационные нормы бытия? И вопрос этот тем более интересен, поскольку, как мы неоднократно от этих людей слышали, «чекистов бывших не бывает».

[9] Черкесов В.В. Неведомственные размышления о профессии. «Комсомольская правда». 28 декабря 2004 года.

* * *

Современная экономическая наука доказала: культура не в меньшей степени чем средства производства, влияет на экономическое развитие[10]. Вывод этот прекрасно подтверждается примерами из отечественной истории. В ней можно найти много моментов, когда действительно ставилась задача перехода к экономике нового типа и при этом свою существенную роль играла культура. Остановлюсь на двух, возможно, наиболее крупных.

Первый – реформы Петра I. Их основной смысл – волей самодержца принудительно ввести в экономическую жизнь культурное начало и частный интерес, сделать их двигателем экономического прогресса. Не сразу, поскольку такой алгоритм развития в исторической жизни России был явлен впервые, но спустя почти сто лет последовала подкрепляющая этот экономический алгоритм культурная реакция. О ней прозорливо написал А.И. Герцен: «На реформы Петра Россия ответила явлением Пушкина».

В чем же состоял культурный феномен великого поэта? Конечно, это огромная тема, в которой я вынужденно выделю всего несколько моментов, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. Прежде всего, впервые в истории отечественной культуры были представлены размышления о том, «Что такое человек?», «Что есть добро и зло?», «Мыслим ли человек без свободы, чести и достоинства?» В известном отношении, «Евгений Онегин» - это поиск ответа на вопрос «Зачем живет человек и что для него есть любовь».

А что говорили современникам и что говорят нам «Повести покойного И.П. Белкина» и «Капитанская дочка»? Что судьба людей и их благо - в руках Господа и дело человека, прилагая личные усилия, не забывать об этом. Что любовь, честь и достоинство – выше узко понятых должностных, семейных и прочих обязанностей, да и самой жизни, наконец, и что за земные дела свои человеку воздается как на земле, так и после смерти.

От чего предостерегал Пушкин «Пиковой дамой» и «Медным всадником»? В том числе, и от искушения достичь вожделенной цели недобрыми средствами, от желания слабого человека передать решение своей личной судьбы в руки государства, которое в этом случае, не исключено, сделается злой силой.

Число примеров можно было бы продолжать, но вывод очевиден. Заложенный Петром новый алгоритм участия культуры и личностного начала в экономической жизни потребовали от человека нового качества, нового содержания, новой направленности сознания и самосознания личности, нового мировоззрения.

Еще одним пример радикальной реформы в истории страны связан с именем Александра II. Не обращаясь к подробностям совершенных преобразований, отмечу, что их главный вектор был, конечно, «петровский», а именно -

[10] Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., Начала, 1997; Лал Д. Непреднамеренные последствия. М., ИРИСЭН, 2007 и др.

усиление в экономической жизни роли культуры и свободной личности. На утверждение этой системы общественных отношений были направлены проводимые царем реформа образования, судебная реформа, реформа местного самоуправления и, конечно же, его главное деяние - отмена крепостного права.

На подготовку и самые реформы в русской культуре ярко и конструктивно «ответили» прежде всего И.С. Тургенев и И.А. Гончаров. Тургенев – мощным циклом из шести романов, Гончаров – «Обыкновенной историей» и «Обломовым»[11]. В этой связи скажу лишь о нескольких идеях, выраженных в этих произведениях и фундаментальных для перехода страны к новому экономическому алгоритму.

Первая – о новом человеке, представленном образом Базарова. В нем мы находим довольно редкую для отечественной литературы фигуру профессионала, человека лично свободного, обладающего высоким чувством собственного достоинства и к тому же – трудоголика. Печален, однако, финал: этот человеческий тип оказывается чуждым российской действительности. Именно Россия в ее тогдашнем состоянии являет собой материализованный нигилизм, уничтожающий все, что не вписывается в ее рабское (крестьянское) и паразитическое (помещичье) бытие.

Вторая идея, примечательная в связи с обсуждаемой темой, – диагноз болезни, которой Россия только начинала болеть в то время – болезни революционаризма. Смысл этого явления – одномоментным насилием изменить существующий порядок вещей. Революционер Инсаров, говоря словами Добролюбова, надеялся «резким толчком ноги повернуть ящик». Но сделать это, не меняя природы самого российского человека, оказывается нельзя. А поменять свою природу человек может лишь сам, для чего ему понадобится культура и много собственных усилий.

Третий, принадлежащий Гончарову, тезис и вовсе звучит на первый взгляд экзотично. Россия – это не только бездеятельные Обломовы, хотя, как в случае с Ильей Ильичем, обладающие «золотыми сердцами». Это также их антиподы, честные и деятельные Штольцы и Адуевы-дяди. (Кстати, в заключительном романе своей шеститомной серии Тургенев выводит образ, близкий Штольцу – образ управляющего Соломина, за которым, как он надеется, будущее страны. И этим образом как бы ставит заключительную точку в ответе на свой же, магистральный для романной эпопеи вопрос: «Возможно ли в России позитивное дело?»).

Еще более мощно на заданный реформами Александра II экономический алгоритм ответил своим творчеством А.П. Чехов. Ряд созданных им позитивных образов показывает единственно правильный вектор позитивных экономических перемен: утверждение личностного и культурного начал как факторов общественной жизни. Это, прежде всего, герой повести «Моя жизнь», равно как

[11] Более подробно на эту тему можно посмотреть мои статьи в журнале «Вопросы философии» - № 5 за 2008 и № 4 за 2009 годы.

и доктор Астров из «Дяди Вани», и предприниматель Лопахин из «Вишневого сада». Их образами писатель утверждает, что только личной дисциплиной, упорством, окультуриванием, «постепенством малых дел» можно привить людям способность к новому экономическому поведению, строящемуся на свободе и личном достоинстве.

То, что этот путь оказался единственно верным, демонстрирует нам экономика и культура развитых стран западной Европы, многие ценности и смыслы которой не уставала прививать на русской почве, равно как и вырабатывать свои собственные, отечественная классическая литература.

* * *

Предпринятый мной небольшой экскурс в подлинное содержание некоторых смыслов и ценностей русской культуры имеет двоякую цель. Прежде всего, на этой основе я хотел бы сделать внятной для читателя мысль о том, что никакому, даже самому совершенному и альтруистическому по своей направленности государству, нет и не должно быть дела до окультуривания своих подданных. Озабочено оно может быть лишь проблемами организации функционирования культуры, в частности, проблемами образования. Ибо если государство начнет вникать в содержание культуры, тем более - с целью продвижения одних идей и искоренения других, то тогда получится именно то, о чем по наивности тоскует г-н Сергеев. Напомню, в умершем СССР он видит «с фантастическим рвением» продвигаемый большевиками «просвещенческий проект всеобщего окультуривания народа». В нем, этом проекте, «знание Пушкина являлось вещью более важной, чем размер оклада, и многие в это искренне верили».

Действительно, государство «СССР» работы с содержанием культурных ценностей не чуралось. Оно в них вникало и видоизменяло. Поэтому и толкование, например, Пушкина советским людям предоставлялось соответствующее. И если трудно восстановить школьные трактовки тех или иных произведений, то довольно легко их увидеть на примерах экранизаций отечественной классики. Так, при съемках «Капитанской дочки» Пушкина (фильм «Гвардии сержант») сценарист В. Шкловский и режиссер Ю. Тарич в русле коммунистического государственного заказа избрали путь «модернизации» исторической концепции произведения в духе исторической школы Покровского[12]. В интервью по этому поводу Ю. Тарич заявлял: «Ввиду того, что общие установки и характеристика эпохи в «Капитанской дочке»… для нас, рассматривающих исторические явления с диаметрально-противоположной точки зрения, - оказались неверными и неприемлемыми, мы внесли ряд существенных корректур

[12] Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог, т.1. М., 1961, сс. 267 - 268. М.Н. Покровский – до начала 30-х годов один из главных официальных историков советской власти. – С.Н.

как в историческую часть повести, так и в бытовую»[13]. В итоге пушкинские персонажи стали символизировать определенные «классовые тезисы» советской власти. Сделанный по воле авторов ничтожным и трусливым Петр Гринев, например, олицетворял политику дворянской экспансии и отправлялся в Белогорскую крепость для захвата вольных крестьянских земель, а в финале становился незадачливым любовником самой Екатерины II. Напротив, романтически загадочный дворянин (у Пушкина – предатель) Швабрин в фильме - правая рука Пугачева и едва ли не идейный последователь Радищева. Он был демократичен, облачен в армяк и просвещал Машу, читая ей сочинения французских материалистов. Даже слуга Гринева, старый Савельич, в фильме превращался в одного из близких соратников самозванца. А когда в финале Пугачев был казнен, то Гринев, классовый враг предводителя угнетенных масс, плясал над его еще не остывшим трупом.

Очевидно, также заботясь о наиболее эффективной реализации «просвещенческого проекта всеобщего окультуривания народа», В. Шкловский в статье «Как ставить классиков» в 1927 году провозгласил кампанию их «массового исправления». А поскольку кино по определению было «великим исказителем», то с Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Достоевским предлагалось не церемониться, а смело менять сведения, которые ими сообщались. В результате должны были появляться произведения, «параллельные» классическим, хотя и под их именем[14].

Конечно, сегодня все это звучит анекдотически. Но не будем забывать, что такая выработанная государством политика экранизации отечественной классики в нашем кино была магистральной и сохранялась долгие годы. Очевидно, что содержанием – смыслами и ценностями культуры может и должно заниматься гражданское общество в лице свободно работающих писателей, художников, кинематографистов и других творческих деятелей. И непосредственным предметом их занятий как раз и оказываются вечные или современные им явления и процессы. Люди творчества могут свободно вступать в диалог как между собой, так и с предшественниками, делая это безбоязненно, помимо административно-цензурных ограничений (но, безусловно, в рамках принятых обществом норм и рамок приличия). А создаваемые ими продукты как раз и становятся поводом, условиями и содержательным материалом для развития остальных граждан. В процессе их освоения происходит «окультуривание» тех, кто желает и может включиться в этот процесс. И чем больше таких граждан у страны будет, тем больше будет у нее возможностей выйти на новые уровни эффективного экономического развития. Предлагать же вместо культуры «масскульт», на мой взгляд, все равно, что, например, принуждать Диму Билана петь партию князя Игоря и, что еще ужаснее, кого-то заставлять это слушать.

[13] Гуральник У. А. Русская литература и советское кино. Экранизация классической прозы как литературоведческая проблема. М., Наука, 1968, с.101.

[14] Цит. по кн.: Гуральник У. А. Русская литература и советское кино…, с. 75.

* * *

Решение проблемы культурного развития лежит вне собственно культурной проблематики. Для современной России она означает необходимость переформатирования традиционной для страны проблемы гипергосударства. На этот счет один из героев Андрея Платонова говорил примерно следующее: «государство надо унизить, а людей без призора оставить. К лучшему обойдется. Ей-богу, правда». Только при этом условии и возможен «запуск» механизмов самоорганизации. Впрочем, все дело, конечно же, в поиске разумной меры, чего сегодня, к сожалению, мы пока не наблюдаем. В этом контексте «человек в погонах» как центральный субъект отечественной, в том числе и современной, истории, должен уступить место «человеку культуры». В том числе и тому, который еще вчера носил погоны. Однако если сегодня он покинул свою профессиональную «силовую» сферу, то также должен сменить ориентацию на приказы - ориентацией на ценности цивилизации. Такому человеку нужны не культурные эрзацы, а сама культура. А уж дойдет ли он до ее высот или остановится на одном из перевалов, решать ему самому.

Завершая текст, отмечу, что при желании можно соотнести содержащиеся в нем сюжеты с конкретной отечественной реальностью, а рядом с общими терминами поставить конкретные факты, явления и имена. Сделать это для понимающего читателя большого труда не составит.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЮРОКРАТИЯ И НАРОДНАЯ РАЗВЕДКА

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Пристрелка когнитивной территории

В итоге 20-летнего исследования проблемы бюрократии (государственной службы, государственного аппарата) я сформулировал несколько постулатов: ни политическое руководство бывшего СССР, ни правительство современной России даже не пытались извлечь практических выводов из разработанной мной теории бюрократии; в России веберовская концепция «рациональной бюрократии» используется для апологетики существующего режима и манипуляции обществом; современное российское законотворчество не выражает интересы населения, а обслуживает произвол вершины и прочих звеньев государственного аппарата; этот аппарат раскололся на несколько клик, ни одна из которых не выражает общие интересы населения страны; политическая система России (комплекс политических институтов, включая партии, избирательные блоки, парламент и т.д.) устарела, а так называемая «оппозиция» была и остается частью властно-политического истеблишмента; сам способ постановки и обсуждения социальных и политических проблем в современной России является разновидностью манипуляции обществом со стороны власти, ее специальных и идеологических служб[1].

Разумеется, с этими положениями были согласны не все коллеги[2]. На их критику моей концепции я ответил разработкой теорий оппозиции, легитимности, власти, групповых интересов и т.д.[3]. Эта статья может рассматриваться как

[1] См.: Макаренко В.П. Анализ бюрократии классово-антагонистического общества в ранних работах Карла Маркса. Ростов-на-Дону, 1985; Он же. Бюрократия и государство: ленинский анализ бюрократии царской России. Ростов-на-Дону, 1987; Он же. Вера, власть и бюрократия: критика социологии М.Вебера. Ростов-на-Дону, 1988; Он же. Бюрократия и сталинизм. Ростов-на-Дону, 1989; Он же. Социальная структура: явные и скрытые элементы. Ростов-на-Дону, 1992: Он же. Бюрократия и государственный формализм // Вопросы философии. 1993, № 2; Он же. Цикл работ 1985-2000 гг. по фундаментальным проблемам политической науки http://portal.rsu.ru/science/modernisation/L_M/Makarenko/%E3%C9%CB%CC%20%D2%C1%C2%CF%D4%201985-2000%20%C7%C7..doc

[2] См.: Бюрократия, авторитаризм и будущее демократии в России (материалы «круглого стола») // Вопросы философии. 1993, № 2 (выступление Т.А.Алексеевой и др.); Левинсон А.Г. Термин «бюрократия» в российских контекстах // Вопросы философии. 1994, № 7-8

[3] См.: Макаренко В.П. Теория бюрократии, политическая оппозиция и проблема легитимности. СПб, 1996

продолжение полемики в направлении, указанном в заглавии. Но вначале скажу об исходных посылках.

Специфика моего подхода к проблеме состоит в анализе государственной службы во взаимосвязи с проблемами политической оппозиции и легитимности. Бюрократия (государственная служба, государственный аппарат) – это социальный организм-паразит на всем протяжении своего исторического существования, отражение социальных конфликтов и материализация политико-управленческого отчуждения. Любые государственные аппараты есть политические формы естественного (животного, биологического) состояния общества. Властно-управленческие формы политического отчуждения являются универсальными, но не создают ни материальных, ни моральных, ни политических, ни духовных ценностей. Базисные понятия теории («бюрократическое отношение – государственный формализм - политический рассудок») позволяют описать поведение бюрократии на уровне отношений, деятельности и сознания в мирные и революционные периоды развития, а также в периоды политических реформ.

Бюрократия царской, советской и нынешней России есть класс властителей-собственников, а связанные с нею круги интеллигенции – группа властителей-жрецов государства. Авторитарно-бюрократические тенденции русских революций – это воспроизводство силовых министерств и ведомств в процессе роста социальной и политической мимикрии, политической демагогии, бумаготворчества, реакционно-бюрократического контроля, политического консерватизма и иллюзий. Указанные тенденции привели к тому, что партийно-государственный аппарат СССР стал суперклассом. Сосредоточил в своих руках экономическое, социальное, политическое и духовное господство. Аппарат нынешней России есть наследник данного суперкласса.

В России/СССР сложилась и воспроизводится экономическая, социальная, политическая и идеологическая бюрократия. Политическая структура нынешней России включает все элементы бюрократических отношений, государственного формализма и политического рассудка и охватывает мнимо противоборствующие политические силы. В общем виде политическая оппозиция – это партии, группы и движения, которые действуют организованно, стремятся взять власть из рук правящей бюрократии и передать ее другой политической силе. Оппозиция в той форме, в какой она существует в России, есть часть государственного аппарата.

Легитимность – это такое состояние политической системы и всех ее элементов, когда они признаются и одобряются всеми (или большинством) граждан на том основании, что обладают политической правотой и научной истиной. Политическая правота и научная истина были и останутся дискуссионными. Поэтому ни одно государство не является абсолютно легитимным. Легитимизация власти есть процесс завоевания доверия у граждан, а не трансляции

традиционалистских и навязывания авторитарно-бюрократических представлений о легитимности.

При анализе проблемы легитимности следует исходить из различия между реальной властью и официальной легитимностью. Из концепта «легитимности» надо исключить насилие, манипуляцию, материальное процветание общества, организационно-управленческую эффективность власти и политическую пассивность граждан. Любой из указанных параметров содержит опасность отождествления легитимности с существующим государством и политическим режимом.

Любое государство и власть легитимны частично. Концепт «частичной легитимности» позволяет изучать: классические и современные объекты и субъекты легитимизации; степень согласия граждан с аргументами, которыми пользуются политические клики и государственные аппараты для оправдания своей власти; степень и конкретные проявления самооправдания клик и бюрократии; процессы обретения и потери легитимности.

Обычно государства и государственные аппараты признаются субъектами и объектами внутренней и международной политики. Я строю теорию политических типов на методологии, отвергающей классические концепции субъекта и объекта. В соответствии со спецификой политической грамматики все проекты переустройства общества по любым рецептам (либеральным, социалистическим, консервативным, националистическим, этническим или их комбинации) и вытекающие из них концепции легитимной власти являются либо ложными, либо к ним неприменимы критерии истины и лжи.

Если применить нормативно-элиминационную и конструктивно-генетическую установку к анализу политических фактов и политического языка, то исходная альтернатива теории легитимности заключается в следующем: она может основываться на самопризнаваемом логическом круге и продуцировать парадоксы социального и политического бытия граждан и государств; она может базироваться на утверждении о собственной достоверности, продуцировать догмы для культивирования естественного догматизма большинства людей, включенных в социальные и политические процессы, и усиливать данные догмы в деятельности и сознании властно-управленческих аппаратов. Большинство направлений политической мысли и практики до сих пор тяготеют ко второму члену альтернативы.

Проблема «истинности» любых концепций легитимной власти зависит от эпистемологического, аксиологического и политического выбора, но никаких универсальных правил такого выбора не существует. Поэтому все концепции легитимной власти являются разновидностями идеологии, их научный статус был и останется дискуссионным. Для анализа меры идеологичности любых государств и концепций легитимности я использую понятия «политического от-

чуждения», «гражданского отчуждения» и «гражданского сопротивления» в их пространственно-временных характеристиках[4].

В рамках цивилизационных циклов любая власть является легитимной и нелегитимной одновременно. Никаких абсолютных критериев для измерения пропорции между легитимностью и нелегитимностью власти не существует. Любые соображения о легальных (формально-правовых), традиционных, харизматических, символических, исторических, философско-исторических, религиозных, национальных, этнических, «консенсусных», «архетипических» и прочих основаниях доверия к власти (такой список обычно приводится в большинстве работ по проблеме легитимности) являются разновидностью мифологизации[5].

Теперь приведу примеры эвристичности постулатов и посылок.

Я уже применял теорию бюрократии для анализа связи между группами интересов и правительством современной России. Показал, что корпоративные, клиентельные и парантельные отношения групп интересов с госаппаратом не отражают общие интересы населения страны и не являются правовым взаимодействием между системой социальных интересов и властью. Госаппарат тоже не выражает общие интересы. Поэтому общие интересы населения страны не выражаются и в российском законодательстве. Таков парадокс постсоветской трансформации: вмешательство правительства в социальную жизнь увеличивает стремление групп интересов изменить перераспределительную политику в свою пользу, одновременно увеличивая сферу неправового взаимодействия групп интересов с госаппаратом и социальную роль правительства[6]. Эта тенденция усилилась на протяжении последнего десятилетия[7].

Роль госаппарата растет по мере того, как он оккупирует все социальные территории. Эту меру до сих пор определяет правительство, поскольку оно не отказалось от регламентации экономических, властно-управленческих, электоральных, политических и идеологических процессов в свою пользу. Поэтому правительство России – особая группа интересов: «Современное российское государство сохранило символический фасад государственности, но прекратило существование с точки зрения ключевых внутренних функций – охраны, сбора налогов, обеспечения правопорядка; это – частное охранное предприятие, которое располагает офисом в Кремле; определенные группы контролируют средства организованного насилия и называют себя «российским государством»»[8].

---

[4] См.: Макаренко В.П. Государство и политический реализм: пути когнитивного сопротивления // Космополис. Журнал мировой политики. Весна 2006, № 1(15)

[5] См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, изд. СКНЦ ВШ, 1998

[6] См.: Макаренко В.П. Групповые интересы и властно-управленческий аппарат: к методологии исследования // Социс. 1996, № 11; 1997, № 7; Правительство и бюрократия // Социс. 1999, № 2

[7] См.: Д.Фурман, А.Морозов, В.Прибыловский, Н.Петров, Ю.Коргунюк, А.Блюм. О политической системе России после путинских реформ // Неприкосновенный запас. 2004, № 6(38) http://magazines.russ.ru/nz/2004/38/ref3-pr.html

[8] Волков В.В. Монополия на насилие и скрытая фрагментация российского государства: исследовательская гипотеза // Полис. 1998, № 5, с.46-47

Однако граница между государственным насилием и частнопредпринимательской уголовщиной постоянно нарушается следующими процессами: 1. Власть обычно делегирует кому-то часть своих силовых функций, которые не может (или не хочет) сама выполнять (взимание налогов, охрана рубежей, организация торговых кампаний, колонизация и пр.). Этим объясняется относительность всех норм и законов. 2. В эпохи социальных изменений политическое и уголовное насилие переплетаются. После победы революции или проведения реформы связь между политическим и уголовным насилием становится основанием силового сектора новой власти. 3. В периоды социальной нестабильности государство использует «насилие снизу» (неформальные структуры под контролем полиции, службы безопасности внутристрановых и транснациональных корпораций) для выполнения задач, которые по политическим и/или иным причинам оно не может или не хочет брать на себя. Такое насилие служит прикрытием для деятельности и операций спецслужб, выдается за стихийные акции народа.

Третий процесс в последние 15 лет стал повседневной практикой: «Фактически складывается своеобразный «круговорот» государственных и частных, официальных и теневых, правовых и противозаконных форм насилия, которые могут и должны по-разному оцениваться с позиций действующих в данной стране и в данное время норм закона, морали, идеологии, политики»[9]. Проблема смещается к описанию конкретных форм круговорота насилия.

Советская власть на всем протяжении своего существования усиливала авторитарно-бюрократические тенденции революций[10]. В постсоветской России причиной авторитарных тенденций является связь экономики и политики. Под предлогом модернизации власть транслирует монархически-советскую связь политического угнетения с экономической эксплуатацией людей и природы. Главная драма посткоммунистической трансформации – борьба между сторонниками рынка и рантье. Последние поставили задачей переходного периода сохранить условия для извлечения ренты[11].

Д.Норт показал, что армия, церковь и бюрократия – главные действующие лица латино-американского пути зависимости экономики от траектории предшествующего развития. В результате испано-язычные страны навсегда отстали от других стран Запада[12]. Движение России по латиноамериканскому пути под-

[9] Косолапов Н. Круговорот насилия в социальных структурах // Мировая экономика и международные отношения. 2004, № 3, с.73. Большинство лидеров террора готовились спецслужбами государств для выполнения возложенных на эти службы задач. Затем террористы выходили из-под материнской опеки, переходили к другому нанимателю или пытались вести свою игру. На этом фоне выглядят детским лепетом вопросы вождя сюрреализма: «Почему в человеке так мало индивидуального? Ну, почему человеку не развлечься, пустив под откос парочку поездов?.. Не понимаю, почему до сих пор никого из тех, кто производит унитазы, не посетила счастливая мысль поместить бомбу в сливной бачок, чтобы она взорвалась, когда власть имущий дернет за цепочку!». Дали С. Сюрреализм – это я. М., Вагриус, 2005, с.156

[10] См.: Макаренко В.П. Бюрократия и сталинизм. Изд. Ростовского университета, 1989, с.42-102

[11] См.: Макаренко В.П. Аналитическая политическая философия: очерки политической концептологии. М., Праксис, 2002, с.190-224

тверждено[13]. Предпосылки для анализа влияния армии, церкви и бюрократии на социальную жизнь страны уже появились. Дам их предварительный эскиз.

Полицейская культура России базируется на культах репрессивного закона, военщины, политического сыска. Эти качества государства воспроизводились на протяжении столетий – от Тайной канцелярии до КГБ/ФСБ[14]. Армия и органы госбезопасности способствовали тому, что госаппарат России/СССР культивировал холопство на протяжении столетий, включая советское время и современный этап[15]. В российском обществе до сих пор господствует репрессивное сознание, отождествляющее экономический и административно-полицейский порядок. Составным элементом такого тождества является «народная любовь к армии и чекистам», недоверие к суду, воздействие на власть через родственно-дружеские и криминальные сети: «В результате молодая Россия (слой современных российских предпринимателей, - В.М.) выступает сегодня … в роли главной наследницы и продолжательницы советского образа жизни эпохи разложения»[16]. Надо описать механизмы воспроизводства такого разложения.

Вся история России/СССР – это процесс многократного образования и распада империи[17]. Но в рамках империй невозможно разрешить ни универсальные проблемы (появление класса государственных чиновников, торговля государственными должностями, конфликт центра и периферии, использование финансов и кредита для колонизации новых и удержания за собой прежде завоеванных пространств), ни устранить особенности распада империй: возникающие на развалинах империй государства обладают большой силой самосохранения даже при неблагоприятных обстоятельствах; на протяжении периода распада империй эти государства превращаются в «змеиный клубок интересов», зависимостей и карьер; государство становится самодовлеющей ценностью и теряет способность решения социальных проблем; зато оно удовлетворяет материальные интересы все большего слоя людей, не создающих ни материальных, ни духовных ценностей; по мере распада империй новые правящие клики преобразуют государство в сословный институт[18]. Под углом зрения «змеиного клубка интересов» можно рассматривать деятельность всех государственных ведомств и институтов.

В эпоху разложения СССР вне критики полностью оставались деятельность органов управления высших уровней, госбезопасность, армия и внешняя

[12] См.: Дуглас Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. Пер. с английского А.Н. Нестеренко. Фонд экономической книги «Начала», М., 1997

[13] См.: Круглый стол «Авторитаризм развития: генезис, функции, перспективы» // Мировая экономика и международные отношения. 2005, № 5-7; Шевцова Л. От России Ельцина к России Путина (эволюция выборной монархии) // http://www.ieras.ru/journal/journal4.2000/3.htm

[14] См.: Анисимов Е.В. Дыба и кнут: политический сыск в России. Новое литературное обозрение, Москва, 2001

[15] Хелли Р. Холопство в России: 1450-1725. Академия, Москва, 1998, с.19

[16] Клямкин И.М., Тимофеев Л.М. Смягчать или ужесточать законы? // Полис. 2000, № 5, с.129

[17] См.: Геллер М.Я. История Российской империи. Т.1-2. М., «МИК», 2001

[18] См.: Макаренко В.П. Кавказ: концептологический анализ // Социс. 2001, № 12

политика. После 1991 г. шлюзы открылись. Теперь дипломаты критикуют военных и чекистов, военные и журналисты критикуют чекистов и дипломатов, чекисты критикуют дипломатов и идеологов, бывшие идеологи огрызаются на все стороны, почти все плюются вслед ЦК КПСС, а сыновья стремятся выгородить своих папаш[19]. Накапливается громадный эмпирический и антропологический материал для анализа «змеиного клубка» политической бюрократии и применения к российским процессам теории политической критики[20].

Перед перестройкой значительная часть комсомольских лидеров низшего и среднего звена перебежала в органы безопасности и более других воспользовалась (в личных целях) начавшимися в стране преобразованиями[21]. Перебежчики всегда держали нос по ветру. Знали, что советское общество жило двойной жизнью, функционировало в двух параллельных мирах. Но первой социальной системой с двойным сознанием был капитализм: «Американские финансисты начали пользоваться двойным языком – для внутреннего и для внешнего употребления. Последний имеет характер дискурса, адресованного общественному мнению, в котором успех финансиста представляется как типичный триумф сэлфмейдмена и условие благосостояния нации. Существование двойного языка – типичная реакция любого класса, который чувствует, что его престиж нарушен, а привилегии находятся под угрозой. Чтобы это замаскировать, он должен стремиться к отождествлению собственной судьбы с судьбой государства и нации. Такая модель может существовать на протяжении столетий»[22]. Попутная проблема состоит в анализе современных форм двойного языка и классификации групп населения и политических институтов России, которые настаивают на тождестве собственной судьбы с судьбой государства и нации.

Эту тему можно изучать на основе прозрений А.Платонова об универсальности двоемыслия. Он считал этот феномен следствием и причиной появления и поведения особого социально-антропологического типа, возникшего в СССР после революции. Приведу здесь главные констатации А.Платонова.

Общая характеристика человека: «Типичный человек нашего времени: это голый – без души и имущества, в предбаннике истории, готовый на все, но не на прошлое». «Не Иван-дурак, а Иван-аспид, Иван-хитрец – вот сущий тип на-

[19] Приведу навскидку несколько симптоматичных публикаций: Гриневский О. Тайны советской дипломатии. М., Вагриус, 2000; Шебаршин Л. Рука Москвы. М., ЭКСМО, 2000; Филби К. В разведке и в жизни: сборник статей и мемуаров. М., Эксмо, Яуза, 2005; Сухомлинов А. Кто вы, Лаврентий Берия? Неизвестные страницы уголовного дела. М., Детектив-Пресс, 2004; Бовин А. 5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М., Захаров, 2003; Шлыков В. Что погубило Советский Союз. Генштаб и экономика. М., 2002; Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в 2 кн. Кн.1. – М., Захаров, 2006; Протоиерей Георгий Эдельшейн. Записки сельского священника. М., РГГУ, 2005; Черняев А.С. 1991 год. Дневник помощника Президента СССР. М., «Республика», 1997; Микоян С. А. Анатомия Карибскбого кризиса. М., Academia, 2006

[20] См.: Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века. Идея-пресс, Москва, 1999

[21] См.: Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х книгах. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева. Часть 2. М., Прогресс-Традиция, 2006, с.863, 878

[22] Braudel F. Historia I trwanie. Warszawa, PIW, 1971, s.68

шего времени». «Сознание себя Иваном-дураком, это самосознание народа (класса)». «Каждый человек с детства вырабатывает себе социальную маску, чтобы гарантировать себе наибольший успех. Уже с детства человек впадает в уродство: все люди на самом деле замаскированы»[23].

Связь революции и контрреволюции. «Революция была задумана в мечтах и осуществляема (первое время) для исполнения самых никогда не сбывшихся вещей». Таких мечтаний (в терминологии А.Платонова - тайных идей[24]) три: а) устранение религии как народной религиозности[25] и как следствия нечистой совести: «Жизнь состоит в том, что она исчезает. Ведь если жить правильно – по духу, по сердцу, подвигом, жертвой, долгом, - то не появится никаких вопросов, не появится желание бессмертия и т.п. – все эти вещи являются от нечистой совести»; б) использование философии для освобождения человека: «Вся философия есть способ самозащиты угнетенных людей против угнетателей, путем поисков такого слова, чтоб их угнетали не до смерти, чтоб слово это подействовало на угнетателей особым, неизвестным магическим образом, - но черта с два это выйдет»; в) не менее значима «…мечта о государстве, где население бьет, издевается, колотит полицию, власть и пр. – и население наслаждается»[26].

Непосредственная цель революции: уничтожение буржуазии - «великой гниды земного шара». Средство: «Только деклассированные, выродившиеся из своего класса, «ублюдки» истории и делали прежде революции… Да здравствуют безымянные «ублюдки» и всякие «отбросы» человечества!». «Без мучений нельзя изменить общество: ведь социализм получил в наследство мещанство, сволочь… Страдание ототрет с таковых, размелет их разум, от которого можно застрелиться в провинции». «Сознание, не закрепленное в чувстве, это действительно контрреволюция, т.е. непрочное слишком состояние». «Если нельзя сплотить людей на основе родства, то можно их соединить на основе мучительства».

На деле великая гнида и ублюдки играют роль исторического навоза: «В революцию выигрывает «боковая сила», т.к. главные уничтожают друг друга, а боковая остается при здоровье и забывает все». «Мещанин, а не герой вывезет историю». Иначе говоря, реальная революция – это мучительство масс ради победы мещан под видом революционных преобразований[27].

Так формировалась социальная основа нынешних преобразований. «Советская власть опирается на приспособленческие элементы, страстно цепляющиеся за жизнь и готовые на все». «Удивительно, что люди жались к жакту, конторе, к справкам, хотя в городе были мировые театры и в мире вечные вопросы муче-

[23] Платонов А. Записные книжки. Материалы к биографии. 2-е изд. М., ИМЛИ РАН, 2006, с. 42, 72, 78, 100, 102

[24] «Человек, отрицающий все, чтобы не учиться ничему». «Чем живет человек: он что-нибудь думает, т.е. имеет тайную идею, иногда несогласную ни с чем официальным». Там же, с.100, 113

[25] Реальную народную религиозность А.Платонов описывал по квитанции: «Счет живописца – церкви: «Залатал дыру Марии Магдалины». «Пририсовал Св.Семейству недостающий член». Там же, с.156

[26] Там же, с.141, 167, 171, 257, 157, 233

[27] Там же, с.159, 147, 44, 225, 68, 69, 72, 113, 176

ния». «Люди связаны между собой более глубоким чувством, чем любовь, ненависть, зло, мелочность и т.д. Они товарищи даже тогда, когда один из них явный подлец, тогда подлость его входит в состав дружбы. Отчего это? Оттого, что человек интересен лишь с «говном». Устраивали праздники по случаю получения паспортов, справок, воинских билетов и т.д.»..

Из всего перечисленного вытекает бюрократическая природа советского государства – это «…государство, держащееся на чтении книг, газет». Жизнь в таком государстве есть беспрерывное напряжение приспособленчества и безошибочности. «Учреждения ничего не делают, сознавая бесполезность большинства дел, но взаимосвязь, прослежки, страх перед неисполнением пустяка такие сильные, что все плетется мелочью, трется и тихо выходит дело. Так что учреждения полезны, но не работой, а суетой». «В начале класса – чиновничий героизм; смерть на далеких бурьянных полях с портфелем и преданностью; героизм более мощный, чем военный, более глубокий и жуткий»[28]. Бюрократический героизм в СССР стал массовым явлением: «Чтобы истреблять целые страны, не нужно воевать, нужно лишь так бояться соседей, так строить военную промышленность, так третировать население, так работать на военные запасы, что население все погибнет от экономически безрезультатного труда, а горы продуктов, одежды, малин и снарядов останутся на месте человечества, вместо могильного холма и памятника». Как известно, все население страны не погибло, но СССР распался. Советская власть провозгласила социалистическую демократию, а постсоветская назвала ее «суверенной»[29]. Однако «…происхождение демократии – это переодетая полиция, это штатскость – для конспирации наблюдения». В этом смысле А.Платонов оказался пророком[30]. Ни цель революции, ни тайные мечтания наших соотечественников не осуществились до сих пор.

В составе населения СССР различались три типа масс: представители рода homo sapiens жили в рамках первой реальности; представители рода homo communisticus были сосредоточены в партийно-государственном аппарате и жили в рамках второй реальности; представители рода homo soveticus жили одновременно в двух мирах. У homo soveticus существовал чисто материальный интерес к «строительству нового общества». На этой основе в СССР появилась новая порода человеческих особей. Она сохраняла анатомию и физиологию homo sapiens, но отличалась от прародителей способом чувственного восприятия мира и логики суждений о нем. Этот менталитет передавался с молоком матери, поддерживался системой общественного воспитания и до поры до времени сравнительно бесконфликтно совмещал представления о «простой жизни» и «борьбе за коммунизм». Но разрыв во взглядах на мир между представителями homo communisticus и homo sapiens свидетельствовал о глубокой трещине в структуре массового сознания. Широкие массы не поддались на удочку комму-

[28] Там же, с.108, 144, 106, 113

[29] См., например: Суверенитет. Составитель Никита Гараджа. М., Европа, 2006

[30] Платонов А. Указ.соч., с.104, 150

нистической пропаганды и не верили в возможность земли обетованной. Предпочитали реализовывать не общественные, а свои собственные жизненные цели - без «коммунистического труда» и без «коммунистической морали». Это обстоятельство породило в массовом сознании конфликты, чреватые серьезными негативными последствиями[31].

Не пора ли почесать затылок с учетом последствий деятельности «великой гниды» и «ублюдков»?..

Кормушка и воспроизводство интересов

Военно-служилое сословие образует социальную почву и политическую основу империй. В современной России оно сохраняет экономическую и политическую власть, дает заказы на выработку идеологии или само пытается ее сочинять[32]. Оно вмонтировало в социальные и политические преобразования механизмы обеспечения собственных экономических и политических интересов. О.Крыштановская называет этот процесс «возрождением номенклатуры». Она пережила ужасы реформ 90-х годов, перестроилась, сменила имидж, но осталась у власти. Восстановлена «табель о рангах», отстроены новые «дворянские гнезда», спецателье и спецтранспорт. Перелицована идеология: «Раньше жили по принципу «социализм для народа, капитализм – для элиты», а теперь наоборот – «капитализм для народа, социализм для элиты»… Но суть та же: властью ни с кем не делиться, льготы – себе увеличить, а другим – отменить»[33]. Поэтому российское государство парализовано множеством формальных и неформальных связей.

Бытует мнение, что в СССР господствовал партийный аппарат. На деле на всем протяжении советской власти партийный, военный и полицейский аппараты конкурировали между собой за главное место в политике. Конкуренция завершилась созданием военно-промышленного комплекса, в состав которого вошли ученые-естественники и идеологическая обслуга[34]. Этот монстр выступал главным властителем-собственником и эксплуататором природных и людских ресурсов.

Предпосылки эксплуатации стали складываться сразу после революции. Осенью 1918 г. жители Москвы и Петрограда были разделены на категории в зависимости от рода деятельности (физической, интеллектуальной и нетрудовой). Нормы снабжения были установлены для каждой категории в пропорции 4:2:1. В 1919 г. разделение превратилось в систему. Например, врачи и медработники получили надбавку к пайку за борьбу с эпидемиями. Военные получа-

[31] См.: Грушин Б.А. Указ.соч., с.874-875

[32] См., например: Алексеев С.В., Каламанов В.А., Черненко А.Г. Идеологические ориентиры России. Под ред. Степашина С.В. М., 1998, т.1-2

[33] Крыштановская О. Возвращение номенклатуры. Предисловие и изданию 2005 года // Восленский М. Номенклатура. М., Захаров, 2005, с.7

[34] См.: Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. Редактор-составитель Э.И.Колчинский. СПб., «Дмитрий Буланин», 2003, с.823-826

ли разный красноармейский паек в зависимости от службы на фронте или в тылу. Но вскоре сотрудники ЧК, милиции и партийные пропагандисты добились причисления себя к врачам и фронтовикам. Иначе говоря, уже в период гражданской войны справедливость в распределении (снабжение в первую очередь детей, больных и малоимущих) отошла на второй план. В основу был положен принцип: снабжать в первую очередь тех, кто трудится для укрепления власти. Паек стал индикатором расслоения общества по отношению к власти. Распределяя продукты и вещи, власть присвоила себе мощное средство нажима на советских людей для выполнения своих планов. Советская власть воспроизвела кормленческую функцию царской и патриаршей власти. Кормушка – устойчивый образ власти, которая должна кормить и от которой можно кормиться[35].

11 мая 1918 г. было принято «Положение об отделе по борьбе с преступлениями по должности», параграф 1 которого гласил: «Принять самые решительные меры для очищения рядов Советской власти от провокаторов, взяточников, авантюристов, всевозможных бездарностей, лиц с темным прошлым, с злоупотреблением властью, превышением власти и бездействием власти, предавая их деяния широкой огласке в печати»[36]. Резюмируя итоги двадцатилетней борьбы с властвующими бездарями, Н.И.Ежов (в выступлении 11 марта 1937 г. перед мобилизованными на работу в НКВД молодыми коммунистами и комсомольцами) сформулировал идею «народной разведки»[37]. Ежова устранили, но идею народной разведки воплотили в жизнь.

При этом использовались те свойства массового характера, которые положительно оценивал Петр 1, а народная артистка обнаружила их даже у кубанских казаков: безотказный до дури характер; бегут выполнять приказ, не дослушав и не поняв его содержания. Например: при Сталине вызвали в Кремль казаков из колхоза «Мировой октябрь» Кущевского района. Казачка после получения грамоты крикнула: «Товарищи делегаты! От имени нашего колхоза про-си-мо нас обложить хоть каким-нибудь налогом!»[38].

Так власть подчинила себе большинство населения. Народная разведка занимала существенное место в процессе подчинения. Она была фактом повседневной жизни, воплощая карьерные и верноподданические стремления тех, кто

---

[35] См.: Кондратьева Т. Современное государство как власть по «Домострою»? (К спорам о социокультурных истоках сталинизма) // НЛО. 2006, № 5/81, с.50-66

[36] Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. Справочник. Составители Кокурин А.И., Петров Н.В. М., МФД, 2003, с.303

[37] «У нас каждый соглашается быть осведомителем. Осведомителей нужно иметь в каждой комнате, в уборной, и т.д, всюду должно быть осведомление… Мы должны платить агенту … обязательно по его стоимости… Деньги деньгами и еще кое-что нужно для души… Я имею ввиду особо крупных политических деятелей или специально созданных политических деятелей, поддерживаемых нами, которых мы проталкиваем в руководство каким-нибудь движением, которое имеет перспективу быть у власти или быть в оппозиции к правительству или будет занимать позицию, дружественную нам… Агентура среди духовенства, особенно среди православной церкви, должна заниматься не только информацией, но и разложенческой работой, внутри разлагая любое религиозное движение». Там же, сс.574, 576-577, 578

[38] Мордюкова Н. Казачка. М., Вагриус, 2006, с.264

стремился «выбиться в люди» - попасть в привилегированные сословия. Властвующие клики и подчиненные им государственные институты использовали систему народной разведки для постепенной и безболезненной адаптации к изменениям социального строя. С помощью данной системы госаппарат выработал гарантии воспроизводства своих интересов, включая претензии на толкование истории страны[39]. В этом смысле учебник новейшей отечественной истории "История России. 1945-2007", авторами которого стали Александр Филиппов, Александр Данилов и Анатолий Рыбкин, тоже завершает определенную тенденцию. В нем воспроизводится комплекс авторитарно-бюрократических стереотипов восприятия истории.

Падение советской власти не является следствием реализации плана-заговора. Но всегда есть опосредующие варианты между планом-заговором и стихийными социальными процессами. Эти варианты станут предметом исследований не скоро - после систематического описания конкретных сценариев манипулятивных операций органов внутренних дел и госбезопасности в период, предшествующий падению советской власти и следующий за ним. Пока таких материалов нет, я буду исходить из констатации: очередная революция сверху в СССР/России осуществлена путем создания контролируемой оппозиции, которая предотвратила удар масс по властно-управленческим структурам[40].

Создание такой оппозиции – элемент самоутверждения государства. Оно всегда желает иметь такого противника, уничтожить которого не составляет большого труда. Например, средневековые народные религиозные движения полагали государство несовместным с христианской моралью. Поэтому идея независимости от государства стала восприниматься как серьезная угроза. Церковь всегда использует государство для поиска еретиков. Но содержание «еретических взглядов» менее важно, чем то, кто именно считает их таковыми. Жертвы обычно преследуются потому, что не имеют защиты со стороны власти, а не в силу «радикализма» или «экстремизма» своих идей. А власть всегда стоит перед задачей создать видимость оппозиции для того, чтобы затем ее уничтожить[41].

Успешность такой стратегии определяется тем, что приватизация власти-собственности началась в период *перестройки*. Официальная статистика и общественные науки не располагают надежными данными о том, какая часть бывшей общегосударственной собственности перешла в частную, какова картина ее распределения среди слоев населения, какова динамика численности собственников постсоветского периода, какую часть населения они представляют и на каком основании нынешнего гражданина России можно отнести к катего-

[39] См.: Зверева Г. «Присвоение прошлого» в постсоветской историософии России: дискурсный анализ публикаций последних лет // Новое литературное обозрение. 2003, № 1/59

[40] Например, армия ни за кого не вступалась, пока население не стало громить обкомы и горкомы: «Войска ввели только тогда, когда остро встал вопрос о … спасении правительственных чиновников». Новое литературное обозрение. 2007, № 84, с.57

[41] См.: Маккенни Р. ХУ1 век. Европа. Экспансия и конфликт. М., РОССПЭН, 2004, с.275-298

рии собственника[42]. В период советской власти госаппарат колонизировал, а после 1991 г. приватизировал все национальное богатство[43].

Госаппарат присутствует на политической сцене прямо и опосредованно - через подставных лиц и структур (в виде появившихся на протяжении последнего десятилетия политических лидеров, партий, профсоюзов, избирательных блоков, общественных движений и т.д). Влияет на СМИ и другие государственные институты формально (представительство в парламенте, организация партий) и неформально (механизмы личной и институциональной агентуры и коррупции). В любом случае трудно установить ответственность за такое влияние.

Смысл гарантий сохранения и воспроизводства интересов госаппарата – не допустить потери власти и привлечения к ответственности за всю совокупность решений в центре и на местах, сохранить привилегированное экономическое и социальное положение. Отказ от положения правящего класса не тождествен тому, что его отдельные (групповые) члены потеряли власть и привилегии. Для анализа различия между ними я предлагаю выделить в особые предметы анализа экономические, агентурные и политические гарантии воспроизводства интересов госаппарата. Опишу их в первом приближении.

Экономические гарантии. Трудно доказать, что на вершине советского госаппарата существовал всеохватывающий тайный план приватизации, в результате реализации которого национальное богатство попало в руки госаппарата. Приватизация - итог комплекса причин и следствий, систематического описания которых пока нет. Но в любом случае экономические гарантии сохранили привилегированное положение госаппарата, поскольку лидер *перестройки* (М.С.Горбачев) и его главный оппонент (Б.Н.Ельцин) воспроизвели сложившиеся при Ленине и Сталине способы социальной манипуляции. Юмор в том, что - в соответствии с эпигонской природой политической бюрократии - лидер и контрлидер (точнее, их советники) позаимствовали популярную тогда в европейском неоконсерватизме идею приватизации. Но опять идея была истолкована так, что населению страны был нанесен ущерб, а власть выиграла… Поэтому всякое заимствование политической бюрократией любых концепций и моделей из прошлого своей страны или со стороны наносит вред населению страны.

Российская империя и СССР культивировали готовность индивидов и целых социальных слоев сотрудничать с органами политического сыска. Народная разведка (т.е. система внутреннего шпионажа, далее СВШ) была главным элементом манипуляции. С помощью СВШ руководство СССР контролировало социальные события и процессы. Если бы такого контроля не было, партгосноменклатура (особенно ее так называемые «прогрессивные слои») не пошла бы на *перестройку*[44]. В этом смысле СВШ - средство защиты интересов госаппарата, а не населения страны. С помощью данной системы блокируются (или

[42] См.: Губогло М.Н. Драма собственника нашего времени // Отечественная история. 2004, № 1, с.93

[43] См.: Эткинд А. Бремя бритого человека или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio: теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. 2002, № 1, с.265-298; Эткинд А. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации // Там же, с.166-191

направляются в определенное русло) попытки групп и слоев населения, не связанных с интересами госаппарата, изменить положение.

С самого начала существования советской власти все сферы социальной жизни, социальные группы и государственные учреждения подвергались явному и тайному контролю. Как требовал Ежов, даже в сортирах (конечно, не во всех, а только в высокопоставленных, в соответствии с принципом: «Слово «частный» (privy) означало то место, куда даже короли ходят в одиночку»[45]) был представитель органов. Обычно через отделы кадров он сотрудничал с руководством и партийными органами предприятия. Этот человек руководил группой информаторов, обеспечивавших неофициальную информацию о множестве сфер социальной и учрежденческой жизни. Декларативной целью сети информаторов была борьба с экономической преступностью (со времени создания ОБХСС) и идеологическими диверсиями (со времени создания 5 управления КГБ).

В статье В.В.Бибихина, посвященной образованному в 1960-е годы ИНИОН и «закрытым» реферативным сборникам или сборникам переводов, которые издавались с грифом «ДСП», показано, что главным идеологическим диверсантом оказались советские военные стратеги. Этот факт подтверждает идею Д.Норта о связи между армией, церковью и бюрократией. И хотя эти конторы не устранили ни экономической преступности, ни идеологических диверсий, они имели своих осведомителей на каждом предприятии. Так внутренний шпионаж стал звеном экономической жизни. Насколько мне известно, исследование советской/российской экономики как элемента внутренней колонизации и СВШ еще не предпринималось. Между тем без такого анализа трудно понять приспособляемость данных органов, причины и механизмы преобразования ОБХСС в ОБЭП, включая нынешнюю моду на болтовню об «экономической безопасности»[46]. Бывший выпускник Ростовского университета А.Бовин уже отметил, что в последнее десятилетие ФСБ и ГРУ стремятся восстановить позиции, которые они занимали в штатных расписаниях посольств и которые в начале 1990-х гг. были сужены. С этой точки зрения идея повышения бдительности и безопасности есть «возврат к тем временам, когда всех иностранцев считали потенциальными шпионами, а всех «совграждан» потенциальными предателями. Если согласиться с предлагаемым порядком, то «загранучреждения» превращаются в подсобный цех разведки»[47]. Надо бы посчитать подсобные

[44] Например, сотрудник ЦК полагает естественным зарождение ревизионизма в международном отделе ЦК: «Ибо мы-то знали мир и знали, что никто на нас не нападет, знали и то, что такое на самом деле МКД (международное коммунистическое движение, - В.М.) и что дело его дохлое… Недаром … в аппарате ЦК КПСС международников еще со времен Трапезникова считали «ревизионистами» и терпели только потому, что без них «технически» невозможно было поддерживать отношения с компартиями и держать их в своем «обозе»». Черняев А.С. 1991 год. Дневник помощника Президента СССР. М., «Республика», 1997, с.238

[45] Мартин Ван Кревельд. Расцвет и упадок государства. М., ИРИСЭН, 2006, с.73

[46] Заготовку для этой статьи я создал в конце мая 2007 г. Тогда в Интернете было вывешено 1 660 212 страниц и 1 728 сайтов на тему экономической безопасности. Сегодня 27 мая 2008 г. уже вывешено 17 788 027 страниц и не менее 84 158 сайтов. Вот как возросла наша экономическая безопасность…

цеха и внутри страны – ведь мечтал герой М.Булгакова «поставить городового рядом с каждым человеком»…

Для начала констатируем, что роль указанных структур сводится к подмене функций контроля. В западных странах функции контроля общества над государством выполнял рынок, твердая валюта, пресса и другие структуры, побуждающие предпринимателей стремиться к максимальной выгоде и минимальным расходам на госаппарат. Советская власть превратила двойное сознание в систему. Хитрость и обман стали нормой, поскольку государство систематически искажало и утаивало информацию. Длительное существование людей в атмосфере полной (частичной) лжи не благоприятствовало распознаванию лжи и правды и способствовало становлению массового повседневного макиавеллизма – убеждения большинства в том, что при общении с другими людьми ими можно и нужно манипулировать, а также навыки манипуляции. Повседневный макиавеллизм – следствие отношения индивидов к способности распознавать ложь и правду. Причем, объективная способность обычно противостоит завышенной самооценке этой способности. Люди, склонные манипулировать окружающими, часто используют обман для достижения своих целей. Существует положительная (у мужчин) и отрицательная (у женщин) связь между отношением к лжи и правде, самооценкой способности распознавать ложь и правду и макиавеллизмом (женщины более склонны утаивать правду, чем мужчины)[48]. К этому можно добавить, что целые институты эксплуатируют указанную норму.

Рыночная экономика впитала средневековую корпоративную модель социального устройства и породила экономический шпионаж - стремление знать производственные секреты и материальные возможности актуальных и потенциальных конкурентов, клиентов и потребителей. Такая система начала складываться на рубеже Х1Х-ХХ вв. и тоже отличалась двойственностью: «Безжалостная тактика Рокфеллера по отношению к конкурентам – угрозы, запугивание, готовность применить силу и даже убийц – стали типичным образчиком изменившихся нравов века. Его методы несли на себе отчетливый отпечаток представлявшейся соблазном для других морально-политической двойственности, беспрецедентно расцветшей в Америке. Лучшие адвокаты его времени, люди высочайшей юридической этики, были наняты Рокфеллером с целью разработки его крайне сомнительных методов. Это еще раз подчеркнуло двусмысленность, освящавшую и омрачавшую бурное развитие Запада, объединившую его худшие и лучшие стороны»[49].

Теперь пару соображений о специфике России. А.Г.Чукарев показал, что в России создание Тайной полиции было не двусмысленным, а «однозначно» (как сказал бы очаровательный Жириновский) негативным. В начале Х1Х в.

[47] См.: Бовин А. 5 лет среди евреев и мидовцев, или Израиль из окна российского посольства (из дневника). М., Захаров, 2003, с.293, 387

[48] См.: Мещеряков Б.Г., Некрасова А.В. Макиавеллизм: правда и ложь в повседневной жизни // Человек. 2005, № 6, с.87-95

[49] Бурстин Д. Американцы: демократический опыт. Москва, 1993, с.66-67

развивались капиталистические отношения, начался промышленный переворот, усложнение социальной структуры общества. Это требовало усилить обратную связь между властью и обществом. В Европе связь обеспечивалась парламентом, печатью, судом присяжных, адвокатурой. В России этих институтов не было. Одновременно государство вступало в период кризиса крепостничества и стагнации. Для усиления контроля за обществом Николай 1 учредил сыскную контору. Отсюда парадокс российской политической полиции: власти казалось, что секретная служба может выполнить функцию связи государства с обществом.

Размеры страны требовали усилить контроль за действиями местных администраторов, которые всегда отличались коррупцией и произволом. По замыслу Николая 1 при отсутствии гласности, недостатках суда и общей полиции такой контроль мог осуществляться тайной службой. Под предлогом «благочиния» царь думал создать элитное учреждение, которое вберет в себя цвет русской аристократии. Но аристократия презирала обычную полицию и тем более не пошла в новую жандармерию. Поэтому в состав нового ведомства пришлось набирать *бездарей* из армии и флота - офицеров, которые руководствовались материальными (а не идейными) соображениями. Тогда же возникла традиция составлять нравственно-политические обзоры (анализ настроений различных групп и слоев для выявления опасных для власти), правило сообщать «наверх» обо всем отрицательном, что происходит на данной территории - для сведения и принятия мер в борьбе с конкретными носителями зла. Но в целом тайная полиция только загоняла вглубь общества все социальные болезни. А защита «сирых и угнетенных» (таков был христианский мотив создания тайной полиции) оказались ей не под силу[50].

В СССР экономический шпионаж служил правительству, а не гражданам и рынку. Был элементом политической системы, контролируя экономику в пользу вершины политической власти. Противодействовал автономизации экономической власти низших уровней иерархии. Эта борьба закончилась провалом. Такова политическая эффективность данных органов.

В СССР аристократии не было, но аристократическое отношение к внутреннему шпионажу сохранилось. И.В.Говоров отмечает, что значительная часть российских граждан оценивает сотрудничество со спецслужбами как недостойное и позорное явление. Ученые-юристы и практикующие адвокаты требуют запретить использование органами правопорядка «негласной агентуры», т.к. «агенты» провоцируют людей на преступление. Россия здесь опирается на советский опыт. Поэтому нужен анализ положительных и отрицательных сторон агентурной работы в СССР.

В советское время при вербовке «негласных сотрудников» использовались три метода: идейное убеждение (при вербовке осведомителей из числа работников торговли); материальный интерес (большинство осведомителей работало за

[50] Чукарев А.Г. Тайная полиция России. 1825-1855 гг. Жуковский-Москва, «Кучково поле», 2005, с.578-587

продукты, карточки, деньги); компромат толкал на сотрудничество с НКВД представителей «блатного сообщества» и «теневой экономики». Это породило следующие недостатки агентурно-осведомительной сети: *неработоспособность* части информаторов отражала главный принцип ее формирования – количественный рост для галочки; *двурушничество* – преступники шли на вербовку с целью использовать покровительство милиции для прикрытия своей преступной деятельности и ликвидации конкурентов; многие осведомители были не просто преступниками, а главарями уголовных банд; *провокация* - оперативные работники выступали организаторами преступления и пытались спасти агентов от уголовного преследования; *разврат* органов – присвоение средств для оплаты агентуры, пьянки оперативных работников с осведомителями, интимные отношения с женщинами-осведомителями, получение взяток за прекращение уголовных дел. Административные меры борьбы с этими явлениями результата не дали. Такая ситуация сохраняется и сегодня[51].

Структуры внутреннего шпионажа в СССР были обязаны бороться с коррупцией директорского корпуса, использованием казенного имущества для личного обогащения. Большинство директоров стремилось обойти или приручить соперника. Для этого они должны были знать, когда, с кем, по какому поводу надо делиться неофициальными доходами. На последней стадии существования СССР усилия внутреннего экономического шпионажа концентрировались на фиксации явных и скрытых, легальных и нелегальных связей и форм сотрудничества госпредприятий с частным сектором. Инициатором выступала вершина партаппарата, а исполнителем – комсомольский аппарат, хотя все направления внутриполитической и международной деятельности по созданию таких связей и форм засекречивались (напомню, как раз в это время комсомольский аппарат побежал в госбезопасность). Связь директората с частным сектором и контроль этой связи осуществлялись так, чтобы не оставлять никаких следов деятельности. Директора и не требовали от официальных соглядатаев письменных распоряжений, прикрываясь плановой дисциплиной, финансовой и служебной тайной и т.п.

Теперь многократно умножим эту ситуацию на число всех производственных структур и государственных учреждений СССР накануне распада. Ее суть – передача народной собственности из одних рук в другие при контроле со стороны КГБ. Термин «красные капиталисты» предпочтительнее терминов «новые русские» и «бизнес-слой» по историческим, социологическим и политическим основаниям, описанным О.Крыштановской[52]. Здесь подчеркну самый распространенный способ обеспечения экономических интересов красных директоров

[51] Говоров И.В. Негласная агентура советской милиции в 1940-х годах // Вопросы истории.2004, № 4,с.109-119

[52] См.: Крыштановская О. Анатомия российской элиты. М., Захаров, 2005. В мае 2007 года в Интернете было вывешено 5245 страниц и не менее 1 411 сайтов о *красных капиталистах*, сегодня уже 257 740 страниц и не менее 10 062 сайтов. Но только о китайцах. В соответствии с евразийской концепцией я предлагаю термин универсализировать.

и красных капиталистов: те и другие сознательно занижают производственный и финансовый капитал фирмы при любых контактах с отечественным и иностранным капиталом и контролирующими органами. Такое занижение повышает долю каждого директора (теперь уже как частного собственника) в вероятных доходах по отношению к расходам. Эта процедура универсальна, а ее проявления многократно описаны в микроэкономике и публицистике.

Так был расчищен путь к переходу материальных и финансовых средств в частные руки. Задолго до официальной приватизации множество советских министерств наладило связи с зарубежным капиталом. А связными всегда были верные личарды, которые давно наторели в создании зарубежных контор для достижения своих целей. То же самое относится к множеству внутренних постов, руководящие лица которых отвечали за международные экономические связи. Должности были и остаются частной собственностью власти, хотя официально квалифицируются как государственные.

Таким образом, нынешняя система внутренних и международных связей страны сформирована группами госаппарата, а не группами граждан. В ее состав входит выдача разрешений на организацию пунктов обмена валюты, различные формы технологической разведки, контакты с политическими фигурами и т.д. Социальная наука не располагает систематическим материалом о всех случаях большого обогащения за краткое время на местном, региональном и федеральном уровнях. Отсутствие таких данных свидетельствует, что публичного контроля за этой сферой не было и нет. Значит, СВШ не заинтересована в обнародовании результатов своей деятельности, опираясь при этом на аналогичные мотивы поведения мелких пройдох, крупных коммерсантов и фасадных государственных деятелей.

Роль данной системы в приватизации власти детально не изучена. Зато известно, что спецслужбы раньше других социальных групп освободились от идеологических иллюзий. Частично это связано с природой шпионажа, предполагающего свободу от идеологических стереотипов, умение отделять слова и декларации от фактов, бесстрастное описание реальных явлений и процессов. Отношение СВШ к идеологии всегда инструментально. Эта система может использовать любую идеологию, если она не мешает маскировать интересы правительства и госаппарата и представлять их деятельность как необходимую и положительную для общества. Это убеждение и выразил бывший глава 5 управления КГБ: любое государство «…проводит ту идеологию, ту политику, которую исповедуют люди, стоящие у власти»[53].

Агентурные гарантии – это множество лиц, структур и направлений деятельности соответствующих ведомств, численный состав и тенденции развития сети информаторов. Эти гарантии направлены на поддержку (блокировку) карьеры конкретных людей, влияние на взгляды и действия лиц и организаций, участие в реализации конкретных мероприятий. По правилам шпионажа всегда

[53] Бобков Ф.Д. КГБ и власть. М., Эксмо, Алгоритм-книга, 2003, с.397

существует несколько вариантов (сценариев) действий для достижения одной и той же цели. Например, массовое уничтожение документов после государственного переворота августа 1991 г. послужило благовидным предлогом для последующей регламентации деятельности архивов РФ: «В Центре хранения современной документации с начала 1995 г. в категорию секретных неожиданно для исследователей попали материалы, доступ к которым ранее не был ограничен. В другом архиве – Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории – действующий «Временный регламент» (а по российской традиции подобные временные регламенты подменяют закон) отсекает историков на 75 лет с момента создания документов от любой информации, относящейся к «тайне личной жизни граждан». А к такой информации могут быть отнесены: сведения о здоровье; семейных и интимных отношениях; материальном, имущественном положении; источниках доходов; об обстоятельствах рождения, усыновления, установления опеки, развода и вступления в брак; личных привычках и наклонностях; о деятельности в области частного бизнеса, изобретательства; об интеллектуальной собственности и т.п… Таким образом, изучение проблем частной жизни советского общества делается попросту невозможным. И здесь нельзя не заметить иронии истории: в советском обществе грубо нарушалось право граждан на тайну частной жизни, ныне же, благодаря «временным регламентам», сама эта практика тоже становится тайной»[54].

Суть проблемы – в персонификации государственной жизни. Указанные действия свидетельствует о том, что во всех случаях преследовалось несколько целей: ликвидация (засекречивание) материалов, которые можно использовать для описания кувшинного рыла власти; ликвидация (засекречивание) материалов, которые могут служить основанием для привлечения к ответственности конкретных лиц даже на основании существующих законов; сокрытие от публичного внимания документов, которые раскрывают сеть информаторов и предотвращают агентурное обеспечение интересов разных звеньев госаппарата. Конечно, такие материалы всегда можно использовать в политической игре по достижению личных и групповых целей. Давно известно, что власть создает комплекс причин для того, чтобы люди добровольно (на первый взгляд) осуществляли полезные для нее действия. Власть определяет поле выбора, одновременно отвлекая внимание публики от собственных интересов. В этом состоит манипулятивное содержание властно-управленческих процессов.

Большинство банков прямо и косвенно контролируются госаппаратом, который инициировал направленную коррупцию: вначале его члены создали под себя кредиты, затем установили правила, условия и гарантии их использования. Каждый банк раньше и теперь имеет главных и подчиненных соглядатаев из состава СВШ. Сеть информаторов позволяет ориентироваться в ситуации, но не способствует предотвращению социальной патологии.

[54] Куприянов А.И. Историческая антропология в России: проблемы становления // Отечественная история. 1996, № 4, с.91

Политические гарантии интересов государственной службы определим путем отрицания: в СССР не было правовых норм, определяющих условия владения и передачи собственности партгосаппарата. Право подчинялось власти. Такое положение во многом сохраняется до сих пор, хотя конституция декларирует обратное[55].

Мне уже приходилось писать о специфике современных российских законов. Приведу один пример. В 1992 г. ушлые мужики (почти сразу после государственного переворота) из Российской академии управления сочинили проект закона «Об основных началах государственной службы Российской Федерации». Я тогда как раз был приглашен в Российскую академию управления для чтения лекций. Участвовал в конференции на эту тему, и в докладе раскрыл бюрократическую суть проекта. После конференции ко мне подошел один из членов тогдашнего парламента и предложил опубликовать статью. Она была опубликована под названием «Власть закона или бюрократическая иерархия?» в «Российской газете». Тогда законопроект не прошел.

Но история не прекратилась. Суцкие три года спустя все же пропихнули закон «Об основах государственной службы Российской Федерации». В этом законе без труда обнаруживается весь комплекс полицейско-бюрократических стереотипов сознания и мышления. Он направлен не на объективное отражение социальных процессов, а на подтверждение факта существования властно-управленческих структур. Создавшие его юристы и проголосовавшие за него члены парламента полагают, что можно создать «идеальную» государственную службу в государстве, перспективы, цели и смысл существования которого остаются неясными. В законе отражен универсальный стереотип бюрократии – стремление сочетать «положительные» и «отрицательные» стороны при описании действительности. Идея преимущества права перед политикой отодвигается на второй план. Предусматривается опережающее создание учреждений и структур по сравнению с кристаллизацией социальных отношений и правовых процедур. Государственные учреждения опять обретают самостоятельную силу, которую они имели при монархическом и советском режимах. Транслируется стереотип «идеального чиновника». Отношение к любым социальным теориям остается сугубо прагматичным: они используются лишь в той степени, в которой обслуживают интересы «здесь и сейчас» существующего госаппарата. Связь с политикой толкуется таким образом, чтобы любые политические реформы не ставили под угрозу существование бюрократических структур. Для этого Российское государство и его государственная служба квалифицируются как носители «социального порядка», «прогресса», «рациональности» и т.п. Стало быть, с помощью таких законов новые лидеры и правящие группы освобождаются от социального и политического контроля на «законном основании». Оно базируется на недоказанном предположении: решения аппа-

[55] См.: Кудрявцев В.Н., Трусов А.И. Политическая юстиция в СССР. М.: Наука, 2000

рата соответствуют «общим интересам» населения страны. В действительности эти решения соответствуют структуре правительственных дел и вертикально-горизональным звеньям управления[56].

Но дело не только в России. Идея о бесплодности политики как сферы деятельности высказывается представителями разных направлений современной мысли: неотрадиционализма (Р.Генон), консерватизма (П.Джонсон), неомарксизма (Ю.Хабермас), феноменологии (П.Рикер), коммунитаристского направления в либерализме (А.Макинтайр), миросистемной теории (И.Уоллерстайн), школы «аутопойесиса» (Н.Луман) и др. Например, П.Дракер пишет о кризисе политики и государственного управления во всех развитых странах: «Вопрос о функциях и функционировании правительства должен стать центральным как для политической мысли, так и для политической практики. Мегадержава (тип государства, который был реализован в нынешнем столетии) в ее тоталитарной и демократической версиях уже продемонстрировала свою неэффективность. Она не выполнила ни в одной стране мира ни одного из своих обещаний. Действия же правительств через уравновешивающий механизм лоббирования не являются ни эффективными, ни привлекательными. Фактически нынешние правительства парализованы»[57].

Появились и реакции на ситуацию. Например: «Современное государство не должно быть инструментом защиты национальных интересов, оно должно защищать интернациональные интересы своего собственного населения… Люди поняли, что политики не говорят им правды. Это касается и специалистов в области политической науки. Они говорят неправду о человеческих отношениях… Политики должны быть изгнаны, люди должны жить без политики! Эта нечистая сила должна быть устранена из национальных государств, различных культур и борьбы между ними»[58]. При такой ситуации проблема гарантий интересов госаппарата становится глобальной.

Идеальный тип сжирубешенства

Я буду исходить из различия между идеальными типами чистой власти и власти-собственности. Чистая власть отличается следующими свойствами: ее поддерживают граждане, если даже они не считаются источником власти; одна часть граждан (собственники) имеют независимые от власти источники социального могущества; большинство граждан (производители материальных и духовных ценностей) создают юридический минимум (совокупность прав и законов) для защиты от власти и реализации своих интересов; власть вынуждена заботиться о том, чтобы экономически независимые граждане ее поддерживали (хотя бы пассивно). Власть-собственность включает следующие свойства: абсо-

[56] См.: Волков Ю.Г., Лубский А.В., Макаренко В.П. Легитимность политической власти: методологические проблемы и российские реалии. С., Высшая школа, 1996, с.190-205

[57] Дракер П. Эпоха современных трансформаций // Современность. 1996, № 6, с.57

[58] Здравомыслов А.Г. Немцы о русских на пороге нового тысячелетия. М., РОССПЭН, 2003, сс.37, 151, 153

лютное большинство граждан не имеют независимых от нее источников существования; она безразлична к поддержке со стороны подданных, поскольку такая поддержка наносит ей вред; является самодостаточным и единственным основанием физической, экономической и духовной власти; явно презирает подданных; подданные поддерживают власть-собственность лишь в той степени, в которой считают свою волю значимой для властителя[59].

Отсюда вытекает концепт троевластия, который я предлагаю использовать для оценки имперской и советской России вместо концептов тоталитаризма и модернизации. Если власть переплетена с собственностью и идеологией, она плюет на всех, кто зависит от нее в сфере экономики, политики и идеологии. Концепт троевластия позволяет увидеть ложность популярных положений теории модернизации: совокупность экономических программ коммунистов была продолжением более ранних программ модернизации России; русские цари и большевики хотели преодолеть отсталость России и обеспечить ее независимость от внешнего мира; запоздалая промышленная революция несет ответственность за политическую революцию. Одновременно следует учитывать: качественное различие между классовым обществом и системой троевластия; тождество между царскими и сталинской программами индустриализации; социальные функции модернизации в системе троевластия связаны с развитием экономического, политического и идеологического отчуждения; террор (а не производство тракторов, паровозов, комбайнов и самолетов) - самое эффективное средство модернизации[60].

Кроме того, существуют пункты сходства между неоинституционализмом и разработанной мной теорией политического отчуждения. Они состоят в следующем: критика либерализма, социализма и ленинизма; критика теорий интересов, поскольку сами по себе они не дают полного представления о русском государстве; анализ связи власти, собственности и идеологии; анализ бюрократии; акцент на непредвиденные следствия решений; фиксация различия между силой и успехом (эффективностью) власти; анализ специфики политической конкуренции; анализ революций. Некоторые положения теории политического отчуждения дополняют неоинституционализм: политическое отчуждение – ключ к пониманию социальной и экономической истории России.

В России сложилась и существует до сих пор негативная эффективность власти - предельное усиление интересов государства за счет интересов общества. В этом контексте терроризация, бюрократизация и модернизация России – звенья единого процесса, детерминированного спецификой властного выбора: быть свергнутой или усилить угнетение и манипуляцию? Власть в России всегда шла и продолжает идти по второму пути. Этим объясняется специфика русского капитализма, в том числе современных преобразований. То, что мы на-

[59] См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-социологические проблемы. Ростов-на-Дону, СКНЦ ВШ, 1998, с.437-438

[60] Там же, с.439-440

блюдаем в течение последних 20 лет, я предлагаю обозначить термином сжиру-бешенство – на основе идиомы «с жиру бесятся».

Предположим, мы имеем дело с бывшим (нынешним) членом номенклатуры или его наследником - хозяйственным руководителем-бизнесменом. Его капитал возник на базе приватизации народного имущества. На последней стадии существования СССР были организованы номенклатурные ООО на основе вкладов государственных предприятий, а не личного капитала. На руководящие посты в таких фирмах назначались свои люди. Уже при создании фирмы они соглашались делиться доходами с теми или иными руководителями или направлять их на те или иные счета. Руководители не выступали против перетекания прибыли фирмы в карманы физических лиц.

Изменение субъектов и характера фирм зависело от многих обстоятельств. Не все партийные бонзы и их комсомольские подпевалы поступали по обычаю украсть и убежать. Многие привлекали экономистов и юристов для отмывания денег и материальных ресурсов. Поэтому сегодня почти невозможно доказать посредством судебного процесса, что большинство существующих фирм есть продукт организованного воровства народного имущества. Даже европейские судьи не всегда могут это сделать. В России во всех офисах снизу доверху сидят красные капиталисты. Этот термин позволяет связать монархическую, советскую и современную форму государственной эксплуатации населения страны и потому точнее отражает социально-экономическую суть процесса. Большинство современных отечественных бизнесменов ранее принадлежали к партийному, комсомольскому и хозяйственному активу (или являются их физическими, властными и духовными отпрысками). За время службы накопило связи с лицами и институтами экономической инфраструктуры. Благодаря этому они сегодня занимают привилегированное положение в том капитализме, которому не подберут названия[61].

Наш герой в первую очередь связан с финансовыми органами и структурами исполнительной власти - для льгот в налогах, сроках и формах уплаты. Через исполнительную власть он связан с банками для получения высоких кредитов на выгодных условиях. Банки стремятся уменьшить произвол в выдаче кредитов и создают особые правила и процедуры для понижения финансового риска. Но в принятии решений о кредитах остается значительная доля личного усмотрения. Управление банка решает вопрос о гарантиях предоставления кредитов. Например, устанавливает цены движимого и недвижимого имущества, благодаря чему можно влиять на кредиты. Даже от скорости получения кредита зависит многое. Контакты с финансовыми органами дают возможность проникать в деятельность актуальных и потенциальных конкурентов. Затруднять и блокировать выделение кредитов, перехватывать выгодные сделки и затруднять развитие конкурентов.

[61] Российский капитализм называют разбойничьим, олигархическо-периферийным, политическим, семейно-клановым и т.д. См.: Terra economicus. Сборник статей российских и зарубежных экономистов начала XX1 века. М., Наука-Спектр, 2008, с.384-394, 504-520

У нашего деятеля есть свои люди в органах арбитража. Благодаря этому он получает опережающее знание о движении финансов конкурентов. Ускоряет регистрацию собственных и затрудняет регистрацию чужих фирм, если они вредят его интересам.

Наш капиталист дает работу лицам из состава бывших КГБ, МВД, армейских и тому подобных структур[62]. Особенно тем, кто отвечал за безопасность номенклатуры. Данные лица и структуры обладали сетью информаторов. Большинство из них по-прежнему охраняют «покой и труд» тех, кто больше заплатит. Благодаря этому можно с опережением получать информацию о возможном привлечении к суду за незаконные действия. На основе этой информации можно вовремя заметать следы - подчищать и уничтожать финансовые и прочие документы. Бывшие сотрудники ГБ и ВД сегодня заняты также в частных сыскных и охранных агентствах. В критических обстоятельствах они могут использоваться для принятия «нужных решений». Немногие отваживаются противостоять давлению.

Связь с судебными структурами помогает не выполнять обязательства в отношении кредиторов или продолжать до бесконечности судопроизводство, связанное с их выполнением. С помощью юридической казуистики нетрудно вызвать банкротство фирм, которые выдвигают по отношению к нашему капиталисту финансовые претензии. Контроль за фактором времени расширяет поле маневра. Вызвать серию направленных банкротств (среди строптивых) тоже можно с помощью нашего законодательства.

Наш Чичиков сохраняет связи с региональными и центральными структурами, занятыми зарубежными инвестициями, с той поры, когда определенные суммы прокручивались внутри кадровой номенклатурной карусели. Решение текущих вопросов в таких структурах осуществляется без промедления. Еще до принятия закона о создании фирм с участием зарубежных инвесторов была возможность получить разрешение на их создание. Значит, здесь тоже располагается сфера управленческого произвола, включая освобождение от налогов. Человеку с улицы труднее получить разрешение на создание совместной фирмы, нежели члену бывшей номенклатуры.

Красный капиталист дает работу экспертам и консультантам с экономическим и юридическим образованием. Они толкуют в пользу фирмы все неясности всех законов и подзаконных актов, обходят один закон с помощью другого. Связь с законодательными структурами необходима для выбора тактики поведения в конкретных случаях. Вовремя полученная информация о подготовке правовых актов (законопроектов) позволяет изменить правовой статус собственной хозяйственной деятельности для минимализации налога и достижения других целей.

[62] Эта проблема детально изучена в книге: Волков В. Силовое предпринимательство. СПб-М., Летний сад, 2002

В последнее десятилетие расплодились учебные структуры по бизнесу, менеджменту и праву. Зарплата преподавателей новоиспеченных учебных структур больше зарплаты сотрудников университетов и научных учреждений Академии наук. Идут бесконечные конференции по экономическим, правовым, политическим и т.п. вопросам реформы. Во всех этих учебных структурах и научно-практических мероприятиях руководителями и преподавателями выступают те, кто был связан с прошлой и не теряет контактов с нынешней властью.

Покупка научных степеней и званий членами современного госаппарата и богатыми бизнесменами стала повсеместной. Большинство председателей диссертационных советов и членов ГВАК этому не препятствуют. Как прежде, так и теперь от имени науки освящается властный произвол[63]. Таков еще один канал связи властно-управленческих структур с красным бизнесом. Результатам научных исследований нельзя верить до тех пор, пока не узнаешь, кто за них платит. Независимые от административного рынка и от власти-собственности честные ученые влачат жалкое существование.

Журналистский корпус и СМИ тоже необходимы для приобретения в общественном мнении статуса и связей «делового человека» высокого уровня. Журналисты помогают проводить мелкие операции, поскольку большинство наших бизнесменов не желают становиться под телеюпитеры, давать интервью и т.д. Вчера журналисты обслуживали советскую власть, сегодня – разные эшелоны госаппарата и бизнесменов[64].

Разумеется, коррупция властных структур – обычное явление. Но есть качественное различие между ситуациями: начинающий классический бизнесмен годами устанавливает личные связи с госчиновниками путем коррупции и других махинаций; в нынешней России во всех главных институтах экономической и политической систем сидят люди, которые при советской власти и после нее научились обходить законы. В первом случае человек рискует, давая взятку одному чиновнику и неуверен, что все остальные чиновники тоже возьмут у него взятку. Во втором случае коррупция госаппарата связана с минимальным риском.

Связь красных капиталистов с избирательными процессами начинается при вступлении в предвыборную борьбу. Без финансирования избирательные кампании невозможны. Мне еще не приходилось слышать, чтобы граждане, получающие честно заработанные копейки, пускали «шапку по кругу» для финансирования избирательной кампании человека, имеющего политическую программу, противостоящую всем группам госаппарата по всем пунктам. Таких из-

[63] См.: Мыслящая Россия. Картография современных интеллектуальных направлений. Под ред. В.Куренного. М., Наследие Евразии, 2006, с.27-34, 61-72 и др.

[64] См.: Макаренко В.П. Воспроизводство бездарей и телегробы // Педагогическая и психологическая наука в Украине. Том 4. Педагогика и психология высшей школы. Киев, Педагогическая мысль, 2007; Медиафилософия. Основные проблемы и понятия. Под ред. проф. В.В.Савчука. СПб, 2008; http://www.intelros.ru/intelros/biblio_intelros/2974-mediafilosofija.-osnovnye-problemy-i.html

бирателей и политиков нет в России. Есть красные капиталисты и связанные с ними ловкие ребята. Они финансируют избирательные кампании.

Если политик только таким образом входит в структуры законодательной власти, после выборов он обязан расплатиться. Теоретически не исключена возможность, что вновь избранный политик обязан принять или изменить те или иные законы в пользу тех, кто финансировал его выборы. Однако при каждом голосовании по любому законопроекту спонсоры парламентского деятеля обязаны профинансировать больше половины (двух третей, в зависимости от процессуальных особенностей) голосов в парламенте. Ни одна партия (парламентская группа) таким числом голосов не располагает. В парламенте представлены интересы групп, взаимно блокирующих интересы конкурентов. Конечный результат голосования по любому вопросу всегда связан с компромиссом. Парламент – это политический театр, спектакли в котором не ставит один режиссер. Претенденты на режиссуру конкурируют между собой. Результаты голосования зависят от соотношения сил групп политиков, распределенных между партиями и парламентскими фракциями.

Иначе говоря, красный капиталист не обязан контролировать избирательный процесс от начала до завершения. Его интерес состоит в том, чтобы склонить в свою сторону соотношение сил при принятии законов, значимых для бизнеса. Возможны две стратегии: принятие или непринятие определенного законопроекта в определенное время. В обоих случаях не требуется финансировать голоса «за» или «против». Для реализации обоих стратегий надо просто учитывать парламентскую рутину. Слабая посещаемость заседаний – факт общеизвестный. Для принятия того или иного решения достаточно отсутствие группы парламентариев, которое нетрудно стимулировать. Опытный парламентарий знает, что судьбы большинства законопроектов решаются в парламентских комиссиях, а не на общих собраниях Думы. Члены парламента не знают всех деталей вопросов, связанных с теми или иными законами. Голосование зависит от мнения коллег или решения руководства парламентской фракции. При решении сложных вопросов руководители парламентских комиссий и фракций приглашают экспертов – юристов, экономистов, политологов и т.п. Эта публика (за незначительным исключением) обслуживала и обслуживает интересы разных эшелонов власти. На ее мнение полагаются парламентские деятели при решении политических вопросов.

Во всех группах людей существуют иерархия более-менее влиятельных лиц. Влияние на руководителя группы обычно достаточно для манипуляции всей группой. Запоздалое принятие тех или иных законов значимо для достижения интересов конкретных групп. Контроль за небольшой группой парламентариев позволяет получить результат в виде того или иного закона. В отличие от других стран Восточной Европы в России не принят закон о люстрации. Значит, члены законодательных собраний снизу доверху не заинтересованы в его принятии и даже обсуждении. Заключая от противного, можно сформулировать

вывод: в законодательных структурах сегодняшней России снизу доверху представлена одна партия - бывших, актуальных и потенциальных агентов-информаторов, их спонсоров и союзников.

Давление на парламентариев и их продажность общеизвестны. Эти явления обслуживают множество целей, а не ограничиваются влиянием на законотворчество. У любого парламентария есть возможность отблагодарить своих спонсоров. В том числе – найти «выход» на конкретного человека во властных структурах. Члены парламентских комиссий тесно связаны с контролируемыми ведомствами. Поэтому парламент служит не только для привлечения внимания общественного мнения к тем или иным вопросам. Он помогает также собирать информацию о закулисной деятельности госаппарата. Такая информация нужна лицам, проталкивающим те или иные законы.

Выводы

Теоретический характер моих размышлений объясняется предварительной стадией исследования. Надо обобщить громадный исторический и социологический материал. Конституировать особое направление гражданских исследований, не замутненных корпоративными интересами власти[65]. Генезис групп интересов на закате советской власти был связан не столько с социально-профессиональными группами, сколько с группами, сложившимися на вершине госаппарата. В последнее десятилетие возник слой красных капиталистов. Они накопили значительный капитал за краткое время или проделали бурную политическую карьеру. В любом случае законность и справедливость этой карьеры сомнительна. Зато данная группа обладает системой личных связей и доступом к информации, скрытой от рядовых граждан и честных ученых. Умеет действовать на грани фола в отношении права и проникать в институты, образующие экономическую инфраструктуру. В состав политических ресурсов данной группы входят люди из частного бизнеса, банков, госаппарата, СМИ, правовых (суд, милиция, прокуратура, госбезопасность, армия), таможенных, финансовых органов, а также структур, обладающих монополией на международные связи. Такова социальная почва российского государства. Можно ли его назвать демократическим, как гласит Конституция РФ? – особая проблема.

Есть ли у этой группы общий центр управления? Рыночная экономика обычно вырабатывает индивидуалистические и эгоистические мотивы формирования групп, культивируя самостоятельность, а не подчинение. Стремление к сотрудничеству усиливается при угрозе интересам групп. Однако президент, парламент и политические партии не могут сделать эту угрозу постоянной, несмотря на бесконечное муссирование темы борьбы с коррупцией. Причем, речь идет о выработке таких средств, которые бы ни в коем случае не

[65] Корпоративные интересы в виде «научных трудов» уже появились. См.: А.А.Зданович, И.И.Васильев. Спецслужбы в зеркале социологии // Труды Общества изучения истории отечественных спецслужб. Т.1. М., Кучково поле, 2006, с.25-50

увеличивали бюрократизацию страны. А население России пока не может (или не хочет?..) выдвинуть из своей среды политических лидеров-самородков, свободных от системы перечисленных интересов и обладающих позитивной программой действий. Стало быть, функционирование этой системы интересов подобно группам, которые преследуют полулегальные и нелегальные цели.

Зато социальное и политическое пространство данной группы превосходит все известные исторические примеры. Растут неправедно накопленные капиталы. Обходятся все существующие законы. Народная собственность превратилась в частную по бросовым ценам. Облегчен доступ к кредитам одних групп за счет других. Искусственно ускоряется (замедляется) принятие законов в зависимости от интересов данной группы. Блокируется деятельность контролирующих органов – от налоговой инспекции до прокуратуры. Оказывается давление на суд. С помощью СМИ расширяется поле дезинформации. Искусственно раздувается важность одних и затемняется значимость других вопросов социальной жизни.

В результате реализации такой системы интересов страна подвергается двум угрозам: деструкции экономических, социальных и политических процессов; податливости на влияние других государств. При таких условиях никакая целенаправленная политика невозможна. Честные, компетентные и не деморализованные люди давно ушли из политики. Отсутствует политическая воля для расправы с обычными аферистами. В стране нет политической силы, стремящейся устранить «змеиный клубок интересов». Его полная ликвидация с помощью обычных правовых средств невозможна. Юридический корпус извлекает прямые и косвенные дивиденды от его существования.

Отсюда вытекает главная политическая проблема: государственный надзор в стране стал настолько призрачен, что ее секретные службы ограничиваются помилованием одних бандитов за представление сведений о других. Как предотвратить использование экономических и политических институтов в трофей для сложившихся групп интересов? Традиционных институтов демократии для этого недостаточно, тогда как авторитаризм лишь усиливает все перечисленные тенденции. «Как бы различны ни были стратегии и доктрины, все они подчинены одному – безграничной воле к власти, стоящей превыше морали и религии, людей и идей. Машина власти обслуживает исключительно свои собственные интересы, не опирается ни на какой закон, кроме стечения обстоятельств, и не знает никаких границ, кроме пределов земного шара»[66].

По крайней мере, сказанного достаточно для определения **современного политического порядка России как государства, разъеденного агентурой**. Выход на политическую арену рядовых и руководящих соглядатаев завершает описанные тенденции. Политики такого рода подпадают под общую характеристику политики как самого аморального вида деятельности[67]. Они постоянно

[66] Леруа М. Миф о иезуитах: от Беранже до Мишле. М., Языки славянской культуры, 2001, с.137

[67] См.: Луман Н. Честность политиков и высшая аморальность политики // Вопросы социологии. 1992, с.1, № 1

обвиняются в аморальных проступках и уголовных преступлениях. Однако публичное оправдание стало исключением, а не правилом политической жизни страны. Следовательно, государственный аппарат – это неправовой и аморальный элемент социальной системы, выполняющий в ней властно-управленческие функции. Драма в том, что в государстве нет организованной силы, способной стать здоровым ядром политической системы и одновременно ситом, отсекающим социальную патологию и неправовые действия. Все группы интересов и партийно-политическая структура современного российского общества созданы сверху. Во всех случаях использовалась манипуляция.

Проблема осложняется тем, что колаборационизм - общая характеристика всех слоев и групп, сотрудничавших с советским режимом. Модный лозунг управленческого «профессионализма» скрывает бюрократизацию, приватизацию и колаборационизм государственной службы современной России. Политическое руководство России не вовлекло в политический процесс широкие массы населения, не порвало связи с либеральными и националистическими представителями партгосноменклатуры и не вырвало Россию из ее имперского прошлого. При таких условиях требуется разработка концепций, которые опровергают любые интеллектуальные основания властно-управленческих и идеологических клик и структур современного общества. Возможно, моя теория бюрократии тоже пригодится…

СУВЕРЕННАЯ БЮРОКРАТИЯ: ТЕЗИСЫ К ИЗУЧЕНИЮ ВЛАСТВУЮЩИХ ЭЛИТ

Г. Дерлугьян
Северо-Западный университет
(г.Чикаго, США)

I.

Задача: дать связные и логически обоснованные ответы на вопросы: кто, как, и почему оказались обладателями власти в результате распада СССР? Это подводит к следующему вопросу: какие варианты дальнейшей эволюции просматриваются из нашего момента во времени, уже едва ли не два десятилетия спустя после перестроечных надежд на либеральные реформы и отрицания «административно-командной системы»?

С теми или иными оговорками, с разными чувствами, почти все сегодня согласны, что произошла некая частичная реставрация. Восторжествовали не либеральные интеллигенты и не сталинисты, не местные бароны и не красные директора, не капиталисты и не рабочие, не иностранные корпорации и не вожди националистических движений. Главные источники власти, контролирующие горловины на потоках материальных и статусных обменов, оказались в руках высшего персонала постсоветского госаппарата. Одновременно происходит восстановление привычных социальных практик и представлений, от международного статуса государства до социальной иерархии его подданных и соответственных рангу способов жизнеобеспечения. Иначе говоря, после потрясений как будто восстановился порядок, притом достаточно знакомый. Как все это корректно описать и осмыслить, не повторяя при этом уже пройденного в перестроечных дебатах?

II.

Сразу надо сказать, чем мы заниматься не собираемся. Во-первых, политической полемикой против либо апологией за возникший порядок вещей. Это вовсе не значит, что мы отказываемся от собственных мнений. Напротив. Без ложной скромности мы вкладываем свою профессиональную гордость ученых, включенных в мировой исследовательский процесс, в формулирование оценок

и прогнозов на основе дисциплинированного, логически-последовательного изучения социальной среды. Мы стремимся понять, как возникла социальная экология, в которой на сегодня доминантным видом оказалось суверенное чиновничество (особенно в России, но не только в России), что представляет из себя эта элитная группа, как воспринимают они себя и окружающий мир? Что они могут и чего не могут совершить? Каковы, по большому счету, возможности и, еще важнее, ограничители возможностей данной исторической конфигурации?

Предлагаемый нами термин *«суверенная бюрократия»,* конечно, подсказан Сурковым. Однако, по зрелому размышлению, это определение оказалось куда глубже и полезнее пародийного ерничанья. Речь идет об аппарате управления и населяющем его персонале, которые добились независимости как от всяких господствующих классов (последние феодалы ликвидированы столетие назад, личная диктатура преодолена в 1950-х, новейшие претенденты в капиталисты побеждены), так и от нейтрализованной народной демократии вместе с критической интеллигенцией по причине ее распада. Данной бюрократии удалось освободится (особенно в богатой ресурсами России) и от внешнего контроля в форме мягкой силы гегемонии западных норм, либо в более прямых формах империалистического диктата. Возникла именно суверенная от всех бюрократия.

Во-вторых, мы совершенно не собираемся рассуждать отвлеченно и, как водится, бездоказательно о национальном характере и особых традициях. Суверенная не означает вовсе самобытная. Наверняка найдутся частичные аналогии (все исторические аналогии частичны, поскольку история общественных систем слишком сложна для геометрических параллелей.) Мы предполагаем, что сравнительно-исторический анализ может прояснить очень многое насчет наших дел сегодняшних.

Наконец, в-третьих, мы не стремимся создать абстрактную нормативную теорию того, чем должна быть «нормальная», «настоящая» бюрократия (равно как и интеллигенция, демократия, или прочие социальные учреждения). Опять же, мы не отказываемся от нормативных суждений о желательном порядке вещей. Такие суждения имеют смысл в научном анализе только после подведения итогов изучения социальных явлений. Более того, добросовестная и ответственная наука об обществе должна показывать варианты социального выбора. К этому мы еще придем и сверхзадачи забывать не станем. Но сейчас нам надо определить программу исследования, сформулировать рабочие гипотезы, вытекающие из них вопросы и методы получения ответов на наши вопросы.

III.

Прежде всего, потребуются базовые рабочие определения, набор инструментов, которые могут пригодиться в работе. Относиться к теориям и

предлагаемых ими аналитическим инструментам лучше эвристически, т.е. пользоваться до тех пор, пока сохраняется полезность данных инструментов и, при необходимости, их модифицировать и комбинировать. Эта предварительная часть неизбежно перегружается профессиональным жаргоном, в основном для краткости. Но предварительное обсуждение теоретического инструментария совершенно необходимо провести до того, как мы начнем разбирать эмпирическую реальность.

Рэндалл Коллинз, который видит социальные науки шире и четче большинства из нас, со своим обычным спокойствием утверждает, что мы живем в Золотом веке исторической макросоциологии [1]. В 1970-е были совершены прорывы в понимании исторической динамики древних обществ и современного капитализма, институциональных условий и нишево-сетевой природы рынков, неформальных экономик, роста (а также распада) современных государств, возникновения революций, мобилизации общественных движений, источников и динамики демократизации, в понимании национализма и этничности, причин коррупции и организованной преступности, или в объяснении самого научного и художественного творчества. Наступает, по словам Коллинза, этап более массового научного освоения теоретических прорывов предшествующего поколения и синтеза различных исследовательских направлений.

Ведущая линия исследовательского прорыва связана с именами Чарльза Тилли (который продолжил линию историко-социологического объяснения европейской политики норвежца Стайна Роккана), а также Теды Скочпол (в свою очередь ученицы Баррингтона Мура) и неовеберианцев Джека Голдстоуна и Майкла Манна [2]. Предмет их исследований - формирование современных централизованных бюрократических государств и одновременно общественное сопротивление этому процессу в виде элитных мятежей и народных восстаний, национальных сепаратизмов и фабричных забастовок, оформления массовых партий и социальных революций эпохи Нового Времени. Из такого сложного, исторически изменчивого, неоднозначного взаимодействия двух трендов - формирования бюрократической государственности и общественного сопротивления растущей власти государства - в результате и возникают либеральные демократии Запада.

Наряду с миросистемным анализом капитализма, это наиболее успешное из новых направлений исторической макросоциологии. В обоих случаях были преодолены канонические схемы либерализма и марксизма, исходившие из типичных для XIX века однолинейных эволюционных представлений о непреложных законах истории. Там, где ранее господствовала идеологическая телеология (в виде стадий модернизации или общественных формаций), где историю вершили абстрактные персонажи и реифицированные принципы (классовая борьба, технический прогресс либо идея свободы), теперь исследуются и картографируются сложные и изменчивые экологические ландшафты. Они наполнены социальными сетями, классами и статусными группами (идентичностями),

политическими движениями, государственными учреждениями и капиталистическими организациями и не в последнюю очередь конкретными людьми, действующими в насыщенном историческом контексте по своему культурно-обусловленному разумению.

Картина перемен в социальных науках усложняется, но и становится рельефнее, если попробовать прочесть под данным углом зрения теоретиков дискурсивно-культурного поворота в социальной науке [3]. К тому же ряду относится, скажем, и прекрасный критический разбор теории модернизации, предложенный Нильсом Гилманом [4]. Культурологическая критика направлена на выявление идеологических основ и дискурсивных практик господствующей парадигмы неоклассической экономики и позитивистского мейнстрима политологии. Тут культурологи добились неоспоримых успехов. Сегодня это отдельный фронт интеллектуального сопротивления, чьи позиции весьма прочны на гуманитарном фланге науки. Вместе с тем, на данном направлении противостояние приобрело характер затяжной позиционной войны. Культурологическая критика сильна в обороне своей области знания, но менее эффективна в объяснении материальных структур современного мира. Поэтому экономисты и политологи в большинстве случаев могут попросту игнорировать гуманитарного противника, пользуясь своим подавляющим превосходством институционального контроля над господствующими высотами и главными материальными ресурсами интеллектуального поля.

Вполне возможно, что мостом между историко-социологическими и культурологическими школами может послужить социология Пьера Бурдье. Этот исключительно влиятельный и энергичный француз двигался своим особым путем и создавал свой собственный научный язык. Притом Бурдье был известным забиякой и полемистом. Но даже он сам признавал, что его мысли и поиски двигались в том же направлении, что и историческая социология Чарльза Тилли [5].

Бурдье делал очень много для систематического заполнения того места в анализе социальных структур, стратегий социального господства и их соотношения с практиками культуры, которое традиционно занимал марксизм, особенно в его поздней грамшианской версии, и либеральные теории, связанные прежде всего с именем Карла Маннгейма. По сути, Бурдье создавал политическую экономию культуры - понимаемую вовсе не как набор непреходящих ценностей и шедевров искусства, но как поле конкурентно-конфликтных взаимоотношений по поводу того, что считать ценностями и шедеврами. Школе Бурдье после его неожиданной смерти в 2002 г. предстоит доказать свою способность развиваться без великого основателя и вождя. Но даже если круг его учеников распадется и на какое-то время имя Бурдье окажется непопулярно (прежде всего именно потому, что еще недавно оно казалось таким модным), концепции габитуса, символического капитала и индивидуально-групповых

траекторий в социальных полях останутся очень полезным инструментарием в арсенале новой социальной науки.

В научных дисциплинах, которые более удалены от поля власти и занимают относительно маргинальные позиции в современной академической среде - в социальной антропологии и экономической географии - соответственно оказался и больший зазор для свободы теоретического экспериментирования. Сошлюсь на знаковые работы лишь двух видных ученых. Это теоретический археолог Тимоти Эрл, прямой продолжатель эволюционной политэкономии архаических обществ Маршалла Салинса и Элмана Сервиса. Тимоти Эрл применил очень элегантную версию синтеза концепций Майкла Манна, Пьера Бурдье и миров-экономик Фернана Броделя к объяснению изменчивости структур власти в пред-государственных образованиях (вождествах). При этом брались преднамеренно удаленные друг от друга примеры: древних Инков, вождества Скандинавии и Придунайской равнины эпохи Бронзового века и Гавайских островов накануне контакта с европейцами [6]. У географов сегодня один из наиболее влиятельных теоретиков - англичанин Питер Тэйлор, который отслеживает на протяжении последних веков пространственное измерение современности в эволюции рынков, капиталистических городов и государств [7].

Теперь рассмотрим более детально, что и как из достижений Золотого века исторической макросоциологии может пригодиться в нашем анализе.

IV.

IV-а. Для *макроуровня* можно принять подход «неосмитовских» (скорее, броделевских) неомарксистов И. Валлерстайна и Дж. Арриги [8]. Они явно не относятся к марксистам более традиционным, которые завязли в споре об относительной автономии государства от буржуазии или, вслед за Мишелем Фуко, склонны психологизировать и до предела экзистенциально расширять понятие власти. Сомнительна и аналитическая полезность постмодернистской критики. Тем более нам не по пути с эстетизированным неоанархизмом Антонио Негри. Однако предстоит всерьез подумать о направлении Роберта Бреннера [9] и Дэвида Харви [10], которые с 1970-х гг. выступают наиболее последовательными критиками Валлерстайна с позиций классового анализа власти и отрицания миросистемного детерминизма.

Гипотеза миросистемного уровня примерно такова: в ядре современной миросистемы ресурсная и инфраструктурная сила капиталистов такова, что они могут обходиться минимальным по размеру, однако изумительно эффективным аппаратом координации, во многом за счет организационной силы на местах капиталистических семейств, корпоративных гильдий и церкви. Тому примером Нидерланды классического периода XVII в., Викторианская Британия XIX в., США вплоть до рузвельтовского «Нового курса». Напротив, на периферии государства крайне слабы, поскольку эффективные государства там не просто

непомерно дороги, но и потенциально, в случае политической революции, грозят экспроприацией местных элит (Латинская Америка).

Парадокс, что государство подменяется властью элитных семей как в самом центре системы, так и на ее глубокой периферии. Только в ядре капиталистическая олигархия кооперируется и действует заодно, а на периферии олигархии постоянно дробятся и жестоко интригуют друг против друга, по ходу не позволяя оформиться сильной власти, чтобы не подпасть под нее. Это согласуется с общим положением миросистемного анализа о том, что ядро есть зона комфортабельной монополизации рынков, где ресурсов как правило достаточно всем крупным участникам рынка и возможно договорное, более цивилизованное поведение. Периферия же есть зона, откуда ресурсы утекают, поскольку нет силы их удержать, отчего рыночная и политическая конкуренция приобретает жестокий характер вплоть до взаимного уничтожения. Отметим загодя, что здесь возникает очень перспективная возможность перекинуть аналитический мостик к веберианским концепциям неопатримониализма и процессов оцивилизования/расцивилизования.

Наиболее же активистские, классически государственнические бюрократии возникают в промежуточной зоне полупериферии (точнее, на внешнем периметре ядра, в странах типа Германии, Италии, России и Японии), где видится надежда догнать капиталистических лидеров, но приходится группироваться и концентрировать ресурсы, нередко насильственно. Это революции сверху, типа бонапартизма и фашизма, либо революции снизу, в первую голову ленинизм. Именно там изобретаются диктатуры догоняющего развития.

Преимущество подхода Валлерстайна и Арриги по отношению к теориям модернизации очевидно - их география полей власти преодолевает нормативные абстракции и дает четкую объяснительную классификацию. Недостаток прямо вытекает из достоинств и также давно известен по критике как веберианцев (Скочпол), так и некоторых неомарксистов (Бреннер). Арриги и особенно Валлерстайна занимает макроскопическая панорама, из которой нелегко последовательно перейти к анализу конкретных примеров, вариаций и исключений.

IV-b. Поэтому на *среднем уровне* наиболее полезны разнообразные неовеберианцы в широком русле Роккана, Скочпол, Лахманна, Голдстоуна, Манна и, конечно Тилли. Их инструментарий замечательно приспособлен для сравнительного анализа государств и социальных групп в исторической динамике. Из-за большого разнообразия неовеберианцев нелегко сформулировать гипотезу общего охвата. Нам бы пригодилось нечто такого вида: Бюрократия исторически возникает как механизм формальной рационализации власти и ее централизации за счет вытеснения/кооптации всевозможных нотаблей-посредников среднего и местного уровня. Но реальный процесс, в отличие от близкого к нормативной идеологеме идеального типа, исторически бывает весьма непоследователен, неравномерен в пространстве (миросистемы?) и даже, как недавно показал Венелин Ганев на материале посткоммунистической Болгарии, процесс

этот обратим [11]. Как и при каких обстоятельствах возникает непоследовательность? Как бюрократия становится самоосознанной статусной группой и как порою теряется этот облик?

Здесь полезно вспомнить о «процессе оцивилизования» Норберта Элиаса [12]. Модель Элиаса также работает вспять, когда происходит «расцивилизование». Эта концепция может нас вывести из давнего спора о классах и статусных группах. В более широком толковании, процесс оцивилизования помогает ухватить эмпирическую динамику становления самоосознанных статусных групп на основе общности структурного положения, т.е. классов. Элиас же перекидывает мостик от веберианской традиции исторического анализа к социологической культурологии и интеракционизму неодюркгеймианцев Гоффманна, Рэндалла Коллинза, и Бурдье. Здесь мы находим инструменты для описания и аналитического разбора повседневной бытовой реальности элит, как и не-элит, их механизмов распознавания «свой-чужой», а также навыков, ритуалов, «ухваток», которые собирательно составляют предо-сознанное, дошедшее до автоматизма поведение — тот самый габитус.

Придется хорошенько подумать и о том, как интегрировать сравнительно-исторический вариант новейшего веберианства образца 1970-2000 гг. с тем полезным, что можно вынести из более ранних (конца 1960 гг.) веберианских дебатов о неопатримониализме в Третьем мире. Это, прежде всего, проницательные, хотя порою крайне сложно высказанные предположения израильтянина Эйзенштадта [13], впоследствии - французских африканистов Лемаршана и Медара, индологов супругов Рудольф [14], наконец, это и корпус знаменитых работ «крестьяноведа» Джеймса Скотта начиная с его первой книги о коррупции в Юго-Восточной Азии [15]. Эти исследователи предшествующего поколения пытались преодолеть очевидный тупик теории модернизации, постулировавшей четкую дихотомию между современностью и традиционным обществом. Властные реалии стран Азии и Африки к концу 1960-х гг. явно перестали вписываться в такую идеологическую оппозицию, их «несовременные» элементы не были дисфункциональным пережитком. При этом внешне современные институты, вроде парламентов, правящих партий, правительственных министерств, судов и особенно армии явно работали по принципам личных патронажных связей, а не формального закона. На Западе эти дискуссии, как водится, не получили никакого разрешения, а были попросту оставлены и позабыты с приходом моды на транзитологические модели демократизации. Это оказалось шагом назад, по сути вернув политологию к идеологемам теории модернизации. Объективно такой сильнейший откат в науке соответствовал откату бывших соцстран в Третий мир. Это вторично поставило Запад в положение благосклонного ментора, указывающего, как подтянуться до его уровня «современности» путем одного лишь заимствования трансакционных технологий для политических и экономических рынков. Поэтому контр-теории, возникшие в кон-

це 1960 гг. из кризиса первой волны модернизации/транзитологии, могут показать нам нечто весьма существенное из нашего собственного будущего [16].

IV-с. Говоря о *социальной группе, правящем классе, элите* мы неизбежно вступаем на минное поле дебатов об определениях. Чтоб не завязнуть в излюбленных препирательствах ученых-обществоведов, модифицируем наши определения при помощи инструментария, разработанного Пьером Бурдье. Тем более что подход, которым пользовался Бурдье, выводит нас от макроисторических концепций на конкретно-социологический анализ повседневности.

Элита понимается здесь попросту как группы индивидов, занимающих верхние эшелоны, «командные высоты» тех или иных институтов социальной организации: экономических рынков и предприятий материального производства, политических партий и движений, организационно более-менее оформленных полей символического производства (религия, культура «высокая» и массовая, наука, журналистика, образование, а также спорт), и, конечно, государственных структур. Всякая элита, если воспользоваться аналитическим орудием Бурдье, обладает капиталом высокой концентрации, что, собственно, и определяет элиту. Если растолковывать и операционализовать понятие капитала при помощи прагматичного подхода Валлерстайна, то капитал - это способ накопления и сохранения успеха, достигнутого вчера, в предшествующих раундах социальной игры, с тем, чтобы воспользоваться преимуществом в будущем раунде. В каждом роде деятельности свои специфические формы капитала. Капиталист превращает результаты успешных, т.е. прибыльных операций в денежные средства, которые затем может инвестировать в новые операции. Это и есть капитал в традиционном понимании.

Для пояснительного контраста, феодальное семейство накапливает права на сбор ренты с крестьян в вооруженной борьбе с соперниками-феодалами (война, усобица, интрига) и с крестьянами и горожанами (подавление восстаний). Феодальные права затем узакониваются в формальных привилегиях и семейной символической репутации (родовитость, легенды о подвигах предков, целомудрии женщин). Тут нередко бывает рациональнее расстаться с деньгами и натуральными доходами (конвертировать экономический капитал), чтобы приобрести, конечно, военную силу (вооружить, оплачивать, контролировать своих бойцов и охранников), а также внешние признаки элитности (роскошная одежда, оружие, драгоценности, коллекционные предметы искусства, дома, кареты) и подкрепить репутацию щедрого патрона в отношении клиентов, хлебосольного хозяина к собратьям по элите, и жертвователя на общественные нужды (возведение церквей или, позднее и особенно в США, университетов и частных фондов). Возникает типично феодальная смесь юридических и традиционно-символических заявок на элитные права. На самом деле это не столь архаичные, как может показаться, виды инвестирования в престиж и социальное признание. Возьмем для примера «новых русских» или чеченских полевых командиров.

Современные формы символического капитала - это всевозможные разновидности престижной репутации (мэтр, знаменитость) в сочетании с формальными дипломами (ученые степени, медали и призы арт-фестивалей или спортивных чемпионатов, либо промежуточные формы вроде рейтингов популярности среди элитных знатоков и более широкой публики). Как Бурдье показал на примере скандала вокруг публикации флоберовской «Мадам Бовари», формы капитала вовсе не абстрактно данные категории. Они выделяются в конфликтном процессе создания новых социальных полей (к примеру, профессональной литературной деятельности, отделения литературы от контроля и церкви, и светских вкусов).

Капиталы (социальные «валюты») основаны прежде всего на взаимном признании участниками данной сферы деятельности правил игры и друг друга в качестве игроков, даже если и противников. Иначе говоря, капитал должен быть прочно укоренен в достаточно емкой социальной сети. Принцип взаимного признания работает как на уровне статусных групп (кого основная масса интеллигенции, художников, или банкиров признают своим), так и на уровне межгосударственном. Как показал Артур Стинчкомб, в современном мире главное условие суверенитета есть признание прочих суверенных государств [17] (чеченцы или абхазы могли победить в войне, но признания не получить).

Повторим, ибо важно: всякая форма социального капитала должна быть укоренена, встроена в социальное сообщество со своей историей возникновения, конфликтов, внутренними рангами. Миллион среди дикарей, не знающих денег, равняется нулю. Все это уже можно изучать: как возникает «валюта» того или иного социального сообщества, какие у нее свойства, какие формы ценнее других, как и когда проводятся обмены валют (денег в престиж, ста друзей в сто рублей и, может быть, обратно), как формируется социализованный характер, типический «нрав» (по научному, габитус) в зависимости от рода деятельности, необходимых и ценимых в данном деле навыков и связанной с ним валюты.

Кадровый пролетариат, рядовые профессиональные спецы (инженеры, врачи, преподаватели), даже мелкие служащие стремятся и могут, при достаточно стабильных условиях, создавать свои формы символического капитала — признание мастерства, выслуги лет, опыта, а также формальные права (скажем, на пенсии, премии, различную «социалку»), выторговываваемые и выбиваемые у начальства в обмен на качественный труд или в ходе забастовок и пр. форм производственных конфликтов. Для постсоветской ситуации важно отметить, что исчезновение стабильности и перенос основных источников власти из сферы производства в сферы обмена резко, даже катастрофично сказался на условиях функционирования подчиненных, малых и распыленных форм капитала, которые вдобавок приобретают эффективность в основном через коллективное действие и сознание (один в поле не воин, не забастовщик, и не политическое движение).

Таким образом, элит достаточно много и разных. Элитный статус ситуативен, зависит от обстановки, статус преходящ как любой успех - юный хулиган, верховодящий большим двором, со временем скорее всего сделается люмпеном с укороченным сроком жизни, а если повезет, то заурядным пролетарием или ментом. Огромная забота, тревога и доля повседневных практик всех элит состоит именно в поддержании своего элитного статуса, в диверсификации набора активов, в приобретении дополнительных средств, союзников и форм капитала. Соответственно, у всякой успешной элиты мы скорее всего обнаружим не один вид, а целый набор форм капитала и далеко ветвящиеся сети связей с по-разному полезными людьми.

Концепцию капитала не следует доводить до абсурда полного релятивизма. Форм капитала несколько, но далеко не бесконечное множество. Формы капитала соответствуют источникам социальной власти, которых, по инструментальному делению, используемому, скажем, неовеберианцем Майклом Манном, всего четыре: военная, экономическая, культурно-идеологическая, и политико-административная. Показательно, что и сам М. Манн, как и многие теоретики до него, особенно амбивалентен в отношении последнего источника власти. В самом деле, политическая и административная власти - двуедина, различна, или это подвиды способности организовывать и контролировать общественные усилия? А может, административная и политическая функция исторически были едины (в лице вождя, монарха), но позднее разделяются на отдельные ветви, публично-политическую и аппаратно-административную?

V.

Бюрократии должны быть свойственны некие собственные формы капитала и практики его накопления, связанные со специфичным, по нормативной идее совершенно формализованным организационным существованием и объектом распорядительной деятельности. Что это за формы капитала и практики? В порядке предварительной гипотезы это можно бы обсудить на первой встрече исследовательской группы, принимая данные тезисы лишь за отправную точку.

С виду бюрократия есть формально организованные служащие, единственным источником доходов которых должна быть должностная зарплата и социальные блага, предоставляемые работодателем по совершенно формальной росписи. Заострим до парадокса: бюрократия теоретически мало чем отличается от кадрового пролетариата и наемных спецов. Бюрократия, по идее, не должна быть элитой, тем более властвующей и суверенной. В ранние эпохи это были «слуги Государевы». В Новейшее время, когда легитимный суверенитет переместился от монарха к абстрактному народу и нации, это «общественные служащие» (civil либо public servants). Наивность - или лукавство - таких слов очевидны. И все-таки дело куда сложнее, чем лукавство. Бюрократия есть *меха-*

низм, как всякое орудие предназначенный усиливать физические и умственные возможности человека. В данном случае усиливаются возможности человека не рядового, а правителя.

Первые прото-бюрократии древности возникали там, где размер территории и подчиненное население в какой-то момент превысили возможности прямого личного управления, т.е. вождество переросло в раннее государство. Именно здесь (а не в идеологии, принципе прогресса или накоплении прибавочного продукта) кроется главный источник эволюционного перехода на новый уровень организации власти. Возникла непреодолимая потребность передоверить особо рода грамотным слугам сбор податей и хранение царских закромов, подсчитывать податные сословия и надзирать за войском, замещать царя вдали от столицы. В реальности механизм оказался очень проблематичным, дорогостоящим, подверженным постоянным поломкам - будет полезно обсудить перечень типично бюрократических патологий.

Бюрократия, несмотря на колоссальный потенциал, лишь ограниченно применялась в досовременных государствах в основном из-за своей дороговизны и технической сложности (для начала требуется развитая письменность и рекрутирование кадров, не связанных ни с каким племенем и родом, желательно вообще из чужеземных рабов, воспитываемых сызмальства, как в Османской системе *девширме*). Проще было опираться на всевозможные лично-договорные системы власти, вроде феодального вассалитета.

Качественный рост и распространение бюрократических аппаратов по всей планете относится ко временам завоевательного роста капиталистической миросистемы с центром в Западной Европе. Поэтому столько дебатов о том, что здесь первопричина: капитализм, военная революция, общая рационализация Нового времени, либо некие культурные особенности Запада? Более действенной представляется комплексная модель со-эволюции властных организаций, где различные механизмы (капиталистические, военные, легально-политические, административные, идеологические) вступают в восходящую спираль взаимоусиления. Очевидно, что сочетание сложное и потому не стоит удивляться, что случилось ему запуститься в самоподдерживаемый рост, возможно, лишь однажды и по определенному везению именно в Западной Европе. Что вовсе не означает, будто успех Запада был абсолютно за пределами возможностей других зон мира, и его нельзя было скопировать. Россия (как и культурно иная Япония) тому один из наиболее полных и периодически успешных примеров.

Бюрократическую организацию, вопреки представлениям о культурной уникальности, оказалось возможным имитировать в странах, которые исторически не относились к капиталистической колыбели Запада. Это означало распространение бюрократических принципов вширь. Не менее важно, что бюрократическую инновацию можно было распространить на совершенно новые сферы деятельности, приспосабливать для неожиданных целей. Капиталистическая

корпорация, акционерное общество суть частная бюрократическая организация, преследующая прибыль. Кто теперь частный хозяин «Дженерал электрик», Стэнфордского университета, или злополучно обанкроченного «Энрона»?

Профсоюз или ленинская партия нового типа также есть применение преимуществ бюрократической организации в революционных целях, т.е. колоссальный качественный скачок в сравнении с бунтами прошлого. Однако у бунтарей теперь появились и типично бюрократические «заболевания», в особенности тенденция к олигархизации аппарата профессиональных политактивистов, как предсказывали столетие назад Махайский и Михельс.

VI.

Бюрократия не может восприниматься отвлеченно, как некое зло или благо. Бюрократия есть именно механизм, предназначенный для координации общественных ресурсов и усилий. Это крайне сложный, капризный, но и потенциально мощнейший механизм. История его применения на самом деле пока очень недлинная. За вычетом имперских и церковных протобюрократий, с помощью которых управлялись лишь изолированные сегменты досовременных обществ, история бюрократизации насчитывает всего около пары столетий. Более чем паровой двигатель и электричество именно бюрократическая машина произвела беспрецедентную трансформацию Нового времени. Современное образование и здравоохранение, транспортная инфраструктура, города, наука - все это просто не будет работать без какой-то степени бюрократической координации.

Одна из главных дилемм Третьего мира - нехватка эффективных, инфраструктурно сильных аппаратов, способных генерировать и распределять общественные блага в виде массового индустриального строительства, здравоохранения, образования, городского транспорта, поддержания порядка. Эти функции, лишь частично и с неизбежно высокими политическими издержками, берут на себя всевозможные мафии [18], квартальные банды, религиозные фундаменталистские сообщества, этнические землячества, «бароны трущоб» и сети патронажной зависимости, неомиссионерские благотворительные неправительственные организации, коммерческие структуры и ростовщики, прочие формы люмпенской самоорганизации. Без действенной исполнительной бюрократии невозможна никакая сколь либо серьезная демократия (во всяком случае, в группах людей численностью свыше деревни). Там, где уже невозможно обойтись личными дружескими и соседскими взаимообязательствами, исполнение общественной воли придется возложить на бюрократический аппарат.

В отличие от механизмов неодушевленных, сколько ни обзывай бюрократов винтиками, на деле они одушевленные существа со вполне осознанным, хотя (и это важно!) подвижным, изменчивым в зависимости от социального контекста спектром личных интересов и групповых предпочтений. Поэтому

бюрократическая машина управляется вовсе не инженерно-механически и даже не кибернетически. (Это распространенное заблуждение теорий управления). Как бюрократические патологии, так и способы их лечения всегда были и будут видом *политической* борьбы. На деле это самый сложный из видов политической борьбы, где на кону находится не разовая победа и ни в коем случае не уничтожение противника, а инфраструктурный контроль на долгий срок.

Действенная политическая мобилизация нуждается в моральной идеологии, способной выдвигать общественные ценности и задачи. На самом деле здесь, возможно, и находится точка, в которой пересекаются интересы общества и бюрократической элиты (не говоря уже об основной массе бюрократического персонала на подчиненных должностях). Это, на техническом жаргоне, проблема коллективного действия. Нормализация бюрократического аппарата требует подчинения его сил большой легитимной задаче, в которую смогут встраиваться личные карьерные амбиции, элементарные интересы самосохранения, предполагающие высокую предсказуемость служебной деятельности, и социализованное самоуважение (по известным формулам «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «За державу обидно…»)

В противном случае, без внешней направляющей, возникает порочный цикл, также самоусиливающийся, но с негативным вектором. Частные и ведомственные интересы, каждый из которых рационален в узкокорыстном плане, в результате производят коллективно иррациональный результат, подрывается воспроизводство общественных структур, теряются коллективные блага, деградирует материальная и человеческая инфраструктура. Собственно, это и есть модель упадка СССР. Его аппарат управления избавился в 1960-е гг. от координации деспотической и одновременно смог пресечь возникновение со стороны новых средних слоев образованных специалистов альтернативных форм координации, основанных на политической и рыночной конкурентности. Остальное было по сути уже делом времени.

VII.

Литература по государственному развитию, бюрократии и связанными с этим политическими конфликтами практически безбрежна. Нам остается надеяться на синтетическое теоретическое понимание (если, пока, и не цельную теорию), которое даст нам ориентиры в море зарубежной эмпирики. Кроме того, при всей важности исторического опыта Запада (который, в конце концов, несет основную долю ответственности за возникновение современной миросистемы), следует ожидать, что какие-то другие регионы мира могут нам дать даже больше для сравнительного изучения политических формаций Восточной Европы. Это, в первую очередь, Турция, по сути, – пограничный член Восточной Европы и одновременно Ближнего Востока [19].

Несмотря на завораживающую всех экзотику совершенно иной цивилизации Японии и Китая, плюс колоссальную разницу в экономических успехах последних десятилетий, страны бывшего советского блока и особенно Россию все же полезно рассматривать в сравнении с тем, как государства Дальнего Востока реагировали на наступление Запада сто пятьдесят и пятьдесят лет назад. Предполагается, что мы найдем больше аналогий, чем обычно замечается. Конечно, мы выходим тут и на какие-то важные точки дивергенции. Распад СССР просто неизбежно сравнивали, и будут еще сравнивать с рыночным успехом по-прежнему коммунистического Китая. Как показывают недавние работы, уникальной лабораторией для тестирования гипотез об относительной силе государств и поведении правящих элит оказалась Юго-Восточная Азия (с перспективой расширения сравнительно-исторического фокуса на Индию, Иран и арабские страны). В самом деле, почему Сингапур обошел Филиппины, монархический Таиланд разошелся путями с монархической же Японией, а коммунистический Вьетнам так успешно воспользовался военной мощью для успешного выхода на мировые рынки, в то время как военная хунта Бирмы впала в почти северокорейскую изоляцию? [20].

Наконец, как говорят англичане, the last but not the least, надо научиться дифференцированно воспринимать и сам Запад с его пресловутым опытом. Италия не одна страна, а как минимум две или три, несмотря на сходство климата, Канада не Швеция, а Норвегия, несмотря на размер и мореходные традиции, вовсе не Португалия, Франция прошла совсем иным маршрутом, нежели Испания, игрушечная сегодня Австрия - как и Россия с Турцией тоже бывшая империя, а Британский исторический опыт демократизации трудно привести к общему знаменателю со швейцарским. Вся же Европа даже в сумме не равняется Америке. Еще важнее научиться принимать за эмпирический факт, что демократия на уровне городов вроде гангстерского Чикаго, немытого южного Неаполя, или даже чинно-мещанского Бордо скорее может нам помочь прояснить, каким путем двигаются российские регионы.

Таковы предварительные наброски. О конкретике исследовательской программы, ее составляющих и последовательности стадий предстоит договариваться и, неизбежно, поспорить. Важно оставаться при этом открытым для непредвиденных ходов мысли, одновременно не теряя главных ориентиров [21].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. R. Collins. *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.

2. S. Rokkan. *State Formation, Nation-Building and Mass Politics in Europe*. Ed. by P.Flora, S. Kuhnle and D. Urwin. Oxford: Oxford University Press,

1999; C. Tilly (ed.). *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1975; C. Tilly. *Coercion, Capital, and European States, AD 1990-1992*. Oxford: Blackwell, 1992; M. Mann. *The Sources of Social Power*. Vol. I-II. Cambridge: Cambridge University Press, 1986-1993; P. Evans, D. Rueschmeyer, T. Skocpol (eds.) *Bringing the State Back In*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985; T. Skocpol. *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979; J. Goldstone *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley, CA: University of California Press, 1991; R. Lachmann. *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

3. G. Steinmetz (ed.) *State/Culture: State Formation after the Cultural Turn*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999; G. Steinmetz (ed.) *The Politics of Method in the Human Sciences: Positivism and its Epistemological Others*. Durham: Duke University Press, 2005; J. Adams, E.S. Clemens and A.S. Orloff (eds.) *Remaking Modernity: Politics, History, and Sociology*. Durham: Duke University Press, 2005.

4. N. Gilman. *Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2003.

5. P. Bourdieu and L.J.D. Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology.* Chicago: University of Chicago Press, 1992; П. Бурдьё. *Социология политики*. М.: Socio-Logos, 1993; П. Бурдьё. *Начала.* М.: Socio-Logos, 1994; П. Бурдьё. *Практический смысл*. СПб.: Алетейя, 2001; П. Бурдьё. *Социология социального пространства.* СПб: Алетейя, 2005.

6. T. Earle, *How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory.* Stanford, CA: Stanford University Press, 1997.

7. P.J. Taylor, *The Way the Modern World Works*. Chichester, England: John Wiley & Sons, 1996.

8. I. Wallerstein. *The Modern World-System*. Vol. I-III. San Diego, CA: Academic Press, 1974-1989; И. Валлерстайн. *Анализ мировых систем и ситуация в современном мире.* СПб.: Университетская книга, 2001; И. Валлерстайн. *Конец знакомого мира: Социология XXI века.* М.: Логос, 2003; И. Валлерстайн. *После либерализма*. М.: УРСС, 2003; И. Валлерстайн. *Миросистемный анализ: Введение*. М.: Территория будущего, 2006; Дж. Арриги. *Долгий двадцатый век. Деньги, власть и истоки нашего времени.* М.: Территория будущего, 2007; G. Arrighi. *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*. London: Verso, 2007.

9. R. Brenner. “The Origins of Capitalist Development: a Critique of Neo-Smithian Marxism,” *New Left Review,* 1977, Vol. 104, pp. 25-92; R. Brenner. *The Boom and the Bubble. The US in the World Economy*. London: Verso, 2002; R. Brenner. *The Economics of Global Turbulence*. London: Verso, 2006.

10. D. Harvey. *The Limits to Capital.* Chicago: University of Chicago Press, 1982; D. Harvey. *The Condition of Postmodernity*: *An Enquiry into the Origins of Cultural Change.* Oxford: Basil Blackwell, 1989; D. Harvey. *The New Imperialism.* Oxford: Oxford University Press, 2003; D. Harvey. *A Brief History of Neoliberalism.* Oxford: Oxford University Press, 2005; D. Harvey. *Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development.* London: Verso, 2006.

11. V.I. Ganev. "The Dorian Gray Effect: Winners as Statebreakers in Post-communism," *Communist and Post-Communist Studies*. Vol.34. No.1. (2001), pp.1-25; V.I. Ganev "Post-communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective," *Communist and Post-Communist Studies*. Vol.38. No.4. (2005), pp. 425-445.

12. Н. Элиас. *О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования.* В 2 тт. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.

13. S.N. Eisenstadt. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. London: Sage, 1973; Ш. Эйзенштадт. *Революция и преобразование обществ*. М.: Аспект-пресс, 1999.

14. J.-F. Medard. "The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neo-Patrimonialism," in Clapham C. (ed.). *Private Patronage and Public Power*. New York: St. Martin's Press, 1982, pp. 162-192; R. Lemarchand. "Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation-Building," *The American Political Science Review*, Vol. 66, No. 1 (Mar., 1972), pp. 68-90; R. Lemarchand, K. Legg. "Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis," *Comparative Politics*, Vol. 4, No. 2 (Jan., 1972), pp. 149-178; L.I. Rudolph, S.H. Rudolph. "Authority and Power in Bureaucratic and Patrimonial Administration: A Revisionist Interpretation of Weber on Bureaucracy," *World Politics*, Vol. 31, No. 2 (Jan., 1979), pp. 195-227.

15. J.C. Scott. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yale University Press, 1979; J.C. Scott. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale, CT: Yale University Press, 1985; Дж. Скотт. *Благими намерениями государства: почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни.* М.: Университетская книга, 2005.

16. А.А. Фисун. *Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации*. Харьков: Константа, 2006.

17. A.L. Stinchcombe. "Ending Revolutions and Building New Governments," *Annual Review of Political Science*, Vol. 2, (1999), pp. 49-73.

18. В.В. Волков. *Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005.

19. Ç. Keyder. *State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development*. London: Verso, 1987.

20. R.F. Doner, B.K. Ritchie, D. Slater. "Systemic Vulnerability and the Origins of Developmental States: Northeast and Southeast Asia in Comparative Per-

spective," *International Organization*, Vol. 59, No. 2 (Spring 2005), pp. 327-361; J.A. Winters. *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State.* Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996; P. Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press, 1995; M. Woo-Cumings (ed.) *The Developmental State*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2000; D.C. Kang. *Crony Capitalism: Corruption and Development in South Korea and the Philippines.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002; A. Kohli. *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery.* Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

21. G. Derluguian. *Bourdieu's secret admirer in the Caucasus: A world-system biography*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

Экономический выбор и политические концепты

РЕГЕНЕРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ: СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ

О.Ю. Мамедов
Южный федеральный университет

Всех экономистов объединяет общий объект анализа – "экономика". Однако – и в этом весь парадокс! – тот же объект в такой же степени их и разъединяет, точнее, – разъединяют бесконечные трактовки этого, поистине неисчерпаемого, фундаментального понятия.

Тем не менее, можно полагать, что при множестве подходов экономика остаётся системой объективных общественно-производственных отношений, закономерно-вырастающих в координатах трёхмерного пространства – общественного разделения труда, собственности и стоимости. Бесконечные комбинации разномерного сочетания специализации, собственности и стоимости и порождают все те экономические формы, которые образуют основной объект экономико-теоретического анализа.

Такая трактовка общественной экономики позволяет привлечь внимание к проблеме, ставшей сегодня, на мой взгляд, самой актуальной, – к проблеме, парадоксально и незаслуженно оказавшейся на периферии внимания экономистов. Эта проблема отражает особое явление, которое я бы обозначил как «*консервативная регенерация российской экономической системы*». Именно названная консервативная регенерация и превратилась сегодня, по нашему мнению, в главное препятствие на пути ускоренного, устойчивого, долгосрочного, эффективного и оптимального развития российской экономики.

* * *

Удивительно, но в реальных условиях переходной экономики (хотя некоторые горячие экономисты уже и объявили об окончании переходного к рынку периода) эта главная проблема всё ещё слабо осознаётся средой профессиональных российских экономистов. Я назвал ситуацию "удивительной" только потому, что для отечественных экономистов осознание и исследование данной проблемы образует условие разработки *российского варианта теории переходного периода*.

Однако проблема экономической регенерации до сих пор бродит незамечаемой (и потому – неприкаянной), хотя именно её теоретический анализ должен был бы образовать *исходную и конечную стадии* каждого прикладного экономического исследования. Это важное в методическом отношении положение следует сформулировать точнее – *речь идёт о проблеме, анализ территориально-отраслевой специфики которой должен присутствовать в любом конкретно-экономическом исследовании*. Образно говоря, каждое прикладное экономическое исследование должно начинаться с приветствия с данной проблемой, а завершаться – с прощания с ней. Если же прибегнуть к гносеологическому категориальному аппарату, то можно сказать, что данная проблема образует теоретико-методологические координаты практических всех, так сказать, "не-первых" экономических исследований, то есть тех экономических исследований, тематика которых, согласно классификации ВАК, относится к "ноль-пятой", "ноль-десятой" и т.д.

Кроме того, рекомендации по решению данной проблемы в границах анализируемого фрагмента экономики должны составлять основную часть практических предложений проведённого конкретно-экономического исследования.

* * *

Экономическая регенерация есть функциональная производная от такого фундаментального свойства *экономической системы,* как "**органическая целостность**".

Смысл этого полузабытого марксова сущностного определения экономики состоит в указании на удивительное свойство экономического базиса – на способность его *«досаморазвития»* до **системного состояния**. Экономика способна генерировать недостающие для своего системного состояния (и функционирования) отношения, формы, фазы и сферы. Только благодаря реализации принципа органической целостности все существующие в обществе разнородные экономические отношения преобразуются в *качественно-однородные*.

Те, кто изучал основную школу экономической аналитики – *политическую экономию капитализма*, – знают, что капитализм победил феодализм тем, что сумел превратить совокупность разнородных экономических отношений в систему однородных экономически-*эффективных* отношений.

Те, кто изучал драматическую школу экономической аналитики – *политическую экономию социализма*, – знают, что социализм погиб именно потому, что повторил «органический подвиг» капитализма – он также превратил совокупность разнородных экономических отношений в систему однородных (но на этот раз, увы, – экономически-*неэффективных*) отношений.

Уже этих двух великих уроков экономической истории было бы вполне достаточно, чтобы осознать: *успех возведения в нашей стране современной ры-*

ночной системы зависит только от одного – насколько быстро нам удастся выстроить **рыночно-однородное экономическое пространство**.

Но что же препятствует этому? Где скрывается главный враг юного российского рыночного пространства?

Профессиональные экономисты знают ответ на этот вопрос – дело не в технологии или инвестициях, не в реновации или модернизации производства, а *в тех экономических отношениях, которые сложились в стране в течение продолжительного (трёхвекового!) исторического периода* и которые подлежат рыночной трансформации. Именно эти отношения оформились сегодня, в своего рода, «железобетонную систему», и теперь эта экономическая система воспроизводится по всем законам социальной регенерации.

В чем это выражается?

С одной стороны, российская экономическая система упорно отвергает вторгающиеся новые, несистемные для неё, экономические отношения, а с другой, – упорно воссоздаёт те свои элементы, которые общество пытается уничтожить во имя спасения самой национальной экономики (а спасение экономики, как знают экономисты, – это рост её экономической эффективности), – *этатизацию, монополизацию, бюрократизацию*.

Поистине, можно впасть в материалистическое отчаяние и мистическое объяснение, видя, как на протяжении трёх последних веков никакие происки «либерал-реформаторов» (как именуют сторонников рыночных преобразований их именитые оппоненты) *не дают никаких результатов*.

Кто только ни штурмовал российскую экономическую систему: Пётр Первый – с его до сих пор вызывающим ошеломление «преклонением перед Западом», Екатерина Великая – с её знаменитой Комиссией об Уложении, провал которой уже тогда обнаружил практическую нереформируемость экономического базиса российского общества тех лет (но, одновременно, – поставил все те экономические проблемы последующих двух веков, которыми, в частности, занимаются и современные российские экономисты[1]), Михаил Михайлович

[1] Не верите? Тогда сначала вспомним – попытка сформировать новый государственный и правовой облик страны завершилась тогда одним – созданием в России просвещенного абсолютизма. Не стало ли это закономерностью? А то, что мы и сегодня решаем задачи трёхсотлетней давности, видно из задач «просвещенного монарха», начертанных рукой самой Екатерины – «Нужно просвещать нацию, которой должен управлять» (и ведь до сих пор просвещают, чтобы, просветив, ужо тогда дать свободу, – но никак не ранее, – О.М.), нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать общество и заставить его соблюдать законы (пусть в меня бросит камень тот, кто не считает, что заставить соблюдать законы превратилось сегодня в главную заботу государства, – О.М.), нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию (ультраактуальная задача и нашей современности, – О.М.), нужно способствовать расцвету государства и сделать его изобильным (пусть в меня бросит камень и т.д., – О.М.), нужно сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям» (уж что-что, а эта задача выполняется неукоснительно, – О.М.).

Вот что значит быть великим человеком – прошли века, а задачи – как будто только поставлены!

А желание Екатерины II предоставить дворянству и городскому сословию самоуправление? А создание Комиссии по Соборному Уложению как предтеча современной Думы (кстати, в её составе были представители и от инородцев, – может, стоит перенять?)?

А помнят ли отечественные экономисты о том, что они являются интеллектуальными потомками учрежденного Екатериной одного из старейших в мире и первого в России «Вольного экономического общества» (вольное тогда означало – независимого от правительственных ведомств, что тоже весьма актуально на фоне госу-

Сперанский – с его реформами чинопроизводства и ориентацией в социально-политических преобразованиях на идеи европейского Просвещения, Александр Второй – с его серией земских и судебных реформ, Пётр Аркадьевич Столыпин – с его аграрными реформами, ленинский нэп – с его поворотом к частнику, Хрущев – с его поворотом к реальным проблемам российской экономики, Косыгин – с его «щёкинской реформой», Гайдар – с его спасшими российскую экономику реформами.

Но всё было тщетно. И сегодня, вопреки мировому опыту, при внешнем расшаркивании перед западной экономической мыслью, у нас в активе всего две (зато какие!) отвергаемые идеологические ценности. Я имею в виду – либерализм в экономике и демократию в политике. Неприятие этих фундаментальных ценностей неизбежно оборачивается фактической реставрацией трёх малоприятных реальностей – этатизации, монополизации и бюрократизации экономики[2].

Вот этот *процесс постоянного воспроизводства неэффективных экономических отношений, форм и связей я и называю* «**консервативная регенерация экономической системы**».

И пока мы не разорвём этот исторически-порочный круг, нам суждено будет вновь и вновь собираться на конференции, посвященные одним и тем же полуэкономическим проблемам. Я сказал «полуэкономическим» потому, что *переход от консервативной регенерации к прогрессивной осуществляется только* **экономическими средствами**.

Таким образом, главной экономической проблемой – и теоретической, и практической, – на мой взгляд, является изучение механизма консервативной регенерации российской экономической системы и обеспечение перехода к прогрессивной регенерации.

Отсюда вытекают две главные задачи российской экономической науки.

дарственно-бюрократического статуса нынешнего ВАКа)? Между прочим, – Вольное экономическое общество занималось тем, что на современном языке получило название «научные гранты»: объявляло конкурсные задачи и издавало ``Труды Вольного экономического общества (за 1766-1915 годы было опубликовано более 280 томов и приложений к ним!). До 1861 года было объявлено 243 (!) конкурсные задачи. Кстати, первый конкурс был объявлен по инициативе самой императрицы в 1766 году со следующей формулировкой проблемы – «В чем состоит собственность земледельца (крестьянина) в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости и какое он право на то и другое для пользы общенародной иметь должен?»

Ей-богу, эту задачу впору вновь повторить!

А знаменитый указ 1767 года (подкреплённый манифестом 1775 года), в котором Екатерина II провозгласила принцип свободы предпринимательской деятельности? И то сказать, ситуация сегодня с отечественным бизнесом такая, что хоть заново принимай и издавай этот указ!

[2] Я не думаю, чтобы были возражения против использования этого термина в экономическом анализе. В биологии позднелатинское «regeneratio» означает возрождение, возобновление, восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей. Это значит, что, например, Змей-Горыныч в бою с богатырём спасался методом регенерации. Иногда кажется, что подобный бой ведёт и общество с застойным экономическим организмом. Что мы ни делаем, но «три головы» всё равно живёхоньки – экономика по-прежнему остаётся в значительной мере *огосударствленной*, *монополизм* только усиливается, а *бюрократизм* процветает как никогда.

Первая – *теоретическая*: выявить реальный механизм консервативной регенерации российской экономической системы и механизм его замены на мультирегенеративный механизм прогрессивной регенерации.

Вторая задача носит *практический* характер: выявить реальный механизм консервативной регенерации в данной отрасли (в данной сфере, в данном регионе, в данном сегменте, на данном предприятии, короче – в данном локальном фрагменте российской экономики) и предложить механизм его замены на механизм прогрессивной регенерации.

Эти три механизма превратились в своего рода три роковые для судеб России «экономические карты»: сумеем превратить их в козырные – выиграем в борьбе с так называемыми «историческими вызовами», не сумеем – проиграем.

* * *

Концепция альтернативной (консервативной или прогрессивной) регенерации экономической системы имеет определенную практическую значимость, так как она содержит объективный критерий оценки выдвигаемых экономических решений. Это можно проиллюстрировать на примере известной экономической программы (которую я бы обозначил как – «программа академического ренессанса»). Сегодня эта программа, которая, по моему мнению, полностью соответствует идеологии «консервативной регенерации», предлагается в качестве системного решения буквально всех актуальных экономических проблем страны. Давайте же попробуем оценить её в аспекте механизма экономической регенерации.

Названная программа включает три странных, но очень родственных пункта:

1) первый пункт можно обозначить с помощью древнеславянского слова «**державность**», смысл которого – *максимальное усиление роли государства в экономике*, что практически означает не просто свёртывание приватизации хозяйственного механизма России, но и возвращение на исходные дореформенные позиции, а то и просто в первую половину прошлого столетия,

2) второй пункт правомерно обозначить старинной категорией «**меркантилизм**», поскольку его смысл – жить припеваючи за счёт грубоуравнительного распределения природной ренты (под рентой имеют в виду «разницу между рыночной стоимостью природных ресурсов и затратами на их добычу»; однако всякий, кто имеет представление о чудовищной неэффективности добычи природных ресурсов и отсутствии производственных мощностей для их глубокой переработке, только плечами пожмёт, – эта разница имеет тенденцию к превращению в отрицательную величину),

3) завершает славную триаду самый любимый широкими массами пункт, известный как «**конфискационный**», суть которого представлена названием

недавней публикации – «**Справиться с бедностью можно за год, если взять налоги с Рублёвки**»[3].

* * *

Надо признать, что перечисленные **три пункта действительно отражают три главные экономические проблемы современной России и предлагают три конкретных экономических алгоритма их решения**.

Проблема первая, – как же обеспечить не статистический, а реальный долгосрочный неконъюнктурный экономический рост? Главный рецепт – помощь государства.

Проблема вторая, – какая отрасль должна стать доминантной? Главное предложение – природно-ресурсная (а инструмент – её переход в исключительный объект государственной собственности).

Проблема третья, – как преодолеть взрывоопасный уровень имущественного расслоения общества? Главное предложение – «справедливое» перераспределение доходов (от тех, у кого они имеются, к тем, у кого их нет). Надо ли говорить, что и здесь единственным исполнителем этого предложения планируется только государство?

Вот почему экономические исследования внесли бы существенный вклад, если бы сумели избежать «мельчения» по бесконечным проблемам каждой отрасли и каждого региона, а изучали бы эти широко рекламируемые программные решения действительно актуальных экономических проблем.

* * *

1. В последнее время практически все диссертационные работы полны одним практическим призывом – «усилить роль государства в экономике!». Далее только уточняется, как это сделать в конкретном секторе, отрасль и регионе. Создаётся впечатление, что всё, на что способны сегодня экономисты. – это взывать к государству, к бюджету, к приоритетным программам.

Главная трагедия рыночных реформ, по мнению многих экономистов, формулируется в следующем тезисе – «государство, как выразитель общества, ушло из экономики»[4]. Но уже только в одном этом лаконичном постулате – три неправды: никуда государство не ушло – раз; с каких это пор наше государство стало выразителем общества, а не самого себя, класс коррумпированных чиновников – это еще не государство, – три.

Установление контроля государства над нефтяной промышленностью оказалось только первым пробным шагом. Один за другим возникают концерны, контролируемые государством (главный из них – газовый монополист по имени

[3] Подробнее экономическую программу российского антилиберализма см.: Д.Львов. Справиться с бедностью можно за год, если взять налоги с Рублёвки. // «Комсомольская правда», 2007, № 6 от 17 января 2007 года.

[4] Выступление академика Львова. // http://www.larouchepub.com/russian/news/010629_duma/010629_lvov.

"Газпром"). Реальностью становится курс на ренационализацию. В нефтяной промышленности в течение года доля государства за год увеличилась с 6% до 30%. Теперь государство выходит на авиа-, машино- и автомобилестроение, горнодобывающую и металлургическую промышленность, атомную энергетику. Экономический инструмент деприватизации – отраслевой холдинг, в котором государство имеет контрольный пакет.

Да неужели не ясно, что государство должно не в экономику влезать, вытесняя частный бизнес, а создавать условия для упрочения этого частного бизнеса? Все национальные, приоритетные и прочие проекты вызывают большие сомнения – государство подменяет активность гражданского общества, вместо того, чтобы его инициировать.

Недавно уважаемый коллега профессор А.Аузан удачно определил: «государство – это машина по производству и поддержанию определенных правил». И печально констатировал – «эта машина у нас находится в очень плачевном состоянии»[5].

А вот здесь именитый коллега как раз и не прав: государство у нас – эффективная машина по производству хороших правил для себя, и плохих – для общества. Вот почему государству должен быть закрыт путь в экономику – судья не может играть в одной из команд.

Какого же результата ожидают исполнители этого бесконечного гимна экономической роли государства? Уже не только западные, но и наши экономисты пришли к программным выводам, которые лаконично изложены, например, Вадимом Валерьевичем Радаевым и Овсеем Ирмовичем Шкаратаном (я цитирую ключевой фрагмент из их статьи «Власть и собственность»):

«Этакратизм (власть государства) – это *не цепь деформаций* и отклонений, а *самостоятельная ступень* и, в то же время, *параллельная ветвь* исторического развития современного общества, которая имеет свои *собственные законы*. В этакратических обществах отмечают одно и то же болезненное явление — *бюрократизацию*, чрезмерную власть аппарата управления, *усиление государственности* при практически *полном отсутствии гражданского общества*. Речь идет о бюрократии особого типа, не имеющей сходных форм в буржуазных странах и сосредоточившей в своих руках как *политическую, так и экономическую власть*»[6].

Вы действительно хотите иметь *такую* экономику и *такое* общество?

Тогда оно идёт к вам!

И еще, – экономика начинается затратами и завершается результатами. При этом р*ыночная* экономика превращает *частные расходы в общественные доходы,* тогда как *государственная* экономика устроена противоположным образом, превращая *частные доходы в общественные расходы* (и она не успокоится, пока не превратит все доходы – в расходы, ведь в этом её работа).

[5] А.Аузан. Договор-2008: повестка дня. – Новая газета», 2007, №04 (22.-24.01.2007).

[6] XII Всемирный социологический конгресс. В.В.Радаев, О.И.Шкаратан. Власть и собственность. М., 1991, с.50-51.

Почувствуйте, как говорят, разницу[7].

* * *

2. Что касается второго пункта – природной ренты, то на этом моменте следует остановиться подробнее, поскольку реальная возможность соблазнительно-беззаботной жизни нашей страны за счет построения «рентной экономики» крайне сомнительна, хотя и ужасно импонирует широким народным массам.

Увы, реальность гораздо неприятнее – оказывается, в рыночно развитых странах происходит постоянное снижение стоимости энергоресурсов, потребляемых национальными экономиками: на протяжении последних тридцати лет произошло двукратное снижение энергоёмкости американского ВВП и трехкратное – европейского ВВП! Это ставит под сильное сомнение академическую стратегию получения долгосрочной радости за счет дарованной нам природной ренты.

Уже сейчас в России на нефть и газ приходится около двух третей всего российского экспорта, а доходы, прямо связанные с производством и экспортом энергоносителей, обеспечивают более поступлений в российский бюджет. Уже захлебываемся в избыточном притоке валюты, который не можем освоить и отправляем в стабилизационный фонд. Вот она, рента, а экономического счастья всё нет. Вот уж поистине счастье не в деньгах, а в их распределении.

Более того, Владислав Иноземцев отмечает, что Россия превратилась в *региональную* энергетическую державу, поскольку основная часть ее энергетических поставок технологически (трубопроводами!) привязана к Европе, тогда как большая часть нефтяной торговли в мире осуществляется с использованием морского транспорта (так, сегодня Россия экспортирует по своей трубопроводной системе около 3-х млн. баррелей нефти в сутки, а США импортируют ежедневно не менее 6-ти млн. баррелей нефти морским путем). Мы же продолжаем строить трубопроводы! То же – с поставками сжиженного природного газа, основными покупателями которого являются Япония (48% общемирового импорта и 100% потребности) и Южная Корея (21%).

Морская транспортировка, конечно, предпочтительней, так как можно везти куда хочешь, тогда как построенные трубопроводы ставят нас в жесткую зависимость от европейских покупателей, которые могут нашу нефть сами от-

[7] Впрочем, в последнее время появились определенные надежды. В Давосе Дм. Медведев заявил – "Сегодня мы строим новые институты, основанные на базовых принципах полноценной демократии, демократии эффективной – опирающейся на принципы рыночной экономики, верховенство закона и подотчетности власти остальному обществу». И добавил – ни одно недемократическое государство не стало по-настоящему процветающим. По одной простой причине: свобода – лучше несвободы". Судя по словам Медведева, власть хорошо осознает экономические реалии – «чрезмерную зависимость от рынков минерального сырья, коррупцию и по-прежнему высокий уровень дифференциации доходов населения». И еще – "Роль государства в текущей жизни российской должна быть основана на сугубо утилитарных, прагматических соображениях – не больше и не меньше… Если же участие государства не является необходимым, государство в таких процессах участвовать не должно".

правлять морским путем куда захотят и, таким образом, сами стричь обещанную нам ренту, которую мы будем сами им преподносить. Мы же продолжаем строить трубопроводы!

Да нам не хвастаться величиной нефтегазовых ресурсов надо, а выскакивать из ловушки развращающего нас природного богатства. Тот же автор приводит ошеломляющие данные: весь гигантский газовый экспорт, идущий из России, не превышает 32% общего его производства в стране; следовательно, 68% остаётся внутри страны (при этом газ невозможно, так сказать, «складировать»). Получается, что на в семь раз меньший объём российского ВВП (по сравнению с ВВП Германии, Франции и Италии) приходится двойная «газоёмкость»? Следовательно, по «газозатратам» на единицу российского ВВП мы в 14 (!) раз превышаем соответствующие показатель развитых стран?[8].

Ищете источники экономического роста? Да всё здесь, под рукой, внутри страны.

Странно, но ратующие за преодоление положения нашей экономики как сырьевого придатка Запада фактически предлагают окончательно увязнуть в сырьевой специализации. Другими словами, в то время, как развитые страны стараются от абсолютных конкурентных преимуществ перейти к относительным, нам предлагается закрепиться на абсолютном нефтегазовом конкурентном преимуществе[9].

«Рентная экономика» препятствует отраслевой и продуктовой диверсификации национального производства. А что мы будем делать, если всё-таки найдут альтернативу нефти и газу? Что тогда, конец стране? Может, всё-таки посмотреть на страны, в которых нет никаких ресурсов (например, Японию) и которые, однако, не впадают в «рентное» отчаяние?

Строительство природно-рентной экономики для нашей страны может обернуться для нашей экономики только позорным суицидом.

Когда мы говорим о природной ренте в России, то на одну чашу весов надо положить ее привлекательность по природным запасам, сравнительно дешевой рабочей силе и растущей емкости внутреннего рынка. Однако на другой чаше – институциональная неустойчивость, непрозрачность бизнес-структур, коррупция чиновников, слабость законодательной базы, высокая зарегулированность

[8] См. подр.: Тезисы выступления В.Л. Иноземцева на Валдайском форуме 5 сентября 2006 г. // http://inozemtsev.net/index.

[9] Огромная рента, якобы выручаемая за счет поставок за рубеж энергоносителей, и которая может – при её справедливом распределении – обогатить народ – скорее, всё-таки миф. Приток нефтедолларов, появление Стабилизационного фонда, профицитный бюджет, всё это – лишь внешние атрибуты экономического роста. Реальные показатели среднего дохода на душу населения приводят в оторопь: в Ирландии – $57 103 на душу населения (1-е место в мире), в США – $47 503 (11-е место). По классификации Всемирного Банка, "высокие средние доходы" начинаются от $10 тыс. В России средний доход на душу населения составлял $3400 (2004 год). Доход на душу населения – это отношение объема ВВП в текущих ценах и удобных единицах (к примеру, долларах) к зарегистрированной численности населения страны. По предварительным данным об исполнении бюджета, которые представил на днях Минфин, ВВП России составил 27 трлн. 80.3 млрд. рублей, или чуть больше триллиона долларов. Население России на август 2006 года – 142.2 млн. человек. В итоге получается $7 тыс. на каждого. (См. подр.: Евгений СТРЕЛЬЦОВ. Догнали США – теперь идем на обгон? // ("Финансовые Известия", 23.01.2007).

экономической деятельности, наличие административных (а не конкурентных) преимуществ, неопределенность правил вмешательства государства в предпринимательскую деятельность. Однако в развитых рыночных экономиках инвесторы «со второй чашей» не знакомы, и они не хотят знакомиться с её несъедобным содержанием.

Реальность такова: административный монополизм на объект и условия присвоения – таков современный экономический механизм присвоения ренты в России.

Да, на ренту можно жить, но если только это – *рента от эффективного устройства экономики*. Я хочу сказать, что *современная рента – это недостижимые для других стран преимущества в экономической организации национального производства*, и, похоже, что эта рента действительно приобретает все признаки «дифференциальной ренты I», так как она всё более закрепляется за определенной группой стран и пока недостижима для других стран.

Вот переход к «экономической ренте» и становится главной задачей для нас! И такие возможности имеются, если мы будем подходить к открытым таможенным зонам, национальным программам, инновационным проектам и проч. не как инструментам отраслевого управления, а как *к инструментам выращивания новых эффективных форм экономического устройства производства*.

Ставка на ренту в механизме экономического роста России обосновывается «нерешенностью проблемы собственности на природно-ресурсный потенциал планеты». Далее в ход идут какие-то иррациональные аргументы – «то, что не является делом рук человеческих, не является следствием капитала, бизнеса, финансовых рисков, должно принадлежать всем»… в России от Бога, это ее природные ресурсы, это ее территория, это ее газ, нефть и так далее». И далее вопрошается – «разве не это реальные материальные активы, которые должны найти отражение в нашей финансовой системе?» (Львов, там же).

Я отвечаю – нет, это не активы, то есть сама по себе территория, газ, нефть – это не активы, активом является *эффективный экономический способ их присвоения*. Не понимать этого, думать, что число квадратных километров территории или объём запасов нефти и есть наше экономическое, а не природное богатство, – это, по меньшей мере, странно.

В литературе указывают – «природные ресурсы, вода, воздушный бассейн, транспортные магистрали – это есть общественные достояния, которые принадлежат всем. И в этой связи рента-доход должен стать реальным источником на перестройке нашей финансово-кредитной системы»[10]. Вряд ли, – принадлежащее всем никогда никому не приносило доход (разве что тому субъекту, который владеет природными ресурсами от имени «всех, то есть – государству, точнее – его чиновникам).

[10] Выступление акад. Львова. // http://www.larouchepub.com/russian/news/010629_duma/010629_lvov.htm

Наконец, дело доходит до практических рекомендаций, – «государство, возьми на свой баланс все природные ресурсы» (взывает экономист), и тогда если я, государство, сегодня в той или иной нефтяной компании имею 5 процентов, то завтра это будет 98. Выпусти акции в свободном рыночном открытом обороте… и все пойдет в казну, за счет чего будет укрепляться наш рубль реально, будет развиваться промышленность. Вот этот путь, действительно, реальный».

Плохо дело. Можете проводить хоть ежедневно эмиссию акций – всё приберёт, как выражался Джек Лондон, «пена и накипь человеческого котла».

Можете проводить хоть ежедневно эмиссию акций – всё приберёт, как выражался Джек Лондон, «пена и накипь человеческого котла».

Почему? Да потому, что рентная экономика объективно воспроизводит деформированную структуру распределения доходов. Например, десятипроцентный рост рентной экономики означает только одно – рост доходов на те же десять процентов лишь у «рентоприсосавшейся» части общества. А все остальные удивляются – да где же рента?

И никакие административные перераспределения рентных доходов ничего не изменят (посмотрите на страны «третьего мира»). Необходима высокотехнологичная экономика – именно она переделала экономику западных стран, переделает и, бог даст, нашу экономику.

Рентная экономика – это всегда экономика преимущественно государственная, максимально коррупционная и социально-несправедливая.

Вот почему обеспечение преодоление консервативной и обеспечение прогрессивной регенерации экономической системы в России становится главным теоретическим и практическим направлением современной российской экономической науки[11]. Нам необходим прорыв от «рентной экономики» – к «экономике развития». Здесь-то и обнаруживаются три вечные для нас экономические проблемы – деэтатизация, демонополизация и дебюрократизация.

* * *

Академик Львов, выступая на Парламентских слушаниях, еще пять лет назад предупреждал – «отсталые страны теперь будут отсталыми навсегда. И если мы свой образ, России я имею в виду, не поменяем, то и нас ждет такая участь».

А вот с этим предупреждением следует согласиться полностью. Нам нужно переходить от присвоения *природной* ренты – к присвоению *экономической* ренты, то есть *к доходу от овладения эффективными формами экономической организации производства*.

[11] Выступление академика Львова. // http://www.larouchepub.com/russian/news/010629_duma/010629_lvov.htm

* * *

3. Обличать монополизм нет нужды. Я и не буду этого делать. Скажу только, что монополизм – самое негативное явление в экономической организации нашего производства: монополизм господствует в топливно-энергетическом комплексе, в добывающей сфере, в транспорте, в связи, в аграрной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Мы проиграли монополизму – в который раз. А это значит, что мы проиграли в битве за экономический рост и экономическую эффективность.

Монополизация советского производства переросла в монополизацию рынка, – и не без помощи государства, поскольку монополистические структуры формировались с помощью государственных органов и при их активной поддержке. В результате произошло неизбежное – сращивание государственного и монополистического капитала. А экономистам хорошо известно, что это такое и чем это грозит.

В настоящее время монополизация на энергетических, транспортных и коммуникационных рынках уже превышает 90% (там господствуют естественные монополии). А вот в США допустимый уровень контроля рынка не должен превышать 6%!

Высокая степень монополизации оборачивается однообразностью ассортимента, завышенными ценами и низким качеством продукции и инфляционными поползновениями.

Благоприятная конъюнктура цен на энергоносители, как это ни парадоксально, затормозила российские рыночные реформы. Но еще негативнее сказалась на российской экономике высокая степень её монополизации – по некоторым данным, 3-4 монополии дают до 80% ВВП России. Кстати, вот почему по мировому рейтингу экономической свободы наша страна заняла 124-е место из 155-ти.

Монополизм действительно душит большинство сфер отечественного производства, поэтому и борьба с ним превратилась сегодня в реальную, универсальную и самую актуальную для нашего производства *экономическую проблему.* А монополизм, как учили некогда весьма почитаемые экономисты, это – застой, неэффективность, стагнация. Более того, они предупреждали: всякая монополия плоха, но хуже всего – государственная монополия в экономике. Ибо возникает **«государственно-монополистическая экономика»** – *форма удвоенно-неэффективного производства плюс – непобедимый институт коррупционного расхищения ресурсов*. Актуальность демонополизации видят все, кроме Антимонопольного комитета (почему-то самого молчаливого федерального комитета). А ведь экономисты знают, что, что доминирующая экономическая форма обычно порождает соответствующую политическую форму.

Моделирование экономического механизма ускоренной демонополизации на уровне отрасли, региона, сферы, в целом национальной макроэкономики, – вот пример актуальной *экономической* проблемы.

Но вот что интересно: в то время, как практика задыхается без теоретической разработки механизмов повсеместной демонополизации, экономисты будто прячутся от этой важнейшей проблемы – я провел простой анализ: познакомился с тематикой докторских работ по экономике, представленной на сайте ВАК за вторую половину прошлого года. Так вот, – из 160-ти докторских диссертаций проблеме демонополизации посвящена только… одна работа[12].

Чем же это объяснить? Ведь не может быть, чтобы экономисты не осознавали опасности монополизации для российской экономики. Я объясняю это тем, что писать о разных абстрактных классификациях разных подсистем спокойнее и безопаснее, чем о монополизме. Точно так же в советское время историки убегали в средневековье или древность, лишь бы не заниматься современностью.

* * *

Обличать бюрократизм также нет нужды. Я и не буду этого делать[13].

* * *

При всех кардинальных политических переменах российская экономика всё та же – с теми же тремя нерешёнными базовыми экономическими проблемами. И виной тому – консервативная экономическая регенерация, с которой обязаны бороться все, а экономисты – еще и *профессионально*. Поэтому сверхзадача экономистов сегодня – трансформировать **консервативную регенера-**

[12] И. Петров. Демонополизация рынков в процессе воспроизводства экономической безопасности макрорегиона. 08.00.05. Москва, 2006. Академия управления МВД России.

[13] Приведу только один пример – вот сейчас приняты четыре приоритетных национальных проекта. И вот, вместо того, чтобы попросить экономистов разработать универсальный экономический механизм их реализации – через создание и поощрение профильных корпоративных бизнес-структур, – один высокопоставленный человек мечется по стране, пытаясь лично сдвинуть эти проекты, проверяя то какую-то больницу, то какой-то вуз, то – не исчезли ли выделенные деньги, а вся страна сопровождает его телевизионными взглядами. Неужели не ясно, что административный подход неэффективен? Или – возьмите непрозрачность отечественного бизнеса: таинственность и загадочность предпринимательской деятельности по-прежнему остаются национальной особенностью российского рынка. Можно купить нефтяную компанию стоимостью в миллиарды долларов, и никто не знает, кто покупатель. Эта непрозрачность – также во многом результат бюрократизации бизнеса, так как чиновник не заинтересован, чтобы знали о его бизнесе. По оценке И. Беляевой (Финансовая академия при правительстве РФ), в структуре российских инвестиций доля заимствования на фондовом рынке составляет всего 10-15 процентов. Это значит, что российский фондовый рынок не несет никакой информации о том, что реально происходит в российской экономике и не реализует свою главную функцию – оперативный межотраслевой перелив капитала. Более того, посредством превращения конкурсов и тендеров в инструмент коррупционного давления на бизнес, при отсутствии нормально функционирующего фондового рынка и при высокой степени монополизации производства идет процесс слияния и поглощения предприятий. Интересно, что там, где ей это выгодно, бюрократия только пожурит – за злонамеренную непрозрачность бизнеса, то есть за искажение отчетности, у нас с виновных взыщут от 20 до 50 тысяч рублей, а в США штраф – в 5 миллионов долларов и до 20 лет тюрьмы.

цию неэффективной экономической системы (непременно чреватую, при её затянутости, экономической дегенерацией) **в прогрессивную экономическую регенерацию.**

Если удастся это сделать, то мы получим *экономический* рост, а с ним – и рост *производственный*.

А если не удастся, – значит… Даже думать не хочется, что это значит…

Преодоление консервативной и выход на прогрессивную регенерацию экономической системы становится главным теоретическим и практическим направлением современной российской экономической науки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ЗЕРКАЛЕ ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА, ИЛИ ПОЧЕМУ ЗЕРКАЛО РИСУЕТ НАС

И.В. Николаев
Южный федеральный университет

В начале XXI века мировое сообщество в очередной раз столкнулось с явлением глобального экономического кризиса, угрожающего разрушить всю мировую экономическую систему. Экономический кризис затрагивает материальное состояние общества, ограничивая возможность индивидов удовлетворять свои потребности. Это могут быть, в соответствии с пирамидой потребностей А. Маслоу, базовые потребности у низших слоев населения, или потребности в уважении и самореализации у элит. Такая тенденция вызывает ответную реакцию, выражаемую в нарастании в обществе конфликтогенности, усилении негативного отношения к власти и бизнес-сообществам, от которых существенно зависит экономическая ситуация в стране. В первую очередь, настроения общества отображаются в публичном экономическом дискурсе, ассоциированными акторами которого являются все, кто говорит об экономическом кризисе, находясь в реальной или виртуальной группе. Эта работа раскрывает проблемы соотношения публичного экономического дискурса и реальности. Основным предметом является рассмотрение дискурса как индикатора экономического кризиса, а также то, какова роль дискурса в его конструировании.

В качестве объекта исследования предлагается подструктура публичного экономического дискурса – экономический интернет-дискурс. Учитывая сомнительную репрезентативность такого объекта, имеющего ограниченную (хоть и размытую, не обладающую четкими границами) аудиторию, отметим, что выводы, полученные в этом исследовании, не могут быть исключительно достоверными. Однако количество пользователей интернета позволяет нам предполагать возможность экстраполяции результатов на все российское общество[1]. Так, по данным ВЦИОМ, в России на ноябрь 2008 года ежедневно пользуются сетью 11 % населения, а в целом обращаются к интернету с разной частотой – 35 % [7].

[1] Следует отметить, что в данной работе под «российским сегментом интернета» подразумевается русскоговорящее пространство сети, так как оно находится в неограниченном доступе для российских пользователей и в значительной степени выполняет те же функции, что и внутрироссийское.

Симптоматично, что интернет имеет двоякое предназначение. С одной стороны, он является средством массовой информации, с другой – площадкой для межличностной коммуникации. В итоге: в отличие от СМИ, Интернет не имеет четко определенных авторов, объединенных корпоративными целями; смещает поляризацию адресант/адресат. Важно так же, что масштаб сети не позволяет выработать эффективных методов контроля над ней. Однако интернет является источником информации, позволяет отслеживать события в реальном времени, а также может выступать в качестве средства манипуляции. Таким образом, Интернет – уникальное социальное явление, неоднороден по своему внутреннему содержанию, но выступает целостным феноменом информационного общества. Такие характеристики обусловливают актуальность и целесообразность анализа экономического и политического интернет-дискурса. При этом исследование может проходить в двух плоскостях, в основе которых взята либо доминанта СМИ, либо доминанта пространства межличностной коммуникации.

Приступая к работе, разъясним некоторые специфические черты публичного дискурса и уточним определение терминов. Словосочетание «экономический кризис» здесь не может быть употреблено в полном смысле экономического научного термина. Публичный дискурс – это дискурс профанов, в массе своей не разбирающихся в профессиональных темах. Интерпретация терминов значительно отличается от искомой трактовки экономистов. Кроме того, концепт «экономический кризис» не имеет конкретных эмпирических референтов. Максимально возможное отражение в объектах материального мира (в противоположность миру идей и слов) кризис получает в текстах документов, фиксирующих регрессионные тенденции экономики. Однако эти тексты практически недоступны большинству общества. Причинами тому является, во-первых, ограниченное распространение экономических документов, во-вторых, профессиональный экономический жаргон. Без его понимания невозможно восприятие экономической информации. В то же время освоение экономического языка для большинства населения сопряжено с высокими издержками. Поэтому по аналогии с дискурсом о власти, о котором писал К.Е. Петров [см. 25], публичный экономический кризис наводнен некомпетентными объяснениями и в массе своей неадекватными мнениями, воспринятыми из журналистских публикаций. Для массового сознания граждан экономический кризис абстрактен и неосязаем. Экономический кризис остается вне пространства рефлексии акторов публичного дискурса. А.Б. Борисов определяет термин «экономический кризис» как «резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния населения» [6; с 895].

Необходимо пояснить значение термина «дискурс». В современной научной и публицистической сфере это модное слово употребляется во всех воз-

можных смыслах, в уместном и неуместном контексте. Непосредственно в данной работе рассуждение основано на определении дискурса как видового понятия по отношению к языку, т.е. это часть языка, ориентированная на обсуждение данного участка коммуникации, включающего ситуативный и культурный контекст, создаваемые в данный момент и уже созданные тексты [см 33; с 16]. «Речь, «погруженная в жизнь» [2; с 137], – такой метафорой лаконично определила дискурс Н.Д. Арутюнова. Дискурс – это коммуникативное событие, обладающее исторической (ситуативной) уникальностью, он состоит из реальных, жизненных событий. Таким образом, язык состоит из множества дискурсов, следовательно, справедливо говорить о публичном дискурсе, отражающем экономические процессы.

Далее экономический интернет-дискурс будет рассмотрен с двух позиций. В соответствии с первой – интернет трактуется как пространство межличностной коммуникации. Вторая же видит интернет в качестве средства массовой информации. Соответственно, в первом случаем предметом исследования будут формы отражения экономического кризиса в интернет-дискурсе. Во втором исследовании предмет – дискурсивные способы конструирования экономического кризиса, используемые в интернете как СМИ.

Зеркало отражает…

Дискурс – это динамическая система, именно изменения в семантике, синтактике и прагматике публичного дискурса являются реакцией на события экономического кризиса. «То, как люди видят мир, определяет то, как они о нем говорят, а то, как люди видят мир, определяется их эмоциями. Осмысление любого события, факта начинается с чувствования» [32; с 523]. На психологическом уровне в публичном дискурсе появляется стихийное явление языковых игр – способ выражения недовольства через иронию и сарказм. Он проявляется во включении в коммуникативную сферу неологизмов, псевдопословиц и афоризмов.

Человеческое восприятие мира чрезвычайно избирательно. Повседневные события, повторяющиеся периодически, не становятся коммуникативным поводом. Прежде всего, человек «замечает аномальные явления, поскольку они всегда отделены от среды обитания. Непорядок информативен уже тем, что не сливается с фоном» [1]. Языковая игра – яркий пример аномалии в речи. Своей уникальностью она привлекает внимание, создавая живое коммуникативное события, стимулируя обсуждение. В этом свойстве языковой игры кроется потенциал использования ее в манипулятивных технологиях.

Рассмотрим следующие примеры проявлений языковых игр, появившиеся в Интернете за последние несколько месяцев как реакция на экономический кризис. Так, американская валюта на Интернет-форумах получает такие имена, как «виртуальные бумажки» и «долляр» [24]. А в предложении афористическо-

го характера «Спекули прогнозно вкладываются в товары»[8] автор акцентирует внимание на необоснованном статусе доллара, и соответственно, выражает скептический взгляд на всю мировую экономическую систему, основанную на долларе. Средствами оценки сложившейся ситуации служат такие слова и выражения, как «стабилизец», «Запад краханул сам себя!» [24], «Штатам устроили темную» [8]. Характерным для феномена языковых игр является искажение имен и фамилий политических деятелей. Например, Зюганов, предложивший переход к модели социализма в качестве решения проблем мирового экономического кризиса, получил имя «Зюгавно» [13], то ли в результате опечатки, то ли злого умысла автора.

Отметим, что информацию, получаемую из Интернета, следует подвергать тщательной фильтрации. Так, использование в отношении власти и бизнеса нецензурной лексики, что не редкость в мировой сети, не может считаться проявлением языковых игр. Языковые игры – это латентное сопротивление, недовольство, никогда не институционализируемое, находится на границе нарушения формальных норм языка, однако не выходит за рамки речевой нормы, т.е. допустимой в обществе языковой практики. Нецензурная, нелитературная лексика, в свою очередь, подвергается критике и не допускается в качестве знаковой системы коммуникации. Языковые нормы могут быть внутренними правилами (грамматические) и нормами использования языка в обществе, т.е. этическими. Языковая игра, как правило, нарушает только внутренние нормы, не выходя за рамки этики.

В частности языковые игры находят свое выражение в анекдотах, по которым можно отслеживать реакцию общества на происходящие события. Рассмотрим некоторые из них. Например:

> «Идет Мировой Финансовый кризис, большой такой в слегка помятом фраке, а навстречу ему маленький такой в лаптях русский финансовый кризис...» [28].

Анекдот – это результат индивидуального творчества, вышедший за границы частного дискурса и потерявший связь со своим искомым автором. По мнению одного из ведущих специалистов в политической психологии Ольшанского Д.В., «анекдот спонтанно складывается в массовом обыденном сознании, отражая соответствующее восприятие политики населением» [21; с 22]. Получая распространение, он de facto признается хотя бы частично соответствующим реальности. Известный афоризм гласит: «В каждой шутке есть только доля шутки!». Так и анекдот помещает действительное явление (экономическое или политическое) в нереальную, вымышленную ситуацию, и чем более смехотворна ситуация, тем опаснее анекдот для своего прототипа (власти или финансовых элит). Таким способом общество или отдельные его элементы выражают недовольство, выступая виртуальной оппозицией. Ирония в массовом масштабе – это наивысшая степень проявления обществом скепсиса в отношении к жизни.

Так, например, следующий анекдот семантически и символически нагружен и обращается ко многим явлениям российской политической ментальности:

«После доклада министра финансов Медведев долго сидит один, потом встает, подходит к древней иконе, еще из запасов Ивана Грозного, и говорит:

- Боже, у меня к тебе только одна просьба: сделай как можно быстрее так, чтобы в Америке с этим финансовым кризисом все утряслось!

Внезапно вся комната озаряется ярким светом и сверху раздается Голос:

- Сын мой, выражайся яснее – девять баллов по всей территории и контрольные десять в Вашингтоне тебя устроят?» [28].

Приведенный анекдот признает отсутствие у российских властей иных способов урегулирования кризиса, кроме как обращение к Всевышнему. Неслучайно здесь и упоминание Ивана Грозного, ассоциируемого в России с твердым, жестоким политическим курсом. Сюжетная линия и антитеза вариантов решения проблемы, предложенных «Медведевым» и «Голосом», отражает двойственность российской политики, находящейся в двойной привязке, ситуации double bind [см 26]. С одной стороны, она в экономическом плане заинтересована в завершении кризиса в США, а с другой – закрепощена мифом врага в лице Америки, который остался тяжелым наследием со времен «холодной войны» и до сих пор поддерживается властными кругами российского общества. Примечательно также, что Бог принимает сторону Медведева и готов нанести вред США. Таким приемом высмеивается мессианская идея богоизбранности, господствующая в российском общественном сознании и в формирующейся идеологии.

Политические анекдоты не могут рассматриваться в качестве абсолютно достоверных индикаторов общественного восприятия кризиса. Первоначальный источник анекдота неизвестен, им может быть сторона, заинтересованная в провокации или высмеивании оппонента. По тому же критерию можно усомниться в любом дискурсивном проявлении проблемы.

Одними из таких проявлений являются иронические стихи, которыми пестрит Интернет. Стих – это особый тип художественной речи, организованной в строгий ритмичный порядок. Процесс художественного творчества в самом общем виде есть перевод информации на язык образов и ассоциаций, что в свою очередь упрощает ее, облегчает восприятие и поиск адекватной реакции. Обратимся к примеру:

Снова кризис нас мучит ночами,
Колченогий, лохматый, босой,
С полотняным мешком за плечами
И наточенной остро косой. [3]

В данном отрывке прослеживаются следующие изобразительные средства: персонификация кризиса, который получает возможность действовать как одушевленное существо; наличие негативных эпитетов («колченогий, лохматый, босой»), возникают символы мешка и косы, отрицательно воспринимаемые в данном контексте. Таким образом, основная мысль данного отрывка – показать опасность кризиса. Упрощение сложного для восприятия явления – характерная особенность публичного дискурса. Такие стихи служат цели облегчения понимания экономического кризиса, сводя его до чувственно воспринимаемых элементов.

Такое социальное явление как слухи также может быть реакцией на экономический кризис, а именно на недостаточность информации о нем. Но здесь следует отметить специфику распространения слухов в интернете. Исходя из определения Д.В. Ольшанского, слухи – это «особая, обычно недостоверная информация (…), передающаяся исключительно в устной форме» [21; с 463]. Однако для информационного общества это определение устарело и не отражает существующей ситуации. Интернет-сообщество ограничено в возможности устной речевой деятельности. Пользователям доступен в основном только текстовый формат коммуникации, который, однако, не ограничивает их в процессе распространения слухов. Поэтому считаем правомерным говорить о слухах в интернете.

Слухи как одно из средств массовой коммуникации «служит ориентации в проблемной ситуации, когда нет других источников информации. Слухи оказывают большое влияние на формирование общественного мнения благодаря обсуждению в малых приватных группах» [18]. Интернет дает возможность общения (в том числе конфиденциального) между друзьями, коллегами, в семье, т.е. в малых группах (E-mail, ICQ, ВКонтакте, Одноклассники и др.), что является плодотворной почвой для распространения слухов. Основными причинами слухов являются преднамеренные действия политиков, недостаток точной информации, деятельность СМИ, активность людей по интерпретации событий, недоверие к политикам, напряженная обстановка в стране, неудовлетворенность жизнью [см 23]. Поэтому события экономического кризиса, получившие свое проявление в снижении уровня жизни населения, стали поводом для слухов.

В конце 2008 года были широко распространены общенациональные слухи о грядущем дефолте российской экономики. Бытовала идея о скорой девальвации рубля. Расхожим мнением была мысль о приближающейся деноминации российской национальной валюты, некоторые сайты даже предоставляли варианты внешнего вида будущих российских денег [см 20].

Рассматривая интернет как средство массовой коммуникации, можно наблюдать, что пользователи активно реагируют на события экономического кризиса. При этом их деятельность основывается скорее на психологических аспектах восприятия окружающей информации, чем на рациональных. Так слухи

опираются на самые яркие человеческие чувства радости и страха, которые могут затронуть каждого человека, тем самым стимулируя его на распространение этого слуха. Анекдоты, языковые игры, иронические стихи рождаются из психической сферы ассоциаций и образов. Таким образом, экономический кризис в российском обществе – во многом из-за недостатка точной верифицируемой информации – получает свое проявление в публичном экономическом интернет-дискурсе.

Зеркало рисует…

Рассмотренные до этого явления отображают только одну сторону проблемы взаимосвязи реалий мирового экономического кризиса и публичного дискурса и сводятся к влиянию личности или группы на дискурс путем человеческой познавательной и объяснительной деятельности. Эта плоскость взаимоотношения дискурса и факта находится на поверхности и не заслуживает пристального внимания. Другой аспект проблемы – сфера влияния публичного дискурса на наше понимание фактов. В этом разделе мы рассмотрим противоположные процессы, а именно то, как публичный дискурс конструирует реальность, какими способами и с помощью каких механизмов осуществляется такое влияние. Закономерно, что рассматривать эту проблему нельзя, не касаясь средств массовой информации, которые в современном информационном обществе приобрели значительное влияние на картину мира обывателей. Вначале рассмотрим общие принципы взаимоотношения дискурса и представления людей о реальности.

Использованная в названии метафора зеркала очень удачно символизирует взаимоотношения дискурс/реальность. Зеркало – это не только стеклянная отражающая поверхность, но и важный элемент для самоутверждения и самокритики человека. Смотря на свое отражение, человек соотносит его со стереотипическими представлениями, по принципу: человеку с такой внешностью подходит такой-то тип характера. Впоследствии, исходя из этого суждения, он корректирует свое поведение. Зеркало не только отражает, но и рисует нас, добавляя новые и стирая старые элементы. Таким же образом действует и дискурс. Мы являемся его источником (так же как и изображения в зеркале), но и он, получив собственную жизнь в текстах, поведенческих фреймах, устоявшихся выражениях, неологизмах, ставших нормой, влияет на наши когнитивные способности.

Ракурс первый: стереотипы

Обращаясь к теории языковой относительности Сепира-Уорфа, можно говорить о том, что люди воспринимают лексические единицы не адекватно предметам и явлениям, которые они означают. Дискурс представляется прокусто-

вым ложем нашего сознания, ограничивающим и формирующим его. Б.Л. Уорф утверждал, что существует значительное «влияние языка на различные виды деятельности людей не столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно действующих общих законах и в повседневной оценке им тех или иных явлений» [31]. Существенным оказывается не физическое, реально существующее обстоятельство, а сложившееся языковое представление о конкретных словах и выражениях [2].

В российских реалиях экономического кризиса можно говорить о неадекватной оценке таких экономических понятий, как девальвация и деноминация. Если среди широких масс населения эти термины трактуются только отрицательно, то экономическая теория не так категорична. В сознании людей свежи воспоминания о кризисе 1998 года, оставившем негативное стереотипное представление о девальвации и деноминации. Эти понятия ассоциируются с крахом национальной валюты и экономики, в то время как в экономике эти явления выступают в качестве форм государственных экономических реформ, нацеленных на нормализацию экономической ситуации. При «так называемой открытой девальвации правительство превращает ее в средство укрепления своей валюты путем изъятия из обращения части денежной массы или обмена обесценившихся денег. (…) В условиях обострения борьбы за рынки девальвация используется в интересах поощрения экспорта и сокращения импорта» [27; с 88]. Таким образом, в общественном мнении превалирует представления о возможных рисках проведения девальвации и нивелируется значение ее положительного потенциала. Даже несмотря на доступность в интернете базовых знаний экономики, пользователи редко утруждают себя изучением понятийного аппарата. В итоге виртуальное общение в сети превращается в обмен экономическими стереотипами. Как писал Ч.Х. Кули, наши личные представления – «результат нашего опыта общения со всеми людьми, которых мы знали, и суть лишь особый аспект нашего представления о человечестве» [15, с 95]. Наше мнение не есть плод индивидуальных мыслительных процессов; каждый человек в течение всей своей жизни в той или иной степени занимается повседневным плагиатом, беря на вооружение чужие мнения и принятые трактовки, а это прямой путь к стереотипизации дискурса.

Аналогичные стереотипные представления прослеживаются в суждениях о деноминации. Это понятие определяется как «укрупнение денежной единицы страны без изменения ее наименования, проводимое в целях облегчения денежного обращения и придания большей полноценности деньгам» [27; с 95]. Любое масштабное действие в экономике сопряжено с рисками, однако реформы и активные действия несут с собой и новый толчок развития страны. Можно констатировать, что в российском обществе господствуют стереотипы риска и возможных негативных последствий. Экономические страхи населения можно

[2] Классический пример автора: видя надпись «empty gasoline drums» (пустые бензиновые цистерны), люди ведут себя свободно, курят, не осознавая, что внутри цистерн остаются горючие испарения, еще более взрывоопасные, чем сам бензин [см 31].

подвести к ментальному стереотипу опасности изменений и всего нового, который во многом определяет политическую пассивность российского общества. Отметим, однако, что Интернет остается пока единственной отдушиной для свободомыслящих и активных людей и в отличие от традиционных каналов массовой информации не попал под тотальное влияние государства или других институтов. Аудиторию российского сегмента мировой сети составляют в основном либо люди, по профессиональным обязанностям вынужденные обращаться к интернету, либо представители молодежи – публика традиционно критически настроенная. Поэтому в интернете широко распространены альтернативные (или даже одиозные) взгляды на пути выхода России из экономического кризиса.

Полярность взглядов в свою очередь не есть показатель свободы пользователей от стереотипов. Различия позиций зависит только от выбранной человеком системы стереотипов: он может быть коммунистом и верить в идею справедливого социалистического труда, или либералом – и преклоняться перед идолом конкуренции. В связи с этим У. Липпман писал, что в современном обществе, отличающемся масштабностью, явления, идеи и концепции не могут быть восприняты непосредственно. «Между человеком и его средой располагается некая псевдосреда. Поведение человека является реакцией именно на эту псевдосреду. Последствия этой реакции, собственно действия людей, происходят уже в реальной среде» [17; с 38]. Эту псевдосреду составляют не реальные знания человека о реальности, а представления о ней, то есть те самые стереотипы, которые создают упрощенную модель сложного и многогранного мира. Уже упоминался российский стереотип опасности нововведений. Тесно связано с ним стереотипное представление о том, что все экономические проблемы в стране должны решаться государством. Стремление в момент риска переложить всю ответственность на вышестоящие социальные слои проявляется в отсутствии активной рациональной реакции населения на экономический кризис и в ожидании «указания сверху».

Ракурс второй: метафоры

Стереотипы служат упрощению социально-политической реальности, аналогичную функцию может выполнять и метафора. В частности, «мертвые», общепризнанные метафоры представляют собой готовые клише, имеющие устоявшийся смысл. Например, метафора политического пространства как рынка. Существует общемировая тенденция взаимного переноса образов из экономики в политику и наоборот. Учитывая, что демократия в общественном мнении не мыслится без рыночной экономики, комплекс экономико-политических метафор («политический рынок», «политическая конкуренция», «кредит доверия», «голосовать рублем», «суверенитет потребителя» и др.) служит цели легитимации существования как политического режима, так и экономической си-

стемы. Такие метафоры по своему функциональному наполнению приближаются к стереотипам.

Интернет-дискурс наполнен также устоявшимися метафорами, основанными на пространственных и перцептивных свойствах предмета. К таковым можно причислить «высокий/низкий валютный курс», «жесткая/гибкая экономическая политика», «взлет/падение цен». Такие метафоры М. Осборн относит к архетипичным, среди которых метафоры, обращающиеся к универсальным для любой культуры явлениям. Исследователь так же формулирует законы функционирования и использования архетипичных метафор в сфере политической коммуникации [37; p 116], которые в полной мере справедливы для экономического дискурса. Среди постулатов Осборна следует выделить два, гласящие о тотальном действии архетипичных метафор на общество и о том, что они затрагивают глубинные потребности и мотивации реципиентов, тем самым создавая импульс к активной деятельности. Классическим примером в этом случае будет «ускорение» времен «перестройки», которое служило идеологическим мобилизационным инструментом. Однако эта метафора тиражировалась и выделялась как основная, в то время как основная масса архетипичных метафор остается незамеченной даже коммуникатором.

Архетипичные метафоры закрепились в языке, практически став его нормой. Мы не задумываемся над словами, «выводя из тени» свои доходы или становясь на «путь экономических реформ», а «мочить в сортире», «шакалить у иностранных посольств» или «кошмарить бизнес» вызывает у нас только легкое дуновение мыслительных процессов, кончающееся ассоциациями с личностью авторитета: В.В. Путина и Д.А. Медведева соответственно. Это, в свою очередь, только усиливает свойство метафоры искажать реальность. «Концептуальные метафоры не только конституируют систему понятий человека, но и участвуют в формировании его ценностной системы» [22]. Так метафора «отток капитала» акцентирует внимание на процессе движения финансовых средств в направлении зарубежья. Однако она не конкретизирует, какого характера эти капиталы. Ими могут быть и отмываемые за границей криминальные деньги, и долговые платежи, и плата по торговым договорам с иностранными поставщиками. Эта метафора фиксирует только негативную сторону движения средств, создает неодобрительное отношение к стремлению хранить деньги в иностранных банках и т.п. Несмотря на то, что эта позиция тиражируется в дискурсе власти, с ее стороны мы наблюдаем абсолютно противоположные действия, в первую очередь, речь идет о размещении значительной части стабилизационного фонда в зарубежных активах.

Наряду с устоявшимися метафорами, существуют также неинституализированные. Они новы и только потенциально могут быть взяты в комплекс языковых средств упрощения реальности. Именно их имеет в виду Н.Д. Арутюнова, говоря, что метафора – это «победа над языком» [1]. К примеру, министр финансов России А.Кудрин в интервью телеканалу «Россия» 14 февраля 2009

года сравнил страну во время экономического кризиса с больным человеческим организмом, а антикризисные меры с таблеткой, упоминая при этом, что следует помнить о дозировке [14]. Такие метафоры преодолевают ограничивающие языковые нормы за счет поиска новых комбинаций смыслов лексических единиц.

Самым эффективным институтом по продуцированию и тиражированию политических метафор являются, несомненно, средства массовой информации. Так следующие примеры, принадлежащие перу Т.Канищевой, мы находим в Российской газете от 16 февраля 2009 года [11][3]. Метафора заявлена уже в заглавии: «Восьмерка» замкнулась». Такое выражение не однозначно и заставляет читателя задуматься над содержанием статьи. Метафора мобилизует и акцентирует внимание, т.е. ограничивает восприятия целостного образа мира. В статье используются уже устоявшиеся метафоры: «суд общественности», «ответить кошельком», «войти в кризис / выйти из кризиса». Среди прочего Канищева прибегает к традиционной метафоре огня. Она пишет, что американские антикризисные меры «несколько притушили пожар, но угольки на пепелище продолжают тлеть и готовы разгореться в любой момент» [11]. Такой художественный ход помогает автору упростить экономический язык статьи, приблизить его к обывателю, придать образности.

Примечателен пример, взятый из иронического стихотворения на одном из сайтов Рунета:

«- Что же из этого следует? – Да не вопрос!
И не такое – вы вспомните – переживали.
- Вы полагаете, надо стреляться? – Едва ли,
Я полагаю, что надо забить на психоз» [5].

Налицо перенос понятий двух сюжетов, находящихся в разных плоскостях реальности: самоубийства и экономического кризиса. Беседа двух действующих лиц построена на антитезе оптимизм/пессимизм, а метафора служит здесь только эмоциональной иллюстрацией для придания жизненности тексту, по сути, успокаивающему кризисную истерию.

Существование метафоры в языке, как пишут Дж. Лакофф и М. Джонсон, невозможно без наличия метафорического понятия в сознании. В тоже время «метафорическое понятие может мешать сосредоточиться на других аспектах этого понятия, несовместимых с соответствующей метафорой» [16, с 392]. Поэтому справедливо говорить о конструирующих функциях метафоры, о том, что с ее помощью индивид и общество могут прийти к заблуждению и неадекватно реагировать на реалии окружающей действительности, в частности, на события экономического кризиса.

[3] Несмотря на то, что «Российская газета» – это печатное средство массовой информации, считаем правомерным рассмотрение ее материалов в качестве примера интернет-дискурса, т.к. «Российская газета» имеет официальный сайт, и все публикуемые материалы доступны в электронном виде.

Ракурс третий: символы

Политические метафоры, мифы, даже стереотипы в большинстве своем соотнесены с основополагающим явлением сознания – символом. «К сущности символа относится то, что никогда не является прямой данностью вещи, или действительности, но ее *заданностью,* не самой вещью, или действительностью, как порождением, но ее *порождающим принципом,* не ее предложением, но ее *предположением,* ее полаганием» [19, с 9]. Это определение А.Ф. Лосева отсылает нас к функциям символа, актуальным в контексте рассматриваемой темы. Символ конструирует реальность, при этом он не имеет предельно конкретного смысла, а является неким обобщением. Символ может рассматриваться как знак, но не сводится только к форме номината. Между знаком и означаемым располагается пропасть человеческих представлений – липпмановская «псевдосреда». Однако не все представления символичны. К.Г. Юнг выдвинул следующий критерий: « ... слово и изображение символичны, если они подразумевают нечто большее, чем их очевидное и непосредственное значение. Они имеют более широкий «бессознательный аспект, который всякий раз точно не определен или объяснить его нельзя» [36, с 116-117].

Символ – это синтез объекта реального мира и представлений о нем. Материальный знак актуализирует символ, который несет в себе некоторый иррациональный элемент – эмоционально окрашенные мнения, неадекватные суждения, что позволяет использовать символы в политических целях, в рамках идеологии и пропаганды. Интернет открывает просторы для визуальных символов, которые фиксируются в области бессознательного при многократном повторении. Дисперсное распределение важной с точки зрения манипулятора информации обеспечивает необходимую частотность появления тех или иных образов или сообщений, а также эффект случайно найденной информации. Последний служит для информирования тех, кто целенаправленно не искал таких сообщений, в этом случае визуальные символы акцентируют внимание пользователя, заставляют задержать взгляд. К примеру, в период экономического кризиса огромное значение имеют действия Центрального Банка РФ. Это обусловило и символизацию изображения здания этого учреждения. Не трудно предположить, что деятельность Банка во время кризиса должна быть активной, если не сказать, лихорадочной. Но символ здания ЦБ РФ олицетворяет спокойствие и размеренность: СМИ транслируют только фотографию здания «без признаков жизни». Нет наглядной рабочей обстановки, нет движения у входа, только желтые стены, окна и чистое небо над крышей. Такой явно навязываемый символ имеет целью поддержание статус-кво, недопущение беспокойств и волнений. Таким символическим языком правительство говорит, что все под контролем.

Еще в 1999 году результаты социологического опроса З.В. Сикевич выявили, что современность в сознании россиян представляется временем экономики и свободы [29]. Десять лет спустя ситуация возвращается на круги своя. Кризис вынудил властные элиты и широкую массу аудитории вернуться к активному обсуждению экономических проблем после периода нарастания авторитарных тенденций. В этой связи своевременно рассмотреть вопрос о словах-символах времен правления Путина и Медведева. Путин в самом начале своего президентства заявил курс на стабилизацию. Именно слова «стабильность», «диверсификация», «транспарентность» стали символами первых лет XXI века. «Упорядоченность течения современного бытия воспринимается людьми как нечто само собой разумеющееся лишь благодаря символическому единству среды» [29]. Несмотря на наличие экономических ресурсов, чему способствовала удачная конъюнктура на рынке углеводородов, символы развития, реформ и преобразований не получили значения в дискурсе власти. Не случайно, российское правительство сформировало «стабилизационный фонд», а не «фонд будущих поколений». Приверженность символам стабильности была необходима обществу после «лихих 90-х», но на современном этапе только закрепощает развитие общества. В период экономического кризиса символы стабильности рискуют превратиться в символы стагнации.

Попытки власти ввести в оборот новые символы пока не увенчались успехом. Так, например, словосочетание «антикризисные меры», которое активно внедряется в дискурс власти и СМИ не может стать символичным, так как не подкреплено реальными эффективными действиями, заметными на уровне пользователей интернет-дискурса. Оно семантически пусто. Российские власти ищут пути спрятаться за словами, за формой, не предоставляя обществу содержания своей политики. Обсуждение кризиса сводится к обмену штампами, бессмысленными терминами, не имеющими реального подтекста.

Символы относят реципиента к обобщениям. Так слово-символ «стабильность» подкрепляется множеством идей, стремлений, менее значимых символов и других дискурсивных политических средств. За ним можно узреть и надежность банковских вкладов, и гарантию права на труд и вознаграждение, и перспективу развития. Этот символ выступает как цель, как образ «светлого будущего» и, соответственно, как способ мобилизации и умиротворения. Он отрицает резкие перемены, а следовательно, революции, забастовки, пикеты и прописывает ценность мирной трудовой деятельности. Таким образом, власть через символическую политику создает приемлемую реальность для своего существования. Однако в связи с кризисом символы путинского времени переживают не лучшие времена, их кредит доверия падает, в то время как новые символы еще находятся на стадии формирования.

В контексте экономического кризиса в российском обществе искажено восприятие главного человека-символа – «национального лидера» (в терминах партии власти) В.В. Путина, при этом символ (представление о нем в сознании

общества) более функционален, чем означаемое. Многие российские символы теряют способность выполнять свои функции, реализация которых непосредственно связана с созданием «упорядоченной повседневности» [29], с конструированием мира, окружающего носителей символов. Не умаляя их позитивного влияния (облегчение коммуникации, интеграция, снижение конфликтогенности), можем судить, что символы часто приводят к неадекватному восприятию явлений действительности, и экономического кризиса в том числе.

Ракурс четвертый: мифы

Социальные символы могут стать ресурсами для возникновения мифов. Миф – это во многом развернутый символ, представленный нарративно. «Миф – это коммуникативная система, сообщение, следовательно, миф не может быть вещью, конвентом или идеей, он представляет собой один из способов означивания, миф – это форма» [4, с 72]. Миф – как система зеркал в оптическом микроскопе, с помощью которого мы можем видеть малейшую часть объекта, находящегося под ним, в то же время остальная часть останется необозримой. Так, Г. Шиллер, несколько утрируя понятие мифа, приводит пять мифологических сюжетов, на которых, по его мнению, покоится демократическая политическая система с господством рыночной экономики [34]. Справедливо, на наш взгляд, экстраполировать их на российское общество, так как Россия встала на путь построения демократии. К тому же от «качества» демократии не зависит существование мифов демократии, они сами создают ее или ее видимость. Попытаемся рассмотреть шиллеровскую концепцию на российских случаях.

1. Миф о нейтралитете основных социальных институтов. Российские законы декларируют независимость такого рода институтов; средства массовой информации, в свою очередь, поддерживают дискурс нормативных актов, проводятся независимые экспертизы, расследования и т.п. «Для достижения наибольшего успеха, – пишет Г.Шиллер, – манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно» [34, с 27]. Проводя показную борьбу с коррупцией, высшие эшелоны власти защищают себя от обвинений в преступных корпоративных связях: абсурдно обвинять кого-то в том, против чего он борется. Таким образом, в России искусственно создается представление об отсутствии коррупционных связей власти, в то время как именно они привносят значительный разлад в экономическую систему и в тандеме с резкими потрясениями рынка могут стать поводом к спаду или стагнации развития.
2. Миф о плюрализме средств массовой информации. Несмотря на ничтожное количество общедоступных средств массовой информации в России, этот миф бытует в публичном дискурсе, скрываясь за обвинениями тех или иных агентств в ангажированности.

3. Миф об индивидуализме и личном выборе. Этот тезис Шиллера наиболее противоречив при экстраполяции его на российские реалии. Этот миф активно навязывался элитой в 90-е годы и был воспринят несколько гипертрофированно, что вызвало разгул преступности и аморального поведения. С возникновением курса на «суверенную демократию», предполагающую режим мягкого авторитаризма, стал преобладать миф (способ осмысления) коллективизма. Можно предположить, что мы являемся свидетелями борьбы двух концепций за господство. Логично, что в период экономического кризиса в стране с рыночной системой возобладает миф индивидуализма, т.к. либеральное капиталистическое учение ставит во главу угла активного успешного предпринимателя. Однако история развития рынка «по-русски» показывает, что для России это далеко не правило.

4. Миф о неизменной природе человека. Власти всегда стремятся к упрощенному подходу к гражданину. «Административная система способна представлять существующее социальное сообщество лишь чрезвычайно схематично и упрощенно, а потому вряд ли адекватно» [30, с 44]. Для управляющего аппарата удобно считать шаблонных граждан, а не индивидуальностей, и этот подход навязывается всему обществу, чтобы он выглядел легитимным и общепринятым. Самым ярким примером является стандартизованный набор предметов потребительской корзины, который не предполагает, что разные люди могут нуждаться в абсолютно разных предметах быта.

Другой актуальный пример – восприятие властью общества как механической совокупности пассивных в экономическом плане людей. Такой подход выливается в недопущение к решению проблем экономического кризиса массы активных индивидуальных предпринимателей. Государство должно создавать приемлемые условия существования и развития малого и среднего бизнеса, который в свою очередь мог бы стать стабилизирующим элементом российской экономики.

5. Миф об отсутствии социальных конфликтов. Власти и элитам удобно нивелировать значение противоречий между богатыми и бедными, работающими и безработными, профессионалами и малообразованными. Такая ситуация создает иллюзию внутренней стабильности и планомерного развития. Однако в российском случае миф отсутствия внутренних конфликтов поддерживается пресловутым мифом внешней угрозы, будь то в лице США, мирового терроризма или мирового экономического кризиса. На современном этапе такой способ сохранения статус-кво и направленной мобилизации населения особенно актуален, так как отводит обвинения в неразумной экономической политике от правительства и адресует их заокеанским ипотечным проблемам и происках злонамеренных западных корпораций.

Ключевым для развития российского общества является этатистский миф – восприятие государства как истины в высшей инстанции. Этот феномен проник в ментальные основания сознания россиян, и проявляется в принятии действий го-

сударства в качестве безусловно верных на уровне массового сознания. Однако несмотря на сложность верификации социального мифа, по мнению Э. Кассирера, современный человек «не может полностью отказаться от требований рациональности. Чтобы верить, он должен ощущать какие-то резонные основания для веры» [12]. Миф динамичен и открыт, реформируется вместе с изменениями окружающей среды (общества или политических интересов, которые он защищает). Однако миф содержит инвариантный компонент, без которого вера в него невозможна. Государственнический миф имел за века истории нашей страны различные облики – Московия, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, однако его функциональное наполнение оставалось прежним. При этом даже при наличии нетрадиционных критериев истинности мифа, на каждом этапе эволюции этатистский миф подвергался критике. В современной России это явление ярко проявляется в интернете. При отсутствии равноправной дискуссии в средствах массовой информации интернет наполнен скептическими мнениями о роли государства в развитии общества. Не большой по количеству российский сегмент сети составляют социальные группы, обладающие активной гражданской позицией и скептическим настроем (молодежь, специалисты), что делает интернет полем критики государства. Качественные характеристики российского интернета позволяют считать его единственным общедоступным каналом альтернативной информации и негосударственных взглядов на экономические процессы.

Во время экономического кризиса актуализируются пропитанные идеологией мифы об устройстве экономической системы. В частности либерально мыслящая часть интернет-аудитории обсуждает возвращение к классическому рынку как способ выхода из кризиса. При этом рынок выступает уже не как экономическое понятие, характеризующее организацию системы, а как концепт, выражающий скорее видение общественной справедливости, чем экономические позиции. Рынку приписываются исключительно позитивные черты, поэтому он не обсуждается, а уже подразумевается. Рассмотрение рынка некритично, а предполагаемые результаты видятся только в светлых тонах: «Да будет всем щастье!» – как выражаются пользователи. Аналогична ситуация с плановой экономикой для приверженцев левых идей.

Несмотря на наличие критического настроя в интернет-среде, миф не теряет значения в отношении массы населения, основная задача политического мифа, по мнению А.Е. Щербакова, – «предварять и замыкать процесс социальных инноваций, сначала нащупывая почву для назревших изменений, а после появления новых форм – наполняя их образно-символическим содержанием в массовом и индивидуальном сознании» [35]. Действие многих политических мифов в России перманентно и обусловлено историческим развитием. Они служат легитимации нововведений, выступают способом манипуляции сознанием населения, конструирования социальной реальности.

Мифы, метафоры, символы и стереотипы – явления, формирующие наше мировоззрение, наши представления об окружающем нас мире. Отсутствие этих явлений привело бы к невозможности упорядоченного существования человеческого мышления и общества в целом. Создавая дискурсивные рамки, они структурируют мышление, образуют его основу. Не умаляя положительных функций рассмотренных явлений, можем заключить, что они также таят в себе и огромный потенциал для манипуляции. Их участие в конструировании экономического кризиса используется в идеологических и управленческих целях. Для этого мифы, метафоры, символы и стереотипы тиражируются через ангажированные средства массовой информации, в том числе и электронные.

Интернет представляет собой виртуальную версию всей системы коммуникаций в обществе, поэтому непозволительно рассматривать его однобоко. Он включает в себя два ключевых и во многом противопоставленных друг другу сегмента. В первом случае, это пространство межличностного общения с собственным жаргоном, специфическими нормами этики, системой знакового выражения эмоций. Во втором – это массмедийный сегмент, вобравший в себя множество газет, журналов, радиостанций и телеканалов, имеющих свои сайты. Такая ситуация делает интернет сложным, но действенным инструментом влияния на общественное мнение как на индивидуальном уровне, так и на массовом. Несмотря на то, что интернет как целостный институт остается наиболее объективным источником информации об экономическом кризисе, его вклад в искажение его восприятия пользователями существенен, а обращение пользователя к мировой сети представляется посещением комнаты кривых зеркал.

Разбить зеркало? (Вместо заключения)

Зеркало экономического интернет-дискурса показало нам, в какой незначительной степени мы влияем на язык, и в какой коммуникативной ловушке находится большинство «простых» граждан, отрешенных от процесса распределения главного ресурса современности – информации. Взаимоотношения реальности и публичного дискурса в утрированной форме представляют собой замкнутый круг: реальность формирует дискурс, а дискурс конструирует реальность. В таком случае получается, что люди с их сознанием и мышлением – только инструмент ретрансляции этого процесса. Ничтожно воздействие основной массы пользователей языка на реальность, которая создается контекстуально, т.е. сообразно детерминации прошлого, и на дискурс, который закрепощен сам в себе, нормами и практиками речи. С. Жижек писал, что «мы чувствуем себя свободными; потому что нам не хватает самого языка, чтобы артикулировать нашу несвободу» [9, с 9]. Насущным становится вопрос, как вернуть человеку вес в коммуникативном процессе. Как разбить зеркало.

Как показывает история, нельзя что-то разрушить до основания и построить на руинах новое. Так, и дискурс не может быть кардинально рефор-

мирован и перестроен. Главный вопрос не в том, как его разрушить, а в том, как им пользоваться, как лучше смотреть в зеркало. Признавая мощное влияние окружающего мира на мышление человека, нельзя забывать об его индивидуальном характере. Каждый человек может оценивать мир через призму своих субъективных представлений.

Вспомним метафору. Мы являемся источником отражения в зеркале, и мы же являемся источником дискурса. Следовательно, главные проблемы экономического кризиса не недостаток бумажных долларов или трудности биржевых торгов, а человеческие представления о причинах этих проблем. В этой связи возникают две проблемы: кто и как подает нам информацию, и как мы ее воспринимаем.

СМИ имеет колоссальные возможности для манипуляции человеческим сознанием, однако, по мнению Ч.Х.Кули, такое свойство человека, как «внушаемость – это просто отсутствие контроля и организующего действия со стороны сознательной воли. Когда воля не исполняет этих функций должным образом, мысль и действие оказываются разобщенными и разнонаправленными» [15, с 62]. Примечательно, что российское общество обладает высоким критическим потенциалом в отношении власти и бизнеса, что видно из того, как дискурс отражает экономический кризис, но в то же время отсутствуют какие-либо крупные протестные выступления. Российская оппозиция – только на словах как в парламенте, так и за обеденным столом на кухне… У большинства людей отсутствует внутренний стимул к участию в политике, защите своих законных прав, во многом из-за того, что он перебивается другими стимулами, основанными на базовых потребностях. Как в таком случае не быть одураченным масс-медиа и самим языком, как таковым?

Главные принципы суждения о реальности, позволяющие избежать манипулирования нашим сознанием со стороны государства, СМИ или самого дискурса, это контекстуальность и поливариантность. Принимая информацию из многих источников, мы имеем большее число вариантов, более обширный «интерпретативный репертуар» (в терминах Дж. Поттера и М. Уэтерелл). Этот репертуар обеспечивает «ресурсы, которые люди могут использовать для конструирования версий реальности» [10, с 182]. Чем он шире, тем больше возможности выбрать правильное. Рассматривая информацию с учетом контекста, предшествующего ей, мы сокращаем количество таких версий. Чем больше мы будем знать об экономическом кризисе, тем больше мы будем понимать его и соответствующим образом реагировать. Однако находясь в условиях закрепощения в рамках языковых и масс-медийных стандартов мышления, это сложно. «Когда факты находятся вне поля зрения, подлинная информация или правдоподобная ошибка звучат и воспринимаются одинаково» [17, с 217].

Вопрос также в том, нужно ли адекватное видение экономического кризиса большинству людей, которые каждый день сталкиваются со своими насущными проблемами. Мировой экономический кризис мало касается их повсед-

невной жизни, даже если человека уволили, он будет склонен винить работодателя и власти, нежели абстрактный экономический феномен. По данным мартовского опроса ВЦИОМ рост цен и тревожная ситуация в стране мешает быть счастливыми только 1 % россиян [5]. Понимание экономического кризиса требует от человека абстрагироваться от повседневности, отойти от мышления на уровне удовлетворения своих жизненных потребностей. «Без укоренившейся привычки анализировать мнение в процессе разговора, чтения или принятия решений большинство из нас вряд ли почувствуют необходимость более четких представлений, вряд ли заинтересуются ими и, наконец, вряд ли смогут предупредить манипулирование новой техникой политического мышления» [17, с 244]. В плачевной экономической ситуации большинства россиян правда, колющая глаза, кажется непозволительной роскошью и не является чем-то жизненно необходимым. Так, нужна ли людям истина, ведь бить зеркала – плохая примета…

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык // Вопросы языкознания. 1987. № 3.
2. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Советская энциклопедия. 1990.
3. Баранов А. По поводу мирового кризиса и не только // http://www.poezia.ru/article.php?sid=65731
4. Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика: Поэтика. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс. 1989.
5. Болотова О. День смеха в России отменяется // http://dailyonline.ru/m/3400/
6. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир. 2003.
7. Всероссийский Центр Исследования Общественного Мнения – Официальный сайт // http://wciom.ru/novosti/v-centre-vnimanija/publikacija/single/10769.html
8. Глобальная авантюра – Открытый исследовательский и дискуссионный центр. – [Электронный ресурс – http://www.avanturist.org]. – Форум «Мировой экономический кризис» (запись от 3.03.2008) // http://www.avanturist.org/forum/index.php/topic,8.0.html
9. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального. М.: Фонд «Прагматика культуры». 2002.
10. Йоргенсен М.В., Филипс Л.Дж. Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр. 2008.
11. Канищева Т. Восьмерка замкнулась // Российская газета – Центральный выпуск. № 4849. От 16.02.09
12. Кассирер Э. Техника современных политический мифов // http://www.nscs.ru/docs/tezayrys/texnica_sovr_polit_mifov.doc

13. Коммунисты обсудят причины и последствия мирового финансового кризиса (29.11.2008) // Мировой финансовый кризис, экономический кризис 2008 в России. – [Электронный ресурс – http://finansovyi-krizis.ru/]

14. Кудрин А. Интервью телеканалу «Россия» от 14 февраля 2009 г // http://www.vesti.ru/doc.html?id=253574&m=2

15. Кули Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги. 2000.

16. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / Под ред. Н.Д. Арутюновой. М. 1990.

17. Липпман У. Общественное мнение. М: Институт фонда «Общественное мнение». 2004.

18. Ломтева А. Слухи и реклама как двигатель политики // Русский журнал // www.russ.ru/politics/20030123-lom.html

19. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство. 1995.

20. О грядущей деноминации // Живой журнал. – [Электронный ресурс – livejournal.com]. (21.11.2007) // http://gvozdeff.livejournal.com/152725.html

21. Ольшанский Д.В. Политико-психологический словарь. М.: Академический проект. 2002. Екатеринбург: Деловая книга. 2002.

22. Опарина Е.О. Метафора в политическом дискурсе // Политическая наука – 3. Политический дискурс: история и современные исследования. 2002. №3

23. Осипов Г.В. Слухи в обществе: их источник и динамика // http://www.elitarium.ru/2006/09/11/slukhi_v_obshhestve_ikh_istochniki_i_dinamika.html

24. Основная причина мирового кризиса (Статья и комментарии от 22.10.2008) // Зазубрина: Газета ВОО ЗУБР // http://za.zubr.in.ua/2008/10/22/2128/

25. Петров К.Е. Доминирование концептуальной многозначности: «сильное государство» в российском политическом дискурсе // Полис. 2006. № 3.

26. Поцелуев С.П. Double bind, или двойные ловушки политической коммуникации // Полис. 2008. № 1.

27. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 2006.

28. Рынок достиг дна... и начал копать: анекдоты об экономическом кризисе (21.10.2008). – [Электронный ресурс – http://korrespondent.net]. // http://korrespondent.net/strange/621928/print

29. Сикевич З.В. Образ прошлого и настоящего // Социологические исследования. 1999. № 1.

30. Скотт Дж. Благими намерениями государства. Почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни. М.: Университетская книга. 2005.

31. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку. // http://www.philology.ru/linguistics1/whorf-60.htm#1

32. Шаховский В.И. Социальная интеракция власти и народа через языковую игру // Язык и действительность / Под ред. Тер-Миносовой С.Г. М.: URSS. 2007.

33. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис». 2004.

34. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980

35. Щербаков А.Е. Место мифа в политической идеологии // Полис. 2003. № 4.

36. Юнг К.Г. Подход к бессознательному // Человек и его символы / Под ред. К.Г. Юнга. СПб.: БСК. 1996.

37. OSBORN, M. Archetypal Metaphor in Rhetoric: The Light-Dark Family. In Quarterly Journal of Speech, 1967, Vol. 53

Национальный и региональный контекст

АРИЙЦЫ ИЛИ ТЮРКИ? БОРЬБА ЗА ПРЕДКОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ[1]

В.А. Шнирельман
Институт антропологии и этнографии РАН

Советское учение об этногенезе, говорящее о сложном формировании народов, позволяло включать в число их древних предков самые разные группы населения. Это открывает интеллектуалам тюркского происхождения возможность приобщиться к «арийскому наследию» ираноязычных кочевников раннего железного века. Однако за этим стоят разные мотивации, что ведет к разному пониманию сути «арийства».

Для туркмен, казахов и узбеков обретение арийского прошлого означает, прежде всего, утверждение своего статуса как «коренного народа» и, следовательно, легитимизирует их право на строительство своего государства на территории, представляющейся «древней прародиной». Кроме того, «арийское родство» предоставляет тюркским народам почетное место в древней истории и уравнивает их с европейцами, помогая освободиться от комплекса ущербности. В частности, это открывает возможность приобщения через арийцев к славе древних цивилизаций. Ценным представляется и воинственный дух арийцев, прививающий людям чувство патриотизма и готовность защищать родину от внешних врагов. Большое значение придается и высоким моральным идеалам арийцев, их «духовной чистоте». Наконец, новые государства Центральной Азии нуждались в образе единых древних предков для консолидации нации и преодоления трибализма и регионализма, бросающих ей серьезный вызов[2]. В таком контексте «арийцы» получают высокий авторитет как успешные создатели государственности, и в этом их потомкам предлагается на них равняться.

[1] Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда в рамках проекта 09-01-00078а “Арийская идея в современном мире”. Краткий вариант этой статьи опубликован в журнале Неприкосновенный запас, 2009, 4(66).

[2] См., напр.: Джандильдин Н. Единство интернационального и национального в психологии советского народа. Алма-Ата: Казахстан, 1989. С. 102-111; Джикиев А. Очерки происхождения и формирования туркменского народа в эпоху средневековья. Ашхабад: Туркменистан, 1991. С. 5-6; Абдуразаков И. Киргизы: об их судьбах // Слово Кыргызстана, 8 мая 1993. С. 7; Дононбаев А. Трайбализм: между тенью и светом // Слово Кыргызстана, 29 апреля 1995. С. 6; Курманов З. Трайбализм 20-х и 90-х: шаг вперед и два шага назад // Res Publica, 25 апреля 1995.

Однако у туркменских, казахских и узбекских авторов, а также политических лидеров нет единства в трактовке образа древних местных кочевников в качестве своих отдаленных предков. Некоторые, следуя советской ортодоксии, пишут о сложном процессе смешения изначально ираноязычных племен с пришлыми тюрками, и в этом контексте «арийцы» рассматриваются в одном ряду с другими предками. Другие утверждают, что еще в глубокой древности среди местных племен были как ирано-, так и тюркоязычные. Третьи превозносят «арийство» своих предков и изображают тюрков кровожадными захватчиками. Четвертые, признавая «арийство» предков, приписывают им изначальное тюркоязычие. Пятые доказывают, что тюркоязычные группы жили в Средней Азии еще в бронзовом веке, а ираноязычные кочевники пришли позднее. Кроме того, у отдельных авторов наблюдается сдвиг от концепции «смешения» к представлению о лингвистической или соматической «чистоте» предков и прямой преемственности между ними и их современными потомками. Этот сдвиг совпадает с эпохой становления местных постсоветских государств.

Иногда новый взгляд на предков представляется борьбой с «европоцентризмом» и «колониальными взглядами» на древнюю историю местных народов[3]. При этом в работе ряда местных тюркских авторов «европоцентризм» ассоциируется с «панирализмом»[4]. Но, если в советские годы пантюркизм представлялся «восстанием против колониализма»[5], то сегодня к нему обращаются в поисках защиты от глобализации, угрожающей идентичности и самобытности.

Интересно, что язык далеко не всегда оказывается надежным критерием родства, и для многих авторов процесс перехода от ирано- к тюркоязычию нисколько не ставит под сомнение идею непрерывной преемственности. Для некоторых из них кочевой образ жизни и связанная с ним культура кажутся не в пример важнее языка. Но наиболее соблазнительной для многих является биологическая преемственность. В этой связи говорится о едином расовом типе, объединяющем предков с потомками (туркмены), или о «родстве по крови», если в течение тысячелетий физический тип претерпевал существенные изменения (казахи). В любом случае такая идея предков ведет к возрождению расовой теории, в рамках которой «кровь» объединяется с «культурой».

Туркменистан

Туркменский художник Сулий Яранов еще в 1980-х гг. пытался представить арийцев едва ли не главными предками туркмен. Любопытно, что тогда он противопоставлял арийцев тюркам, отвергал пантюркизм и обвинял огузов в

[3] См., напр.: Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан // Казахстанская Правда, 30 июня 1995. С. 1-2; История Казахстана с древнейших времен до наших дней в четырех томах. Т.1. Казахстан от эпохи палеолита до позднего средневековья. Алматы, 1996. С.8; Закиев М. З. Тюрки-татар этногенезы. Казань, Москва: Инсан, 1998 (татар. яз.)

[4] Аскаров А. Арийская проблема: новые подходы и взгляды // История Узбекистана в археологических и письменных источниках / под ред. А. А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91.

[5] Diat F. Olzhas Sulejmenov: «Az i Ja» // Central Asian Survey, 1984. Vol. 3, No. 1. P. 101-121.

разгроме Арии, «древнейшей страны мира»[6]. Он прославлял арийцев как создателей ранних цивилизаций, и его кисти принадлежит «Портрет арийки», изображающий молодую туркменку в традиционном наряде[7].

Туркменские ученые вели себя более осмотрительно. Признавая определенное участие древних ариев в формировании туркменского народа, они были несклонны преувеличивать их роль и избегали прославления «арийской расы», видя в этом определенную опасность[8]. Зато пантюркизм казался некоторым из них вполне уместным, и они делали все для его возрождения.

В конце 1980-х гг. туркменский историк, публицист и кинодраматург Марат Дурдыев издал популярную брошюру о происхождении туркменского народа. Придерживаясь ортодоксальной советской схемы, он рисовал сложную картину формирования туркмен на основе взаимодействия как разнообразных местных, так и пришлых групп населения[9]. Особенностью его брошюры было то, что он, во-первых, отводил расовому типу туркмен роль основополагающего признака их общности, доказывающего их автохтонность («могут меняться язык, культура того или иного народа, но он остается именно этим народом, если не меняется его расовый тип»[10]), во-вторых, уделял особое внимание древним местным предкам, говорившим на иранских языках, и, наконец, в-третьих, настаивал на ошибочности увязки предков туркмен исключительно с кочевым миром, ибо древнейшее местное население было создателем земледельческой цивилизации. Иными словами, предков туркмен следовало искать как среди кочевников, так и среди земледельцев. Языковая принадлежность не имела для Дурдыева особой ценности, и его ничуть не смущал факт тюркизации местного ираноязычного населения. Главными источниками о происхождении туркмен ему служили не фольклор и лингвистика, а археология и физическая антропология. Они убеждали его в том, что древние восточно-иранские племена, обитавшие когда-то на территории Туркменистана, составили «этногенетическое ядро» туркменского народа. Эта схема полностью сохранилась в расширенном переиздании этой брошюры, вышедшей в 1991 г., где Дурдыев начал доказывать особую связь предков туркмен с древними парфянами[11].

В смягченном виде сходную идею тогда высказывал и туркменский историк А. Джикиев, предполагавший, что среди кочевников раннего железного века встречались не только ираноязычные, но и тюркоязычные племена. Он от-

---

[6] Павлов И. Ария – «Атлантида», затопленная временем? // Комсомолец Туркменистана, 8 февраля 1991. С. 8. Ученые помещают Арию на юго-западе Туркменистана.

[7] Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С. 124.

[8] Юсупов Х. Пыль вокруг Арии // Туркменская искра, 3 апреля 1991. С. 3; Дурдыев М. Б. Туркмены (поиски предков туркменского народа и его исторической прародины). Ашхабад: Харп, 1991. С. 29; Гундогдыев О. А. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998. С. 616.

[9] Дурдыев М. Б. Основные проблемы этногенеза туркменского народа. Ашхабад: Общество «Знание» Туркменской ССР, 1988.

[10] Дурдыев М. Б. Туркмены. С. 15.

[11] Там же. С. 33-34; Дурдыев М., Кадыров Ш. Туркмены мира. Ашхабад: Харп, 1991. С. 6-7.

мечал, что в этногенезе туркменского народа участвовали и те, и другие, и это также позволяло включать парфян в число его предков[12].

Став в 1995 г. заместителем главы Национальной администрации по изучению, защите и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана, Дурдыев издал в главной республиканской газете «Туркменская искра» серию статей, посвященных парфянскому наследию[13]. При этом его вдохновляли многолетние раскопки городища Ниса, первой столицы древней Парфии. Если раньше Дурдыев уделял равное внимание различным предкам (парфянам, аланам, эфталитам, огузам и пр.), то теперь он рисовал именно историю парфян и Парфянского царства как Золотой век туркменского народа, которым тому следовало гордиться. Ведь Парфия была «крупнейшей державой античного мира», веками успешно соперничала с Римом и оказала «громадное влияние на развитие мировой культуры». Парфию Дурдыев представлял исконной страной Авесты и «родиной зороастризма», однако «ариев» он при этом даже не упоминал. Кроме того, хорошо сознавая политическую роль этногенеза, он подчеркивал, что в период возрождения народу нужно четко знать, где именно располагалась его прародина и на какой этнической основе тот вырос[14]. В своих статьях он тщательно обходил вопрос о языке «далеких предков туркменского народа». Зато особое внимание он уделил отделению Парфии от государства Селевкидов и обретению независимости, что, по его словам, было связано с «подъемом парфянского национального сознания»[15]. И современнику трудно было избежать ассоциаций с обретением Туркменистаном независимости в результате распада Советского Союза. Это показывает, как современные события могут влиять на интерпретацию древней истории.

О значении Нисы для туркменской идентичности тогда начали писать и некоторые другие туркменские историки. Но, если в поисках благородных истоков туркменской генеалогии Дурдыев избегал акцента на ее тюркских основах и, вопреки местной фольклорной версии, отказывался связывать ее исключительно с огузами[16], то президент Сапармурат Ниязов вначале делал акцент именно на сельджукских корнях туркменской государственности. В 1998 г. по указанию Ниязова были расформирован Институт истории и ликвидирована Академия Наук. Вместо этого, был создан Институт истории при Кабинете министров Туркменистана, которому Ниязов поручил подготовить двухтомную «Историю туркменского народа»[17]. Тогда же он задумался о создании свода мо-

[12] Джикиев А. Очерки происхождения и формирования туркменского народа в эпоху средневековья. Ашхабад: Туркменистан, 1991. С. 16-46.

[13] Дурдыев М. Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра, 16 января, 30 января, 6 марта, 13 марта, 24 апреля, 15 мая 1995.

[14] Дурдыев М. Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра, 16 января 1995. С. 2.

[15] Дурдыев М. Б. Парфянская Ниса // Туркменская искра, 6 и 13 марта 1995. С. 2.

[16] В начале 2001 г. Дурдыев попал в «черный список» из 19 туркменских писателей, поэтов и историков, якобы неправильно освещавших историю. Их книги подлежали уничтожению. См.: Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. М.: Наталис, 2002. С. 102.

[17] Akbarzadeh Sh. National identity and political legitimacy in Turkmenistan // Nationalities papers, 1999, vol. 27, no. 2. P. 280-281; Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. С. 144-145.

рально-этических заповедей «Рухнаме», который бы восстановил неразрывную связь современных туркмен с их далекими предками[18].

Однако, понимая, что ортодоксальная версия тюркской истории не обладала вожделенной исторической глубиной, туркменские идеологи попытались это исправить. Тут-то им и понадобилось обращение к древнейшим слоям этногенеза. Ставший во второй половине 1990-х гг. советником президента Ниязова, археолог О. А. Гундогдыев, подобно Дурдыеву, включил в число предков туркмен мидян, скифов, саков, массагетов и парфян, однако в отличие от того доказывал, что все они были тюркоязычными. Тем самым, по его словам, туркмены пронесли народное единство и свой язык через тысячелетия[19]. Однако «антропологический (расовый) подход» Дурдыева он не принял, справедливо отметив отсутствие строгих соответствий между физическим типом и языком[20]. Главным слагаемым этногенеза ему служил язык, и, освежив старые построения турецких пантюркистов новыми фантазиями некоторых современников и самостоятельной интерпретацией новейших научных гипотез, он попытался возродить пантюркистскую схему мирового развития[21]. Тем самым, он «восстанавливал справедливость», расчищая место тюркоязычным народам в древнейшей истории человечества, где ортодоксальная наука их не находила. Все это Гундогдыев выдавал за «протоэтногенез туркмен».

Между тем, не полагаясь на местных историков, президент Ниязов решил взять на себя задачу создания величественного национального мифа, привлекательного для туркмен. Итогом стала книга «Рухнама», где туркмены рисовались «древним государствообразующим народом», и среди их древнейших государств назывались знаменитые Маргиана и Парфия[22]. 18 февраля 2001 г. «Рухнама» была принята на X совместном заседании Государственного совета старейшин Туркменистана, Халк Маслахаты (Народного Совета) и общенационального движения «Галкыныш» (Возрождение) в качестве «священной настольной книги народа», и с тех пор ее принялись изучать во всех туркменских школах[23]. Если уже Гундогдыева не устраивала фольклорная версия, изображавшая Огуз-хана предводителем средневековых огузов, и он отождествлял того со знаменитым предводителем гуннов Модэ Шаньюем[24], то «Рухнама» шла много дальше. Там время жизни Огуз-хана было отнесено к рубежу IV-III тыс.

---

[18] Пирмухаммедов Х. Под эгидой Рухнаме // Нейтральный Туркменистан, 2 августа 1999. С. 3.

[19] Гундогдыев О. А. О языке «царских скифов» // «Кайнар» университетінін хабаршысы, 1997, вып. 3. С. 14-22; он же. Прошлое туркмен. М.: Интерстамо, 1998. С. 57-72.

[20] Гундогдыев О. А. Прошлое туркмен. С. 17-20. Впрочем, когда ссылка на физическую антропологию усиливает его идеи, он ею всемерно пользуется. Например, краниологические различия между современными осетинами и аланами дают ему основание отрицать связь предков осетин с аланами. См. там же. С. 64.

[21] Там же. С. 7-56. См. также: Гундогдыев О. А. Тюркские языки – как наследие древнейшей стадии языкового состояния человечества // Мир языков. Ашгабат, 1995. № 4.

[22] Ниязов С. Каждый вправе выбирать свой путь // Независимая газета, 15 февраля 2001. С. 8; он же. Рухнама. Ашхабад: Туркменская гос. изд. служба, 2002. С. 10, 86, 209-210.

[23] Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. С. 80.

[24] Гундогдыев О. А. Великие полководцы средневековья в истории туркмен. Ашхабад: Пресс-вояж, 1996. С. 8-12.

до н. э. Тем самым, туркмены становились подлинными автохтонами и могли претендовать на все местное прошлое, начиная с глубочайшей первобытности. Однако никакого иконографического канона, связанного с образами Огуз-хана и других древних героев, в туркменском искусстве к началу XXI в. так и не сложилось. Некоторые художники наделяли их европеоидными чертами, другие - монголоидными[25]. Это говорит о том, что к единому пониманию образа предков туркменские деятели культуры так и не пришли.

Казахстан

Казахские идеологи также увлекаются тюркизацией древних кочевников. Но такой маневр представляется им важным еще и потому, что, как им кажется, это помогает Казахстану отстоять целостность своих границ от претензий со стороны некоторых влиятельных российских политиков и интеллектуалов. Поэтому еще накануне обретения независимости некоторые из них не только настаивали на тюркоязычии саков, но и опирались на оставленные теми археологические памятники для легитимации Казахстана в его современных границах[26].

Впрочем, стремление наделить древних кочевников тюркским языком появилось у отдельных авторов еще в советские годы. Так, казахский историк М. Б. Ахинжанов в своих многократных попытках защитить докторскую диссертацию не переставал доказывать, что казахский народ складывался исключительно автохтонным путем. При этом он ссылался на то, что на территории Казахстана прослеживались все этапы развития человеческого общества на протяжении последних 80 тыс. лет. В его работе скифы и саки рисовались тюркоязычными племенами, а термин «казах» он находил в китайских хрониках III в. до н. э.[27] Но его мотивы были иными: в советское время акцент на автохтонизме помогал местным авторам избегать опасного для них упрека в пантюркизме. Такой подход опирался на установочную работу С. П. Толстова, написанную в период позднего сталинизма, когда автохтонность имела большое политическое значение[28].

Казахский археолог Р. Б. Исмагилов еще в советские годы начал искать прародину скифов далеко на востоке, обнаруживая там значимые для «арийской прародины» географические ориентиры (море гипербореев, Рифейские

[25] Демидов С. М. Постсоветский Туркменистан. С. 121-123.

[26] Козыбаев М. и др. Реальность. О некоторых «идеях» пересмотра границ республики // Казахстанская правда, 30 июня 1990. С. 2; Романов Ю. И. Исторические аспекты формирования современной территории Казахстана // Казахстанская правда, 4 октября 1990. С. 1, 3.

[27] Ахинжанов М. Б. Этногенез казахского народа // Уч. зап. Казахстанского гос. ун-та, сер. истории, 1958, т. 38, вып. 4. С. 205-206, 215-216, 221; он же. Образование казахской народности. Алма-Ата: КазГУ, 1962. С. 10, 20; он же. Происхождение и формирование казахского народа. Алма-Ата: КазГУ, 1971. С. 5-7, 18-19, 64-67.

[28] Масанов Э. А. Очерк истории изучения казахского народа в СССР. Алма-Ата: Наука Казахской ССР, 1966. С. 311-312.

горы и пр.)[29]. Затем он приписал появление царских скифов в Северном Причерноморье приходу сакских племен из Семиречья[30]. А после распада СССР он стал открыто доказывать, что среди скифского и сакского населения встречались тюркоязычные группы[31].

Иными словами, еще в советские годы у ряда казахских историков и археологов возникло стремление наделять местных кочевников раннего железного века тюркоязычием, что укрепляло идею автохтонного происхождения казахского народа. Но это нисколько не умаляло ценности «арийского наследия», ибо исконными носителями тюркских языков эта версия объявляла именно «арийцев» (скифов, саков).

Идея автохтонизма была положена в основу государственной «Концепции становления исторического сознания в Республике Казахстан», где подчеркивалась прямая преемственность от андроновской культуры бронзового века и саков до современных казахов. По языку все эти обитатели трактовались как «в основном, тюркоязычные»[32]. Этого подхода придерживались авторы многотомной «Истории Казахстана. С древнейших времен до наших дней», выходившей в Казахстане во второй половине 1990-х гг.[33]

Правда, среди казахских авторов нет полного единства. Некоторые хранят верность ортодоксальной концепции умеренного автохтонизма. Они продолжают считать саков ираноязычным населением, но выводят предков казахов из смешения саков с пришлыми тюркскими племенами, утверждая, что культура и традиции при этом мало изменялись. В построениях таких авторов немалую роль играет расовый аргумент, и в формировании народа «раса» (в данном случае южносибирская раса) оказывается важнее языка и культуры. Ведь именно она лучше всего остального подтверждает идею автохтонности[34]. А известный казахский историк М. К. Козыбаев даже приписывал казахам «общеевразийский расовый тип», резервируя за ними почетное место центрального народа Евразии[35]. К другой группе относятся авторы, оставлявшие открытым вопрос о

[29] Исмагилов Р. Б. О некоторых тенденциях развития современной отечественной скифологии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций / под ред. В. М. Масона. Алма-Ата: Наука, 1989. С. 265-283.

[30] Исмагилов Р. Б. Скифо-греческий торговый путь или миграционный маршрут сарматов? // Взаимодействие кочевых и оседлых культур на Великом Шелковом пути / под ред. М. К. Козыбаева. Алма-Ата: Гылым, 1991. С. 32-35.

[31] Исмагилов Р. Б. Таргитай, прародитель скифов // Маргулановские чтения / под ред. В. Ф. Зайберта. Петропавловск: Лаборатория археологических исследований Петропавловского пед. ин-та, 1992. С. 87-89.

[32] Концепция становления исторического сознания в Республике Казахстан // Казахстанская правда, 30 июня 1995. С. 1-2.

[33] Истории Казахстана. С древнейших времен до наших дней в четырех томах. Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до позднего средневековья. Алматы: Атамура, 1996. С. 13, 104.

[34] Масанов Н. Мы – жители степей // Казахстанская правда, 29 сентября 1992. С. 2; Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Алматы: РИК, 1994. С. 22-27; он же. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Издание третье. Алматы: Казакстан, 2002. С. 67-68, 72-83; History of Kazakhstan. Essays. Almaty: Gylym, 1998. P. 45-49.

[35] Козыбаев М. К. Уроки отечественной истории и возрождение казахстанского общества // Столичное обозрение, 10 июля 1998. С. 3.

языке местного населения эпохи раннего железного века. По их словам, «прототюркские языки» начали распространяться в регионе, начиная с рубежа н. э.[36]

Нечеткость такого рода концепций и неоднозначность трактовки скудных источников позволяла некоторым авторам с легкостью переходить из одной группы в другую. Об этом говорит, в частности, двойственная позиция патриарха казахской археологии К. А. Акишева. Еще в конце 1980-х гг. он, с одной стороны, выступал против «вульгарного автохтонизма» и трактовал процесс становления казахского народа как синтез автохтонного индоевропейского населения и пришлого тюрко-монгольского, но, с другой, предполагал наличие «значительного прототюркского компонента в местной этнической среде»[37]. В соответствии с этим сегодня даже президент Н. Назарбаев, чьим советником долгие годы был К. Акишев, не забывает упомянуть о «древних корнях духовности», идущей от «ариев» Синташты и Аркаима[38]. Такая трактовка древней истории уже подхвачена некоторыми авторами казахских учебников, где ранние этапы этногенеза казахского народа представляются следующим образом: «Дух пришлых хуннских народов напластовывается на дух потомков древних ариев в плавильных котлах первых двух хунну-гуннских империй»[39]. Примечательно, что, если сегодня российские археологи изучают курганы пазырыкского времени на Алтае в русле исследования скифской проблемы, то для современных казахских археологов и историков такие изыскания представляются важной частью изучения этногенеза казахского народа[40].

Арийцев и саков причисляет к предкам и казахский историк А. Ш. Кадыров. В его работе именно с ними связаны «славные времена», когда они успешно боролись с персами и дали отпор воинам Александра Македонского[41]. И хотя, как подчеркивает автор, арии и саки относились к европеоидной расе и говорили на иранском языке, именно с них он начинает длительную линию непрерывной эволюции, которая в конечном итоге привела к появлению современных казахов[42].

---

[36] История Казахстана с древнейших времен до наших дней / под ред. М. К. Козыбаева. Алматы: Дэуір, 1993. С. 50-51.

[37] Акишев К. А. Этнокультурная ситуация в древнем Казахстане // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 1988 г.) / под ред. Б. А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 8-9.

[38] Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы: Атамура, 1999. С. 79, 273-274.

[39] Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Издание третье. Алматы: Казакстан, 2002. С.45.

[40] Самашев З. С., Базарбаева Г., Жумобекова Г., Сунгатай С. Berel – Берел (памятники курганы Берела, Казахский Алтай). Алматы: Берел, 2000. С. 52; Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Издание третье. Алматы: Казакстан, 2002. С. 76-77.

[41] Такая версия ранней «борьбы за независимость» неизменно встречается в современных учебниках по истории Казахстана. См.: Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Издание третье. Алматы: Казакстан, 2002. С. 22, 73-74; Артыкбаев Ж. О., Сабданбекова А. А., Абиль Е. А. Рассказы по истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 65-68; Садыков Т. С., Толеубаев А. Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б. С. История древнего Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 64-67.

[42] Кадыров А. Ш. Сакский воин – символ духа предков. Алматы: Казак энциклопедиясы, 1998. С. 5-26.

Сегодня в казахстанских школьных учебниках наблюдается разноголосица. Так, учебник для 5 класса населяет Казахстан эпохи бронзы носителями одновременно и индоиранских (включая ариев), и алтайских языков. В то же время саки называются там «предками казахского народа»[43]. А в учебниках для 10 класса саки то отождествляются с «арийцами» (но об их языке ничего не говорится)[44], то представлены «тюркоязычными племенами»[45].

Крайнюю позицию занимают некоторые самодеятельные казахские авторы, которым отсутствие цеховых ограничений позволяет высказывать самые рискованные гипотезы. Так, увлеченный древней историей инженер-механик Ш. Т. Куанганов изобретает неких древних «аргунов»: якобы они предшествовали гуннам, были «арийцами», но говорили на тюркских языках. Этим «аргунам-арийцам», в число которых он безосновательно включает ряд известных древних народов Передней Азии, он и приписывает великую цивилизационную деятельность[46]. Иными словами, он воспроизводит некоторые идеи пантюркизма, но считает нужным сохранить для далеких предков славное имя «арийцев». Так возникает странный гибрид, сочетающий в себе черты одновременно пантюркизма и «арийской теории», находившихся когда-то в непримиримой вражде.

Еще дальше идет московский политолог казахского происхождения И. Н. Ундасынов. Будучи специалистом по истории международного рабочего движения, он заинтересовался историей казахского народа и при поддержке Московского фонда «Казахская диаспора» выпустил книгу, посвященную предкам казахов в древности и в средние века. Автор подготовил ее как научно-популярный труд, доступный для массового читателя. Он выступал против расизма и шовинизма и объявлял о беспристрастности своего подхода. Древнейший пласт, лежащий в основе казахского народа, он связывал с индоевропейцами, создателями андроновской культуры позднего бронзового века, которых он называл «ариями». Так, в его книге «арии-андроновцы» оказываются отдаленными предками казахов. Он подчеркивает, что «родиной ариев был Казахстан и прилегающие к нему территории», «родиной всех индоиранских народов является Великая степь, а ее центром – степи современного Казахстана»[47]. Сам термин «арья» Ундасынов трактует как самоназвание вначале «крупного этноса», а затем и «суперэтноса» (здесь привлекает внимание заимствование терминологии из теории этногенеза Гумилева). Его восхищает господство арийских племен в евразийских степях в раннем железном веке, причем савроматов, сар-

[43] Артыкбаев Ж. О., Сабданбекова А. А., Абиль Е. А. Рассказы по истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 58, 68, 93-94.

[44] Толеубаев А. Т., Касымбаев Ж. К., Койгелдиев М. К., Калиева Е. Т., Далаева Т. Т. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 26, 51-52.

[45] Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 46-48.

[46] Куанганов Ш. Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: свидетельства, топонимы. Алматы: Білім, 1999.

[47] Ундасынов И. Н. История казахов и их предков. Часть 1. Наши предки. М.: Леном, 2002. С. 14, 26. В описании культуры «ариев-андроновцев» автор руководствуется книгой известного российского археолога Е. Е. Кузьминой. См.: Кузьмина Е. Е. Откуда пришли индоарии? М.: МГП «Калина» ВИНИТИ РАН, 1994.

матов, саков и усуней он безоговорочно включает в состав предков казахского народа. Тем самым, и переворот в военном деле (колесницы, конница, доспехи), и славные завоевательные походы ариев оказываются связанными с предками казахов. Ариев автор называет не иначе как «могучей» и «великой» общностью; в их лице кочевники достигли «зенита своего могущества», создав крупные империи[48].

Обращает на себя внимание и то, что этническую преемственность, идущую от раннего железного века, Ундасынов связывает с хозяйственно-культурным типом и образом жизни. Тот факт, что за последние два тысячелетия здесь сменились язык (с восточно-иранского на тюркский) и физический тип (с европеоидности к смешанному европеоидно-монголоидному типу), его, как и многих других казахских авторов, не смущает. Примечательно, что Ундасынов не только основывал свои построения на советской теории этноса, но шел еще дальше, объявляя этнические противоречия едва ли не движущей силой истории[49]. Так, для объяснения тяги кочевников к завоеванию новых земель он прибегал к социобиологическому аргументу. Речь шла о якобы «заложенном природой в человеческие сообщества (этносы), как и в популяции животных, стремлении к безграничному расширению ареала своего проживания и к занятию высшей ступени в иерархии себе подобных коллективов»[50]. Иными словами, открещиваясь от расизма, автор в конечном итоге искал движущие силы исторического процесса в этнорасовой парадигме.

Впрочем, какие бы суждения ни выносили казахские историки, власти Казахстана сами решили вопрос о предках. По их воле в Алма-Ате на Площади Республики была воздвигнута 30-метровая стела в честь обретения государственного суверенитета. Стелу венчает фигура сакского воина, стоящего на крылатом барсе. Эта фигура воспроизводит образ знаменитого «Золотого человека», найденного археологами еще в советские годы в кургане Иссык. Тем самым, сакам отводится почетная роль первопредков, своими доблестными подвигами положивших начало славному пути, приведшему в конечном итоге к национальной независимости[51]. А в начале июля 2008 г. во время празднования десятилетнего юбилея Астаны в республиканском музее публике демонстрировали золотые украшения саков, представляя тех «древними тюркскими племенами». В итоге история, начавшаяся победой кочевых саков над персами, увенчалась успехом – созданием своей национальной государственности. И не беда, что на это понадобилось 2500 лет. Зато это подчеркивало упорство и целеустремленность предков, заслуживавших безусловного уважения.

Так казахи обретают предков, которыми по праву можно гордиться. Они оказываются, во-первых, местными (выдерживается принцип автохтонизма),

[48] Ундасынов И. Н. История казахов и их предков. С. 84.

[49] Там же. С. 116-117.

[50] Ундасынов И. Н. История казахов и их предков. Часть 2. Кимаки и кыпчаки. М.: Леном, 2003. С. 90.

[51] Всему этому школьников учат, начиная с 5 класса. См.: Артыкбаев Ж. О., Сабданбекова А. А., Абиль Е. А. Рассказы по истории Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 69.

во-вторых, достаточно древними, в-третьих, создателями важных культурных достижений, в-четвертых, успешными защитниками отечества, в-пятых, носителями «европеоидного расового типа». Все это позволяет казахам ассоциировать себя с Европой и динамичным Западом, а не с застойным Востоком. Это, по сути, является реинтерпретацией советского идейного наследия, подчеркивавшего передовой характер советских народов по отношению к «отсталой Азии».

Узбекистан

В советское время в Узбекистане наибольшую популярность получил подход, основывавшийся на междисциплинарных исследованиях советских ученых, исходивших из многокомпонентного состава народов мира. В отношении Средней Азии он говорил о длительном процессе смешения местных аборигенов, носителей восточно-иранских языков, с пришлыми тюркоязычными племенами. Итогом этого процесса, охватывавшего вторую половину I тыс. до н. э. и все I тыс. н. э., и было, по мнению советских авторов, формирование предков узбеков и таджиков[52]. Тем самым, среди предков узбеков назывались племена раннего железного века (саки, массагеты и др.), которые, по мнению большинства специалистов, были связаны с миром иранских кочевников. И это открывало узбекам соблазнительную возможность включать эти племена в свой этногенез, тем самым, во-первых, значительно раздвигая его временные рамки, а во-вторых, приписывая своим непосредственным предкам все культурные достижения этих племен[53].

Как мы уже видели, такую операцию можно было проделывать двумя способами – более осторожно, так или иначе, включая древних ираноязычных кочевников в число своих предков, или более прямолинейно, наделяя их тюркскими языками. В советское время большинство узбекских исследователей шли первым путем. Тогда ведущий узбекский этнограф К. Ш. Шаниязов писал о многокомпонентном составе узбеков, включивших различные этногенетические пласты. Он подчеркивал, что «этническую основу их этногенеза составили древние жители Среднеазиатского междуречья и Хорезма (саки, массагеты, со-

[52] Аскаров А. А. Некоторые аспекты изучения этногенеза и этнической истории узбекского народа // Материалы к этнической истории населения Средней Азии / под ред. В. П. Алексеева. Ташкент: Фан, 1986. С. 7-10; Ходжайов Т. К. Краткие итоги изучения антропологии Средней Азии в связи с проблемами этногенеза узбекского народа // Материалы к этнической истории населения Средней Азии / под ред. В. П. Алексеева. Ташкент: Фан, 1986. С. 93-100.

[53] Этот подход, восходящий к эпохе позднего сталинизма, был разработан С. П. Толстовым, опиравшемся на идеи Марра. См.: Толстов С. П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // Вестник древней истории, 1938, № 1. С. 196-203. Накануне войны А. Ю. Якубовский применил этот подход, создавая схему происхождения узбекского народа. См.: Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. Ташкент: УзФАН, 1941. С тех пор в основе советской версии этногенеза народов Средней Азии лежало положение о том, что «современные таджики и узбеки связаны в прошлом многовековой совместной жизнью, общностью культуры и быта и в известной мере и этнически». А их предков искали среди древнего населения Бактрианы и Согдианы. См.: Монгайт А. Л. Археология в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 272.

гдийцы, хорезмийцы и др.)», смешавшиеся в дальнейшем с пришлыми тюркоязычными племенами[54]. Сомнений в том, что население раннего железного века говорило на восточно-иранских языках, у него не было, причем он придерживался этого мнения и в постсоветские годы[55].

Иным примером может служить статья Б. А. Ахмедова, претендовавшая на обсуждение письменных материалов о предках узбеков. Никакого серьезного анализа источников в ней не содержалось. Зато там приводились пространные цитаты из древних греческих, китайских, арабских и иных документов, говоривших о древних кочевниках и их обычаях. В этой статье древние «туранцы» безоговорочно отождествлялись с тюрками, а повествование начиналось с описания саков и массагетов, которые, тем самым, безо всякого специального обсуждения зачислялись в отдаленные предки узбеков[56].

Более прямолинейным был ревизионистский подход, прямо наделявший древних кочевников тюркским языком. Одним из первых тюркизацией кочевников эпохи раннего железного века занялся узбекский этнограф М. Эрматов. Еще в 1968 г. он решительно отверг идею об «арийской принадлежности» саков и массагетов и начал доказывать, что они были «чужды по крови иранской расе»[57]. Его главные аргументы сводились к тому, что обычаи саков были сходны с обычаями предков узбекского народа. В особенности он подчеркивал, что «сакский народ был смелым, ловким, храбрым, честным и стойким», и это убеждало его в том, что, тем самым, решался вопрос о его этнической принадлежности[58]. Выступая против европоцентризма в виде «колониального господства иранских завоевателей», он воспевал героизм древних коренных жителей Средней Азии и щедро наделял их тюркоязычием[59]. Иными словами, если многие узбекские авторы доказывали, что в культуру узбеков вошло культурное наследие древних ираноязычных кочевников, то Эрматов безоговорочно считал это наследие исключительно тюркским. Затем в середине 1980-х гг. идею о тюрко-

[54] Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. Ташкент: Фан, 1974. С. 9.

[55] Шаниязов К. Ш. К вопросу о тюркоязычных компонентах в сложении узбекской народности // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (20-23 ноября 1988 г.) / под ред. Б. А. Литвинского и др. М.: АН СССР, 1988. С. 124; он же. К вопросу о тюркоязычных компонентах в сложении узбекской народности // Проблемы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии и Казахстана. Вып. 3 / под ред. Б. А. Литвинского и Т. А. Жданко. М.: ИЭА АН СССР, 1991. С. 44-45; он же. Некоторые теоретические вопросы этногенеза узбекского народа // Общественные науки Узбекистана, 1998, № 6 (узб. яз.). С. 33.

[56] Ахмедов Б. А. Значение письменных памятников в изучении этнической истории узбеков // Материалы к этнической истории населения Средней Азии / под ред. В. П. Алексеева.. Ташкент: Фан, 1986. С. 14-30.

[57] Эрматов М. Этногенез и формирование узбекского народа. Ташкент: Узбекистан, 1968. С. 14-15.

[58] Там же. С. 39.

[59] Там же. С. 48-49. Описывая героическую борьбу древних племен Средней Азии с греческими и иранскими «колонизаторами», Эрматов фактически руководствовался высоко политизированными рассуждениями Толстова, но в отличие от того делал автохтонов тюрками. Ср.: Толстов С. П. Основные вопросы древней истории Средней Азии // Вестник древней истории, 1938, № 1. С. 184-186; он же. Древняя культура Узбекистана. Ташкент: УзФАН, 1943. С. 6-18.

язычии скифов и саков поддержал каракалпакский поэт и ученый Д. Айтмуратов[60].

Правда, в советские годы такой подход не приветствовался. В изданном в начале 1990-х гг. под редакцией узбекского археолога, академика А. А. Аскарова, фундаментальном двухтомнике «История народов Узбекистана» формирование узбекского народа также описывалось как слияние отюреченных иранских племен с пришлыми тюрками[61]. Однако под явным влиянием давнего и усиливавшегося в постсоветские годы спора между таджикскими и узбекскими авторами, связанного с этнической интерпретацией древней и средневековой истории, взгляд узбекских специалистов на древних предков стал меняться. Во второй половине 1990-х гг. Аскаров уже утверждал, что тюрки появились на территории Узбекистана в конце эпохи бронзы[62]. Сегодня он готов наделять тюркоязычием создателей андроновской культуры позднего бронзового века, не говоря уже о кочевниках раннего железного века. Правда, он допускает, что среди тех все же встречались и ираноязычные, но, ссылаясь на китайскую мифологическую традицию, древнейших «арийцев» он безоговорочно провозглашает «тюрками». В остальном он следует господствовавшей в советское время теории тюркизации древнего ираноязычного населения и синтеза культур, что и привело к формированию узбекского народа[63]. Тюркизация культуры бронзового века требуется ему для того, чтобы противостоять влиятельной идее об ираноязычии древних племен Средней Азии и Казахстана, которая постоянно используется таджикскими идеологами для антиузбекской пропаганды. Он же со своей стороны доказывает, что, обитая в Средней Азии не менее 3,5 тыс. лет, тюрки являются там тоже «коренным населением».

Похоже, это мнение является официальной точкой зрения Института истории АН Республики Узбекистан, где убеждены в том, что «древнейшие тюрки» жили в Средней Азии еще до «индоарийского завоевания»[64]. Сегодня такие идеи иной раз включаются даже в школьные учебники. Так, в пособии для учителей саки и массагеты представлены предками узбеков. Там же повествуется об их беззаветной борьбе с персами и Александром Македонским, что застав-

---

[60] Айтмуратов Д. Тюркские этнонимы: каракалпак, черные клобуки, черкес, башкурт, кыргыз, уйгур, тюрк, печенег, сак, массагет, скиф. Нукус: Каракалпакстан, 1986. С. 183-198.

[61] История народов Узбекистана. Т. 2 / под ред. А. Аскарова. Ташкент: ФАН, 1993. С. 6.

[62] Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997. С. 98.

[63] Аскаров А. Арийская проблема: новые подходы и взгляды // История Узбекистана в археологических и письменных источниках / под ред. А. А. Анарбаева. Ташкент: ФАН, 2005. С. 81-91; он же. Тюрки – коренные жители Средней Азии (http://www.ariana.su/?S=7.0604050101); он же. Антинаучная позиция панираниста (ответ на статью Р. Масова «Тюркизация арийцев») (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1138149000); он же. Дискуссия по арийской проблеме в ЦентрАзии (второй ответ панираниста) (http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1144357800).

[64] Камолиддин Ш. О понятии этногенеза в «Этническом атласе Узбекистана» // Этнографическое обозрение, 2005, № 1. С. 53-54; Алимова Д. А., Арифханова З. Х., Аширов А. А., Назаров Р. Р. Еще раз о проблемах этнологии в Узбекистане // Этнографическое обозрение, 2006, № 3. С. 112, 114-115. Авторы ссылаются на книгу К. Шаниязова, однако подобного рода утверждений в ней нет, хотя он и предполагал, что какие-то группы тюрков входили в контакт с саками и массагетами. См.: Шаниязов К. Процесс формирования узбекского народа. Ташкент, 2001 (на узб. яз.). С. 8-12.

ляет вспомнить упомянутую выше книгу Эрматова. Религия «Авесты» там тоже приписывается «нашим предкам»[65]. В учебнике для 7 класса к предкам узбекского народа причисляются как местные восточно-иранские группы, включая саков и массагетов, так и пришлые тюрки, но сложение узбекского народа его авторы относят к IX – началу XII в.[66]

Стремление к обретению «арийских предков» встречается и у некоторых интеллектуалов в других регионах Евразии вплоть до того, что даже якутам[67] и бурятам[68] хочется, так или иначе, приобщиться к былому арийскому величию. В этом случае главную роль играли уже не археологические, а генетические аргументы. Ведь во второй половине 1980-х гг. российским генетикам удалось обнаружить сходство некоторых показателей у индоевропейских и тюрко-монгольских народов, и они даже заявили о том, что «арии должны быть субстратной основой якутского этноса»[69].

Борьба между арийским мифом и пантюркизмом

Таким образом, в рассмотренной выше деятельности участвуют не только дилетанты, и среди авторов, идеи которых упоминались выше, немало профессиональных специалистов (историков, археологов, этнологов, филологов). Очевидно, острота споров определялась не только внутринаучными соображениями, и для понимания сути рассматриваемого дискурса нам следует выйти далеко за пределы как тюркского мира, так и «чистой науки».

Совершенно очевидно, что апелляция к «арийским предкам» нужна была тюркской политической элите по ряду причин. Во-первых, это подкрепляло статус «коренного народа» научными аргументами. Такой статус был исключительно важен, ибо с советских времен он прочно связывал этничность с территорией, давал право на территориально-политическую автономию и позволял считаться «титульным народом». Однако бывшим кочевникам, предки которых веками участвовали в самых разнообразных крупных миграциях, гораздо труднее, чем оседлым народам, закрепить за собой территорию со ссылкой на глу-

[65] Аскаров А. История Узбекистана. Ташкент: Узбекистон, 1997. С. 4-6, 85, 98, 107-115. Школьный учебник для 6 класса не идет так далеко, но и там войны с древними персами и греками показаны «борьбой за независимость». См.: Сагдуллаев А. С., Костецкий В. А., Норкулов Н. К. История Узбекистана (с древнейших времен до V века нашей эры). Учебник для учащихся 6 классов. Ташкент: Шарк, 1998 (2-е изд., 2001).

[66] Мухамеджанов А., Усманов К. История Узбекистана (IV – XVI вв.). Ташкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. С. 81-83.

[67] Гоголев А. И. Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и формирования культуры. Автореф. докт. дисс. СПб.: Музей антропологии и этнографии, 1992. С. 10-14; он же. История и духовная культура якутов // Полярная звезда, 1992, № 1. С. 136-140; он же. Отражение древних алтае-индоевропейских связей в культуре и языке якутов // Вопросы истории, 1998, № 11-12. С. 113-118; Винокурова У. А. Сказ о народе Саха. Якутск: Бичик, 1994. С. 30-31; Тумусов Ф. С. Цивилизация Саха: место в мировом сообществе // Тюркский мир, 1998, № 1. С. 12-14.

[68] Джураев П. Буряты – потомки ариев? // Час пик (Улан-Удэ), февраль 1998.

[69] Фефелова В. В., Высоцкая Г. С. Изучение распространения антигенов системы HLA у коренных народностей Сибири как основа анализа этногенеза популяций. Препринт ВЦ СО АН СССР, № 12. Красноярск, 1987. С. 3-11; Дмитриев А. Арийская кровь в сердце Сибири? // Химия и жизнь, 1988, № 8. С. 80-81.

бокие исторические корни. Оставалась одна надежда – обнаружить своих предков среди древнейших обитателей евразийских степей. Но ученые издавна связывают этот древнейший пласт с индоевропейцами, которых одно время (в конце XIX – начале XX вв.) называли также «арийцами». Доказательства ученых сводятся к массе гипотетических суждений, основанных на косвенных свидетельствах, ретроспективных построениях и определенных допущениях. И хотя сегодня такая гипотеза опирается на сильную традицию и представляется наиболее весомой, она все же остается гипотезой, и ее отдельные моменты (скажем, о прародине индоевропейцев и их древнейших миграциях) вызывают споры даже у ее сторонников. Поэтому почему не допустить, что среди древнейшего кочевого или полукочевого населения встречались какие-то тюркоязычные группы? Доказать это невозможно, но ведь невозможно и опровергнуть. Кроме того, специалистам хорошо известно, что, начиная с раннего средневековья, происходила широкая тюркизация ираноязычных кочевников, т. е. бывшие иранцы массами вливались в тюркский массив. Поэтому у современных тюрков имеются все основания утверждать, что среди их древних предков были и «арийцы» (т. е. носители древних иранских языков).

Второй причиной популярности «арийской» идентичности был культурно-исторический смысл, приданный ей колониальной эпохой. Европейская колониальная и шовинистическая литература наделяла «арийцев» высокими боевыми качествами и страстью к завоеваниям, политической волей и способностью создавать государственность, творческой энергией и креативными художественными способностями. Такими предками можно было гордиться и на них стоило равняться. Известно, что период строительства национального государства сопряжен с многочисленными трудностями, для успешного преодоления которых требуется сплочение нации. И, как это давно поняли национальные лидеры и идеологи, такое сплочение нуждается в психологической опоре на привлекательный миф, возбуждающий воображение и создающий приподнятое эмоциональное состояние, волю к победе. Поэтому образ великих предков всегда служил верным помощником самым разным националистам.

В-третьих, образ «арийцев», увязанный с современным Западным миром, позволяет отождествлять себя с современной цивилизацией и дистанцироваться от образа «азиатов», который с советских времен нагружался негативными смыслами («бедные», «грязные», «заразные», «нецивилизованные» и пр.). Примечательно, что это вовсе не мешает тому, что у таких «потомков арийцев» могут встречаться и антизападнические настроения. Ведь образ «арийцев» апеллирует к абстрактному идеалу «цивилизации», тогда как антизападнические настроения нацелены против вполне конкретных черт или политических действий, которые демонстрирует современный Запад. Кроме того, такой образ «арийцев» более всего нужен именно для внутреннего пользования.

Наконец, в-четвертых, образ «арийцев» может использоваться и прагматически для налаживания деловых отношений как с Западом, так и с Россией (или

даже с Ираном). Для этого политическая риторика государственных деятелей и дипломатов может делать отсылку к «общим предкам» или «общим историческим корням», что, как ожидается, способно сблизить партнеров и вызвать расположение у собеседников.

Существенно, что, судя по проведенному обзору, взаимоотношения между «арийцами» и «тюрками» можно представить тремя разными способами. Во-первых, можно отождествить древних предков с «арийцами» и противопоставить их «тюркским захватчикам». В этом случае подчеркивается лингвистический фактор, причем «арийцы» рисуются носителями высшей культуры, а «тюрки» – «чужаками-варварами», разрушителями великих цивилизаций. Такой образ «тюркских варваров» был типичен для «албанской теории» в Азербайджане[70] и разделялся некоторыми интеллектуалами в Туркменистане. В обоих случаях наблюдалось стремление к присвоению политического и культурного наследия древнего оседлого населения (албанов в Азербайджане и арийцев в Туркменистане), чтобы дистанцироваться от образа «варваров».

Во-вторых, можно представить арийцев тюркоязычным населением. Этот прием использовали ревизионисты, пытавшиеся наделить предков «арийской славой», не отказываясь при этом от идеи лингвистической преемственности. Кроме того, в этом следует видеть ответ соседям, которые, гордясь своим «арийством», называли тюрков «варварами». В то же время ко второму подходу обращалось многоэтничное государство, стремящееся интегрировать этнические меньшинства в единое общество (Казахстан с его крупным русским меньшинством и Узбекистан с его таджикским меньшинством).

В-третьих, «арийцев» можно противопоставить «тюркам», но в совершенно ином контексте, где предки изображались «тюрками», постоянно отбивавшими атаки «арийцев». Здесь «арийцы» выглядели жестокими захватчиками, империалистами, колонизаторами и эксплуататорами, что лежало в основе антиколониальной идеологии, сплачивавшей общество. Этот третий подход развивается, в особенности, в Узбекистане, и далее мы увидим, почему.

В то же время не только тюркских авторов привлекал образ «славных арийцев». Ужесточение представления об «арийских» расовых предках происходило в тюркской среде в борьбе с двумя другими концепциями «арийства» - одна развивалась в Таджикистане, другая активно продвигалась некоторыми русскими авторами. Таджики, с большим трудом добившиеся создания своей собственной республики в составе СССР, издавна чувствуют себя обделенными, ибо в ходе произведенного в 1920-х гг. в Туркестане национального размежевания самые густонаселенные и плодородные земли отошли к Узбекистану. В Узбекистане десятилетиями проводилась тюркизация таджиков, а то, что они считали своим историческим наследием, не столько замалчивалось или подвергалось гонениям, сколько присваивалось узбеками. Поэтому сегодня таджик-

[70] Подробнее см.: Шнирельман В. А. Войны памяти. Мифы, идентичность и политика в Закавказье. М.: Академкнига, 2003.

ские интеллектуалы возмущаются посягательствами узбеков на таджикские земли и таджикское культурное наследие. Этому они пытаются противопоставить «арийский дух» таджиков и подчеркивают их принадлежность к «арийской (европеоидной) расе», пытаясь, тем самым, возвести непроходимую стену между собой и узбеками, которых они относят к иной расе. В начале 2000-х гг. эта тенденция была подхвачена властями Таджикистана, попытавшимися сделать «арийство» национальной идеей таджиков. В 2006 г. в Таджикистане торжественно отпраздновали «Год арийской цивилизации», что, по мнению президента Э. Рахмонова, должно было сплотить нацию[71].

Образ «арийцев» как «культурных предков» занял прочное место в новых школьных учебниках по истории, выпущенных в Таджикистане. Там таджики отождествляются с «арийцами», и, хотя Золотой век таджикской государственности увязывается с Саманидами, в учебниках постоянно подчеркиваются неразрывные связи предков таджиков с более ранней персидской цивилизацией (Сасанидами и пр.). Кроме того, корни таджиков ищут в Согдиане. Это древнее государство представляется настолько важным современным властям Таджикистана, что в 1999 г. прежний Ленинабадский район был переименован в Согд[72].

В свою очередь идея о «славяно-арийской цивилизации» пользуется определенной популярностью и в России. Русские радикалы с благодарностью ссылаются на современные научные исследования и отождествляют древних индоевропейцев с «арийцами» и «славянами». Для них это означает легитимизацию права русских владеть всей территорией Евразии, которую эта концепция представляет истинной прародиной[73].

Фактически начало поискам, так называемой, «славяно-арийской цивилизации» положили исследования челябинских археологов, обнаруживших новую категорию памятников среднего бронзового века в лесостепной зоне Южного Урала. Не ограничившись открытием городища Аркаим, они разрекламировали его как едва ли ни древнейший город на Земле, центр «арийской цивилизации», якобы одарившей Евразию «высокой культурой»[74]. Им же Аркаим обязан и другой «новаторской идеей», по которой в этих местах якобы родился или, по меньшей мере, проповедовал пророк Зороастр. Третья идея, за которую также несут ответственность местные археологи, - это отождествление арийцев с предками славян, а тем самым, и русских.

Такая романтическая версия далекого прошлого активно популяризируется массовой литературой и в последние десять-пятнадцать лет проникает в регио-

[71] Laruelle M. The return of the Aryan myth: Tajikistan in search of secularized national ideology // Nationalities papers, 2007, vol. 35, no. 1. P. 51-70. Об инструментальном характере этого празднования говорит то, что после 2006 г. интерес таджикских СМИ к “арийской проблеме” быстро угас.

[72] Blakkisrud H., Nozimova Sh. History writing and nation-building in post-independence Tajikistan. A paper delivered at the 14th Annual Convention of the Association for the Studies of Nationalities, New York, 23-25 April 2009. Также устное сообщение Шахназы Назимовой.

[73] Шнирельман В. А. Второе пришествие арийского мифа // Восток, 1998, № 1. С. 89-107.

[74] Бриль Ю. Г. Открытие Аркаима. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2005. Подробно об этом мифе см.: Шнирельман В. А. Страсти по Аркаиму: арийская идея и национализм // Язык и этнический конфликт / под ред. М. Б. Олкотт и И. Семенова. М.: Центр Карнеги, 2001. С. 58-85.

нальные очерки по истории Урала. В Челябинской области и в Башкортостане посещение Аркаима входит в программу школьных экскурсий. В книгах ряда авторов арии выглядят победоносными завоевателями и культуртрегерами, совершавшими далекие миграции, громившими великие цивилизации и разносившими свои культурные достижения по всей Евразии «от Ближнего Востока до Сибири и Индии»[75]. В то же время, понятие «арийцы» журналисты не объясняют, но из иных публикаций читатель узнает, что от брака индийца и русской непременно родится «чистый ариец»[76]. Из популярных работ остается неясным, является ли Южный Урал «местом зарождения человечества», «белой расы», одних лишь народов России или только «славян и тюрков»[77]. Журналистов такая путаница не смущает, ибо лишь добавляет сенсационности, предлагая версии на любой вкус.

Мало того, дав толчок мифу об Аркаиме, челябинские археологи способствовали расцвету «народной археологии», бросившейся на поиски «древних славян». С тех пор философ В. Н. Демин с легкостью «открыл» на Кольском полуострове «Гиперборейскую цивилизацию», а журналист А. Асов «обнаружил» в предгорьях Эльбруса «древнюю столицу славян», «город Кияра». Свои «достижения» они активно рекламировали в популярных книгах и охотно делились ими с журналистами[78]. Мало того, их «научные подвиги» вызвали цепную реакцию, и на поиски «Гипербореи» отправляются все новые и новые экспедиции. В частности, в этом сомнительном предприятии участвует и Русское географическое общество, причем там этим занимаются вовсе не археологи, а туристы[79].

Но такая «арийская археология» вызывает в тюркском мире негативную реакцию. Это и создает популярность пантюркистской версии древнего прошлого евразийских степей, тюркизирующей древних степных кочевников и их предков, обитавших там в бронзовом и раннем железном веке. В контексте таких взглядов те выглядят уже не «арийцами», а «тюрками». Такие взгляды начали разрабатываться некоторыми учеными тюркского происхождения еще в 1970-1980-х гг., что и вызывало бум пантюркизма в постсоветские десятилетия[80]. Одним из крупнейших авторитетов в этой среде считается татарский лингвист М. З. Закиев. Он еще с 1970-х гг. доказывал не только тюркоязычие всех

[75] Григорьев С. А. Дорогами арийских колесниц // Очерки истории Урала / под ред. Н. А. Миненко и др. Екатеринбург: б. и., 1996. Вып. 2. С. 34-43. Выдержки из этой работы воспроизводятся и в более солидном учебнике по истории Урала. См.: История Урала с древнейших времен до конца XIX в. / под ред. Б. В. Личмана. Екатеринбург: СВ-96, 1998. Кн. 1. С. 52-54. О прославлении «предков-арийцев» см. также: Парфенов С. Загадки Аркаима // Урал, 2005, № 10. С. 214-230; Бриль Ю. Г. Открытие Аркаима.

[76] См., напр.: Писанов В. На пороге сенсации // Труд, 11 февраля 1997. С. 6.

[77] Путенихин В. П. Тайны Аркаима. Наследие древних ариев. Ростов н/Д: Феникс, 2006. С. 15, 37, 42-43.

[78] Об этом см.: Шнирельман В. А. Интеллектуальные лабиринты. Очерки идеологий в современной России. М.: Academia, 2004. С. 207-214.

[79] См., напр.: Золотоносов М. Жизнь пришла с холода // Московские новости, 11-17 февраля 2005. С. 21. В последние годы при Русском географическом обществе был создан «Клуб Гиперборейцев», члены которого занимаются поиском «допотопной цивилизации» на Соловецких островах. Речь, разумеется, снова идет об «арийцах».

[80] Подробно об этом см.: Шнирельман В. А. Войны памяти; он же. Быть аланами. М.: НЛО, 2006.

кочевников раннего железного века (тохаров, скифов, саков, сарматов, алан и пр.), но и вел историю тюркоязычия с эпохи позднего палеолита (20-30 тыс. лет назад)[81]. В частности, и «ариев» он превращал в «тюрков», полагая, что, тем самым, делал большой вклад в борьбу с расовой теорией[82].

Ведущий башкирский археолог Н. А. Мажитов также еще в 1970-х гг. выступал с гипотезой о появлении тюрков на Южном Урале в эпоху раннего железного века[83]. А с начала 1990-х гг. он пытается тюркизировать ранних кочевников (саков и массагетов), обитавших в Казахстане и Средней Азии и приписывает им тюркский язык[84]. Эта версия регулярно фигурирует в написанных им главах школьного учебника по истории Башкортостана. При этом, если в 1991 г. он называл основную часть сако-массагетских племен ираноязычными, предполагая, что среди них встречались и тюркоязычные племена, то, в последующих изданиях учебника уже все саки или их значительная часть стали тюркоязычными[85]. Между тем, никаких новых данных, которые бы позволяли такую реинтерпретацию, не появилось.

В 1960-1970-х гг. казахский филолог А. С. Аманжолов пытался интерпретировать некоторые изображения и знаки на предметах из сакских захоронений как тюркские рунические надписи[86]. Тогда ленинградские эксперты продемонстрировали неточности в прорисовках, приводимых этим автором, и не приняли его интерпретаций[87]. Однако позднее именно на его спорные дешифровки опирались те тюркские авторы, которые доказывали тюркоязычие саков[88].

---

[81] См., напр.: Закиев М. З. Татары: проблемы истории и языка. Казань: ИЯЛИ, 1995. С. 24-31; он же. Происхождение тюрков и татар. М.: ИНСАН, 2003. С. 76-190. Продвигать свои взгляды ему помогало его высокое административное положение: ректор Казанского педагогического института, в 1967-1986 гг., директор Института языка, литературы и истории Казанского научного центра АН СССР и затем РАН в 1986-1996 гг., директор Института языка, литературы и искусства АН РТ в 1996-2000 гг. Кроме того, он был депутатом и затем Председателем Верховного Совета ТАССР в 1980-1990 гг. и академиком-секретарем Отделения гуманитарных наук АН РТ в 1992-2001 гг.

[82] Закиев М. З. Происхождение тюрков и татар. М.: ИНСАН, 2003. С. 54, 95-96, 188, 369-373.

[83] Мажитов Н. А. Тайны древнего Урала. Уфа: Башк. кн. изд., 1973. С. 63-65. В последние 15 лет Мажитов успешно совмещает научную работу с общественной деятельностью и пользуется доверием местной власти. В 1995-2002 гг. он был председателем Всемирного Курултая башкир, а затем стал председателем Ассамблеи народов Башкортостана. В 1992 г. он был избран член-корреспондентом АН РБ.

[84] Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI века. Уфа: Китап, 1994. С. 40-75.

[85] История Башкортостана. Учебник для 8-9 кл. Ч. 1. С древнейших времен до 1917 г. / под ред. И. Г. Акманова. Уфа: Министерство науки, высшей школы и техникумов, 1991. С. 21; История Башкортостана. Учебник для 8-9 кл. Ч. 1. С древнейших времен до 1917 г. / под ред. И. Г. Акманова. Уфа: Китап, 1996. С. 13.

[86] Аманжолов А. С. Древнетюркская руническая надпись из Прииртышья // Народы Азии и Африки, 1965, № 3. С. 150; он же. Руноподобная надпись из сакского захоронения близ Алма-Аты // Вестник АН Казахской ССР, 1971, № 12. С. 64-66.

[87] Грязнов М. П., Кляшторный С. Г. Надпись или олень // Народы Азии и Африки, 1966, № 3. С. 131-133; Лившиц В. А. О происхождении древнетюркской рунической письменности // Советская тюркология, 1978, № 4. С. 84-85; Акишев К. А. Курган Иссык. М.: Искусство, 1978. С. 59-60. См. также: Кызласов И. Л. Материалы к ранней истории тюрков. Древнейшие свидетельства о письменности // Российская археология, 1998, № 1. С. 71-83.

[88] Мажитов Н. А., Султанова А. Н. История Башкортостана с древнейших времен до XVI века. Уфа: Китап, 1994. С. 68; Барманкулов М. К. Тюркская вселенная. Алматы: Білім, 1996. С. 53, 219 сл.; Куанганов Ш. Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: свидетельства, топонимы. Алматы: Білім, 1999. С. 9. Этот сюжет упоминается, хотя и мельком, даже в некоторых вузовских учебниках по истории Казахстана, где со ссылкой на

Самую экстравагантную версию тюркского этногенеза предлагает известный казахский поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов. Он вовсе не претендует на праиндоевропейское прошлое. Оно ему не нужно, ибо древнейшее прошлое тюрков представляется ему гораздо более величественным. По его представлениям, тюрки предшествовали шумерам в Месопотамии и повлияли на их культуру и язык, в частности, снабдив их письменностью. Тюрки имели свою государственность еще три тысячи лет назад и создали древнейшую алфавитную письменность. Кроме того, тюрки повлияли на праиндоевропейцев и даже наравне с предками американских индейцев участвовали в заселении Америки. И у Сулейменова нет ни капли сомнений в том, что скифы были тюрками. При этом ни археологические, ни древние письменные источники ему оказываются не нужными[89].

В учебнике по истории Казахстана для 6 класса Аркаим располагается на границе Казахстана и России и называется «древнейшим городом»[90], а в учебнике для 10 класса он уже помещается на территорию Казахстана[91]. В тюркской среде делаются и попытки его тюркизации[92]. Недавно книга такого рода вышла в Казахстане. Воспевая прототюрков, ее автор приписала им изобретение лука и стрел, доместикацию всех основных домашних животных, изобретение гончарства и металлургии, древнейшее градостроительство, революцию в военном деле, создание «Авесты», введение мировых религий и, прежде всего, христианства. Там даже типичный кельтский крест был представлен как «тенгрианский»[93]. Мало того, настаивая на искусственности конструирования индоевропейской языковой семьи, автор со ссылкой на того же О. Сулейменова пыталась доказать, что тюрки и иранцы (арии) имели общее происхождение, но при этом именно тюрки оказывали культурное влияние на ариев, а не наоборот[94]. В итоге автор заявляла, что тюрки формировались 20-30 тысяч лет назад,

эти дешифровки предполагается, что саки, жившие в восточных и юго-восточных районах, были носителями тюркского языка. См.: Кузембайулы А., Эбил Е. История Республики Казахстан. Астана: Фолиант, 1999. С. 28; Абдакимов А. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней). Учебное пособие. Издание третье. Алматы: Казакстан, 2002. С. 94. А в учебниках для 10 класса все саки на этом основании объявляются «тюркоязычными». См.: Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 33, 84; Толеубаев А. Т., Касымбаев Ж. К., Койгелдиев М. К., Калиева Е. Т., Далаева Т. Т. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 68, 77.

[89] Сулейменов О. Тюрки в доистории (о происхождении древнетюркского письма) // Ас-Алан, 2002, № 3 (8). С. 249-547; он же. Тюрки в доистории. О происхождении древнетюркских языков и письменностей. Алматы: Атамура, 2002. Вслед за Сулейменовым казахский учебник для 10 класса также говорит о близости тюркского языка к шумерскому. См.: Толеубаев А. Т., Касымбаев Ж. К., Койгелдиев М. К., Калиева Е. Т., Далаева Т. Т. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 68.

[90] Садыков Т. С., Толеубаев А. Т., Халидуллин Г., Сарсекеев Б. С. История древнего Казахстана. Алматы: Атамура, 2006. С. 38.

[91] Жолдасбаев С. История Казахстана. Алматы: Мектеп, 2006. С. 66.

[92] См., напр.: Куанганов Ш. Т. «Арий-гун» сквозь века и пространство: свидетельства, топонимы. Алматы: Білім, 1999. С. 45-47.

[93] Нарымбаева А. К. Аркаим – очаг мировой цивилизации, созданный прототюрками. Алматы: б.и., 2007. С. 293-296, 427-429, 449-450.

[94] Там же. С. 303-308.

жили в разных регионах Евразии под разными именами и оказали мощное воздействие на культуру и языки народов индоевропейской семьи[95].

Любопытно, что эта книга была представлена «научным изданием», хотя ни одно научное учреждение Казахстана не осмелилось дать ей свой гриф. Не было у нее и научных рецензентов, но зато издание было профинансировано казахскими бизнесменами. Кроме того, книгу сопровождали рекомендации ряда сотрудников Евразийского национального университета, свидетельствующие о том, что изложенные в ней взгляды пользуются популярностью у части казахской научной элиты.

Иными словами, становление новых государств в Казахстане и Центральной Азии сопровождается стремительным созданием своих национальных мифов, важнейшим компонентом которых служит нарратив о великих предках. Как неоднократно бывало в других регионах мира, такой нарратив выстраивается по привычной колониальной модели, но место главного героя в нем теперь занимает местный титульный народ. Отныне именно его предкам предназначено совершать великие подвиги, создавать выдающиеся культурные достижения и, что немаловажно, оказывать влияние на предков тех, кто доминировал в предшествующую «колониальную» эпоху. Происходит инверсия, означающая символическую победу и обретение права на миф, призванный затмить все более ранние политические мифы. Ему предназначено устыдить прежних «колонизаторов», развенчать приписываемую ими себе «цивилизационную миссию», доказать свое право на свободное политическое и культурное творчество и, тем самым, обосновать свое право на независимое развитие.

Значимым моментом этого переворота является и борьба за престижных предков, среди которых оказываются арийцы. Однако здесь наблюдаются две прямо противоположные стратегии. Одна заставляет объявлять арийцев своими предками и присваивать себе их наследие. Тем самым, арийцы продолжают выполнять свою миссию, но уже не как покорители данного народа, а как его собственные предки. То, что они продолжают осуществлять гегемонию, авторов этой версии не смущает. Так новую жизнь обретает прежняя историческая модель, в которой меняются лишь герои. Другая версия, напротив, отвергает арийское наследие как малоценное, не идущее ни в какое сравнение с достижениями своих собственных предков. В этом контексте не арийцы выполняют роль цивилизаторов, а те, кого прежний колониальный миф изображал покоренными народами. Арийцы теряют свой былой лоск и из доноров превращаются в реципиентов, что теперь уже их самих ставит в зависимое положение. Так «восстанавливается справедливость», и бывший зависимый народ получает психологическое удовлетворение, призванное мобилизовать его силы на строительство своего собственного государства.

[95] Там же. С. 318.

ВОЙНА КАК ТРАДИЦИЯ И ТРАДИЦИИ ВОЙНЫ

М.А. Петров
Южный федеральный университет

В области исследования проблем, связанных с антропологией войны, на наш взгляд в отдельное направление может быть выделено изучение различных сообществ, для которых война представляла собой не экстраординарное, а напротив, вполне будничное, привычное явление. И неважно, идёт ли речь о целых социальных организмах позднепервобытной или переходной стадии (т.н. воинственных народах), военных сословиях Древности и Средневековья или даже профессиональных наёмниках Нового и Новейшего времени. Несмотря на все стадиально и культурно обусловленные различия, в контексте антропологии войны более существенными представляются всё же общие черты.

В частности, давно подмеченным явлением, присущим самым различным воинским сообществам, является формирование специфической культуры войны, особенно стабильной и детализированной в едином этнокультурном/цивилизационном пространстве[1]. И общей тенденцией в генезисе подобного рода культур, на наш взгляд является стремление к максимально возможному упорядочиванию традиций ведения боевых действий, выработка регламентированного гласного или негласного кодекса, направленного в конечном счёте на снижение человеческих потерь. Закономерность подобной тенденции вполне очевидна – там, где война является частым или постоянным явлением, она не может носить ожесточённый и кровопролитный характер, поскольку неизбежно приведёт к быстрому взаимоистреблению конфликтующих сторон. Особенно наглядно эта закономерность проявляется в том случае, когда устанавливается относительный паритет сил противостоящих этносов или воинских сообществ – там, где в силу сложившийся ситуации противник не может быть побеждён «раз и навсегда», а война как таковая приобретает самостоятельную ценность.

Зачастую можно говорить даже о феномене «необходимого противника», наличие которого актуализирует социальные роли воинских сословий в феодальном обществе, способствует социализации юношества и укрепляет тради-

[1] Культура войны в традиционных воинских сообществах безусловно представляет сложное многоплановое явление, рассмотреть все аспекты которого в одной статье нельзя даже конспективно. Поэтому ограничиваясь рассмотрением в настоящей работе только одного вопроса, хочется отметить, что интересующий нас феномен может быть рассмотрен и через призму идеологии войны а так же её этики эстетики.

ционную гендерную структуру в обществах позднепервобытного типа. И естественно, что в такой ситуации наиболее «удобным» является тот противник, который готов следовать привычным правилам и нормам вооруженного конфликта, позволяющим свести к минимуму человеческие жертвы, или по крайней мере сделать сам конфликт более предсказуемым и управляемым.

Вообще фактор дистанции, как социокультурной, так и чисто территориальной, традиционно играл большую роль в развитии описываемого нами феномена в доиндустриальных обществах. Чем территориально ближе, и, следовательно, привычнее был противник, тем менее кровопролитный характер носили регулярные столкновения с ним. Это обуславливалось как отмеченным постоянством конфликта, так и большей социокультурной близостью. И даже, как ни странно, факторами механической солидарности. В обществах с сильно выраженным родоплеменным укладом важным критерием социальной дистанции, влиявшей на характер и интенсивность традиционных конфликтов, была степень генеалогической близости между конфликтующими сторонами [1, с. 85]. Здесь зачастую прослеживается своеобразная иерархия конфликтов. Так, например, у ряда кочевых народов Евразии столкновения между родоплеменными подразделениями качественно отличались от боевых действий между племенами и единицами более высокого уровня. Если в первом случае боевое оружие обычно не использовалось, а вместо него применялись подручные средства вроде арканов, укрюков, берёзовых жердей и т.п., то во втором речь шла о полноценных сражениях, предполагавших человеческие жертвы. Однако в любом случае, как свидетельствуют данные этнографических наблюдений, вне зависимости от характера конфликта, высшим проявлением воинского искусства у евразийских номадов – для которых войны и вооружённые стычки были достаточно частым явлением – было не убийство или даже ранение, а максимально бескровное пленение противника (см. например [2]).

В сословном обществе основным детерминантом правил войны становится уже сословная принадлежность противников. При этом конкретное выражение сословной идентичности в военном конфликте может иметь прямо противоположный характер: от представления о том, что профессиональному воину предпочтительно погибнуть на поле боя (в то время как участвовавшие в сражении невоинские сословия следует щадить, поскольку они не относятся к числу достойных противников), до прямо противоположного представления, когда в отношении своего дружинного или рыцарского сословия предписано следовать строгому кодексу, превращающему сражение в подобие поединка, не несущего серьёзной угрозы для жизни (тогда как в отношении простолюдинов данные правила не действуют). Если первая тенденция более характерна для становящихся сословных обществ, воинский этос в которых формируется на основе варварских традиций, то вторая представляется исторически преобладающей, поскольку присуща сословному строю в его сложившемся, стабильном состоянии.

Многие черты сословного этикета войны проявлялись и тогда, когда военное ремесло переставало быть уделом особых сословий, но при этом сохраняло свой профессионально обособленный характер. Как известно, после окончания эпохи рыцарства в Европе, ему на смену на полях сражений пришли профессиональные наемники, происходившие из самых разных социальных слоев, и не стесненные аристократическими предрассудками. Однако военное дело в эпоху наемничества сохранило свой достаточно замкнутый и в целом корпоративный характер. К тому же, будучи «поденщиками войны», наемники были ещё меньше, чем рыцари, связаны постоянными обязательствами с конкретными государствами и территориями. Поэтому они сумели выработать в своей среде ещё более мелочный кодекс правил, призванный сделать их профессию максимально удобной и снизить риск гибели в ходе военных действий. Данное обстоятельство не укрылось от внимания мыслителей эпохи Возрождения.[2]

Несмотря на то, что рассмотренная тенденция регламентации войны проявляла себя на самых разных этапах человеческой истории, она разумеется не приобрела характер универсального закона. Современному (да и не только современному) человечеству война представляется в совершенно ином свете, иначе написание данной статьи не имело бы смысла. Поэтому стоит отдельно остановится на условиях и обстоятельствах перехода традиций военного конфликта в новое качество, его дерегламентации.

Самой очевидной и универсальной для разных стадий, культур и эпох причиной изменения характера войн в сторону большей жестокости и кровопролитности, является характера и главное масштаба задач, которые стоят перед тем или иным социальным организмом. Когда война из рутинного, не имеющего решающего значения для стабильности той или иной социополитической системы (мир-системы, по терминологии И. Валлерстайна) занятия определённого сообщества превращается в условие её выживания, не важно в краткосрочной или долгосрочной перспективе, резкое отступление от правил становится неизбежным.

Если снова обратиться к примеру кочевых обществ, то следует отметить, что в зависимости от ситуации, межплеменные конфликты могли у них протекать в двух взаимопротивоположных вариантах. Вышеописанный относительно бескровный, «состязательный», типичный для относительно спокойных времён тип, в критических ситуациях, связанных с необходимостью завоевания нового жизненного пространства, инвертировался в истребительный, ведущий к полному или частичному уничтожению целых племён. Причём в случае преодоления некоего условного порога гомицидности, те же самые механизмы которые до этого ограничивали кровопролитие способствовали его усилению. Так, например, у кочевых бедуинов во время набегов за скотом, столкновений из-за пастбищ или спонтанных вспышек межплеменной вражды противники старались

[2] В своем трактате «Государь», открытое негодование по поводу наемнических правил войны открыто выразил классик европейской политической мысли Николо Макиавелли.

избегать не только убийств на поле боя, но и нанесения друг другу серьёзных ранений из-за опасения кровной мести. Однако тот же самый страх перед кровной местью толкал победителей уничтожать всех потенциальных мстителей, в том случае, если конфликт переходил в острую фазу [3 с. 45-46]. Однако в данном случае мы имеем дело лишь с частным отступлением от правил, не менявшим в конечном счёте укоренившиеся традиции конфликта. Акты племенного геноцида чаще всего не влекли за собой эскалации кровопролития, общий характер межплеменных столкновений оставался прежним. Несколько дольше истребительный характер войн сохранялся в случае длительных миграций и завоеваний, но после стабилизации маршрутов перекочевок и племенных территорий ситуация возвращалась в прежнее русло.

Между тем в истории уверенно можно выделить достаточно продолжительные этапы, когда военные конфликты приобретали менее регламентированный и более кровавый характер. Особенно зримо это наблюдается в различные переходные (межстадиальные, формативные) эпохи. Вызвано это было тем, что коренные перемены в экономической сфере требовали новых, гораздо более бескомпромиссных методов борьбы за ресурсы, а для утверждения новых типов социальности нужно было закрепить за ними высшее место в соответствующей иерархии. В том числе и в иерархии конфликтов. Как нередко случалось в истории, та социальная общность ради которой велись самые тотальные и кровопролитные конфликты, в конце концов и закреплялась в общественном мнении в качестве наивысшей.

Современные исследователи, представляющие как марксистскую традицию, так и стоящие на позициях близких к новейшим эволюционистским подходам, давно отказались от примитивной, исторически неадекватной дихотомии, предполагающей наступление цивилизации (вторичной формации) сразу вслед за первобытностью. Исследователи склонны выделять особую переходную стадию, в равной степени сочетающей в себе черты первобытного и классового общества, но не принадлежащего ни к одной из этих стадий[4; 5, с. 52]. Переходный характер этой ступени в значительной степени определял своеобразие многих социальных институтов, в той или иной степени присущих находящимся на ней обществам. Процесс становления качественно новых социально-экономических реалий (который по мнению некоторых исследователей можно охарактеризовать как революционный, несмотря на исключительную продолжительность переходной стадии, особенно в апополитейных обществах [4 с. 314-315]) не только качественно трансформировал основные институты предшествующей эпохи, но и придавал некоторым из них специфический именно для переходного состояния характер. Само собой разумеется, что в наибольшей степени это коснулось тех институтов, которые в силу объективных причин оказались в роли механизмов эволюционных изменений.

В числе одного из главных «рычагов социальной эволюции/революции» по понятным причинам оказалось сфера средств насилия. Переживая сама по себе

глубокую трансформацию, она в то же время выступала в роли эффективного гаранта неизбежности и необратимости изменений в прочих сферах.

В переходную эпоху (в предклассовом обществе) социальные механизмы насилия не только, в соответствии с общеэволюцинными закономерностями усложняются, разделяясь по видам и способам. Значительно возрастает сам уровень насилия, особенно на межсоциорном (по терминологии Ю. И. Семёнова) уровне. В отношениях между различными социальными организмами интенсивность конфликтов возрастает как в количественном (особенно если принимать в расчёт число участников), так и что важнее для нашей темы – в качественном отношении. Если в период классической первобытности в том случае, когда целью межгрупповых столкновений не была кровная месть, убийства врагов во время сражений было явлением относительно редким, то теперь же это становится не только желательным исходом воинского поединка на поле битвы, но и зачастую первоочередной задачей военной кампании.

Многочисленные этнографические наблюдения показывают, что на стадии ранней и классической первобытности, с характерными для нее текучестью и аморфностью общин, а также практически равным доступом, как членов коллектива, так и дружественных чужаков к продуктам охоты и собирательства, межгрупповые конфликты были скорее редкостью, особенно для групп со слабовыраженной территориальностью [6]. Сами конфликты (вопрос о том, можно ли говорить о войнах применительно к общинам численностью в десятки человек остаётся спорным, и большинством специалистов решается отрицательно) имели, как правило, характер «вооружённых драк», когда стороны не ставили целью причинить друг другу какой-либо человеческий ущерб, даже сколько-нибудь серьёзные увечья [7, с. 77-78]. Для того чтобы избежать нежелательного кровопролития, действовал целый ряд запретов и ограничений, также исключительно развиты были примирительные механизмы [7, с. 29-31]. Во многих этнографически исследованных первобытных коллективах агрессивное и конфликтное поведение рассматривалось как асоциальное, и от соответствующих людей старались избавиться всеми возможными способами [7, с. 32-33].

Однако уже на этапе поздней первобытности, когда обостряется межгрупповая борьба за ресурсы в рамках традиционной культуры конфликтов, вызревает более кровопролитная и принципиально нерегламентируемая форма – набеги, внезапные нападения и т.д. В то же время традиционный принцип регламентации формальной, объявленной войны не только сохраняется, но и получает своё дополнительное развитие [1, с. 83-84 и сл.].

Здесь надо специально оговориться, что рассматривая в стадиальном аспекте такой сложный и многоплановый феномен, как эволюция вооруженного конфликта, мы считаем необходимым избегать крайностей вульгарного марксизма и строго привязывать любые изменения к формационному фактору, прежде всего, экономическому базису. Исследования, как наиболее творчески и недогматически мыслящих марксистов, так и современных неоэволюционистов

убедительно показали, что связь между экономическим базисом и общественной надстройкой носит опосредованный характер, особенно если речь идёт о докапиталистических обществах [4], и вследствие этого близкие, почти идентичные экономические условия могут иметь самые разные, иногда прямо противоположные социокультурные последствия [8, с. 75-91, 121-124]. Одна из основных идей настоящей статьи собственно и заключена в том, что изменения в регламентированном характере войны носили не строго линейный, а скорее циклический характер.

Точно так же тенденция на ограничения конфликта формальными рамками, превращение его в подобие турнира, совсем не обязательно исключала параллельное развитие субкультуры конфликтов нерегламентированных и кровопролитных. Это кажущееся противоречие на самом деле может быть легко объяснено. С одной стороны, эскалация межобщинных/межплеменных столкновений, придавала им более ожесточенный характер, но с другой – чем более перманентным становилось состояние войны, тем, как уже отмечалось, большей регламентации она требовала. Можно сказать, что одним из ключевых противоречий переходной послепервобытной стадии было стремление социальных организмов решить проблему нехватки ресурсов через усиление внешнего насилия, и вместе с тем избежать его бесконтрольного обострения. Стоит добавить, что параллельное развитие двух взаимообратных тенденций не могло продолжаться слишком долго, и рано или поздно одна из них должна была взять верх.

И здесь уже определяющим моментом могли выступить не социально-экономические, а более ситуативные внешнеполитические факторы. Влияние последних могло существенно повлиять на особенности социального устройства этносоциального организма. Представляется, что культура войны приобретала наиболее жестокий и гомицидный характер в тех случаях, когда относительная военная слабость окружения того или иного племени с одной стороны обуславливала его военную специализацию, а с другой вела к уменьшению ограничений средств и методов войны.

Яркой иллюстрацией данной закономерности может служить история воинственных яга. Возникнув судя по всему на основе возрастного класса юношей воинов, по каким-то причинам оторвавшегося от своего этнического/племенного массива, они к XVI в. превратились в весьма своеобразный социальный организм, основным занятием которого была грабительская война, сопровождавшаяся разорением захваченных земель и массовым истреблением побеждённого населения [9, с. 69-72]. Судя по всему, довольно долго им сопутствовал успех, поскольку они сумели сокрушить могущественное царство Конго, избежавшее полное уничтожения только благодаря вмешательству португальцев, которым несмотря на качественное превосходство в вооружении с трудом удалось разгромить силы яга. После того, как перманентная агрессия последних

была остановлена, постепенно ушли в прошлое наиболее аномальные черты их культуры включая повышенную воинственность и кровожадность.

С другой стороны, там где исторически сохранялся более или менее устойчивый паритет между различными этносоциальными организмами, там преобладала тенденция регламентированного характера войны. Здесь примером могут служить племена восточноафриканских скотоводов, у которых самыми частыми формами вооружённых конфликтов на протяжении веков являлись взаимные угоны скота [10 с.105-112]. В то же время, при возникновении достаточных предпосылок для политической централизации, та сторона конфликта, которая первой отказывалась от негласных традиций регламентированной войны, оказывалась в наибольшем выигрыше, как это случилось с кланом зулусов, который под началом знаменитого вождя Чаки стал в первой половине XIX в. ядром его «империи» и одновременно формирующегося южноафриканского этноса.

До реформ, произведённых Чакой, война у южнобантуских племён носила регламентированный характер, призванный свести человеческие потери к минимуму. Противники выстраивались в две противостоящие шеренги, и осыпали друг друга дротиками, до тех пор, пока одна из сторон признав свое поражение не покидала поле боя. [11, с.32-33, 54-55].

Благодаря революционным изменениям в вооружении и тактике зулусов, внесённым Чакой, его по началу немногочисленное войско сумело подчинить обширную территорию сопредельных племён, однако этот успех был куплен ценой отступления от традиционных правил войны и возрастания её кровопролитности. Вместо лёгких дротиков, Чака вооружил своих воинов тяжёлыми ассегаями, до этого использовавшимися для охоты на слонов. На смену дистанционному бою пришёл контактный, когда воины Чаки врывались во вражеский строй и производили в нем глубокие опустошения. Фактически, первые успехи зулусов объяснялись тем, что их противники были не готовы к такой войне на истребление. Что характерно, даже в лагере приверженцев, новации зулусского вождя вызвали резкие нарекания этического плана со стороны традиционной знати [11, с. 45, 55, 64-65, 67].

Итак, можно с уверенностью предположить, что отступление от традиционных правил ведения войны общества переходной стадии, для которых война являлась повседневностью и в неё так или иначе было вовлечено всё взрослое мужское население, отступали от традиционных правил ведения войны в том случае, когда возникали необходимые предпосылки для достижения военным путём качественно новых результатов. Когда ситуация стабилизировалась и силы традиционно враждующих сторон уравновешивались, вооружённые конфликты, как правило, принимали более упорядоченный характер, хотя степень их формализованности и соответственно бескровности была всё же ниже, чем в эпоху классической первобытности.

Иные факторы обуславливали дерегламентацию войны в обществах, достигших стадии государственности и цивилизации. Здесь можно выделить следующий комплекс причин. Прежде всего – экономическая цена войны. В ходе вооруженных конфликтов теперь решается вопрос о контроле слишком значительных ресурсов, чтобы свести их к подобию жесткого спортивного поединка. К факторам политического порядка стоит отнести отстранение широких масс народа от власти (исключая античные полисы), означавшее, что интенсивность и кровопролитность войны теперь в наибольшей степени определяются интересами элит, а не рядовых воинов, повинующихся приказам и дисциплине. Демографический и территориальный рост государств означает, что в сражениях теперь принимают участие армии, насчитывающие иногда сотни тысяч человек. Даже достаточно многочисленные людские потери в масштабах обширного государства не означают для него в такой ситуации критической убыли населения, ставящей общество на грань выживания.

К факторам социокультурного порядка стоит, на наш взгляд, отнести превращение состояния войны из нормы в аномалию. Если для варварских обществ между состоянием войны и мира не существовало резкой грани, более того, каждое отдельное племя/вождество постоянно находилось в состоянии войны с кем-либо из соседей, то в сложившихся государствах, значительно продвинувшихся в социальном и культурном отношении, эта грань начинает заметно усиливаться. Соответственно, начинают различаться моральные нормы мирного и военного времени. Жестокость и массовая гибель людей на войне воспринимаются как трагическая неизбежность. Точно так же, поскольку война утрачивает свою «сезонность», и между отдельными вооруженными конфликтами могут лежать достаточно продолжительные и непрогнозируемые временные промежутки, для выработки каких-то даже негласных, «естественных» правил ведения войны не существует достаточных предпосылок. Выход войны за рамки сложившихся культурных и языковых ареалов ещё больше уменьшает шансы на то, что стороны конфликта даже в течение длительного периода окажутся способны выработать некий общий «рыцарский кодекс». Этому препятствуют как этико-мировоззренческие несоответствия, разница в обычаях и традициях, так и неизбежная в подобной ситуации дегуманизация противника.

Возвращение в эпоху европейского Средневековья к традициям регламентированной войны, как нам кажется, лишний раз доказывает, что в определённых исторических обстоятельствах, совокупность факторов политического и социокультурного порядка может нейтрализовать, или, по крайней мере, существенно ограничить действие фактора экономического. Находясь на той же ступени развития производительных сил, что и общества древности, феодальные королевства средневековой Европы, тем не менее, сформировали качественно отличную от них систему социальных институтов. Одним из таких институтов было военно-феодальное сословие – рыцарство, сумевшее выработать свой соб-

ственный кодекс поведения, касавшийся, в том числе, и правил как турнирного, так и боевого поединка.

Впрочем, рыцарство не было абсолютно уникальным явлением, присущим исключительно Европе. Схожие институты появлялись и в различных восточных обществах, переживающих состояние децентрализации и упадка сильной государственной власти. Близким аналогом западноевропейского рыцарства многие авторы называют индийских раджпутов[12]. Сходство последних с представителями европейского военно-феодального сословия заключалось помимо прочего в существовании особых правил чести, распространявшихся, в том числе, и на военные конфликты [12, с. 107-120, 131-134].

Факторы, способствовавшие возвращению к более регламентированному характеру войны в условиях уже развитого классового общества, на наш взгляд, во многом совпадают с факторами, действовавшими на первобытной и предклассовой стадии. Военные столкновения становятся для воинских сословий рыцарского типа такой же частью образа жизни, как и для воинственных племён архаической эпохи. Размер воюющих социальных организмов (суборганизмов) существенно уменьшается, численность сражающихся отрядов сокращается до тысяч, а то и сотен участников.

Специфичным же для эпохи Средневековья было то, что большинство локальных феодальных конфликтов носили сугубо верхушечный характер, и сводились к выяснению вопроса о конкретном лице (или небольшой группе лиц), получающем власть над тем или иным владением. При этом смена конкретного сеньора не влекла за собой сколько-нибудь существенных, качественных изменений в социально-экономическом укладе управляемой им сеньории, равно как и не влияла на общую систему вассально-сюзеренных связей. Сюда стоит добавить и феномен, получивший название «рыцарского космополитизма», когда феодал мог поменять за жизнь нескольких сеньоров и владеть землями в разных государствах. В этой ситуации всякие коалиции и союзы носили для него сугубо временный характер, и вчерашние враги и друзья могли легко поменяться местами.

Разумеется, как и в архаическую эпоху, регламентация войны в Средневековье не носила абсолютного характера. Правила рыцарского благородства, как отмечалось, не распространялись на простонародье, а так же представителей иных религий. К тому же даже в том кругу, на который распространялись правила рыцарского кодекса, их нарушения в реальной жизни были не столь уж редким делом.

По мере становления централизованных государств позднего Средневековья и Нового времени снижалась и степень регламентированности военных конфликтов. Пришедшие на смену рыцарским ополчениям и наёмническим контингентам регулярные армии знаменовали конец сословно-корпоративной монополии военной функции. Становление гражданских наций привело к трансформации феодальной идеологии вассальной верности сеньору, основан-

ной на присяге, которая имела персонализированный и взаимообязывающий характер, в идею патриотического служения родной стране/государству.

Конечно, в эпоху торжества гуманистических ценностей не могло быть и речи об отказе от попыток ввести войну в какие-то упорядоченные рамки. Однако в связи с тем, что она вновь становится для общества в целом аномальным состоянием, резко снижающим в его глазах порог этически допустимого, растет масштаб войн, и вдобавок ко всему, появляется и совершенствуется огнестрельное оружие, так что в эпоху Нового и Новейшего времени кровопролитность войн возрастает на порядок. Вновь зримо проявляет себя и экономическая составляющая. Для складывающейся капиталистической системы вооруженное насилие является одним из наиболее радикальных, но в то же время, как правило, и наиболее эффективных путей к максимизации прибыли. Новый рациональный подход к войне задает этическую отстранённость и стремится перевести все потери, включая человеческие на язык цифр. Тенденция подобной рационализации войны надолго берёт верх над гуманистическими принципами, которые уходят в область деклараций или проявляются ситуативно. Ничего похожего на институт войны, регламентированной или формализованной, внешне напоминающей турнир, новая эпоха уже не знает.

Суммируя сказанное, можно выделить комплекс факторов, способствующих проявлению феномена регламентированной или формализованной войны. Сюда можно отнести, прежде всего, её перманентность и относительно малый масштаб. Если рассматривать социально-экономический аспект, то регламентированная война – это, прежде всего, война обществ, находящихся в стабильном, если не застойном состоянии, для которых отказ от традиционных норм, ограничения гомицида не обещает никаких существенных результатов, сравнимых с рисками. Регламентация вооруженного конфликта нигде и никогда не носила абсолютного характера, уже в первобытную эпоху, когда вооруженные столкновения даже не имели экономической мотивации, отступления от неё постоянно имели место [1]. Однако всё же выделить эпохи и культуры, в которых такой тип боевых действий был преобладающим, или, по меньшей мере, эталонным как мы полагаем всё же можно. Более основательно разобраться в сути проблемы, как мы надеемся, помогут дальнейшие исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шнирельман В.А. У истоков войны и мира // Война и мир в ранней истории человечества М., 1994

2. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII-начале XX века. Алма-Ата, 1971

3. Васильев А.М. История Саудовской Аравии (1745г. – конец XX в.). М., 1999

4. Илюшечкин В.П. Теория стадийного развития общества (история и проблемы) М., 1997

5. Семёнов Ю.И. Переход от первобытного общества к классовому: пути и варианты развития (часть I) // Этнографическое обозрение, 1993, № 1, с. 52-70

6. Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община Л., 1986

7. Казанков А.А. Агрессия в архаических обществах (на примере охотников- собирателей полупустынь). М., 2002

8. Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003

9. Орлова А.С., Львова Э.С. Страницы истории великой саванны. М., 1978

10. Калиновская К.П. Скотоводы Восточной Африки в XIX – XX вв. Хозяйство и социальная организация М., 1989

11. Риттер Э.А.. Зулус Чака. Возвышение зулусской империи М., 1989

12. Успенская Е.Н. Раджпуты: рыцари средневековой Индии СПб., 2000

Научное сообщество

О РЕСУРСЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

В.В. Савчук
Санкт-Петербургский государственный университет

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители?
Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит?
П.Я. Чаадаев

Ресурс как условие

О ресурсе речь заходит тогда, когда нечто осознается как ценность, как запас, как источник. Но такой запас, который может быть исчерпан, а источник — иссякнуть, поскольку ресурсы — и это их основное качество — всегда ограничены. До недавнего времени воздух, леса, вода ресурсом не считались, поскольку казались неисчерпаемыми, всегда подручными и всегда в наличии. В тревоге за будущее *настоящего* возникает речь о ресурсе. О нем речь заходит тогда, когда к настоящим условиям существования применяется линейная логика экстраполяции (подобная той, которой пользовались представители Римского клуба), смысл коей в том, что тенденции настоящего представляются *неизменными* в будущем.

Но что такое ресурс в исторической перспективе? Ресурс (с лат. *resurgere*, «течь», «бить ключом», с франц. *la resource*, «источник», «средство», «запас», сосредоточение) может быть как материальным, так и нематериальным: способность, образование, управление и власть. В случае русской философии, во-первых, нужно еще доказать, что она обладает ресурсом, что ее запас будет востребован, что в наши дни она не окажется ненужной и забытой, как, к примеру, умение запрягать лошадей. Во-вторых, русская философия зеркальна: ее образ отражается в современной и напротив, история зависит от состояния современной аналитической работы, от преемственности тем: нет ресурса — нет современной русской философии. Очевидно, что ресурс определяется из нашего «настоящего» и только он делает это «настоящее» действительным как единство того, что было, что есть, и что будет. Поскольку в годину испытаний (политического, культурного, демографического, финансового и экономического кризиса) интеллектуалы, философы, политологи и прочие эксперты не обращаются

к идеям русских философов, к истории отечественной мысли, постольку мы можем констатировать короткую историческую перспективу мысли, вовлеченность в оценку другого, узкую перспективу говорящего. Таким образом заключаем: симптомом исчерпанности интеллектуального ресурса является его медиальная непредставленность.

Говорить о ресурсе — предсказывать ценность чего-то в будущем, того, что таковым сегодня не считается. Но предсказание не тот жанр, в котором я хотел бы рассматривать эту проблему. Мое нежелание футурологии уже достаточно, чтобы с осторожностью отнестись к котировкам будущего. Предчувствие будущего, которого еще нет, вводит в двоякий соблазн: потворствовать рождению нового, раскрытию простора для становления всеобщего из пока еще отдельного явления или, напротив, организовывать зоны охраны, заповедника и защиты от разрушений. Если ценность природных заповедников, как показывают глобальные процессы, очевидна, то ценность заповедников общественной и философской мысли неочевидна. По меньшей мере, в отношении истории отечественной мысли.

С чем сравнить русскую философию?

Во избежание смешения понятий выделю две позиции: зарубежную и внутреннюю. Для первой русская философия — вся философия на русском языке. Для второй, то есть для внутреннего пользования, мы выделяем понятия «русская философия» (условно до 1922 года) и «современная русская философия» или «современная философия на русском языке», в промежутке которой отдельным эшелоном стоит «советская философия».

Прежде поиска контрагентов русской философии, спросим себя: с чем возможно сравнивать философию в принципе? В ответе на этот вопрос Хайдеггера присутствует высокая мера: «Мы не *сравнивали* философию с наукой, мы хотели определить ее *как* науку. Тем более не собираемся и определять философию *как* искусство или *как* религию. При всем том сравнение философии с наукой есть неоправданное снижение ее существа, а сравнение с искусством и религией, напротив, — оправданное и необходимое приравнивание по существу. Равенство, однако, не означает одинаковости»[1]. Хайдеггер, устанавливая шкалу — «снижение существа», «приравнивание по существу», — пытается обрести собственную почву философии; тем не менее, ни «возвеличивание», ни «возвышение» не сделало бы в глазах немецкого мыслителя очевидным существо философии. Нельзя упускать и того обстоятельства, что искусство, по Хайдеггеру,

[1] Хайдеггер М. Основные понятия метафизики. // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 328. Сравним мысль предшественника Хайдеггера — Феликса Хаусдорфа: «К сожалению, философия, а именно немецкая, обретается всегда слишком близко к науке, вместо того, чтобы непринужденно быть тем, что она есть, религией или искусством; поэтому она подражает ученым манерам и желает доказывать там, где нечего доказывать будь то more geometrico или из категориальной таблицы или «по индукции» или с помощью атомистических рассмотрений» (Felix Hausdorff (pseud. Paul Mongrй). Sant' Ilario. Leipzig, Verlag von C.G. Naumann, 1897. S. 349).

связано с *произведением искусства*, которое, в свою очередь, имеет дело с *вещностью*. Громогласно заявившие о себе к тому времени авангардные движения в искусстве, которые ставили своей целью отказ от репрезентации, от объекта, а затем и произведения искусства как такового, — оставшийся в провинции философ не признал.

Достаточно ли философу культивировать отрешенность, быть самим собой или же он нуждается в инородном, в зеркале, в нефилософском поле признания? Изощренность оговорок (подобных той, что философ только тогда остается философом, когда он, занимаясь любыми проблемами и работая с любым эмпирическим материалом, не утрачивает горизонт вопрошания о предельных основаниях сущего, даже тогда, когда осмысливает свой личный опыт), с которыми, конечно же, нельзя не *согласиться*, скорее подтверждает нехватку *другого*, чем избыток интереса к самому себе, к своему месту. Но еще древние китайцы полагали, что «только величайшим удается установить неразрушимую живую связь с телом своей культуры». Установить живую связь с «телом» отечественной культуры — для современных мыслителей, кажется, куда как сложнее, чем овладеть западными техниками письма.

Зафиксируем парадокс: без современных способов анализа, впитавших актуальные техники письма, современный мыслитель не может стать *русским/российским* философом. Проигнорировав миновавшую эпоху постмодернизма, ее новации, как-то в сфере *аналитики* новых феноменов социальной и культурной жизни, вызов современности отечественный мыслитель *рискует* остаться историком и специалистом по русской философии внутри модернистского проекта, ее толкователем или апологетом. Но и мыслитель, оставшийся в постмодернистском проекте, разделяющий его, оказывается малопригоден для наступающей эпохи взыскующей новой искренности, серьезности, а также ответственности (всего того, что так истово изживалось в постмодернистком проекте (добавлю скобку к скобке: то было исторически оправдано)), включая свою историю и ее часть — русскую философию. Ведь новая серьезность и искренность, на высоте адаптации предшествующего опыта трансгрессии, протеста, ускользания, на уровне постмодернистского умения перемещать и сочетать разнородное, дает выход и техничное выражение коллективному, в том числе и собственному бессознательному. Там, где модернист искренен помимо воли, художник и философ постинформационной эпохи искренен по своей воле, он воплощает — телом, акцией, встречей с другим и его болью — бессознательные импульсы, оперативно реагирует на проблемы своего времени, мыслит о нас.

На вопрос, с чем сравнить русскую философию, — отвечу: с наукой, литературой, искусством и богословием *той эпохи* России, с западной философией *того времени*, а также, с современной русской философией. Современная русская философия состоится, когда будет преодолена пропасть между ею и русской философией. Ныне же авторы, пишущие на актуальные темы, привыч-

но и повсеместно не учитывают своих предшественников. Символическим жестом изымают себя из ее истории, полагая, тем самым, что они преодолевают ее религиозно-всеединую форму и, стало быть, обретают основание достаточное для обретения статуса *настоящего*, то есть западного философа. В данной интенции аннигиляции непосредственных предшественников другой философии нет, как нет и современной русской философии. Но если случится так, что претензия реализуется и современный отечественный философ становится заметным явлением в философии, то с позиции зарубежной инстанции (а она, по определению, все еще самая важная), он, без всякого сомнения, будет отнесен к русским философам.

Философ как художник

«Мы, философы, ни за что так не благодарны, как если нас смешивают с художниками», — признался Ф. Ницше. Развивая эту мысль, Петер Слотердайк подходит к мысли о единстве качеств философа и художника: «На самом деле, дарования Ницше — не набор отдельных, рядоположенных способностей; между ними нет настоящего водораздела, они не просто со-существуют друг с другом. Более того, в этом авторе всякий раз одна сила действует через другую, и поэтому он не был, подобно многим художественным личностям, одновременно писателем и музыкантом, поэтом и философом, практиком и теоретиком и проч.: он был музыкантом *как* писателем, поэтом *как* философом, практиком *как* теоретиком. Он не занимался двумя вещами сразу — делая одно, он именно *тем самым* делал другое»[2]. Опыт полноты растворения одного в другом, пусть и имевший место в отдельно взятом творце, уникален и, мнится, с трудом переносится, например, на А.П. Бородина *как* композитора. Вне контекста «как» теряет свою принудительную силу[3]. Константин Леонтьев указывает на иные отношения философа и художника: «Я по складу ума более живописец, чем диалектик, более художник, чем философ»[4]. Этим он не только дает повод называть себя русским Ницше, но и проясняет *ограничение* понятия «мыслитель» предикатом русский; он *более* художник, чем философ. Другой отечественный мыслитель, Василий Розанов, также часто именуемый «русским Ницше», по-видимому, не в последнюю очередь из-за того, что при своей «чудовищной

[2] Слотердайк П. Мыслитель на сцене. // Фридрих Ницше Рождение трагедии. М., Ad Marginem, М., 2001. С. 556.

[3] Не знаю, игнорировать ли *противную* точку зрения: «Замечательно, что Крученых включил в свою коллекцию не только действительно анальные тексты … но и всяческие сравнительные конструкции с союзом «как», преподнесенным им в виде скрытого анального слова. Оператор эквивалентности («как») не вобрал бы в себя анальное значение, если бы анальность не была для нас способом установления эквивалентности (=компенсацией внешней недостачи)» (Смирнов И.П. Психодиахроника. М.: Новое Литературное обозрение, 1994. С. 210). Пожалуй, оставим психоаналитические радости гурманам. Дискурсу об операторе «как» вполне подошел бы термин «какология», если бы он уже не использовался в формальной логике, означая ошибочное сочетание слов, нарушение обычных правил словоупотребления или нелогичное построение фразы.

[4] Леонтьев К.Н. Письмо И.И. Фуделю 6 июля 1888 г. // Константин Леонтьев. Избранные письма. СПб., 1993. С 385.

лени читать» много размышлял на ходу, «и совпадал в мысли и чувстве, например, с Константином Леонтьевым», но более от того, что полагал себя радикальнее их: «мне много пришло на ум, чего раньше *никому* не приходило, в том числе и Ницше, и Леонтьеву» и далее: «Я боюсь ошибиться не в мысли (этого я именно не боюсь), но очень боюсь быть худым художником своей правильной мысли»[5]. Он убежден в верности своей мысли, перед ним лишь одна задача – найти *соответствующую* ей форму выражения, что, как показало время, ему удалось вполне.

В Германии философия была теологическим делом, во Франции — делом политическим, а в России — более делом художника, чем аналитика, более литератора, чем ученого, более присваивающего, чем культивирующего[6]. Его художественное восприятие мира давало повод считать, что русская философия ближе древнегреческой в силу разделямых ими обоими космоустроительного принципа, теплоты и неразрывности с нравственными вопросами, ею решаемыми, а также в силу несомненной близости начертания кириллических и древнегреческих букв, значений слов, строя мысли. Но художник тождествен философу в сфере безоглядной отваги и риска, позволяя себе быть смешным, нелепым, безумным и скучным, радикальным в постановке вопросов и циничным в выводах. Но им обоим привычно в общепринятом видеть проблему, а в естественном положении дел — насилие. Они не только думают о теле, но всем телом. Как Сократ, Диоген, Ницше, Сковорода, Соловьев, Розанов.

Художник как философ — традиционная версия русского художника, раскрываемая в интерпретациях творчества Н.В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, А.П. Платонова и многих других. Иное и в этом отношении перспективное дело провидеть в отечественном философе художника. Художника, не сводящегося лишь к «литературности». Ведь философ, если он актуален, находится по одну сторону баррикады с художником, так как задается тем же опытом переживания и понимания мира. Идентификация философа на основе разума — путь столь навязчивый, сколь внутренне отторгаемый нашими мыслителями. Он совпадает с той маргинальной ветвью западной философии, которая осмысливала Первую мировую войну как экзистенциально сверхзначимый опыт, тем более важный, что он попирает в локальном пространстве-времени закон буржуазного накопления, сбережения и неуклонного роста благосостояния. Итог — формирование известных концептов траты (растраты) Мосса и Батая.

---

[5] Розанов В.В. Открытое письмо Д.В.Философову // Мир искусства. 1988. № 20. С. 61.

[6] Даже «гениальный человек, развивая нашу мысль, в тоже время обыкновенно порабощает ее в себе, — все равно, начитались ли вы Байрона или Платона, Гете или Руссо, Жорж Санд или Аристотеля — вы становитесь в какое-то зависимое положение от вашего путеводного гения, — вы на все смотрите его глазами, чувствуете, что вам нельзя иначе думать — не потому только, что истина его мыслей для вас очевидна, — нет, и потому также, что он положил границы вашему воззрению, как бы независимо от вашей воли, от вашего самостоятельного рассудка» (Чернышевский Н.Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность // Чернышевский Н.Г. Избранные эстетические произведения. М., 1974. С. 347).

Но вернемся к нашей теме. Россия слишком огромна, не только для того, чтобы охватить ее дисциплинированным взглядом, но и отразить в художественном произведении писателя — к этому мнению Канта, *географически* самому близкому к России немецкому философу, нельзя не прислушаться: «Великое, несообразующееся с целью (magnitudo monstrosa), есть *чудовищное*. Поэтому те писатели, которые хотели прославить огромные просторы русского государства, не достигли цели, когда называли его чудовищным, ибо в этом [выражении] заключается и доля порицания, как если бы оно было *слишком велико* для одного писателя»[7]. Дисциплинарные порядки изнуряются пространством, не ведающем о своих границах. Может, наша культура еще не сформировалась для того, чтобы ее выразить в строгой форме жанра философии или искусства. Не об этом ли писал Чаадаев в своей апологии: «Есть один факт, который властно господствует над нашим историческим движением, который красною нитью проходит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и определяет их характер, который является в одно и то же время и существенным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего умственного бессилия: это — факт географический»[8]. О том же Г. Шпет: нас отличает «неумение и нелюбовь жить в настоящем», по причине того, что мы *безграничны*, посему неупорядочены, нерегламентированы, неуместны. В Европе же каждый народ «имеет свое дело, поскольку занимает свое место» (Г. Шпет). Историческое мышление тогда таково, когда мы признаем, что “ не история принадлежит нам, а мы принадлежим истории” (Г.-Г. Гадамер).

При всей нашей интенции радикально дистанцироваться от своей истории, мы будем *всего лишь* моментом в ее — русской философии — истории. Возможно, кто-то будет назван ее эксцессом.

Философ как художник — еще один важный ресурс отечественной философии. Есть сфера, где отвага, риск и безоглядная свобода сближают позиции художника не только с философом, но и солдатом. Продумывая позицию художника, Томас Манн в 1914 году противопоставляет его «отважную» позицию «канканирующему благонравию» коррумпированного бюргера: «Разве не отношение иносказания связывает искусство и войну? Мне, по крайне мере, уже давно кажется, что не самый плохой художник тот, кто признает себя в *образе солдата*… Пренебрежение тем, что в буржуазной жизни называется «безопасностью» («безопасность» — любимое понятие и наиболее громкое требование буржуа), привычка к опаснейшей, напряженной, бдительной жизни; беспощадность против самого себя, моральный радикализм, предельная самоотдача, *мученичество* … Все это *одновременно и воинственно и художественно.* По праву искусство называют войной и изнурительной борьбой»[9]. Войной со ставши-

[7] Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. // Кант И. Соч.: В 6 -и тт. - Т. 6. М., 1966. С. 487.
[8] Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 161.
[9] Mann T. Gedanken im Kriege. Fr.a.M.: Suhrkamp-Verlag, 1966. S. 530.

ми формами, из сверхнапряжения рождающей события вовлечения в сферу философии неизвестного опыта, в том числе и опыта мысли.

Художник, открываясь бытию, рождает новые версии сущего и тем указывает на пустоту старых форм репрезентации. Философ оказывается в равных условиях с художником и воином в *горячей* точке сообщения, сопереживания, сострадания. Если он всем своим существом откликается и проживает *время мысли* с интенсивностью боя, то он рискует не менее солдата. Соприкасаясь с изнанкой порядка — хаосом, со смертельным риском, дарующим чувство свободы, и философ, и художник оперативно реагируют на нынешнее стихийное перепроизводство нештатных ситуаций, ведущих к изменениям устоявшихся форм жизни. Жизни, развернувшейся в точке «иконического» поворота к осознанию ведущей роли образа в способах воздействия на человека, на его структуры желания и мотивацию поведения. И философ, и художник обречены двигаться без страховки. В этом экзистенциальном начале мысли я вижу еще один важный ресурс русской философии.

Топологический характер мысли

Вопрос о ресурсе русской философии тесно переплетается с вопросом ее *уместности*, то есть о *месте, обусловившем ее форму и контекстом, задающем ее содержание*. Поле битвы традиции, инноваций и мутаций таково, что философ, если он отвечает на вызов времени, принужден для продвижения своей мысли обращаться к перформативным высказываниям и к массмедийным стратегиям захвата внимания. В свою очередь, художник, закладывая в произведение концепт, описывая его в дискурсе современной мысли, попадает в поле философии. Оба они оказываются не там, где их привыкли видеть. Но двигаясь навстречу друг другу, они не растворяются (как квадрат и круг у Кузанского) в минимуме геометрической точки. Каждый остается собой, обнаруживая при этом дополнительный *ресурс* понимания фигур как «философа», так и «художника». Осознание этого факта проясняет, почему нарушение дисциплинарных границ не влечет сегодня дисциплинарных взысканий и идеологических отречений.

Но философия, как и литература, поэзия, изобразительное искусство не могут не иметь общего для них основания, которое выступает под разными именами: время, общество, топос. В деле понимания и выражения *духа* времени это справедливо вдвойне. В безоглядном ученичестве, в забвении себя, в устремленности за пределы своего места, безудержном самобичевании прочитывается *стиль* и слышится акцент соотечественника. Мысль не нова: «Аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые оставались

мужиками»[10]. В самый момент отрешения, в желании слиться с другим, принять его полностью и окончательно — виден *почерк поведения* соотечественника.

Отказ от чужих (рациональных, аналитических, феноменологических, психо- и шизоаналитических — ряд, естественно, не полон) техник самопознания, с одной стороны, и признание философской *подобной* работе художнику, актуализирует авангардную машину утверждения новых ценностей в ответ на вызовы XXI века, с быстротой клипа меняющие свою конфигурацию и определяющие наиболее острые из них, с другой. Тезис «философ как художник» укладывается в топологическую перспективу мысли.

Но, говоря о топологической рефлексии, следует добавить и, возможно, оправдать (вопрос нужно ли?) нестрогое использование математического термина в гуманитарных науках. Такая задача неявно исходит из презумпции, что подлинный смысл топологии раскрывается только в строгом математическом определении его. Исподволь строится нововременная иерархия научности, определяемой безусловным критерием — степенью математизации дискурса той или иной науки. Тогда ценным считается математическая строгость определения, и напротив нестрогое — ненаучное, неточное, несущее неподлинный смысл. Истинность задана максимой платоновской академии, выстроившей в западной культуре эту иерархию: идеальное, строгое — истинно и ценно само по себе, а неидеальное, нестрогое — неистинно и менее ценно. Таким образом, мы имеем охватывающую весь горизонт картину использования термина: от истинного и ценного до менее истинного и не столь ценного. В ней нет изначального центра истинного высказывания, нет иерархии ценностей, но есть соприсутствие равноценных модусов, отражающих общую всем тенденцию. Есть попытка ответить на проблемы времени своими средствами, дополняющими друг друга в деле определения направления развития, способа решения как глобальных, так и локальных проблем. При том, что в этой картине создаваемой топологической рефлексией нет исходной математической строгости, но есть, компенсирующий ее живой опыт про- и выживания в данное время и в данном месте. Тогда версии в равной мере претендуют на понимание существа дела топологии, структурируются по признаку соответствия моему опыту, моему ощущению времени, моим ожиданиям, моим интенциям мыслить так, а не иначе. Даже там, где понятие топологии не встречается, мы можем отследить присутствие последней в смене стратегий *обращения* с единичным, по тому, *как* ставится вопрос о связи этого тезиса с контекстом, с конъюнкцией сил и политических ориентаций. Совершенно очевидно, что отказ от участия в политике и (что важнее) микрополитике на руку тем, кто политику проводит скрытым образом.

Рефлексия же в топологической структуре или, что здесь одно и тоже, *топологическая рефлексия* — это первое проявление отказа от *lumen naturalis* трансцендентального субъекта, смотрящего поверх уникальных топосов и, тем самым, отражающегося лишь от однокачественных секторов их внешней по-

[10] Герцен А.И. Былое и думы. В 3-х т. Т. II. С. 31.

верхности; шаг от субъекта к человеку, собираемому здесь и сейчас *уникальным* образом, есть шаг от регулярного тождества, к «тождеству» единиц, каждая из которых уникальна. Топологическая рефлексия, создавая образ мира, не соизмеряет его с *абстрактной* единицей, для которой равнотождественны, едино- и однообразны все миры, но косвенно сообщает о присутствии хотя инвариантной, но неметризуемой структуры. Результат ее – не идеальные объекты, но чувственные предметы, которые есть продукт в равной мере и творческого самопознания, и познания природы. Процедура топологической рефлексии завершается пребыванием среди реальных предметов, но не над ними.

Примером же рефлексии «внешней поверхности» является архитектура новых микрорайонов. Их античеловеческий масштаб, их безликость, однообразие и тотальная неуместность человека, вынужденного жить там, купируется «игрушечными» макетами архитекторов, которые предъявлялись *высокой инстанции* — независимо от роста ее представителей, она всегда смотрит сверху вниз — на рассмотрение и утверждение. Насилие над потребностями конкретного человека, над реальным масштабом вещей, отсюда и утверждение взгляда распорядителя и устроителя жизни по унифицированному образу. Такой взгляд был предзадан экспериментами авангардистов, спор о которых можно увидеть в полемике, развернувшейся на страницах журнала «Новый ЛЕФ». Ее инициатором был Борис Кушнер, опубликовавший в журнале открытое письмо Александру Родченко[11]. Он резко выступал против ракурса съемки «сверху вниз» и «снизу вверх», который активно разрабатывал в своем творчестве выдающийся фотограф. С точки зрения Кушнера, экспрессия вертикального ракурса искажает объект, вносит помехи в фотоинформацию и тем самым противоречит принципам целесообразности и утилитарности. На фоне того, что ныне эстетические поиски авангардистов оцениваются однозначно позитивно — в том числе и по вопросу ракурса съемки, имевший, на первый взгляд, сугубо художественное значение, — мы должны признать их негативные следствия. Так в ситуации принятия градостроительного решения, искусство задавало специфический характер видения, «взгляд сверху». Последний оказался не только антиутилитарным, но и, переведенный в иную нехудожественную сферу, в практическую сферу принятия решений, становится нечеловеческим. Дело в том, что взгляд сверху рождает мелкий масштаб, который не может вмещать разнообразие природных, антропогенных ландшафтов и климатических особенностей, но именно на этом же основании подобные модели становятся универсальными и бессодержательными. Земля становится территорией, пятном, строительной площадкой.

По аналогии с математической топологией, топологическую рефлексию можно соотнести с таким созерцанием, которое *предполагает общую природу созерцаемого и созерцающего*, но вместе с тем она не сводит их к всеобщей единице. Фактически это является следованием принципу — подобное познает-

[11] Кушнер Б. Открытое письмо // Новый ЛЕФ. 1928. № 8. С. 38 – 40.

ся подобным, — в том направлении, которое неявным образом, зачастую умалчивая это, содержит мысль, что одно подобное не *тождественно* другому, но лишь *подобно* ему, следовательно, всегда остается некоторый неверифицируемый остаток. Идея топологической рефлексии не только ставит, но и актуализирует проблему *соотносимости несоизмеримого*. В этом пункте мы находим единство реагирования в синхронных срезах топологической и архаической рефлексии. Так божества и духи места не только охраняли его, но и задавали, жившим здесь людям механизм идентификации. О том, что «предпосылкой рефлексии в архаическом мышлении (на тотемистическом этапе) является мифологический “механизм” оборотничества — миметического обращения с образами других существ посредством перевоплощения в их тела», — обратил внимание Ю.М. Романенко. Человек не только *отражал*, но и *воплощал* себя в тотеме, отождествлял себя с животным, удостоверяя биологическое родство и историческую с ним связь. Если сегодня отношение к миру *участливо, то такой* диалог не утрачивает изначального смысла *симпатии,* то есть саморанения, сожжения, самопожертвования. В топологической рефлексии — и в этом вижу всеприсутствие архаического опыта, ушедшего в подсознание *homo sapiens* — отменяется иерархия высшего и низшего, активного и пассивного начал, истока и итога.

Топологическая рефлексия совпадает с рефлексией архаического в тех моментах, в которых она есть возвращение в точку мысли, в ту точку *первобытного* состояния, состояния мысли и тела, единства индивидуального, коллективного и природного тела, то есть от того истока, где мысль невычленима из других форм реакций на мир, где реакция непосредственно связана с потребностью/желанием/мыслью, где активность среды ощущается и осознается как собственная активность. В отождествлении с животным (оборотничество) открывается для человека опыт животного, то есть более древнего, более надежного с точки зрения выживания опыта отношения к миру. Воскресить забытое, напомнить о чувство-действии до-родового тела, активировать до-индивидуальную и до-персональную память животного — которая, замечу, много длиннее, чем память культурная, — его адаптации к меняющимся условиям жизни, позволяет архаический ритуал.

Как для рефлексии архаического важно обнаружить болезненную точку рождения космоса (первичная жертва), точку начала адаптации к новым условиям природы и социума, так и для топологической рефлексии достаточно лишь возможности каким-то образом трансформировать нечто, не сводя его к унифицирующей единице. Эта рефлексия не менее *приблизительна*, чем классическая рефлексия, вымывающая посредством соответствующих процедур иные *формы приближения*, нежели количественно-числовое подобие, но приближающаяся в ином не количественном — соучастливом — смысле. Она лишь понимает степень своей приближенности, не питая иллюзии тождества, проистекающей из железной логики $A \equiv A$. (Не странно ли, что мысль руководствуется

железной логикой, а чувство алмазной сутрой?) Заметим, что тождество — с необходимостью иллюзия, иллюзия *со*бытия, для которого нет места в реальной жизни. Мир тождеством удваивается, но не раскрывается[12].

Нетождественность же заключается в том, что топос, из которого осуществляется рефлексия, иной в отношении себя во времени и другого в пространстве, поэтому есть надежда – в столкновении с подобным отстоять свои границы, территорию. Важно еще, что при трансформации сохраняется непрерывность, то есть, как сказал бы физик, *пробоям*[13] соответствуют другие, в каком то реальном отношении тождественные, *перебои*. И такая рефлексия, несмотря на отсутствие четко фиксированной единицы познания или единицы разумности, не является «случайным приближением», а имеет устойчивую структуру (топологию), обеспечивающую вечный возврат — воскрешение исходного состояния понимания, состояние слитности первомысли и первочувства, первораны и первознака, боли другого и своей боли и, наконец, жжения и сожжения, насилия и святости.

Русский философ (до начала XX века) был русским не потому, что не знал западную философию, но, часто зная ее, *занимал себя* своими проблемами, проблемами своего места, своего коллективного тела; он был не столько метафизиком, сколько геометафизиком с цепкими стесняющими тело мысли «моралистическими обвивами» (Г. Шпет). «Включенность» русской философии, ее обвивы и стеснения в изменившихся условиях — ресурс, который трудно игнорировать. Обвивы из стеснения превращаются сегодня в альпинистскую обвязку, страхующую человека от падения.

Русское недоумение

Возьмем, к примеру, странные и по здравому размышлению *невероятные* предубеждения: русские мыслители не обладают традицией рационального мышления, философия наша мистична, литературна, космична и художественна; безграничному как тело России характеру мысли чужда строгая последовательность и системосозидание. В то же время укоренено мнение (его можно трактовать как антитезис), в России формировались знаменитые школы математики, физики и естествознания, что в целом не позволяет усомниться в наличии у соотечественников способности к *разумной, теоретической и абстрактной* работе. Впрочем, сюжет не нов, еще Г. Шпет заметил, что «не природная ту-

[12] В природе нет прямых углов. Если он случается, то необходима зеркальная поверхность, от которой луч света вернется к самому себе. Желание четкости своего образа (а наскальные рисунки — есть то первое зеркало, в которое смотрелся человек) двигало первочеловека: «Даже в наиболее раннем пещерном искусстве часто встречаются попытки подготовить некоторые каменные поверхности». Древний писец, художник, график и скульптор не только двигались по формам предметов, но, вначале робко, а затем все настойчивее и увереннее сглаживали их *самобытные линии*, преодолевая сопротивление материала (См. подробнее в моей кн.: Савчук В.В. Кровь и культура. СПб., 1995. С. 132- 134.)

[13] Пробой в физике — это нестационарное, аномальное поведение системы; в математике ему соответствует понятие сингулярности, означающее точку, в которой функция терпит разрыв, в которой она, следовательно, не определена.

пость русского в философии, не отсутствие живых творческих сил, как свидетельствует вся русская литература, не недостаток чутья, как доказывает все русское искусство, не неспособность к научному аскетизму и самопожертвованию, как раскрывает нам история русской науки, а исключительно невежество не позволяло русскому духу углубить в себе до всеобщего сознания европейскую философскую рефлексию. Неудивительно, что на такой почве произрастала философия бледная чахлая, хрупкая. Удивительно, что все-таки, несмотря ни на что, росла»[14]. Не удивительно ли, что ни в искусстве, ни в литературе, ни в науке невежество не проявилось, а только в философии. Возможно стандарты гегелевской философии (нужно углубиться до идеи философии как чистого знания), приложенные Шпетом к специфике русской мысли, являются данью увлечения — а здесь верно будет сказать преувеличения — идеями автора, им прекрасно переведенного. Но потому прекрасно, что прожитым увлеченно изнутри. Такая способность страстно и безоглядно увлекаться чужой культурой — особенность русского сознания (о чем, впрочем, замечено давно).

Безродный космополитизм, с которым рьяно боролись в середине прошлого века, недостижим. Даже при очень большом желании занять позицию объективной, холодной формальности, точку вне экзистенциальных импульсов творчества невозможно. Родина у мысли всегда есть. И даже Мнемозина не сможет окончательно очистить знаки от следов места, в котором они возникли[15].

И, наконец, по прошествии времени, предъявившем новые формы террора, интересным оказывается мнение А.Н. Исакова, предлагавшего (до 11 сентября 2001 г.) иначе решить проблему “нулевой точки” мысли: сверхзадача настоящего философа — «*угадать характер будущей войны*». Основной вопрос его доклада: «Где возможен философский опыт, опыт соучастия в историческом процессе? Разделив философов на тех, кто стремится к традиции и тех, кто опирается на личный интеллектуальный опыт, опыт откровения, который, по его мнению, сегодня возможен только вне стен университета, А. Исаков утверждает: «В русской традиции сильны философским опытом не профессионалы-философы» (в пример он привел крупного военного историка и теоретика А.А. Свечина). Но парадоксальность видится ему в том, что как раз в философии ничто не может заменить собой традицию, ибо «оценить актуальный опыт трудно, если нет традиции»[16]. Однако, и это следует удерживать в актуальном состоянии, термин «актуальность» соответствует латинскому «actualitas» — определение бытия как действительности действительного. Видимо традиция и выступа-

[14] Шпет Г. Очерки русской философии. // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989. С. 49.

[15] У Гёльдерлина есть три выдающиеся строки, которые Норберт фон Хеллинграт поместил перед поздним гимном "Мнемозина" (Hölderlin Friedrich: Sämtliche Werke (Ausgabe Hellingrath). 4 Bd, Berlin, 1943, S 225). Они заметно противоречат гегелевской версии развития человеческой памяти: на ступени знака взлёт способности воображения у Гёльдерлина поворачивает к разуму и констатируются последствия означивающего произвола воображения: "Мы просто знак, без значений/ без боли мы и речь свою/ на чужбине почти забыли мы". (Ср. Мы только знак, но невнятен смысл, /Боли в нас нет, мы в изгнанье едва ль /Родной язык не забыли. (Пер. С.Аверинцева)).

[16] “Самоопределение философа в современной России”. Конференция на философском факультете СПбГУ (12 апреля 2001) // http:antropology.ru

ет тем действительным действительного, когда она воспринимается как живая и полнокровная.

В Петербурге, да и в России в целом, строго говоря, нет «первичного метафизического контекста» и любое философское представление имеет случайный характер *(*А. Исаков, В. Сухачев). Отсутствие *традиции развития мысли на собственных основаниях* ведет, с одной стороны, к бунту по отношении к предшественникам и, с другой — к некритическому доверию чужой мысли. Преломившись подобным образом, идея нигилизма обретает чистую форму отрицания. О том, что рискованно *полностью* полагаться на чужие технологии — известно, однако господство чужих *техник* мысли, в ином топосе произведенных концептов не оценивается как форма колонизации. Внешние же топосу концепты в виду особой восприимчивости отечественных интеллигентов, а теперь — интеллектуалов перерастают границы *разумного*. Некритическое *восприятие* западной философии (и здесь я соглашусь с С.Л. Фокиным: «В современной России нет никакого восприятия, ни критического (что было в советском прошлом), ни некритического (где он русский Делез, Фуко)?») легко превращает ее в господствующую идеологию, со всеми вытекающими (например, ложное, в силу несоответствия времени и месту, сознание) следствиями. Зарубежная философия завораживает неизвестностью контекста из которого она *произрастает*. Она потому с легкостью преодолевает несоответствие местным условиям жизни, что дает абстрактные, всеобщие, а потому и *неуместные*, ответы на актуальные проблемы нашего общества. При этом всегда есть соблазн думать, что их проблемы уже стучатся в дверь, что они вызваны к жизни меняющимися, по аналогии с западными, условиями жизни. Например, сила ницшевского нигилизма *покоится* на устойчивом порядке, благополучии среднего класса стран западной Европы. Современная постструктуралистская философия (острием негации направленная на структуры порядка, власти, нормирования во имя утверждения свободы от насилия в них заключенного) обладает ограниченным потенциалом объяснения процессов, происходящих на все еще огромной территории России, на которой нет тех инстанций власти, тех форм принуждения, которые деконструировали левые интеллектуалы запада. Форма личной власти, местничество и родственные связи на местах не поддаются такой форме критики.

В отечественной истории рьяно заявляют о себе силы, ведущие к беспорядку, после любых усилий, направленных на формирование мирной жизни и устойчивых структур порядка. В отношении же обеспеченности мысли трудно не заметить сходства между символическим накоплением концептов с ростом материального благосостояния: не спрашивайте, откуда я взял свои концепты, смотрите, как я *от своего лица* могу ими пользоваться. Но поскольку философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к «сотворению мира», к «*causaprima*», то претензия на власть из своего места, «тела своей культуры» — трудное дело мысли (вспомним, что только величайшим удается

установить неразрушимую живую связь с телом своей культуры), а претензия на власть под видом проведения всеобщих интересов в своем топосе — дело идеологии и политики. Понять чужую мысль, пересказать ее, все же проще, чем собственный топос, а тем более внятно и последовательно заявить о его интересах на философском языке[17]. Приведенные различия не меняют, однако, существо претензии на власть.

Специализация мысли

Стоит ли изнурять себя поиском аргументов, доказывающих зависимость философии от контекста, от духа времени и ограниченности места, в котором произрастают и в котором *разрешаются* ее аргументы? Наивное самомнение европоцентризма уязвлено уже в веке прошлом. Но есть зона умолчания, где оно не потревожено по сей день. Признавая неуместность европоцентризма в суждениях о Востоке или Африке, в отношении России — амнезия. В своем развитии концепт европоцентризма предполагает адекватность мысли топосу и вполне определенно настаивает на контекстуализации последней. Реакция на проблемы места и времени — единственно возможный способ влиять на ситуацию и, одновременно, — способ заявить о своем месте и своем времени. Интерес философской позиции в отношении топоса, выходящий за рамки математически понятой топологии, в том, что он отвергает всеобщность для другого, для *всякого, некого X* или *Y*, освобождающую от ответа на вопрос о конкретном. Восхождение от абстрактного к конкретному, кроме суммы абстрактных сторон, требует обретения целого. Когда А.И. Герцен пишет: «Мы в жизни, с одной стороны, больше художники, с другой — гораздо проще западных людей, не имеем их специальности»[18], — то сбивает с толку, по меньшей мере, одно, *специализация* в его представлении связывается со *сложностью*, а *многосторонность и художественное* выражение с *простотой.* Если не искушать себя легкостью критики, указывая на *логическое* противоречие, а подойти с позиции историко-культурного самоотчета, то, весьма вероятно, что русским философам проще (не от того ли, что естественней?) быть *многосторонними*, быть

[17] Не могу не привести полемические аргументы С.Л. Фокина, высказанные по прочтении рукописи этой работы: «Философия не просто не боится "иностранного языка", она его постоянно к себе приспосабливает: Декарт (1596-1650), который в пику интеллектуальной моде пишет не на латыни, а на французском, Лейбниц (1646-1716), который был так придавлен Декартом, что пишет только по-французски, Хайдеггер, который говорит, что "когда французы начинают мыслить, то переходят на немецкий", Делез, который встраивает в французский свой особый язык, и Деррида, и Фуко и т.п. Современные русские философы - не философы, потому что, во-первых, не знают иностранных языков, а посему, во-вторых, остаются глухи к языку родному: они им пользуются в меру образованности, но не слышат его смыслов. Проблема создания русского философского языка — вот что могло бы роднить философа и художника, если последний думает не только о том, чтобы предъявить себя миру, но и о том, чтобы через него, что-то от мира явилось». Полагаю исторически подтверждено, что философия не только меняет *топос* своего существования, но и *язык*, на котором говорит новый топос, новая конфигурация интересов общественных групп, претендующих на власть в этом топосе. Мир являет себя через философа, как являет он себя через поэта и художника, а топос проявляется через них. Изменение господствующего языка — знак слома философских традиций, радикальности поворота к иным проблемам.

[18] Герцен А.И. Былое и думы. В 3-х т. Т. II. М., 1983. С. 104

художниками, космистами и философами всеединства, чем утруждать себя регламентом и специализацией.

Но в другой — исторической — перспективе специализация и функциональность — этап более поздний, чем космоустроительная целостность традиционного общества. Специализация же есть *ограничение* круга дел, предмета мысли и интересов. Над ней мы вместе с Козьмой Прутковым всегда готовы посмеяться: «Специалист подобен флюсу…». Но и специализация не столь уж чужда для соотечественника. Так «если бы спросили русского крестьянина начала XX в. как он ловит рыбу, то его ответ был бы долгим: “крупную рыбу ловят летом тереготами, а по зимам — балаутами; снетки летом — чмутами, а зимою — ставками; мережами — щук и плотиц; норотами — язей; рядухами — судаков и лещей; оборами — окуней, плотиц и язей и т.д.”[19] Нынешний же политкорректный аналитик предлагает ловить удочкой, тяжеловесный феноменолог — глушить ее взятием в скобки, а уставший от нескончаемого парада смертей: метафизики, субъекта, автора, искусства и т.д. постмодернист утверждает, что «лещ» тоже умер. Кормящийся же с озера рыбак не приемлет ни первого, ни второго, ни третьего: на удочку — баловство, динамитом — грех, а лещ как был, так и есть еще, слава Богу, в озере.

Кто за нас мыслит?

На этом фоне следовало бы выступить в защиту отечественного производителя философских концептов. Ибо главное их достоинство в том, что они подвержены критике соотечественников столь же радикально, сколь *безапелляционно* принятие иностранных концептов, поэтому у отечественной философии не может возникнуть *безусловного* авторитета, и она не превысит предельно допустимую норму влияния на общество и, поэтому же, не станет господствующей идеологией. По крайней мере, в обозримом будущем. Парадоксальность актуальной ситуации в том, что отказавшись от одной формы идеализации западной философии (многие по-прежнему отождествляют отечественную форму марксизма с философией как таковой), просвещенная нашими университетами нефилософская публика полагает, что вред исходит *от своей философии (*на поверку советской). «Выход» находят в доверии новым направлениям западной мысли. Именно врожденный нигилизм по отношению к отечественным мыслителям не допустит их концепты в качестве *безоговорочных* авторитетов при анализе российской действительности. В этом смысле своя философия хороша тем, что *не имеет и не может иметь тотального господства*. Тому подтверждение ничтожно малое ее влияние на общественную жизнь, политику, мораль и искусство страны. Местный философ — если не пария, то уж точно фигура неконвенциональная, поскольку максимум для чего пригодны его образ мысли

[19] Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: «Российская политическая энциклопедия», 1998. С. 369.

и неразрывно образ жизни — для частного использования. Ведь он не удостоверяет комфортность здравого смысла, который дает популярный писатель, не попадает в структуры поверхностного реагирования, подобно журналисту, не обладает ни холодной формальностью ученого, ни практической пользой результатов его исследования, не работает в режиме наигранной толерантности теле- и радиоведущего, не проясняет скрытые цели принятых политических решений подобно политологу, не использует фигуры речи, опирающиеся на показной гуманистический лоск политиков, не зовет нарушать табу, как это делает актуальный художник, — он предлагает радикальные авантюры мысли, выходящие за скобы повседневности.

После очередного заката того или иного популярного философского направления в Европе отечественные интеллектуалы воспроизводят каждый раз архетипическую ситуацию выбора философской веры. В неразрывной связи с критикой современных отечественных мыслителей стоит негативное отношение к предшественникам, к своим непосредственным учителям. Каждый, отрицая все до него существующее, начинает с нуля, явно или неявно полагая, что закладывает фундамент нового направления мысли. Наш нигилизм в отношении предшественников, способность «забыть отцов», всегда начинать заново — в эпоху катаклизмов, войн и массового самоистребления нации — спасительное качество нашей души, — губительно в ситуации устоявшейся и размеренной жизни. Ситуация непризнания своего, в том числе своего ближайшего прошлого — не нова. Трудно не согласиться с проницательным В. В. Розановым: «У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства. От этого — наш нигилизм: «до нас ничего важного не было! И нигилизм наш постоянно радикален: “мы построяем все сначала”». Со времени написания этих строк В. Розановым мало что изменилось. Так, в одном интервью М. Мамардашвили, на вопрос журналиста: «Что дало Вам обучение в МГУ», ответил: «Ничего». Это — вопреки его намерениям — делает его *типичным русским философом*, образование которого произошло на том же философском факультете МГУ. Контрастом выглядит позиция Ж. Деррида, отношения которого с официальными институциями были весьма напряженны (вспомним его работу «Пора диссертации»); он приходит к выводу: «Не думаю, что философию можно преподавать вне институции, подпольно /in the wild/, так сказать. Нам необходимы философские институции, чтобы они гарантировали традицию…»[20].

Прошедший век лишь усилил нашу способность забывать прошлое и начинать все с начала. Но сегодня эти качества не только не отвечают времени, но и — вот власть удобной формулы — вредны, поскольку не позволяют включить механизм идентификации и соотнести современника с предшественниками, которых трудно понять и тем более оправдать. Как результат, интеллектуал не может настоящее увидеть в свете прошлого и посмотреть на конкретную ситуацию с позиции целого и изнутри целого. Актуальный нигилизм соотечествен-

[20] French philosophers in conversations. / Ed. Raoul Mortley. London-New York: Routledge, 1991. P. 106-107.

ника по своему типу не является ни западным (этап развития), ни восточным (тотально и жертвенно отрицающим Запад), отрицая свою, он осваивает, исправляет и дополняет философию Гегеля, Гельмгольца, Гуссерля, полагая при этом, что он закладывает *начало* новой отечественной традиции. Но следующий, «всегда начиная с начала», забывает «начала» предшественников, обращаясь к тому же западному философу *непосредственно*, и все повторяется сызнова. (И здесь ирония цели и результата, ибо непосредственность обращения ограничивается переводом на русский, который — известное дело — есть *определенная версия* переводчика). Не эта ли юношеская пылкость в отрицании своего предшественника являет неоспоримое свидетельство подросткового характера нашей мысли, выход из которого, по Канту, происходит лишь тогда, когда человек в состоянии пользоваться своим рассудком «без руководства со стороны кого-то другого». Зрелость же есть условие традиции, условие внимания к своему топосу, отстаивающему его интересы в глобальном мире.

Философский исход

Все те, кого увез из России философский пароход в 1922 году, увеличив культурную и интеллектуальную составляющую азиатских и европейских столиц от Тегерана до Праги и Парижа (присутствие русских не ограничивается Койре и Кожевым, Шестовым и Бердяевым), резко уменьшили ее в советской и — по инерции — постсоветской России. Не с необходимостью, но и не без влияния этого факта, как полагает нидерландский специалист, у нас стало нормой: «традиция мысли характеризуется перманентным эсхатологическим настроением. Преобладающий стиль философии аподиктичен: «Это удача — и я действительно так считаю, — если русский философ всерьез касается аргументов другого философа. Господствует аподиктическое философствование ... Их философия не имеет связи с обществом исследователей и интеллектуалов, которые не только спорят друг с другом, противопоставляя свои позиции, но и принимают во внимание исследования друг друга»[21]. С нелицеприятной оценкой нынешнего положения дел трудно не согласиться. В этой связи уместно вспомнить выводы, сделанные Ю. Лотманом и Б. Успенским о культуре «преимущественно допетровского периода», но характеризующую ситуацию в актуальной философии дня нынешнего: «“Чужое” получает значение культурной нормы и высоко оценивается на шкале культурных ценностей, а “свое” или вообще выводится за пределы культурной нормы как “докультурное”, или же получает низкую оценочную характеристику»[22]. Собственно говоря, это один из ответов

[21] Evert van der Zweerde. Philosophie und Philosophieren in der Sowjetzeit und danach. Die Kultur der russischen Philosophie // Russische Philosophie im 20. Jahrhundert. / Eichler K.-D., Schneider U.L. (Hgg.) Leipzig, 1996. S. 47.

[22] Лотман Ю.М., Успенский Б.А. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода («свое» и «чужое» в истории руской культуры) // Типология культуры. Взаимодействие культур. Труды по знаковым системам XV. Ученые записки Тартусского университета. Выпуск 576. — Тарту: ТГУ, 1982. С. 112.

на замечание Ван дер Цвеерде о причинах того, почему современные отечественные философы не спорят друг с другом, не учитывают аргументы другого, что выступает резким контрастом с теми эмоциональными и громкими, задевающих широкие слои образованных людей, спорами философов конца XIX и начала XX века.

Имеется и другая сторона дела не менее важная в силу неявности, точнее, вытесненности проблемы *своего* прошлого. Проблематизировать место, из которого ведется речь, отбросив конвенциональные умолчания о причастности к определенной традиции (большей частью декларируемой как рационалистическая, то есть всеобщая) — значит задаться вопросом об ответственности не только аналитики происходящего, но и прагматики интересов и целеполагания самого аналитика. Следование чужой мысли настолько же продуктивно — это несомненный интеллектуальный капитал отечественного мыслителя, — насколько и травматично, когда его спрашивают об истоках *своей мысли*. Но еще большую неловкость испытывает мыслитель, когда сторонние аналитики пытаются определить *характер* его мысли, который он должен и который, даже если он сознательно его игнорирует, вынужден признавать. Михаил Ямпольский — тому яркий пример — поделился своим самоотчетом: «Почему мы всегда возвращаемся к теме русской философии? Потому что её существование — неприятный для всех нас факт. Например, Борис Гройс сказал, что ничего не может сделать с собой, он всегда будет русским философом, каким-то образом, и я буду всегда соотнесён с какой-то группой лиц, которые являются моим Другим, моим *alter ego*, с которым я неизбежно соотношусь. А что это за группа лиц, с которыми я в силу моего происхождения неизбежно соотношусь? Это группа лиц, которая маргинализирована мировым философским развитием и отправлена куда-то в область провинциального, локального российского явления. И моё существование сегодня в мире — а я хочу быть сегодня универсальным человеком — в значительной степени зависит от этой группы провинциальных, локальных людей, которые мне подарены без моего ведома и с которыми я почему-то должен себя соотносить. Неприятность всего этого заключается ещё и в том, что все эти философы отделяли себя от мира. Одна из тем русской философии — это отделённость судьбы России, русской идеи, её своеобразие, критика Запада. То есть в значительной степени русская философия изначально моделирует себя как философия, которая не может войти в западную культуру и осмысливает себя как что-то, не желающее быть признанным на Западе. И вот я сегодня являюсь наследником группы лиц, с которыми я насильственно соотнесён, и мне это очень не приятно. Что-то я должен с этим делать?»[23]. Горькую для автора истину доносят нам слова его. Философ – не математик и не химик, его очевидная укорененность в языке, структуре чувственности, в «моралисти-

[23] Русская философия: вердикт, реальность или\и миф? Круглый стол // http://artinfo.ru/ru/news/main/ProPodoroga.htm (правда, открытым остается вопрос, насколько я могу доверять интернетной версии этого круглого стола. Быть может печатно автор приведенных слов выразился бы иносказательнее.) Дата создания оригинала документа: .02.2002. Дата индексирования: 02.06.2002.

ческих обвивах», в стилях письма всегда найдет способ *проговориться*. Нельзя же действительно ограничиться простым указанием на современность, не давая себе отчет, о *современности какого места* идет речь, и как это место влияет на текст. Неочевидность истока мысли не исключает присущую ей связь с сущим[24]. Вложив в тезис о принадлежности всю общность принимаемых нами значений современной философии, мы превращаем «само собой разумеющееся» в концептуальное вопрошание. Вслед за Гегелем мы подозреваем, что спрашивать не только о том, что такое *абстрактное и конкретное* в приличном обществе не принято, но и о том, что же сегодня понимать под русской или, что болезненнее, современной русской философией? Но верно и то, что философ всегда ставит неловкие вопросы.

Скажем ниже

Проблема русскости не ограничивается тем, о чем было сказано выше. Она имеет ряд нераскрытых аспектов.

1. Трудно не согласится с проницательным В.В. Розановым: «У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства... От этого — наш нигилизм: «до нас ничего *важного* не было! И нигилизм наш постоянно радикален: “мы построяем все с начала”». Не потому ли привилась и по сей день живет формула: «Сын за отца не отвечает». Но сегодня не только не отвечает, но и — вот власть удобной формулы — не может соотнести себя с ним, поставить себя в его условия, произвести процедуру самоопределения. Как результат, — не может настоящее увидеть в перспективе прошлого и посмотреть на конкретную ситуацию с позиции целого и изнутри целого. Впрочем, «маргинальными» издателями и интеллектуалами уже артикулируется потребность «присвоения советского в качестве собственной, а не чужой истории»[25]. В таком признании есть позитивный ресурс.

[24] Философия — интеллектуальный конверсив топоса, из него произрастая, она старательно забывает его культурные и географические границы, претендуя выдать частное за всеобщее. Приведу критическую позицию финского философа, касающуюся данного вопроса: «Те же культуры, которые претендуют на универсальность, на самом деле являются локальными, но стремятся свою локальность скрыть» (Ваден Т. Что такое «локальное мышление»? (Может ли существовать финская философия? // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики. 2008. № 3. С. 91). В свете нашей проблемы точка зрения финского автора прямо ставящего вопрос о возможности финской философии, на который он, транслируя как внешнюю оценку, так и распространенное мнение самих финнов, казалось бы, столь же определенно ставит крест: «Если и существует мышление, выраженное на финском языке и не являющееся европейским или американским, то оно будет оцениваться как проблема, подобно тому, как проблемой считаются туземные религиозные ритуалы». Но такая само/уничижительная точка зрения не устраивает автора. В своей статье он пытается ответить на вопрос «если локально мышление — скажем, финское мышление — было возможно, то *как* именно?» (Там же. С. 89). Среди условий возможности финской философии, выделяется *обязательное* условие: «творческая реконструкция тех узлов опыта, которые делают возможной не-западную жизнь. «Примесность и асубъективность не обязательно предполагают бесформенность, незрелость или примитивность, невыразимость или бессознательность» (Там же. С. 102). Эти качества, по мнению Тере Ведена, востребованы в современных условиях выживания человека и поэтому, финская философия возможна. Откажем ли мы специфике русского опыта в ресурсе понять настоящее и выработать адекватную месту и времени стратегию выживания?

[25] Провокация? Безусловно! Интервью Александра Иванова // Ex Libris НГ. № 33 (244), 19.09.2002. С. 7.

2. По поводу русской философии существует предрассудок, что круг ее философов ограничен XIX и началом XX века, делая исключение лишь для М.М. Бахтина, А.Ф. Лосева и М. Мамардашвили. Когда же проводится сравнение западной и русской философии, то делается это по разному основанию: западная берется в современном ее изводе, а русская — начала прошлого века. Что касается современных философов, то уже упоминавшийся Эверт фон дер Цвеерде, полагает, что философ в России должен отказаться от предиката русский[26], провоцируя поставить вопрос о самоопределении в режиме *настоящего* времени. Итак, его требование дискриминационно, так как, с одной стороны, никто ведь не заставляет современных немецких, французских и прочих западных философов отказаться от национальной составляющей их мысли. С другой — его требование оправдано тем, что под русскостью часто понимается возвращение к тому стилю мысли, который господствовал в прошлом и даже позапрошлом веке. Такой консерватизм и традиционализм оказывается инвалидным в попытках соотнестись с актуальными процессами.

3. Современной русской философией игнорируется то, что я бы назвал теорией «среднего уровня». У нас практикуется либо высокий уровень абстракции, например о темпоральности сознания очищенного от эмоционально-чувственных восприятий, либо уровень журналистики и публицистики, на котором обсуждаются злободневные проблемы, которых чураются философы; словно незыблемо верят в справедливость мнения, приведенного Платоном: «они вдаются в мелочи, значит они нищие». Особняком стоит фигура В.А. Подороги (не поэтому ли писатели и культурологи из жюри премии «Андрея Белого», запеленговали его особость и признали его текст достойным победы в номинации «Критика» за 2001 год). Отсутствие инвестиций философов в интеллектуальное поле; нет их мнений по актуальным проблемам, касающимся каждого человека (эту функцию перехватывают сегодня у журналистов и публицистов культуралы), — убедительное тому свидетельство.

Отсутствие того уровня анализа, который, не теряя глубины рефлексии, не забывая об умозрении и подозрении, о неявных причинах, позволяет все же говорить о явленном жизненном противоречии. Примером такого анализа могут служить и вечные башмаки и «Картина мира», написанные по конкретному поводу, тексты Ж. Делеза, М. Фуко, П. Бурдье, П. Боянича, С. Жижека и П. Слотердайка.

4. Михаил Гаспаров как-то заметил, что древнегреческий полис был создан щитом с двумя рукоятями, которым можно было прикрывать друг друга, что

[26] Есть на этот счет другие мнения. Так немецкий исследователь русской философии Хартвиг Франк полагает, что «для западных мыслителей XIX в., например Бауэра и Ницше, Россия являла собой власть режима в Европе и для Европы, от которой можно было ожидать новых и позитивных свершений и действий, но которой следовало бы опасаться. При этом ожидания и опасения формировались на фоне точки зрения на западную Европу, которая была ослаблена после революционных потрясений и культура которой, как казалось тогда, была в кризисе. Спасение европейской культуры связывали с политической силой России (Frank H. Experimentierfeld der Aufklärung oder Schicksalsmacht für Europa. Russland in der Reflexion der deutschen Philosophie im 18. und 19. Jahrhundert // Credo New. Теретический журнал. 2008. № 3. С. 39)».

повлекло появление «сплоченного строя» — главной военной силы греков. Российскую же интеллектуальную атмосферу по-прежнему определяет «длинный меч» и щит с одной рукоятью. В результате мы имеем рыхлое коллективное тело, не схваченное философской традицией. Здесь каждый один в поле воин и все против всех[27]. В ходу вера в возможность создания *своей* (не в смысле русской, а в смысле своей собственной, личной, которая тщится стать настоящей, популярной) философии ex nihilo, характеризующая родовой признак отечественных мыслителей, у которых нигилизм в крови. Замечу, что ситуация непризнания своего, в том числе своего прошлого — не нова. Так, если в Европе не может быть философа самого по себе — он должен называться и рекомендоваться учеником кого-то, продолжателем школы, укорененной в национальной традиции, — то феномен русскости, как мы помним, является досадной помехой. Как в живописи, где художник может спокойно признаваться во влиянии на свое творчество картин мастеров ушедших эпох, например прерафаэлитов, тем не менее, сказать, что его учитель Рембрандт или Дега — проявить нескромность, он всегда укажет своего непосредственного учителя. В наших же палестинах, человек не стесняется, не видит противоречия, не считывает вскинутых бровей иностранного, случись такой, собеседника при заявлении, что его учитель Гуссерль или Хайдеггер, забывая, правда, снестись с ними и спросить об их согласии взять в их ученики. Равно как и «собеседники» Гуссерля, которые, игнорируя весь корпус критической литературы, все дискуссии, могут побатаевски заявить: «Если бы не было Гуссерля, я был бы им». Но его личные обстоятельства, вряд ли привлекут соотечественника, кто в будущем захочет говорить с *самим* Гуссерлем в его поле мысли и на его языке. И напротив, интересен как раз тот, кто *не считает себя обязанным всюду строго следовать духу и букве гуссерлевской философии* (Я.А. Слинин).

5. Борьба за подлинность истоков философской традиции — это не столько исток мысли, сколько ее ресурс, справедливо полагают Ф. Лаку-Лабарт и Ж.-Л. Нанси[28]. Это привлекательная схема. Так, например, петербургский философ Вячеслав Сухачев на конференции «Самоопределение философа в современной России»(12.04.2001) предлагает радикальную трактовку отечественного философа: “философ может быть только на собственном основании. Нет истории философии. Все философские системы подобны архипелагам, и дело мыслителя — выбрать, на каком из них жить. Он может читать только Аристотеля и ничего больше и быть философом, философом на собственном основании, а уж потом мыслить о политике, человеке, обществе и искусстве». По поводу акту-

[27] Это является отражением общей ситуации. Как отмечают исследователи: «Те, кто занимается сравнительными социологическими исследованиями России и стран Европы, говорят, что более индивидуалистического общества, чем в современной России, в Европе просто не существует. Ценности «Святой Руси» присутствуют скорее в качестве «тоски по идеалу», а в жизни мы наблюдаем во многом их противоположность. Это же касается и очень многих иных характеристик современной русской нации. Как показывают специальные исследования, современные россияне очень бедны «сверхидеями»» (Бызов Л. Русское самосознание и российская нация // Апология. 2007. № 10).

[28] См.: Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. СПб., 2002.

альной ситуации в отечественной философии он заметил: «Современной русской философии весьма часто свойственно представлять переживаемое Россией время как некий пункт исхода, нулевую точку отсчета. Все предшествующее объявляется несуществующим или, по крайней мере, не имеющим исторического бытия, “ темным временем” невежества и хаоса. Все это происходит в ситуации медленной эрозии, мгновенного коллапса различного рода институций (идейных, концептуальных, символических, дискурсивных, социальных и т.п.), интенсивных процессов социокультурного “раз-очарование” [Entzauberung], что влечет за собой потерю социальной, экзистенциальной, культурной и, конечно, философской идентичности. Рецепция “русской идеи” для определенной группы философов стала своего рода ответным шагом на эти трансформации, шагом двойственным и парадоксальным в размерности философского мышления».

6. Проблема русскости философии трудна еще и потому, что невозможно вычленить *русскую* философию из философии на русском языке, говорящем, например, от российских мусульман, буддистов, иудеев, а также от русских американцев, немцев и т.д.

7. В русле художественных поисков новой предметности, подлинности и искренности можно увидеть параллель с поисками адекватного языка описания философии. В художественной позиции нет места самодовольству и обману, сочувственно относясь к миру, она не игнорирует масштаб отдельного человека. Так, надо думать, и в философии.

8. Русская философия ретроактивна; она довольствуется тем, что было, что вошло в ее архив, стало предметом исследования. К последним по времени русским философам, согласно дисциплине «русская философия» относят М. М. Бахтина и А.Ф. Лосева, допускают М. Мамардашвили. Ее — русской философии — сфера четко разделена на собственно русских философов и специалистов по русской философии. Но если обратить свой взор к другим географическим регионам, в которых формируются философские сверхдержавы, то заметим, что к немецкой, французской, английской философии относят себя (а мы в этом не видим ничего зазорного) и ныне живущие философы. Не так у нас. Ретроактивность и, я бы добавил, апокрифичность русской философии оставляет предикат русскости уместным лишь в отношении своей истории, к ее серебряному (миновавшему золотой) веку. В исследованиях мы не увидим ни место, из которого говорит мыслитель, ни приращение аналитических возможностей, которые дает современная философия. То, что понимается сегодня под «Русской философией» — институционально оформленной в кафедры с соответствующим названием — это философствование изнутри, в ее терминах, в ее архаичных исследовательских полях. Точный диагноз В.С. Малахова в отношении хайдеггерианцев: трактовка произведений мастера — ритуал, который "осуще-

ствляется только в терминах объясняемого текста"[29], уместен и в отношении дискурса *о* русской философии с позиций русской же философии. По-видимому в этом причина того, что радикальность и сила мысли В. Розанова или К. Леонтьева до сих пор не нашла столь же глубокого аналитика. Есть биографии, толкования, интерпретации: передача их мысли *другими* словами, — но нет аналитики, актуализирующей его мысль в размышлении о современности.

9. И наконец, в настоящем, нет не только русской философии, но и русского философского языка — тезис обосновываемый Н. Плотниковым на международном коллоквиуме «Национальный миф. Отечественная философия и литература на рубеже эпох» (10-11 сентября 2008. Институт Философии РАН). Но не странно ли, что убедительные и, надо думать, философские аргументы, уважаемый оппонент приводит нам на языке, который их не выносит? Что-то здесь не так.

Неловкие предложения

Итак, самоопределение русской философии — это не модная тема конференций, но злободневная задача философов, пишущих на русском языке. И пока она будет игнорироваться и вытесняться, отмеченные проблемы будут расти темпами прироста жителей в латиноамериканских мегаполисах. Не за горами осознание глубины проблемы, для решения которой понадобятся оперативное вмешательство: открытия Советов по защите диссертаций по специальности «Современная российская/русская философия» и одноименных кафедр на философских факультетах, критических журналов, премий, массмедиального сопровождения философских событий. При этом возможно закрытие отдельных кафедр русской философии, соединение их с кафедрами истории философии, что обостряло бы контекст возникновения и развития современной русской философии. Естественно, можно предположить, что ресурс отечественной философии еще не востребован, поскольку еще не исчерпались западные интеллектуальные кредиты (в связи с утверждением болонской системы этот термин приобретает дополнительное звучание): не все важные книги переведены, не все направления освоены.

И все же, полагаю, вначале должна быть выработана новая максима в отношении истории отечественной философии: *не думай, что русская философия хуже всех, но не думай, что она лучше всех*. Следствием этого будет осознание того, что современная русская философия не является *простым воскрешением* «русской философии», как и не *простым переносом и усвоением* чужого опыта мысли (включающего опыт жизни — выживания и проживания — в этом локальном ландшафте, в этом топосе, в этих условиях). Современная русская философия — фрагмент современной русской культуры, которая во многих фраг-

[29] Малахов В. Фридрих-Вильгельм фон Херманн — автор «Бытия и времени» [рец. на: Ф.-В. фон Херманн Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля / Пер. с нем. И. Инишева. - Томск: «Водолей», 1997. - 96 с.] // Пушкин. 1997. № 4. С. 36.

ментах — в части дорог, среды обитания, экологического сознания и политической культуры — еще только формируется. Современная русская философия еще только обретает себя.

Сделаем вывод: ресурс русской философии подобен отечественному стабилизационному фонду — он не для нас, для будущих поколений или на случай форс-мажорной ситуации. Написав эти строки летом, уже сейчас (ноябрь 2008 г.) вынужден признать, что «стабфонд» не очень удачная метафора, поскольку он весьма скоро оказался востребованным в ситуации мирового финансово-экономического кризиса, а вот потребности ни в русской философии, ни в современной русской философии не заявила о себе.

Что-то еще должно произойти.

Наш ресурс

Не пора ли, наконец, осознать, что те, кто мыслят *за нас*, на самом деле мыслят против нашей воли.

ПОХОРОНЫ И ТОРЖЕСТВА
(к скриптополитике и скрипторелигии русской интеллигенции)

В.А. Шкуратов
Южный федеральный университет

Интеллигенция и классики

Какая политика развёртывается в России на похоронах знаменитых либертинов литературы, искусства и на чествованиях их памяти, запоздало устраиваемых общественностью и властью? От похорон Пушкина в 1837г. до похорон Высоцкого в 1980м уход из жизни вольного художника даёт его почитателям возможность продемонстрировать проблески социальной самоорганизации в полицейском государстве. Переживание печальной неизбежности, скорбь по ушедшему – такие общечеловеческие эмоции, что никакая власть не может запретить их без риска утраты некой базисной солидарности с управляемым обществом. Разрыв в тотальном администрировании заполняется снизу. В России возникает альянс биологии и литературы. Он расширяет трещину в покрове государственного единообразия посредством наслаивающихся вокруг печальной неизбежности социальных прецедентов. Похоронно-меморативный ритуал – самостоятельный и весьма важный сюжет русской истории XIX – XX вв. В предлагаемой читателю статье он будет затронут постольку, поскольку даёт автору возможность показать политико-литературный генезис российской интеллигенции.

В том, что похороны и торжества – политика, едва ли можно сомневаться. Внутри большой исторической протяженности она является моментом движения российской литературной цивилизации (если отправляться от культуры) и поддержания идентичности российской нации (если отправляться от субъекта этой культуры). Для гуманитарной науки конца XX – нач. XXI вв., знающей социальность как порождение дискурсивных практик, то и другое –стороны одной медали. Несколько литературных имен, принятых за константу культурной идентичности, служат единству российского народонаселения от Александра I до Путина и Медведева не меньше, чем общая территория, административный надзор, хорошие цены на лес, зерно, пеньку, газ, нефть и т.д.

Цель данной статьи – соотнести сквозные литературные длительности российской цивилизации и моменты их политизации. Длительности обозначены

как «наррадигма», их политико-идеологическая реализация как «скриптополитика» и «скрипторелигия». Закавыченные термины авторские. Чтобы не отвлекать читателя от исторического материала, я помещаю теоретические разъяснения, выходящие за пределы первоначальных, в примечания.

Политико-литературный дискурс напрашивается на сравнение с паутиной. В колышущейся ткани интеллигентских рассуждений при желании можно увидеть также и паутину au naturel, структуру изделия натуральных ткачей класса Arachnoidea. Действительно, некоторая общность строения просматривается. Радиальные нити, идущие к центру, дают каркас, по которому паук обводит кольцевые слои своей ловчей сети. Паутинное колесо разрастается в окружности, поскольку имеет хорошие крепления. Оно может окутать значительное пространство при надёжно устроенной основе. Размах интеллигентской паутины также зависит от продольных составляющих. Ведущих радиальных нитей в культуре наперечёт, они именные, авторские. Сохраняться в культуре десятилетиями, а то и столетиями удаётся немногим. Кому удаётся – становятся костяком культуры. На них крепятся отростки и продольные перемычки системы. Такие линейные структуры и названы у меня наррадигмами (см. Шкуратов, 1994, 1997, 2001; Шкуратов, Бермант, 1998): пушкинская наррадигма, наррадигма Достоевского, чеховская наррадигма и т.д. Эти стволовые конструкции образованы авторскими нарративами. Последние вместе с биографиями эпонима, воспоминаниями о нём, комментариями к его произведениям и т.д. образуют авторский архив. Хотя архив разрастается вширь, линейный характер наррадигматических образований поддерживается их продолжительностью во времени, циклами их воспроизводства, названными мной наррадигмальными фазами[1].

[1] В моих работах, указанных выше, фигурируют пять фаз наррадигмы: апокриф, канон, гуманизм, гуманитарность, человекознание. В данном же тексте я расширяю перечень ещё на одну фазу – беллетристики. В модель вводится литература в собственном значении слова, т.е. как сфера производства и потребления художественного вымысла. Беллетристика помещает читателя в мир «как бы», стараясь не нагружать его ни сложными идеями, ни социальными обличениями, ни моральной требовательностью, ни углублённой рефлексией, ни экспериментами с формой, ни чем –либо другим, выходящим за пределы развлечения словом. Литературная выдумка институциализирована как выдумка. В беллетристике не следует искать ничего, кроме вымысла. Эфемерность несуществующего мира с лихвой компенсирована размахом художественно-издательской индустрии, престижем модных произведений и авторов, социальной и психологической функциональностью легкого чтения. Как фаза наррадигмы беллетристика идёт вслед за каноном. Она делает писателя профессиональным литработником, а читателя – потребителем досуговой сферы производства. Однако полная институциализация и профессионализация для искусства опасна. Это мешает художнику претендовать на звание учителя, пророка, критика нации. В индустрии развлечений квалифицированный фабрикатор вымыслов оказывается рядовым участником команды, выпускающей коллективный развлекательный продукт. В наррадигматической последовательности место профессионала-беллетриста между канонической недоступностью кумира и доверительным общением гуманиста. Беллетристическое отношение – функциональное, коммерческое, специализированное. Оно не сулит ни захватывающих открытий, ни высокого пафоса, ни экзальтации. Оно временное, расписанное, компенсаторное. Писатель инстинктивно стремится выйти из этой позиции за счёт приобретения дополнительных функций, которые приписаны к наррадигматическим фазам до и после беллетристики. В то же время беллетристике поступают предложения от общественной деятельности, политики, религии, науки. Приемы профессиональной беллетристики привлекательны для всех, пользующихся письменным словом. Институты и практики письменной цивилизации нуждаются в персонализации и осюжетивании своих текстов и положений, в их популяризации, в повышении их психологической воздейственности, в их «читабельности» и эстетизации,

Указанный подход даёт возможность работать с историческими последовательностями, а не просто с текстуальными массивами, ценностными суждениями и отдельными документами. Впрочем, в предлагаемом читателю анализе я уделю внимание не столько диахроническим наррадигматическими последовательностям, сколько встречам наррадигм, их политико-литературным площадкам, крупным общественно-культурным акциям, которые в России XIX – XX вв. приходятся почти исключительно на писательские похороны и годовщины.

Окололитературная публика выступает здесь восприемницей некоторых фаз наррадигмы. Предшественники интеллигенции – кружки читателей и почитателей талантов, компании по изучению всяких «измов». Эти скриптогруппы составят структурные единицы общественно-политического тела скриптокласса интеллигенции. Особенность интеллигенции как разновидности литобщественности в том, что она берёт на себя роль опоры и распространения политизированной словесности, служит ей, разбившись на «партии» по литературно-идейным симпатиям (эти группировки – предшественницы настоящих политических партий). Политизируя и дифференцируя сферу вольной словесности, интеллигенция представляет последнюю как собственный проект национального развития страны, альтернативный тому, который осуществляет её альтер-эго – бюрократия (известное разночтение понятия интеллигенции как идейно-общественной оппозиции и как профессий умственного труда мной не рассматривается). Интеллигенция предполагает, что она может делать ещё нечто, кроме чтения, производства и распространения слов. Это, по большому историческому счету, заблуждение. Когда интеллигенция переходит к делу, она быстро перестает быть интеллигенцией. В апогее скриптополитики происходит наращивание словесной массы, которое оказывает влияние на состояние общественной системы, и временами очень сильное (см. Шкуратов, 2005). Однако слова, выходящие за пределы слов, оказываются чем-то другим, чем на бумаге. В.И. Ленин, начинавший сугубо интеллигентски – изданием общероссийской газеты, уже мало напоминает российского интеллигента в гуще своих судьбоносных дел.

Я буду придерживаться версии окололитературного modus vivendi российской интеллигенции. То, что в историческом движении Пушкина, Достоевского, Толстого есть очередная фиксация их национальной принадлежности и значимости, то для интеллигенции есть место её сборки, производимое в горизонтальном пространстве меж стволовых линий. Я понимаю, что такая геометрия несколько умаляет высокое значение интеллигенции. Однако она даёт шанс согласовать взаимоисключающие тезисы. Первый гласит, что Пушкин, Достоевский, Тургенев, Толстой, Чехов – прародители, учителя или воплощения интеллигенции. Этот тезис разрабатывался до революции в «Истории русской интеллигенции» Д.Н. Овсянико-Куликовского и был доведён до аксиомы в совет-

поскольку доводы идут через олитературенное сознание, с использованием налаженных механизмов воздействия на него. Возникают альянсы между литературой и её соседями. Это распространение литературы вширь (беллетризация) порождает такие гибриды, как скриптополитика, скриптонаука, скрипторелигия.

ские времена. Второй тезис утверждает, что интеллигенция проходит, а Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев, Чехов остаются. Его отстаивал в «Вехах» П.Б. Струве. Для редактора кадетской «Русской мысли» интеллигенция – это социалистическая и атеистическая оппозиция царскому режиму. «Русская интеллигенция как особая культурная категория есть порождение взаимодействия западного социализма с особыми условиями нашего культурного, экономического и политического развития. До рецепции социализма в России русской интеллигенции не существовало, был только образованный слой и разные в нём направления» (Струве, 1991, с. 165). Эта оценка дана в запале полемики и в горьких раздумьях над первым массовым опытом реального политического действия интеллигенции в 1905-07 гг. Разделительная линия в образованном сословии видится Струве чётко:

«Достаточно сопоставить Новикова, Радищева и Чаадаева с Бакуниным и Чернышевским для того, чтобы понять, какая идейная пропасть отделяет светочей русского образованного класса от светочей русской интеллигенции. Новиков, Радищев, Чаадаев – это воистине Богом упоённые люди, тогда как атеизм в глубочайшем философском смысле есть подлинная духовная стихия, которою живут и Бакунин в его окончательной роли, и Чернышевский с начала и до конца его деятельности. Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, и Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто «историческое различие». Это не звенья одного и того же ряда, это два по существу непримиримые духовные течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу» (цит. соч., с. 156). Слово «интеллигенция» имеет здесь очень определённое, но крайне узкое значение: одно из течений идейного спектра. Литература автором «Вех» из интеллигенции вычитается, потому что, к счастью, атеистически-социалистического искуса в основном избежала. Интеллигенция же произросла на журнально-газетной основе: « В 60х годах, с их развитием журналистики и публицистики, «интеллигенция» явственно отделяется от образованного класса как нечто духовно особое… Замечательно, что наша национальная литература остаётся областью, которую интеллигенция не может захватить. Великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика. Белинский велик совсем не как интеллигент, не как ученик Бакунина, но главным образом как истолкователь Пушкина и его национального значения» (цит. соч., с. 156). Впрочем, прикидывать «интеллигент или не интеллигент» временами приходится с некоторым сомнением, на глазок, отказываясь от заданной чёткости. Лев Толстой, хоть и отщепенец, но вне русской интеллигенции, потому что религиозен. Герцен нерелигиозен и вроде бы носит мундир русского интеллигента, а всё-таки не тот человек, не тот духовный тип, что Чернышевский. Со славянофилами ясно, они религиозны и не отщепенцы. Русские либералы считают долгом носить интеллигентский мундир, но не отщепенцы.

Струве хорошо понимал преходящий характер интеллигенции, но он недооценивал длительность исторического момента её существования и разнообразия её форм. То в явном, то в скрытом обличье «умственная прослойка» просуществует весь XX век, дотянет и до XXI го. Сейчас мы знаем, что и верующая интеллигенция бывает. Веховцы тоже интеллигенты, своими оценками они участвовали в политике газетно-журнальных партий. Историко-культурный цикл интеллигенции прочно совмещён с литературой хотя бы в качестве публицистического арьергарда и мэйнстрима последней. Иначе говоря, скриптополитики, продвигающей своих авторов в игре за утверждение собственной разновидности письма в переходном модернизирующемся обществе. Разновидность эта – весьма специфический поперечный отвод литературы и одновременно – цикл её главных наррадигмальных линий. Указанные положения я по мере сил попытаюсь развернуть диахронично, посредством фаз наррадигмы, и синхронично, в метафоре межнаррадигмального пространства между главными литературными стволами[2].

Ещё одно замечание касается источников теоретических взглядов автора. В определенной степени они сочетают Т. Куна и М.Фуко. Модель наррадигмы замышлялась как гуманитарная альтернатива теории парадигмы. Куновская идея о том, что школы конкурируют как биологические виды, слишком абстрактна также и по отношению к литературным партиям. Конкуренцию видов придется заменить политикой, смешав последнюю с дискурсивными практиками. Дискурс является самодвижущейся системой, порождающей в себе также и фигуры дискурсивных деятелей, его агентов. В российском случае пара «знание-власть» уступает место паре «власть – литература». Однако новый двучлен нуждается в усложнении. Интеллигенция – потенциальная власть, которая выращивается из литературы. Политика литературных партий, переделяющих поле художественного вымысла, совмещается с более имплицитной и одновременно более амбициозной стратегией подачи интеллигенцией себя как национальной силы. Эта политика до времени творится в сфере окололитературных проектов национального пути. Она опирается на авторитет знаменитых писателей, которые возводятся в ранг интеллигентских предтеч и вождей. Её кон-

[2] Положение интеллигенции как своего рода соединительной ткани между стволами-наррадигмами не исключает, разумеется, её собственного нарративного ствола. Он состоит из рассказов об интеллигенции. Отличие интеллигентских нарративов от собственно литературных в том, что первые складываются в действии вокруг литературы и политизируют её. Для писательских же эпонимических наррадигм тема столкновения с властью государства или денег далеко не единственная. Интеллигентский дискурс сооружает вокруг большой литературы политический контекст, но сам большой литературы не создаёт. В этом нетрудно убедиться, сравнив Достоевского, Толстого, Чехова с Боборыкиным, Чернышевским, Савинковым. Ствол интеллигентской наррадигмы соединяет окололитратурные площадки-контексты в подобие сплошной исторической линии, потому что разрабатывает тексты национальной идентичности в аспекте социальной борьбы за свободу самовыражения. Самовыражение же крупного писателя в заботы с цензурой или с коммерческим распространением его продукции не укладывается. Оно открывает первичные формы существования Я в мире (по крайней мере, в письменно опосредованном мире). Политико-общественный менеджмент его открытий берёт на себя интеллигенция. Хотя сплошь и рядом писатель вынужден сам пристраивать свои «нетленки», а публицист и правозащитник углубляться в экзистенциальные темы, мы не должны смешивать базисное самовыражение посредством слова с инфраструктурой и условиями печатной коммуникации.

цептуальный фундамент и продукт – картина социокосмоса, воспроизводящая трехчастный сословный порядок средневековья в секулярной форме. Себя интеллигенция помещает в качестве светского духовенства между властью и народом (см. Шкуратов, 2005). На указанной идеологической основе, в журнально-газетном формате, интеллигенция продублирует все темы реальной политики, внешней и внутренней, создавая как бы свой теневой кабинет (много теневых кабинетов), готовясь к смене строя, во время которой эта интеллигенция исчезнет. Но исчезнет она много позже событий, о которых идет речь. А речь – о пушкинских торжествах 1880 г. вместе с их кануном и литературно-политическим шлейфом. Похороны, торжества, опять похороны, опять торжества обеспечивают интеллигенцию межнаррадигмальной площадкой, на которой происходит её, интеллигенции, сборка.

Если принять, что 1837г. – траурная веха раскола российского образованного общества и зарождения векового («на век») оппонента просвещению сверху, то 1880г., скорее, имеет смысл преодоления раскола. Пушкинские торжества проводятся по общественной инициативе с разрешения и при полной благожелательности власти. Как и куда идти двум силам российского просвещения? Оппонент власти уже созрел. Он проводит смотр своих рядов, определяет стратегию и тактику. Среди возможных вариантов – конфронтация, подчинение, симбиоз, передел сфер влияния или деполитизация, уход от пресловутых забот политической эмансипации.

В пушкинском празднике на первом месте – Литература, которая приведёт Россию к светлому будущему. Исторический момент таков, что все надежды сконцентрировались на «законном месте свободной литературы, персонифицированной в Пушкине, и на уникальной конвергенции представляющих её сил» (Levitt, 1989, p.3). За четыре десятилетия без Пушкина как будто подтвердилось удивительное свойство русской литературы, замеченное Белинским: «Литература наша создала нравы нашего общества, воспитала уже несколько поколений, резко отличающихся одно от другого, положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто вроде особенного класса в обществе, который от *обыкновенного среднего сословия* отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собой через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе» (Белинский, 1982, с. 36).

Наличие рассеянных по всем сословиям писателей и любителей чтения осталось бы без больших последствий, если бы сама литература не испытала стремления к жизни и практике, не насытилась бы «реальным содержанием» и не дала густых ответвлений в политику и общественную мысль через журналистику. Сословие, созданное такой идеологизированной и политизированной литературой, к 1880г. уже имеет имя: интеллигенция. Оно противопоставляет себя официальному просвещению – власти – и её бюрократической письменности.

Оно пытается обзавестись квазисословной картиной социокомоса из трёх слоёв: власть – светское духовенство – народ. Однако момент таков, что власть и масса олитературенной общественности как никогда склонны к историческому компромиссу. Учтём, что пушкинские торжества происходят в промежуток между неудачными покушениями на императора и фатальной удачей террористов на Зимней канавке 1марта 1881 г., в месяцы «диктатуры сердца» М.Т. Лориса-Меликова, когда власть обещает обществу конституционные реформы. Поэтому вертикальные отношения, коннотируемые в указанной картине, имеют характер ответа на зондирование общественного мнения сверху. Варианты ответа кодируются с помощью первостепенных литературных фигур. Две из них, Пушкин и Некрасов, составляют контрастирующую пару.

В диахронии мы имеем движение двух наррадигм, каждая из которых проходит свою каноническую фазу. На синхронном же срезе интеллигентской скриптополитики два поэта противопоставлены как носители разных установок интеллигенции по отношению к власти и народу. Хождение в народ 1870х гг. для многих его участников было сентиментальным литературным путешествием молодых людей, начитавшихся Н.А. Некрасова. Так, например, считал народник и народоволец Н.А. Морозов: «К концу этого периода своей жизни из разговоров со всеми товарищами я уже окончательно убедился в том, что ни они сами, ни преследующий их абсолютизм совершенно не подозревали, что повальное движение того времени учащейся молодёжи в народ возникло не под влиянием западного социализма, а что главным рычагом его была народническая поэзия Некрасова, которой все зачитывались в переходном юношеском возрасте, дающем наиболее сильные впечатления.

Когда я высказывал это в Женеве товарищам, ходившим в народ, они почти все отвергли это. Многие говорили, что на них подействовала та или другая из тогдашних социалистических книг, тот или другой человек, которого они уважали. Всё это было, конечно, верно с формальной точки зрения, но сами-то указываемые мне источники почему-то всегда рисовали народ именно в некрасовских образах, т.е. в односторонне подобранных, хотя и правдивых типах. Почему эти идеи так легко прививались только тогда, в расцвет некрасовской поэзии? Не потому ли, что душа молодых поколений уже была подготовлена к ним Некрасовым с ранней юности, уже напилась из его первоисточника?

Велико могущество истинной поэзии и романа на общество, оно много больше влияния самых лучших общественных трактатов.

Почитав трактат, большинство даже очень интеллигентных людей через неделю не может рассказать его содержание, а поэтические образы и выражения надолго выгравировываются в памяти каждого. Некрасов же был великий поэт, его образы были могучи» (Морозов, 1962, 1, с.352 – 353).

Видимо, в социализации молодёжи 1870х годов Некрасов играет примерно ту же роль, что Пушкин 1820х, Лермонтов и Гоголь 1830 –40х, Чернышевский

и Тургенев 1860х, Достоевский и Толстой 1880-1900х. Отдавая должное певцу народных горестей, Морозов продолжает: «Ещё в те времена я чувствовал инстинктом его таинственное влияние, чувствовал, что благодаря ему движение должно и далее идти в этом же направлении, но привести в результате не к всеобщему опрощению и торжеству безграмотности, а к борьбе с абсолютизмом, который по самой своей природе должен был противодействовать сближению интеллигенции с широкими слоями населения» (там же).

Похороны Некрасова в декабре 1877 г. вылились в антиправительственный митинг. Сравнение политических тактик на некрасовских похоронах производилось просто, выкриком «Некрасов выше Пушкина!».

Литературные мечтания о народе подошли к концу и упёрлись в голое безлитературное действие. В дни смерти и похорон Некрасова завершался большой судебный процесс над участниками хождения в народ. Судебные приговоры сторонникам ненасильственного, просветительского социализма подогрели радикализм молодёжи и повысили привлекательность терроризма. Чем чревата безлитературщина в России, стало видно очень скоро. Для интеллигенции – для самых решительных из тех, кто не захотел возвратиться в классы, аудитории и присутственные места – уклон в чистую политику без прибавления «скрипто» означал при тогдашних возможностях легальной деятельности – револьвер и бомбу в руках, а для власти – потерю ориентиров и обоснований реформаторства, рутину, текучку, администрирование, чрезвычайщину и эшафоты. Одно предполагало другое. Через месяц после некрасовских похорон В.Засулич стреляет в петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова. Этот резонансный выстрел откроет сезон чудовищной охоты на царя, закончившийся 1 марта 1881 г. Морозов считает террористический всплеск рубежа 1870-80х гг. реакцией на пресечение литературных мечтаний и прогулок молодёжи. «Если б правительство не помешало нам в то лето ходить по деревням со своими книжками и раздавать их безграмотным или полуграмотным прохожим на цигарки, то к осени мы все без исключения возвратились бы в свои учебные заведения. И мы продолжали бы научные занятия в полном убеждении, что новый бог, которого мы создали себе вместо старого, библейского, ещё не в состоянии осуществить наши идеалы и немедленно создать во всей её красоте новую жизнь, в которой люди узнают друг в друге своих сестёр и братьев и каждый будет уже сейчас готов отдать свою жизнь за ближнего» (цит. соч., с. 205). Культ народа-страдальца обрывался в антиправительственную герилью городских партизан-народовольцев. Политическая фигура усопшего поэта неожиданно приобретала красноватый оттенок.

Олитературить зияющий разрыв между интеллигенцией и властью, перебросить через него ещё на 30-40 лет мостик скриптополитики предстояло Пушкину. В пореформенной России только пушкинская лира могла скрепить стратегический компромисс «власть-интеллигенция-народ» в форме литературной фантазореальности, на которую обречены эти отношения при отсутствии пред-

ставительных учреждений. Когда движение к последним было сорвано удачным бомбометанием 1 марта, власть тоже взялась за Пушкина. Всеимперский помпезный юбилей 1899г. – такая же кульминация дореволюционной государственной скриптополитики, как юбилей 1937 г. кульминация послереволюционной сталинской. Торжества же 1880г. – проба пера, предложение компромисса со стороны лояльной интеллигенции.

Пушкинской речи Достоевского предшествует его слово на похоронах Некрасова. Похороны Некрасова, как и пушкинские, были, говоря в терминологии наррадигматической модели, стихийной канонизацией поэта. На погребении Некрасова присутствовало много учащейся молодёжи. Выступая, Достоевский поставил усопшего вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Голос из толпы крикнул, что Некрасов выше. Критик А.М. Скабичевский в «Биржевых ведомостях» превратил этот выкрик в единодушный вердикт толпы.

Достоевский воспользовался декабрьским выпуском «Дневника писателя» за 1877г., чтобы разобрать отношение Некрасова к его предшественникам и набросать положения, которые прозвучат в пушкинской речи. Для начала он исправляет ошибку молодёжи.

Достоевский осаживает непомерные амбиции некрасовской партии, возвести своего литературного патрона в ранг главного российского поэта. Он действует как политик и представитель одной из литературно-журнальных группировок. Достоевский ведь тоже издатель и журналист, и он – на другом по отношению к «Современнику» и «Отечественным запискам» Некрасова фланге публицистического поля. Идейно-политические различия между «левым» Некрасовым и «правым» Достоевским были утрированы «прогрессивной критикой» и советским литературоведением. Однако трудно не заметить стратегической цели тактических маневров бывшего редактора «Гражданина» и автора «Дневника писателя». Она – в удержании просвещенческой коалиции, которая в России состоит из власти и литературы. Некрасовская партия ведёт к расколу альянса и междоусобной борьбе, что для России – катастрофа. Достоевский хорошо понимает переживаемый Россией момент, и он уже художественно исследовал в своих произведениях превращение читательской сентиментальности в нигилизм и насилие. В некрасовских стонах по страданиям народным он улавливает ноты байронической гордости, выращивающей Ставрогиных и Верховенских-младших. «Что разберёт народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его: «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока ещё – лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и страстью говоривший о народе и страданиях его той ж интеллигенции. Не говорю в будущем, – в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучшего и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходить в очень тяжкие минуты к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать своё измученное серд-

це, – ибо любовь к народу у Некрасова была лишь исходом его собственной скорби по себе самом…» (Достоевский, 1895, с.428-429).

Отстаивая приоритет Пушкина, Достоевский опирается на уже устоявшийся культурный статус поэта: «…я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меняю аршином кто выше, кто ниже. Потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нём. Пушкин, по обширности и глубине своего гения, до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентским мировоззрением. Он великий и непонятный ещё предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца» (цит. соч., 1895, с.427).

Но Достоевский понимает, что аргументировать историческим или эстетическим значением Пушкина перед молодёжью бесполезно. Он бьёт в самый узел популизма: Пушкин и по любви к народу превосходит всех писателей. «Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую ещё никто не выказывал до него» (цит. соч., с. 422). Более того, «Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал как надо любить народ, не приготовлялся, не учился: он сам вдруг оказался народом» (с.423).

Но риторика Достоевского – это не только средство политической аргументации. Достоевский замышляет реканонизацию Пушкина. Опираясь на существующий пушкинский канон, он в обычной для себя манере диспутирует с ним и набрасывает контуры нового образа поэта. Крайняя экзальтированность сравнения Пушкина с солнцем предвещает «Пушкин – наше всё!». Пушкин-народ – это уже скорее мифологема, да и Пушкин-солнце – не простая метафора.

Публицистика соскальзывает к чему-то вроде религии художественного перевоплощения. Пушкин-народ, если попытаться рационально истолковать этот образ, есть литературное изображение русского народа в произведениях Пушкина. Однако такая интерпретация слишком скудна применительно к писателю фантастического реализма.

Достоевский производит любовь из художественного творчества, превращая Пушкина в мессию народнической скрипторелигии[3]. Сопоставление его с

[3] Антропоисторикой я назову совокупность рассказов о человеке и приём их конструирования посредством рассказа. Греческие формы на «ка» (автоматика, грамматика, кибернетика, лингвистика, математика, механика, логика, поэтика, физика, этика, эстетика и др.) вообще более «мастеровиты» в сравнении с «логиями», «графиями», т.к. более отчетливо ведут происхождение от умений в некотором кругу явлений. Грамматика – правило написания букв и качество нашей письменной речи, математика – это всё что относится к миру количеств и в то же время – мастерство исчислений, механика – изготовление устройств и знание о них, логика – правила рассуждения и применение их, физика – всё относящееся к природе, но и весьма практическая любознательность, эвристика – закономерность открытий и также сам процесс изобретений. Все эти науки в той же степени техники, чего не скажешь про историю. В звучании же «история» коннотат конструирования, наоборот, приглушён качествами спонтанности, обыденности, исходной неискусности, которые адресуются рассказу. Энергией направленного усилия повествование уступало учёным ремёслам механиков, математиков, логиков, грамматиков и других «техникосов». История – сомнительное технэ, ведь кто только не сочиняет «басни». Сегодня мы согласимся, что историописание, историография, историология, литература – вполне целенаправленные, профессиональные занятия. К ним приложены и сфера реальности, и приемы её конструирования. Но как же пришлось этим учёным занятиям открещиваться от родства с простым рассказом, украшаться дополнительными эпитетами и добавочными корнями, чтобы стать принятыми в «настоящую» науку! Благодаря нарратологии мы

Некрасовым показывает природу литературной канонизации, поскольку и к Некрасову прикидывается нимб «печальника горя народного»; однако испытания на мессию, даже на первоапостола, усопший сверстник Достоевского не выдерживает – в недрах его любви прослеживается гордыня.

За вполне религиозными по духу причислениями к высшему морально-учительному сану мы не должны упускать политический расчёт. Он, как было сказано выше, коренится в стратегии и целях российского просвещения. Пушкинский народ в его историческом расширении – это всё-таки не простолюдин, а читающий народ России, каким он станет, приобщившись к образованию. Руководить просвещением должны власть с интеллигенцией, проникшейся пушкинской «русскостью». Апостериори можно сказать, что Достоевский совершенно прав и что «русскость» Пушкина гораздо более широка и глубока, чем «русскость» Некрасова. Правда, в исторической ретроспективе объяснение выйдет другим, чем у Достоевского. Пушкин превратился в заглавного автора русской литературной цивилизации из-за направленного хода скриптополитики, делавшего ставку именно на него; массовая русскоязычная читательская аудитория второй половины XX – нач. XXI вв. культурно и психологически есть образованная публика XIX в., а не тогдашнее простонародье.

Тургенев или Достоевский?

Пушкинские торжества 6-8 июня 1880 г. в Москве – своего рода писательский съезд России, от которого устроители хотели отстранить крайне правых и крайне левых. Это не вполне удалось. «Реакционер» М.Ф. Катков смог протиснуться к трибуне и произнести охранительную речь о единении власти и страны. А мнение левых выразил Н.К. Михайловский. Он усомнился в актуальности Пушкина и усилении интереса общества к нему (см. Михайловский Н.К., 1880). Но, по большому счёту, мнение Михайловского распространяется не только на Пушкина. Другие писатели ему тоже неинтересны, т.е. интересны лишь в связи с задачами политической эмансипации. Среди целей последней – свобода слова в правовом смысле, т.е. для широкой публики, а не собственно писателя. Речь идёт уже не столько о литературе как художественном вымысле, а о прессе как изложении фактов. Михайловский представляет интеллигенцию, как её определит П.Б. Струве, и скриптополитику журнального подвида. Но это не вся интеллигенция и не вся скриптополитика[4]. Другую платформу предлага-

знаем, что человек создаётся для себя и для другого в историях. Это его занятие одновременно экзистенциально и технично. Почему бы не сказать тут «историка», назвав так всё относящееся к сфере изменчивости, процессуальности, конструируемой приемами рассказа и производными от него? Если конструируется изменчивость коллективных устойчивостей – социоисторика, если индивидуально-человеческих – антропоисторика. Первая часть слова обозначает устойчивый (сохраняемый в изменении) инвариант изменчивости, вторая – процесс изменения в определенной форме записи. Очевидно, что в нашем словогибриде первая часть инерционна, а вторая же передаёт текучесть рассказа и производных от него.

[4] Скрипторелигию вместе со скриптополитикой, скриптонаукой и другими возможными «скрипто» я помещаю в фазу беллетризации. Как известно, религия есть культ могущественных сил и персон. В скрипторелигии таковыми выступают писатель и его произведения. Скрипторелигия находится в орбите собственно религии.

ет Л.Н. Толстой. Он сам отстранил себя от празднования по идейным соображениям, принципиально отрицая культуру образованных сословий. Толстой приемлет лишь книжки для народа и от народа, хотя на деле будет ещё долго обогащать отрицаемое им искусство своими шедеврами. Его линия в скриптополитике (оставлю за графом пресловуто-чеканное «выразитель интересов патриархального крестьянства») – фольклорно-учительная. Естественно, что Пушкин, за исключением разве что сказок, ему не нужен и неинтересен. Но главные ораторы торжеств – Тургенев и Достоевский. Они представляют в скриптополитике собственно литературу и политику литературы. За ними основная окололитературная масса российского общества. Для них Пушкин – неоспоримый символический капитал, которым надо распорядиться в момент замешательства власти. Однако позиции двух писателей сильно расходятся.

В литературные чтения на открытие монумента главным номером вписался ораторский турнир между Тургеневым и Достоевским. Тургенев, как и Достоевский, не произносит никаких политических фраз. Тем не менее, вполне подтверждает свой либерализм и своё постепенство. Тургенев далёк от обожения поэта. Пушкин, конечно, первопроходец и зачинатель национальной словесности. «Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти два выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?» (Тургенев, 1968, с.71). Оратор сомневается. Он предполагает постепенное вхождение пушкинской поэзии в национальный, а следовательно, и мировой культурный обиход. Так, надо понимать, войдёт в западное сообщество и Россия – с исполнением требований цивилизации и в разумные сроки. Совсем не так мыслит Достоевский. Он видит Россию во главе мира, литературу во главе России, а Пушкина во главе литературы. Но в таком случае, литература – не вполне беллетристика, а Пушкин, подтверждая свои же строки, – больше, чем поэт.

Христианство тоже есть письменный культ. Оно исповедует книжную веру Евангелия и его главного героя Иисуса Христа. Условия, при которых определённые эмоции и приемы религиозного служения переносятся на светскую литературу, были не только в России. Тяжёлые вопросы бытия, никак не желавшие разрешаться, повышенный градус социальных ожиданий и соответственно разочарований, много горя и страданий, непрерывные вопрошания насчёт будущего – такая атмосфера требует веры. Быстро распространяясь вместе с грамотностью и образованием, литература предоставляла свои страницы для эмоций и верований вполне религиозных, но уже покинувших стены традиционных церквей. Скрипторелигии Германии, Франции, отчасти Англии (вспомним Ч. Диккенса) предшествовали религиозному обращению русской светской словесности. На эти внешние предпосылки литературной религии накладывается ход наррадигмального цикла. Персонажи и сюжеты беллетристики – мощный инструментарий воспитания и самовоспитания личности, обустройства её ценностно-моральной сферы, социального познания и т.д., мимо которого общество, разумеется, не может пройти. Чтобы превратиться в наставницу жизни, развлекательной книжке надо обзавестись неким учительным ореолом. Можно спросить: требуется ли такая «облагорожка» самой индустрии дешёвого катарсиса? Дело, разумеется, не в желании, а в том, что для поддержания спроса на развлекательную продукцию весьма помогает какая-нибудь «присадка» к её основной функции: моральная, социально-разоблачительная, патриотическая, научная, религиозная; очень ценится флёр эзотерической мудрости. Звёздам же массовых развлечений для поддержания их популярности предлагается канон скандального кумира, который оказывается в родстве с легендой о своевольном и непонятном гении. Рассказы о трудном пути таланта – процветающий жанр беллетристики. Они готовы к обработке серьёзными аксиологическими составами, в т.ч. религиозного происхождения.

В речи 8 июня 1880 г. Достоевский повторяет тот же прием, что и в прощальных словах над могилой Некрасова. Канонизация поэта идет крещендо и выходит на уровень литературной геополитики. Достоевский без всякой эстетической аргументации ставит Пушкина выше Шекспира, Сервантеса и Шиллера. Его речь (при публикации в «Дневнике писателя», названная очерком) состоит из довольно пространной лекции с разбором нескольких пушкинских произведений и заключительного пророчества о всемирном значении России, сильно возбудившего аудиторию. После пушкинского праздника общественная популярность Достоевского достигнет зенита. На некоторое время он становится российском писателем №1, заменяя в негласном рейтинге Тургенева. Этот «гамбургский счёт», разумеется, условен.

Интересно бы проследить, как баланс весьма эфемерных знаков престижа – аплодисментов, букетов, одобрительных слов и рецензий – соотносится с колебаниями реального политического курса страны (а в том, что он как-то соотносится, есть подозрение). Стрелка барометра государственной политики после 1880 г. склоняется вправо. Конечно, тому имеется явная причина – убийство террористами Александра II и воцарение на престоле и вокруг него консерваторов. Но ведь – поклонников почвенника Достоевского, а не либерала Тургенева. Успех пушкинской речи дал Достоевскому прилив читательского интереса. Выступление на празднике поэта Пушкина стало моментом общественной канонизации писателя Достоевского, причём, с оттенком официального одобрения. Пушкинская платформа интеллигенции в редакции автора «Братьев Карамазова» оказалась ярче, чем в редакции автора «Отцов и детей», и это как-то повлияло на общественно-политическую бифуркацию 1881 г. «Сухим остатком» пушкинского праздника оказалась идея всечеловеческой пушкинской отзывчивости, переплавленная в слова о предназначении России.

Обычно исследователи отмечают эсхатологический темперамент Достоевского, для меня же существенно выявить основные признаки его скриптополитики. Современной (в смысле свободы массового слова) её не назовёшь. В ней отражается законсервированное политико-литературное отношение, которое американский исследователь характеризует с оттенком осуждения: «Объявлять Пушкина гением мирового класса означает в определенной степени санкционировать российский репрессивный политический, экономический, культурный порядок» (Levitt, 1989, p.7). Пушкин как санкция репрессивного порядка – это, конечно, слишком сильно сказано, а вот для обозначения некоторого режима политико-культурных отношений Пушкин подходит. Что же это за режим? Более определенно – речь идёт о производстве того, что я назвал фантазореальностью. Указанное производство совершается в контуре взаимоотношений литературы и власти. Достоевский говорит о долге интеллигенции перед народом и неявно намечает линию «интеллигенция-власть».

Политика литературы как воображаемая политика

В пушкинской речи Достоевский и не думает скрывать, что его предсказания о назначении России, возможно, сплошная фантастика. Однако, «если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чём этой фантазии основаться» (Достоевский, 1895, с. 470). Но, надо понимать, такие мечтания есть и некоторая идеология, которую Достоевский предлагает власти. Не делая явных намёков на претензии литературы, писатель предлагает властям предержащим размежевание, которое напоминает размежевание государства и церкви на Московии.

Позволю себе напомнить два крайних литературных образа Государства, между которыми, как между полюсами, в ретроспективе встроилась пушкинская политика Достоевского. Финальное торжество Единого Государства в знаменитой антиутопии Евгения Замятина «Мы» – прижигание «жалкого мозгового узелка в области Варолиева моста», центра фантазии. Напротив, кремлёвский мечтатель в финале трилогии М.Шатрова о Ленине под девизом «большевики должны уметь мечтать» разворачивает такие картины будущего, что посрамляет профессионального фантаста Г.Уэллса. Реальное отношение государства с «самой свободной способностью ума» (Фрейд) разворачивается между двумя этими гиперболами. Оно осуществляется в ряде мер, шагов и стратегий, которую я и назвал скриптополитикой[5].

В то время как государство собирает «материальное тело» нации – присоединяет территории, ведёт войны, требует повинностей – литература прорабатывает персональную составляющую жизни человека в указанном пространстве. Не отражает – но создаёт особую реальность. Государственный интерес к воображаемому, конечно, не совпадает с заботами литературы. Он идеологичен и прагматичен. Государству небезразличны имидж державы, мораль, правосознание, образование подданных – всё, что относится к общественному порядку, благополучию и развитию общества. Но интерес к т.н. внутреннему миру человека, тем более претензии на его формирование в современном мире, с точки зрения либеральной мысли XIX в., совершенно излишни. Пока государство не отдаст эти прерогативы другим инстанциям, оно не станет современным.

В размежевании административных прерогатив власти и духовных литературы пушкинская речь Достоевского – определенный успех литературы. Он будет продолжен. Вслед за триумфом живого литератора на чествованиях умершего грядёт очередное политико-ритуальное действо интеллигенции возле его

[5] Я разделяю скриптополитику и политику литературы. Если в работе М. Ливитта (Levitt, 1989) literary politics –это обозначение всей российской литературной жизни в её политическом аспекте, то для меня политика литературы – одна из разновидностей скриптополитики. Именно, делающая упор на интересы «большой литературы», на общественные возможности беллетристического воздействия, на условия художественного творчества и формулировании идей посредством художественного вымысла. Профессиональный интерес и мышление профессиональных «собственно писателей», живущих литературным трудом, иные, чем у журналистов или у графа Толстого, занимавшего своеобразную нишу крупного помещика с литературными увлечениями.

гроба. Это произойдёт быстро, через восемь месяцев. Несколько позднее то же постигнет другого пушкинского оратора – И.С. Тургенева. А в 1910 г. возбуждение вокруг похорон Л.Н. Толстого таково, что даёт В.И. Ленину возможность помечтать о новой революции. Лев русской литературы будет до конца жизни отрицать беллетристику. Однако именно он превращает власть художественного слова в России из метафоры в реальность. Между 1880м и 1910м гг. русская литература добивается положения общественного института, равномощного административной власти. Правда, не в правовом значении свободы слова (здесь прогресс трудный и медленный), а в качестве идейного учителя образованного сословия. Есть у неё и своя Мекка – Ясная Поляна. Можно сказать, что пушкинская политика умеренно-консервативной интеллигенции, которую в 1880 г. представляет Достоевский, успешно осуществляется.

Но не будем спорить, чей курс успешнее – Михайловского, Тургенева, Достоевского или Толстого. Лучше разберёмся, что есть литературная политика in stricto sensu.

В России раздел воображаемого затянулся. Границы сфер оказались крайне зыбки, нормы запутанными и по большей части неписанными. Пушкинская линия, если пользоваться юридической терминологией, относится по большей части к прецедентному и обычному праву. Но всё-таки говорить об этом праве можно. Каковы же основные черты российской модели? Во-первых, государственное нормирование преобладает. Оно носит двойной характер – писаный и неписаный. В российской традиции остаётся ощутимый момент патронажа, личных отношений правителя и художника. Отношение это в российских условиях имеет свои минусы и плюсы.

При том, что личное право само по себе есть огромный минус, рудимент патронажных отношений феодализма, в российско-советских условиях оно было некоторым шансом для художника выжить под массивным обезличенным прессом бюрократии и тоталитаризма. Булгаков, Замятин, Пастернак, Ахматова выжили, будучи «чуждыми» и «врагами», благодаря очень странной тёмной протекции «самого». Мандельштам и Бабель погибли, потому что плохо и опрометчиво определили покровителей. Пушкинский урок поучителен как пример именно личного контакта, использования «самого». Потому он эпонимичен. Творческое право – исключительное. Хотя оно – в преддверии гражданских прав и во все эпохи ходатайствует за человеческие свободы, но его нельзя отнести к массовому праву. Оно действует в режиме исключений и привилегий. При отсутствии гражданского права оно удел индивидуальностей. Но отсюда вытекает и универсальный вывод: индивидуальность не может быть массовой. С другой стороны, это урок и для государства. Дар – понятие двустороннее. Творческая полусвобода – это дар общества полной несвободы отдельным представителям, привилегия. Но и гений своей гениальностью преподносит дар человечеству. Отсюда для государства вытекает вывод, что гения не-

льзя вполне использовать. Бенкендорф в записке Николаю обрисовывает контуры государственной политики в отношении Пушкина: он шалопай, но способен. Может быть использован для придания славы государству. Этот аспект является самой сильной картой для гения: он перспективный товар, который возбраняется трепать в сиюминутных целях. Слава, тщеславие империй, память в веках, «фьючерсное использование» – таковы его контуры, которые сам «товар» быстро оценивает и хорошо использует. Гения невозможно употребить «на все сто», он не поддаётся. Но это неудобство восполняется его перспективностью. Творческая свобода репетирует гражданскую свободу, и предвидит её в условиях, когда последняя невозможна. Это один из первых и самых универсальных опытов отношения власти с индивидуальностью. В этом предопыте гражданской свободы под сенью шести виселиц Пушкин неуклонно требует основных письменных прав: а)права на вымысел; б) права на частное изложение своих мнений; в) права на их распространение. Последние пункты отстоять не удалось. Насчёт первого власть кое-что всё-таки поняла. Именно здесь, гораздо определённее, чем в философских дистинкциях, определяется эстетический предмет тяжбы. Он отчленяется от политических, идеологических, полицейских аспектов и приобретает некоторую независимость, во всяком случае, привилегию, и сливается в качестве важнейшего атрибута с личностью творца. Творец легитимизируется в своём своеволии, и это конечно, не гражданско-правовой режим, а режим привилегий. Гений исключение, поэтому и творческое право исключительное. Эти профеодальные, исключительные антиципации свободы, действующие в режиме личных отношений, способны сильно понизить шансы массовой, журналистской линии, если закрепляются в качестве ведущей государственной политики. Исторически глашатаи большой литературы недопонимают её экзистенциально-персонологическую первичность и отказываются от политического промоутерства «журнальной партии». Гранды русской литературы берутся продвигать открытия литературного самовыражения в общественное действие прямо, и продвигают в качестве особой религии. Их ход достаточно охотно принимается властью, поскольку не требует расширения параллельной инфраструктуры массового слова, а требует продумывания идеи, вживания в фантазореальность. Но это сильно понижает реалистичность власти. Она олитературивается, превращается в идеократию, в утопию у власти, в правление кремлёвских мечтателей. Тандем «власть-литература», подменяющий западное «власть–знание», означает циркулирование «как бы» в обоих направлениях: литература наделяется иллюзией реальности, а власть наделяется иллюзией творчества.

Основа этой двойной фантазореальности может быть сильно расширена. Отсюда государственный литературоцентризм, начавшийся в России до революции, по крайней мере, с пушкинского юбилея 1899г. и ставший государственной политикой в СССР.

Несмотря на ломки экономического и социального устройства России, все её режимы – авторитарно-монархический, тоталитарный, авторитарно- демократический – mutatis mutandis проводили политику культурной преемственности. Сохранялась преемственность просветительски-преобразовательной функции государства и его литературоцентрических методов, так же как и преемственность просветительски-преобразовательной по отношению к «массе», посреднически-адаптивной и селективной по отношению к «прогрессивному» и «передовому» опыту Запада функций государства, а также особая роль литературно-словесной культуры, используемой для этого. И сохранялся своего рода пакт между творческой личностью письменной культуры и пользующимся его услугами государством. В отношениях Сталина и Булгакова, Сталина и Пастернака, Хрущёва и Солженицына в известной степени прочитывается та линия отношений, которая предлагалась, как наилучшее выражение русского гения и вклад России в мировую цивилизацию. То, что эта линия оказалась преобладающей в 1880г. – тому подтверждение триумф Достоевского. Но её успех в России был гораздо более долгосрочным. Выступающая под флагом гражданских свобод публицистическая литература прямого слова постоянно должна сжиматься в пользу слова литературного, завуалировано-украшенного. Можно давать разные оценки их балансу. Однако нельзя не услышать за этим консервативное суждение цивилизации о том, что культурная идентичность этноса для неё важнее, чем беспрепятственное политическое самовыражение народонаселения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белинский В. Г. Собрание сочинений в девяти томах. М., Художественная литература, 1982, т.8.

2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. СПб., Изд. А.Ф.Маркса, 1895. Т. XI.

3. Михайловский Н.К. (Н.М.) Литературные заметки //Отечественные записки, 1880, №7.

4. Морозов Н.А. Повести моей жизни. М., Изд. АН СССР, 1962, т.1.

5. Струве П.Б. Интеллигенция и революция//Вехи. Из глубины. М., «Правда», 1991

6. Тургенев И.С. Речь по поводу открытия памятника А.С. Пушкину в Москве // Полное собрание сочинений и писем в двадцати восьми томах. Т. XV, М., «Наука», 1968.

7. Федотов Г.П. Певец империи и свободы//Судьба и грехи России. Т.2. Санкт-Петербург, «София», 1992.

8. Шкуратов В.А. Историческая психология. Изд. 1ое, Ростов-на-Дону, 1994; Изд. 2ое, расширенное, М., 1997.

9. Шкуратов В.А. Пушкинская наррадигма: шаги письменной легитимации//Сотворение истории. Человек. Память. Текст. Казань, 2001.

10. Шкуратов В.А. Интеллигенция в проекте современности//Логос, 2005, 6.

11. Шкуратов В.А., Бермант О.В. Советская массовая культура как случай письменной цивилизации// От массовой культуры к культуре индивидуальных миров: новая парадигма цивилизации. М., 1998.

12. Levitt M. Russian Literary Politics and the Pushkin Celebration of 1880. Cornell University Press, Ithaca, 1989.

Аналитическое правоведение

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА МИШЕЛЯ ВИЛЛЕ

Н.А. Кравцов
Южный федеральный университет

В настоящей работе читатель найдет изложение и критический разбор концепции одного из крупнейших европейских философов права XX века – Мишеля Вилле (1914 – 1988). Несмотря на то, что Вилле являлся одной из самых значительных фигур в истории европейской правовой мысли, а его взгляды разделяют многочисленные последователи в наши дни, его учение незаслуженно игнорировалось отечественной наукой. Предлагаемое исследование призвано устранить этот неоправданный пробел.

Ухватить несколько лучиков света, несколько проблесков – таких капризных, мимолетных, неуловимых – во мраке наших споров. Без всякой пользы, по одному только велению страсти, ибо мы одержимы страстью видеть эту спекуляцию, искать ей объяснение, хотя и сознаем всю ее тщету и обреченность. Она обречена на поражение в абсолютном, ибо обещанное нам есть не чистая спекуляция, но единение духа и деяния через любовь. Она обречена на поражение в преходящем, ибо поиск истины мешает этому миру, тонущему в несвязных делах и не интересен ему. Мир построен на ошибках. Как сможет он возжелать Истины?

Мишель Вилле
Первая запись в первой записной книжке (1958)

Введение

История политических и правовых учений может быть действенной учебной дисциплиной, только если специалисты, занятые ею, станут неукоснительно соблюдать требование системного и аналитического подхода к изучаемому материалу. Не представляя себе всей палитры направлений философско-правовой мысли, нельзя исследовать предмета этой дисциплины качественным образом, поскольку глубинный смысл каждого отдельного учения непостижим без учета предшествующих или современных ему учений. И это независимо от того, идет ли речь о развитии сказанного предшественниками, или об отрицании их достижений; о солидарности с мыслью современников, либо о полемике с ними. Мало толку от тех «специалистов», которые, «глубоко изучив»

отдельное направление, обособленную концепцию, обо всех остальных имеют только поверхностное представление. Каждый исследователь политической и правовой мысли должен, таким образом, четко представлять себе содержание и “персональный состав”, историческое развитие различных школ и доктринальное соотношение их позиций. Соблюдению этого требования не должен мешать тот факт, что зачастую отнесение того или иного мыслителя к той или иной школе носит весьма условный характер. Нельзя, конечно, объять необъятного. Та счастливая эпоха, когда образованный человек мог прочесть все написанное его предшественниками, относится к античности. Однако стремление к максимально возможной широте познаний всегда считалось делом весьма похвальным для каждого, занимающегося гуманитарной наукой.

Общей проблемой современной Истории политических и правовых учений (без качественного преподавания которой, как нам кажется, невозможно формирование подлинно юридического мышления будущих юристов) следует считать плохое и поверхностное в целом знание мысли XX века. Не смешным ли делом было бы для специалиста по общей истории незнание событий двадцатого века, начиная с первой мировой войны? И разве не был бы нелеп медик, который в наши дни имел бы лишь поверхностные сведения о достижениях медицины ушедшего столетия? Историки же политических и правовых учений находятся теперь именно в таком курьезном положении. Не все классические сочинения двадцатого столетия еще переведены на русский язык. О каком анализе, и о какой полноте знаний можно говорить в подобной ситуации?! Задачей исследователей становится теперь исследование в самом прямом смысле этого слова, охота за материалом. Каждый из нас обязан, не дожидаясь пока сторонние переводчики преподнесут нам подарок, сделать свою часть работы, способствуя благородному делу преодоления пробелов как нашего коллективного знания, как и своего собственного. Такого рода соображения двигали нами при работе над предлагаемым исследованием.

Познание истории философии права XX века невозможно без обращения к одному из мощнейших ее направлений - к антимодернизму[1]. Опираясь на опыт антимодернистов XVIII - XIX вв. (Бёрк, де Местр, Ренан, де Бональд и др.) и получив мощный интеллектуальный заряд в творчестве Мартина Хайдеггера, это направление смогло стать одним из наиболее влиятельных в ушедшем веке. Если основной “сюжетной линией” философии права двадцатого столетия мож-

[1] Применительно к учению о праве, различие между модернистами и антимодернистами может быть представлено следующей схемой:

Модернисты	**Антимодернисты**
1. В основе права лежит природа человека	1. В основе права лежит природа вещей
2. Право ориентировано на должное	2. Право ориентировано на сущее
3. По отношению к человеку право есть мера свободы	3. По отношению к человеку право есть мера справедливости
4. Право регулирует поведение людей	4. Право охраняет справедливое положение вещей.

но считать противостояние нормативизма и новых школ естественного права, то интеллектуальное противостояние модернистов и антимодернистов является, как нам кажется, вторым по своему значению. Причем для любителей научной интриги второе из «великих противостояний» может оказаться еще интересней, чем первое. Антагонизм юснатурализма и нормативизма в последние годы удалось практически устранить. Теперь считается, что оба направления вполне органично дополняют друг друга. Противостояние же модернизма и антимодернизма остается (и, очевидно, навсегда останется) острым и непримиримым. Настоящее исследование посвящено как раз творчеству Мишеля Вилле - ученого, концепция которого, по нашему мнению, венчает собой историю развития современного антимодернизма и вместе с тем, даже на фоне данного направления, отличается глубоким своеобразием.

Почему мы обращаемся к творчеству именно Вилле, в то время как все остальные титаны антимодернизма, его великие предшественники и современники до сих пор остаются малоизученными авторами? Не следовало ли нам начать с истоков, и только потом когда-нибудь обратиться к Вилле, как к последнему представителю этой блестящей плеяды? Причина нашего интереса к этой концепции состоит в том, что именно Вилле оказывается наиболее актуальным автором для нашего времени и, может быть – в особенности – для нашей страны. Отказываясь от претензий на идеологическую исключительность и от противостояния с западной наукой, свойственного советской научной традиции, российское правоведение тем самым “обрекает” себя на то, чтобы разделить с европейской наукой общие теоретические и философские проблемы. Взяв на вооружение концепции прав человека, гражданского общества и правового государства (а некоторые из отечественных ученых вдобавок, обнаружили на склоне лет, что придерживаются и, в глубине души, всегда придерживались естественно-правовой ориентации), отечественная философия права неизбежно должна будет столкнуться в развитии этих концепций с теми же трудностями, которые уже встречались на пути западных мыслителей.

Уже сейчас стали очевидными некоторые проблемы. Многие из теоретических установок трудно поддаются логическому обоснованию. Поэтому иные авторы предпочитают объявить их очевидными, перегружая правоведение “аксиомами”. Зачастую эмоциональная оценка многих положений подменяет собой научную оценку, апологетика становится на место логики, что, конечно, негативным образом сказывается на качестве исследований. Положение осложняется вековечной способностью многих русских интеллигентов находить «последнее и высшее слово» в западной мысли и проповедовать его со всей неодолимой горячностью. Здесь уместно вспомнить мысль Достоевского (высказанную в «Братьях Карамазовых»): что на Западе гипотеза, то у нас уже аксиома. К этому можно добавить: что на Западе аксиома, то у нас – религия. Возможные же последствия приложения русской интеллигентской горячности к догматам

современного западного прогрессизма, которые уже и на самом Западе стали почти религией, порой страшно себе вообразить.

Очевидна также и трудность воплощения в государственной и правовой практике “классических, проверенных временем” постулатов политико-правовой философии. Правовое государство, социальная справедливость, равенство, разделение властей и прочие установки растворяются в прозаической действительности. Прямолинейный догматизм модернистских аксиом плохо сочетается со сложностью, многоаспектностью и непредсказуемостью современного общественного действия.

В этой ситуации совершенно естественным может быть обращение к антимодернистской правовой идеологии. Это обращение позволило бы отечественным ученым взглянуть на привычные теоретические конструкции “под иным освещением”, увидеть возможность аналитического подхода к тем положениям, которые до сих пор воспринимались как очевидные, и потому - не нуждающиеся в доказывании. Чувствуя на себе проявления кризиса современного правопонимания, мы обязаны обратиться именно к концепции Вилле, в которой острота этого кризиса отражена с удивительной эмоциональной силой, в которой содержатся объяснения его причин и предлагаются пути его преодоления. Наконец, в то время, когда в отечественных учебных заведениях вновь получает “право на жизнь” философия права, мы не можем больше игнорировать творчество человека, который вошел в историю современной Европы именно как инициатор возвращения философии права в университеты и как автор очень качественного двухтомного учебника по этой дисциплине.

Жизнь и творчество М. Вилле еще не в такой степени удалены от современных исследователей по времени, чтобы “обрасти” значительным количеством аналитической и критической литературы. Ни на родине мыслителя, ни в других европейских странах еще не появилось масштабных работ, посвященных его концепции. Лаконичные очерки Ж. Шантёра (J. Chanteur. «Michel Villey, un philosophe juriste»), С. Гояр-Фабра (S. Goyard-Fabre. «Michel Villey, critique de l’individualisme»), Ж.-Л. Гардье (J.-L. Gardier. «Le jeu de l’histoire et de la philosophie chez Michel Villey») и других авторов либо носят биографически-ознакомительный характер, либо касаются лишь отдельных аспектов творчества Вилле.

Более глубокий характер имеют разделы монографии А. Рено и Л. Coco “Философия права”, посвященные учению Вилле (A. Renault et L.Sosoe. «Philosophie du Droit»). Здесь содержится попытка определить место Вилле в истории философии права вообще и в истории правового антимодернизма - в частности. Вместе с тем, очевидно, что данный авторами анализ слишком краток и потому не может быть полным. К тому же философия Вилле - лишь одна из тем монографии, и потому авторы уделяют ей лишь то внимание, которое необходимо исходя из общего контекста работы.

Интересные характеристики учения Вилле содержатся также в работе Ж.-П. Бо «Дело об украденной руке. Правовая история тела» (J.-P. Baud, «L'affaire de la main vollee. Une histoire juridique du corps»), а также в его последнем на сегодняшний день крупном сочинении «Право жизни и смерти. Археология биоэтики» («Le Droit de vie et de mort. Archeologie de la bioethique»). Однако и здесь речь не идет о полном и всестороннем анализе, поскольку широкие, воистину энциклопедические исследования профессора Бо, конечно не могут сводиться только к полемике с Вилле. Отечественной литературы о творчестве Вилле не существует. Его имя даже не упоминается в очерках философии права XX века.

Все это позволяет сделать вывод о том, что философско-правовая концепция Вилле недостаточно глубоко исследована в зарубежной и вовсе не исследована в российской литературе, что дает возможность говорить о необходимости в ее специальном изучении.

Явная недостаточность аналитических источников определила особенности подхода к выбору литературы, исследуемой в рамках настоящей работы. Главное место здесь занимают работы самого Вилле. Для того чтобы обеспечить основательность своих рассуждений, а также их объективность, автор настоящего исследования счел необходимым ознакомиться со всеми капитальными сочинениями Вилле на языке оригинала. Значительно помогли в исследовании темы работы уже упомянутых выше зарубежных исследователей творчества Вилле, а также его современников, прямо или косвенно полемизировавших с ним, или находившихся в лагере его сторонников - А. Батиффоля, Ж.-Л. Гардье, Х. Перельмана, Ж. Пьери, М. Валина, Р. Давида. Учитывая, что значительную роль в концепции Вилле играют историко-философские исследования, автор увидел необходимость в изучении под определенным углом зрения работ классиков мировой философии права, на которые ссылается Вилле в обоснование своей позиции и в опровержение взглядов своих оппонентов - Аристотеля, Гая, Г. Гегеля, Т. Гоббса, И. Канта, Ж. Ламеттри, Д. Локка, Платона, Цицерона и др. Для обеспечения объективности своей позиции, автор счел за благо ознакомиться с работами отечественных и зарубежных ученых, в которых либо содержатся неожиданные совпадения с позицией Вилле по ряду вопросов, либо резкие расхождения, которые необходимо было учесть – П. Новгородцева, В. Горана, К. Поппера, Д. Пристли, Л. Фейербаха, М. Федоровой, Ю. Хабермаса, Б. Чичерина, В. Соколова, Н. Мотрошиловой. Наконец последнюю группу составляют источники, привлеченные для проверки точности позиции Вилле с исторической точки зрения. Это работы Диогена Лаэртского, Э. Ренана, У. Баджа, М. Бартошека, М. Гаспарова и др.

Разумеется, что особую ценность для нас представляла возможность общения с учениками и коллегами Вилле. Дело не только в том, что эти господа любезно позволили нам сделать копии с принадлежащих им экземпляров сочинений Вилле, ставших библиографической редкостью (нахождение которых в

современной Франции оказалось делом непростым, даже притом, что в этой стране существуют торговые предприятия, способные разыскать по вашему заказу за относительно умеренную плату любой книжный раритет). Эти беседы позволили нам почувствовать значение Вилле для современной французской мысли, ощутить особенное обаяние этого удивительного мыслителя, о котором все, знавшие его говорят с неизменным уважением и симпатией.

Предоставляя самому читателю исключительное право судить о качестве проделанной нами работы, мы, тем не менее, считаем необходимым подчеркнуть, что она представляет собой первый очерк философии права Вилле, сделанный на основе всех его значительных работ, а не только наиболее популярных из них. Здесь впервые дается **систематическое** изложение и систематический анализ концепции Вилле, которая самим автором излагалась достаточно бессистемно, а исследователями - чрезвычайно фрагментарно. Здесь предлагается понимание концепции Вилле, как логического завершения развития современного правового модернизма аристотелианского направления, в связи с чем впервые критически рассматриваются методы обращения Вилле к памятникам античного правоведения. Также нами подробно рассматривается вопрос о взаимоотношении виллеанской концепции права и разработок школы новой риторики (брюссельской школы логики права), игнорируемый западными исследователями.

Объектом нашего исследования является, главным образом, предложенная Мишелем Вилле концепция кризиса современной правовой мысли. Для правильного и всестороннего ее понимания эта концепция должна рассматриваться с учетом трех ее основных аспектов. Во-первых, необходимо дать ответ на вопрос, в чем Вилле видит причины возникновения кризисных явлений современного правопонимания. Для этого, в свою очередь, необходимо обратиться к историко-философской доктрине Вилле, которая в основе развития правовой мысли Европы видит противостояние аристотелевско-римской и восточной правовых традиций. Забвение первой и рост влияния последней является по Вилле базовой причиной кризиса.

Во-вторых, необходимо объяснить, в чем именно, по мнению Вилле, заключается кризис современного правосознания. И, наконец, нужно обратить внимание на пути выхода из создавшегося в правовой науке положения, предлагаемые французским мыслителем.

Такой вариант обращения к доктрине Вилле определяет структуру нашего исследования. В первой главе речь идет о роли мыслителя в философии права нашего столетия и об основных чертах его учения. Вторая глава посвящена изложению и критическому анализу предложенной Вилле концепции истории правопонимания. Третья глава касается сущности его концепции кризиса современного правосознания и путей выхода из него.

Целью этой работы является, таким образом, изучение и критический анализ учения Вилле о кризисе современного правосознания, осознание его

сущности и характерных черт, выявление сильных и слабых его сторон, а также места и роли учения Вилле в истории правовой мысли. Без решения этой задачи невозможно, на наш взгляд, построение четкой концепции развития правового антимодернизма прошлого столетия.

Глава 1. Место Вилле в философии права XX века. Исходные положения концепции Вилле

1.1. *Вилле и современная философия права*

Следует быть довольным своей участью, а не самим собой.
Мишель Вилле

Задача критического анализа концепции Мишеля Вилле[2] - мыслителя, не слишком хорошо известного в нашей стране - представляется непростой по целому ряду причин. Прежде всего, это проблема анализа первоисточников. Ни одна из работ Вилле не была еще переведена на русский язык. Работы же, изданные на языке оригинала, также недоступны в нашей стране. Автору, поэтому, не остается ничего другого, как предложить вниманию своих коллег собственный вариант перевода ряда положений. Вторая сложность состоит в том, что система взглядов Вилле не слишком совпадает с основным вектором современного европейского правоведения. И, наконец, третья, и основная проблема состоит в следующем. Писать о Мишеле Вилле - это значит, писать обо всей истории европейской философии права.[3] Именно история европейского правопонимания - от Аристотеля до наших дней - стоит в центре интересов Вилле. Основной задачей его философии права является, таким образом, не столько изобретение новой концепции, сколько поиск во всем громадном массиве европейской правовой мысли самого ценного, универсального, не подверженного старению. Разумеется, что при этом возникает вторая и не менее важная задача,

[2] Те из российских исследователей, которые имеют некоторое представление о Вилле, зачастую используют иную транскрипцию его фамилии – «Виллей». В такой транскрипции нет ошибки и в чем-то она оправдана. Так в диалоге «Политика и право», в котором все участники поименованы нехитрыми анаграммами (Аристотель – Этотсира, Кант – Тнак, и т.д.) сам Вилле действует как «Профессор Йелив», что позволяет другим участникам сказать о нем «какой-то болгарин». Вместе с тем в фамилии Villey “-y” на конце произносится почти неощутимо. К тому же принятие транскрипции «Виллей», сделает фамилию нашего героя склоняемой, а формы типа «Виллею», «Виллеем» и пр. будут слишком далеко уходить от действительного звучания. Поэтому мы здесь все же придерживаемся транскрипции «Вилле».

[3] Следует вообще заметить, что современное французское правоведение чрезвычайно интересуется предшествующей историей правовой мысли. Если вы держите в руках вышедшую во Франции работу, носящую заглавие “Философия права”, вы можете быть почти уверены в том, что на ее страницах содержится не столько изложение концепции самого автора, сколько анализ истории европейской правовой философии, преломленный через призму авторского правопонимания. Впрочем, отечественные авторы монографий по «философии права», обычно, следуют той же модели: большинство известных мне учебников по этой дисциплине представляют собой смесь все той же теории государства и права с историей правовых учений.

а именно - беспощадная критика концепций, отяготивших правопонимание бесполезными конструкциями.

Нельзя не упомянуть и о еще одной сложности, связанной с выбором порядка изложения положений доктрины Вилле. Сам он не видел самой важной задачи в том, чтобы изложить свое учение систематически. Мысль его наиболее уютно чувствует себя в жанре относительно небольшого эссе. Иногда она находит для себя форму изящного диалога, полного поистине вольтеровской иронии. Даже когда Вилле создает монографию, ее главы представляют собою ни что иное, как опять же искусно отточенные эссе. Его язык блестящ и его аргументация лаконична. Значительная часть работ рассчитана на студенческую аудиторию и тяготеет к максимальной доступности изложения (но никогда - к примитивности). Здесь он удивительно остроумен и демократичен. Чтобы придать нашему анализу необходимо четкую структуру, мы попытаемся придерживаться "внутренней логики" концепции Вилле. Однако, вместе с тем, для того, чтобы не допустить неоправданного искажения его взглядов, мы должны будем иметь в виду и тот порядок изложения вопросов, которым сам Вилле пользуется в своих наиболее систематизированных работах - таких, например, как его двухтомная *"Философия права"*.

Прежде чем мы войдем в увлекательный мир учения Вилле, стоит вкратце изложить его биографию и указать на то, какую роль эта личность сыграла в истории европейской правовой мысли двадцатого века.[4]

Мишель Вилле (*Michel Villey*) родился в 1914 году в семье, замечательной в своей научной традиции. Его дед Эмиль Бутру - не первой величины, но все же известный во Франции философ. Его отец Пьер Вилле – один из известнейших литературоведов Франции. Его брат - Эмиль Вилле также известен своими философскими работами. Для Вилле интеллектуальное наследие семьи всегда сохраняло свою актуальность. Во всяком случае, в его работах встречаются ссылки на сочинения и деда и брата. Юрист по образованию, Вилле преподавал философию права на Юридическом факультете Страсбургского университета (1949 - 1961), затем - в Университете *Париж-II* (вплоть до своей смерти, которая наступила в 1988 году). Ему принадлежит заслуга многолетнего руководства (1959-1985) изданием *"Архивов Философии Права"* - одного из солиднейших научных изданий современной Европы, ставшего в это знаменательное для себя двадцатипятилетие центром не только французской, но и общеевропейской философско-правовой полемики.[5] Никто из нынешнего поколения

[4] Приводимые ниже биографические данные взяты нами из книги: *Alain Renaut et Lukas Sosoe "Philosophie du Droit", Presses Universitaires de France,1991.* В дальнейшем мы еще не раз намерены обращаться к этой весьма любопытной работе и, в особенности, к той ее части, которая касается критического анализа концепции Вилле. Также нами были использованы биографические материалы, сопровождающие посмертное издание записных книжек Вилле.

[5] Некоторые из французских ученых (в особенности это, разумеется, касается учеников и последователей Вилле) вообще склонны именовать его не иначе, как "отцом современной французской философии права" или "борцом за философию права". С этим можно поспорить, но, во всяком случае, заслугу Вилле в деле возвращения философии права на факультеты Франции в качестве учебной дисциплины, трудно переоценить. Упомянутые нами А. Рено и Л. Сосо, при всем своем критическом отношении к доктрине Вилле, вынуждены все же при-

французских ученых, занимающихся философией права, не прошел мимо концепции Вилле, нет во Франции студента - юриста, не пролиставшего хотя бы его “Философии права”. Те, кто были учениками Вилле или просто знали его, теперь с гордостью говорят об этом. В учебниках по истории философии права, его имя стоит в одном ряду с Дюги, Кельзеном, Леви-Строссом, Паундом. Даже противники его концепции признают, что Вилле был истинным рыцарем философии права. Каково же наследие этого человека, так хорошо известного в Европе и почти неизвестного у нас в стране?

Отправной точкой философско-правовых исследований Вилле явилось глубокое изучение Римского права. Его интерес к романистике был особенно удивителен на фоне все более ослабевающего внимания к этой теме европейской науки и почти полного исчезновения учебной дисциплины Римского права из программ юридических факультетов Франции. Именно судьба римской традиции правопонимания - центральная тема его историко-философской концепции. Попыткой целостного осмысления основных тенденций в развитии европейского понимания права, явилась ранняя работа Вилле, отмеченная Французской Академией - “Крестовый поход. Опыт о формировании юридической теории” (1941). В 1945 году выходят сразу две работы Вилле, посвященных римскому праву. Это, прежде всего - “Исследование дидактической литературы Римского права” и “Римское право. Его актуальность”. Последняя работа пользуется невероятной популярностью во Франции. С 1945 года она выдержала уже девять изданий. Задачей обеих работ являлось доказательство несравненной рациональности римского правопонимания, и развенчание пандектистской традиции исследования институтов Римского права, которая, по мнению Вилле, навязывает последнему чуждые ему конструкции.

В 60-е - 70-е годы выходит “триптих” сборников эссе Вилле, посвященных критическому анализу европейского правопонимания Нового времени - “Формирование юридической мысли Модерна” (1968), “Шестнадцать эссе по философии права” (1969) и “Критика юридической мысли Модерна” (1975). Это - период расцвета творчества ученого. Работы эти, отличающиеся великолепным стилем изложения, посвящены доказательству того факта, что отход европейского правопонимания от римской традиции породил глубокий кризис юридической мысли, с последствиями которого мы не перестаем иметь дело в наши дни.

Последние годы творчества Вилле ознаменованы двумя капитальными сочинениями, полемика вокруг которых не утихает и по сей день. Это - “Философия права” (1980 - 82) и “Право и права человека” (1983) - книга, произведшая во Франции эффект разорвавшейся бомбы благодаря содержащимся в ней доказательствам юридической бессмысленности современной концепции прав чело-

знать, что Вилле был первым, кто в послевоенной Франции придал правовым исследованиям истинно философский характер, и что он, одним из первых в Европе осмелился вступить в полемику с нормативистами в эпоху безраздельного господства их теорий в европейских университетах.

века, и отчасти явившееся причиной того негативного отношения официальных кругов Франции к творчеству Вилле, которое порой наблюдается в наши дни.

Среди прочих работ Вилле следует назвать: “Уроки истории философии права”(1962), “Святой Фома о праве и политике” (1987), а также множество статей, лекций и публичных выступлений. Здесь мы назвали, разумеется, только самые значительные сочинения Вилле. Всего же, его перу принадлежит более полусотни работ.

В 1995 году почитатели творчества философа получили подарок в виде великолепного посмертного издания его записных книжек. Эти записи Вилле – один из самых проникновенных и глубоких памятников мысли прошлого века. Серьезность проблематики и изящная самоирония, донкихотовский трагикомизм и томистская углубленность – все органично смешалось на страницах этой уникальной книги… Как мы видим, наследие Вилле достаточно велико.

Итак, мы имеем дело с юристом, посвятившим свою жизнь философии права. Это уже само по себе достаточно интересно. В самом деле, многие ли из мыслителей, бывшие авторами правовых учений имели юридическое образование, или хотя бы достаточный объем знаний о праве? Далеко не все. Этот факт неоднократно отмечает и сам Вилле.[6] Какое это имеет значение для нас?

Прежде всего - философствующий юрист и философ, размышляющий о праве - это два персонажа, фатально обреченные на несходство. Подход первого (каким и являлся Вилле) к философии права будет отличаться целым рядом особенностей. Во-первых, перед Вилле не стояла задача “втискивания” правовой доктрины в рамки какой-либо фундаментальной философской концепции (каковой у него просто нет). Стало быть, его рассуждения не угрожают праву потерей его специфики как предмета изучения. В самом деле, философ, а в особенности - философ-систематик более всего озабочен универсальной применимостью своего метода и зачастую претендует на то, чтобы, используя одни и те же приемы, с одинаковым успехом рассуждать о свойствах материи и о сущности правосудия. Очень часто работы философов, посвященные праву, имеют своей целью не что иное, как демонстрацию перспективности предпочитаемого метода философского исследования. При этом с правом они “говорят” на чуждом ему языке. Возникающие в результате этого построения имеют определенную философскую ценность (в особенности, если они принадлежат мыслителям значительного масштаба). Но имеют ли они одновременно с этим равную юридическую ценность? Далеко не всегда. Ни одно из них существенно не изменило ни содержания правовых институтов, ни привычных форм юридического действия, однако при этом некоторые из их авторов продемонстрировали удручающе плохое знание юриспруденции.

[6] Вилле считает исключением Лейбница, однако не без оговорки о том, что последний не искал чистой методологии права, а привязывал к нему математические методы. (См. об этом предисловие М. Вилле к книге Х. Перельмана “Право, Мораль, Философия” (1976 г.) Сразу необходимо оговориться: с русской философией права, многие из представителей которой имели юридическое образование, Вилле не был знаком)

Эта “привязка” права к философским системам, как правило, происходила двояким образом. Либо, как в случае с учением о праве Канта, над классической правовой терминологией совершалось нескрываемое насилие, либо, как это имеет место с философией права Гегеля, провозглашался резкий разрыв между философией права и юриспруденцией и, таким образом, вопрос о практической применимости сделанных разработок вообще снимался. Право, однако, не желает расставаться без боя со своей спецификой и жестоко мстит таким “универсальным методологиям”, как раз и ставя под сомнение их универсальность. Более того, именно правовая часть многих философских систем, в силу сказанного, оказывается их наиболее слабым и уязвимым местом, порой методологически противоречащим их основной части. В самом деле, разве последовательный эмпирик Гоббс сумел по-настоящему применить эмпирический метод в “Левиафане”? Ничуть. О праве и государстве он рассуждает как последовательный рационалист, готовый корректировать реальность всегда, когда она не совпадает с его умозрительными построениями. Как бы мы не старались связать концы с концами, нам не взять в толк, каким образом, рассуждая эмпирически, можно было прийти к понятиям “естественного состояния” и “общественного договора”. А ведь это далеко не единственный подобный случай в истории мировой мысли.

Достоинство работ Вилле как раз и состоит в том, что, зная специфику предмета изучения, он озабочен ее сохранением. Для него вопрос (поставленный в свое время Х. Перельманом) “что может извлечь философ из изучения права?” не менее, а возможно и более важен, чем вопрос “что может извлечь юрист из изучения философии?”. Для Вилле возможность признания философами специфики права как объекта исследования, отказ от методологического насилия над ним, воспринимается не как признак слабости философии, а как признак ее силы и ее способности в своем историческом развитии рано или поздно преодолевать путы догматизма.

Но это, скорее, указание на далекую цель философии права. Важнейшая из ее ближайших целей - это анализ того, что философия уже извлекла из изучения права и преодоление ошибок, сделанных ею в этом многовековом пути. То есть, задачей является построение критической истории философии права.[7] Основной вопрос, который перед ней ставится, прост: в чем состоят причины того кризиса, в котором находится правовая мысль от Нового времени до наших дней? Творчество Вилле, по сути дела, и является подробным ответом на этот вопрос.

Анализируя правовые доктрины прошлого, Вилле оценивает их по возможности нейтрально. Для него не существует классовой, религиозной, или какой-нибудь иной оценки, выходящей за рамки собственно философско-правовой материи. Критерием всегда служит то, насколько та, или иная концепция дей-

[7] Точнее - речь идет об истории европейского правопонимания. Как мы увидим позже, Вилле считает право чисто европейским явлением.

ствительно имеют отношение к предмету права, и в какой степени она навязывает праву чуждые ему конструкции.

Естественно, что на этом пути Вилле порой делает ошибки - иногда исторического, иногда источниковедческого, а иногда логического характера. Последние особенно обидны, так как именно в нелогичности Вилле чаще всего и упрекает концепции своих предшественников. Порой он допускает и софизмы. Разумеется, что по ходу данного исследования я намерен коснуться существа этих ошибок и содержания "антивиллеанских" выпадов современных французских правоведов. В выяснении сильных и слабых сторон учения Мишеля Вилле я вижу одну из основных целей своей работы. Вместе с тем, необходимо заметить, что недостатки учения Вилле не умаляют грандиозного масштаба его творчества. Должен признаться, что, перечитывая работы Вилле, я не всегда убеждаюсь в его правоте, однако почти всегда убеждаюсь в неправоте его оппонентов.

Как читатель мог уяснить уже из самой краткой характеристики основных работ Вилле, в центре его внимания находится так называемый «кризис современного правопонимания». В чем, согласно Вилле, состоит этот кризис? Теперь мы укажем лишь на три его главных показателя: утрата европейским правоведением четкого определения права и четких представлений о границах предмета правоведения, потеря специфической методологии и "засорение" правовой науки юридически необоснованными концепциями[8]. Интерес Вилле к ясному определению сущности права особенно важен для нас сейчас, когда в вопросе об определении права отечественная наука либо безоговорочно соглашается с вариантами марксова (или кельзенова) определения, либо признает невозможность его нахождения[9]. Право у нас становится чем-то подобным лох-несскому монстру, о котором известно все - как он выглядит, сколько ему лет, что он ест и в какие часы появляется - одним словом, все кроме незначительной мелочи: непонятно, что это такое и откуда оно взялось! Познавательный оптимизм Вилле особенно симпатично смотрится на фоне той неограниченной любви к эклек-

[8] Этот аспект виллеанской критики особенно актуален для нашей науки. Порой мы слишком смакуем утвердившееся в отечественной традиции расширение предмета философско-правовых исследований. Составители одного из сборников с явным умилением назвали его «Русская философия права: философия веры и нравственности». Проблема, однако, состоит в том, что философия права должна быть философией права, а не философией веры или нравственности. То, что с точки зрения составителей сборника является достоинством нашей национальной мысли, с точки зрения Вилле следует рассматривать как недостаток.

[9] Это утверждение однажды вызвало негодование моих коллег. Это негодование понятно. Вроде бы появляется все больше учебной и научной литературы, в которой авторы пытаются предложить «свое» определение права. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти определения – не более чем варианты определений Маркса или Кельзена (я не беру в расчет «сверхоригинальных» определений, которые на поверку оказываются курьезными или вовсе бессмысленными). Частое же смакование положения, согласно которому трудно найти определение права, удовлетворившее бы всех исследователей, то удовольствие, с которым приводится мысль Канта о том, что «юристы все еще ищут определение права» – все это доказывает, что отечественные авторы не чужды плохо скрываемого «познавательного пессимизма» в этом вопросе. Что же касается подаваемого в качестве достижения отечественной науки «нормативного» понимания права, отличного, якобы, от нормативистского, то сравнительный анализ этих подходов может быть только логической забавой типа «найдите десять отличий».

тизму, которым страдает современное правоведение в целом и российская наука в частности. Нам предлагают самые невероятные теоретические сочетания вроде смеси естественного права, нормативизма и марксистской теории[10]. Нам, надеющимся на то, что в один прекрасный день из какой-нибудь невообразимой смеси доктрин возникнет философский камень, не может не показаться любопытным учение, автор которого утверждает, что камень этот мы держали в руках на самой заре правоведения, но затем потеряли его в куче других камешков, прельстивших нас своим фальшивым блеском.

В творчестве Вилле проблема кризиса современного правосознания тесно связана с проблемой прав человека. Этот аспект его концепции особенно актуален. В последнее время проблема эта бьет все рекорды популярности среди исследователей. Однако непредвзятый подход вынуждает нас признать, что, как правило, исследования в этой области не обладают достаточной глубиной. Во всяком случае, слишком уж часто гуманистический пафос исследователей полностью замещает собой какую-либо подлинно научную аргументацию. В результате концепция прав человека обрастает штампами, все более обессмысливающимися языковыми клише и приобретает тенденцию к превращению в цитатно-лозунговую науку, подобную той, в которую выродился в последние десятилетия советского режима марксизм-ленинизм. Вульгаризация этой концепции происходит с большими темпами, но ввиду тех же причин, которые вызвали к жизни определенную вульгаризацию правопонимания вообще. Беда состоит в том, что правовая проблематика сегодня является одной из наименее защищенных от некомпетентного обсуждения областей знания. Любой мало-мальски воспитанный человек воздержится от публичного изложения своего мнения о теории относительности Эйнштейна, если его знания в физике ограничиваются уровнем школьной программы. При этом не считается некорректным участие в правовом и политическом дискурсе лиц, познания которых в области теории права и государствоведения ничтожны. Профессиональный юрист в этой ситуации не может не чувствовать досады, родственной той, что была однажды высказана Св. Иеронимом в одном из его писем: *«Все вообще, занятые в разных ремеслах, не приступают к своему делу без предварительного обучения ему. Но искусство читать, объяснять и толковать Священное писание – единственное, в которое каждый сует свой нос: невежды наравне с учеными, старые болтуны, выжившие из ума старухи и пустомели-софисты ежедневно терзают его и берутся обучать ему, не обучившись ему сами…»*[11].

Уместно, в связи с этим, вспомнить и блестящий афоризм Декарта: *«Наука подобна женщине: поскольку, оставаясь добродетельной, она принадлежит*

[10] Если история политико-правовых учений заслуживает нашего интереса, если в ней есть увлекательность, даже интрига, то это только благодаря той принципиальности, с которой ее основные персонажи защищали правоту своих взглядов и опровергали противостоящие им мнения. От современных же теоретиков и философов, склонившихся перед лозунгом «правы все!» (легко трансформирующемся в «не прав никто!») трудно ожидать столь же увлекательного продолжения истории мысли.

[11] Цит. по: Ж. Мелье. Завещание. Т. 1. С.154. М., 1954.

лишь своему мужу, ее уважают; когда она становится доступной всем, становится дешевой»[12].

В этой обстановке рассуждения Вилле о недостаточности юридического обоснования концепции прав человека не могут не быть интересными для критически мыслящего исследователя. В сущности, упомянутая концепция предстает у Вилле в качестве главного знамения кризиса правовой мысли современности. Необходимо заметить, что критическое отношение Вилле к правам человека ни в коей мере не означает реакционного характера его учения. Вилле - сторонник признания высокого статуса человеческой личности, непререкаемого уважения ее достоинства. Он всего лишь хочет разграничить в этом вопросе сферу права и сферу морали, провести различие между нравственными требованиями к правовой практике и теоретическими основами правовой науки[13]. Основной вопрос, которым озабочен Вилле при рассмотрении этой проблемы таков: можно ли соединить родовое понятие “Человек” с понятием права? Его беспокоит становящееся очевидным обессмысливание заболтанной терминологии, ирреальность некоторых установок, противоречивость содержания Деклараций. Он блестяще демонстрирует то, как теоретико-правовая необоснованность приводит к практической неэффективности безупречной с нравственной точки зрения концепции. Можно не соглашаться с некоторыми высказываниями Вилле, сделанными им по этому вопросу, но несомненно одно: его работы могут принести сторонникам защиты прав человека не вред, а только пользу, ибо они побуждают их к самокритике, к более глубокому исследованию проблемы. Конечно, если научные интересы некоторых теоретиков прав человека будут и далее сводиться исключительно к самодостаточному елейному словоблудию, то такими теоретиками Вилле всегда будет восприниматься как опаснейший идеологический противник.

1.2. *Философские основания учения Вилле*

Ничегонеделанье – нищета философа… До какой степени философ сам по себе бесполезен! Но это общий удел: ни человек действия, ни философ не полноценны сами по себе.

Мишель Вилле

[12] Декарт. Частные мысли \\ Сочинения в 2-х томах. Т.1. с. 573., М., 1989

[13] Такая постановка вопроса вполне корректна и даже необходима. Нравственные требования предъявляются ко многим видам человеческой деятельности, однако они не составляют ни предмета этой деятельности, ни предмета теории, на которой эта деятельность основывается. Если школьный учитель химии пустит в класс струю хлора, желая посмотреть, что случится с детьми, это будет безнравственно и антигуманно; это будет покушением на человеческое достоинство несчастных учеников. Нравственность и гуманизм требуют того, чтобы учитель не допускал ничего подобного, даже если он потерял сон от страсти к познанию. Однако эти нравственные требования не входят в предмет химии как науки. Отчего же в правовой сфере мы не способны постичь этой очевидности? Государство, его органы, должностные лица, юристы, просто граждане – все субъекты правовой среды, как разумные существа, или как объединения таковых, конечно, связаны моральными императивами, принципами гуманизма, требованием уважать человеческое достоинство. Но почему мы полагаем, что это относится к предмету права?

Правовые и политические доктрины всегда обусловлены философским мировоззрением их создателей. Так, невозможно в полной мере понять “Политику” Аристотеля, не изучив предварительно наиболее капитальных положений его «Метафизики» (в особенности - учения о материи и форме, о бытии в действительности и бытии в возможности, о четырех родах причин).

Данное положение, прежде всего, касается тех авторов, чьи правовые учения были частью их обширных и логически продуманных философских систем. Правовые концепции таких мыслителей, как Кант, или Гегель вовсе непонятны (а то и воспринимаются как абсурдные) без знакомства с особенностями их философии. Вилле - повторим это еще раз - не был философом-систематиком. Его интересы были сконцентрированы именно на правовой проблематике, но это не значит, что в его учении нельзя выделить базовых положений, являющихся основой его концепции.

В значительной степени характер концепции Вилле определяется его приверженностью аристотелизму. Это не совсем типично для мыслителей нашего времени. Однако нельзя сказать, что такого рода ориентация является причудой, или странностью. Позитивная переоценка философии Аристотеля (после долгого периода, в течение которого великий мыслитель был распинаем за все прегрешения средневековой схоластики перед свободомыслием) начала происходить в западной философии достаточно давно. Уже Хайдеггер решительно заявлял об актуальности философских открытий Стагирита для современной мысли. Твердый аристотелизм Вилле предопределяет и его отношение к различным направлениям философии права. С безоговорочной симпатией он относится лишь к доктринам Аристотеля, Фомы Аквинского и лидера брюссельской школы новой риторики Хаима Перельмана. Соответственно, чем дальше то или иное направление правопонимания стоит от аристотелевской традиции, тем более негативную оценку дает ему Вилле. При изучении наследия французского мыслителя необходимо всегда иметь в виду и тот факт, что зачастую острие его полемики было направлено против юридического позитивизма и в особенности - против нормативистов. Сейчас, когда актуальность нормативизма значительно угасла, мы, возможно, не в состоянии должным образом почувствовать всю остроту виллеанской полемики с ним. Однако в те годы, когда писались основные работы Вилле, когда нормативизм был моден, и здравствующий еще Кельзен также участвовал в диспутах на страницах “Архивов философии права”, спор двух крупнейших ученых привлекал серьезнейшее внимание научных кругов Европы. Сам Вилле никак не определял своего направления в философии права. Он, в сущности, открещивался от всех современных школ правоведения. Однако близость некоторых положений его философии права к Хайдеггеру и Леви-Строссу позволяет наиболее общим образом отнести учение к антимодернистскому направлению. Наиболее важные для понимания сущности историко-философского анализа Мишеля Вилле положения содержатся в двух из его

наиболее капитальных работ. Речь идет о первых главах его знаменитой монографии “Право и права человека”[14] и о “Философии права”[15].

Исходный пункт - признание того факта, что философия права, несомненно, должна существовать в качестве самостоятельной науки[16]. Однако, ее существование осложняется как наличием противников, зараженных юридическим конформизмом и озабоченных исключительно накоплением знаний, необходимых лишь для практической деятельности юристов, так и достаточно большим числом ее “ложных сторонников“, излагающих под вывеской философии права положения по существу других наук. Положение осложняется особым отношением к философии права самих философов. *«Философы относятся к ней с презрением. Им недостает правовой начитанности. Если они и знают что-то о праве, то только по Канту, Фихте, Гегелю и их эпигонам. Со времени Декарта их внимание привычно сконцентрировано на жизненном опыте (интеллектуальном, либо моральном) исключительно индивидуального характера. Или же они интересуются сегодня общественными науками по формуле: политика - социология - научная история - марксизм - но не право»*[17]. Воздействие такого правового философствования на правопонимание оказывается негативным. Вилле пытается доказать, что именно подобному образу мышления мы обязаны возникновением нормативистского понимания права, применением к праву не свойственных ему форм аксиоматической логики, и - в конечном счете - обессмысливанием самого термина “право”.

Произошедшее в прошлом веке обособление правовой науки от философии права, по мнению Вилле, не играло существенной роли в развитии общей тенденции. К различным “общим теориям права” могут быть предъявлены абсолютно те же претензии, что и к многочисленным “философиям права”. Это объясняется тем, что теории эти не столько изучали внутреннюю жизнь права, сколько проецировали на нее все те же ходовые философские конструкции. По меткому выражению Вилле, *«все учебники теории права представляют собою склады добычи, собранной в философских концепциях»*.[18] Это понятно, поскольку основные вопросы, стоящие перед теоретиками права (определение права, методология права и пр.) не перестали носить философского характера. Более того, Вилле полагает, что теория права, исходя из своего предмета, не может быть ничем иным, как философией права. Беда в том, что чаще всего она выступает, как *«наихудшая философия, бессознательная и не размышляющая,*

[14] Michel Villey. Le Droit et les Droits de l’Homme. Presses Universitaires de France. 1990.

[15] Philosophie du Droit. I. Definitions et fins du droit. Michel Villey. DALLOZ. 1986.

[16] Из контекста работ Вилле следует, что под философией права он понимает философскую науку, предметом которой является определение сущности права и нахождение его специфической методологии. Это важно иметь в виду всякий раз, когда речь идет о критике им философско-правовых исследований прошлого.

[17] Philisophie du Droit. Vol I. p. 3. Здесь и далее - перевод наш.

[18] Theorie generale de Droit et Philisiphie du Droit. В сб. “Critique de la pensee juridique moderne”. p. 219 - 234. Это эссе, собственно и посвящено проблемам соотношения философии права и теории права.

занимающаяся компиляцией, вульгаризацией и догматизацией доктрин и мнений».[19]

Возникает вопрос: если положение философии права столь своеобразно, если, более того, далеко не все испытывают интерес к философии в целом, то зачем вообще нужна философия права? Ведь, вроде бы, очевидно, что сами условия деятельности современных юристов толкают их к все более и более узкой специализации и "качество" подготовки юриста определяется, прежде всего, не умением рассуждать о высоких материях, а знанием всех тонкостей законодательства, его логических связок и противоречий, подробным знакомством с содержанием подзаконного материала, а также с особенностями сложившейся практики, независимо от того, соответствуют они требованиям закона, или нет. С другой стороны, можно сказать, что и у философов, даже если они вовсе забудут о правовой проблематике, достаточно останется проблем глобального характера. Поэтому им вполне можно потратить время, сэкономленное на философии права, на решение, ну скажем - вопроса о первичности материи или сознания. Что же заставляет нас, в конечном счете, заниматься философско-правовой проблематикой? Вилле отвечает на этот вопрос следующим образом.

Современному образованию не хватает фундаментальности и знания основных принципов. Этот недостаток может быть справедливо подмечен в отношении любых специалистов, но к юристам это применимо в особенности. *«После определенного числа лет работы на юридическом факультете, вы уже не способны дать определения праву»*[20] Разве не верно, что студентам преподается громадное количество разнообразных юридических дисциплин, но из всех этих курсов весьма трудно понять, что такое «право»? Такое неведение относительно самого предмета изучаемой нами науки, по мнению Вилле, не может не повлечь за собою пренеприятнейших последствий. Любому лексикону и юридической терминологии, в частности, свойственны на деле такие два признака, как неоднозначность и изменчивость понятий. Если примириться с этим возможно на уровне бытового лексикона, то научная лексика всегда видела свою силу в обратном положении, и это, в принципе, верно, если даже ученые до сих пор зачастую выдавали желаемое за действительное. Вилле совершенно справедливо подмечает, что наличие бесчисленных монографий, подробно растолковывающих значение отдельных терминов, не устраняет неизученности научного лексикона в целом. Но тут мы опять возвращаемся к исходной проблеме знания и четкого определения предмета той науки, которой мы занимаемся, ибо без этого в принципе невозможен тщательный структурный анализ ее лексикона. Дойдя до этого вывода, Вилле делает следующий шаг. Очевидно, что предметом правоведения является право. Что же нам нужно сделать для его опреде-

[19] Там же. p. 225.
[20] Philosophie du Droit. p. 6

ления? Такое определение, по его убеждению, в свою очередь невозможно без осознания того, в чем состоят цели права.

Под непосредственным влиянием позитивизма, современное правоведение изучает право, как совокупность фактов и все реже задает по поводу этих фактов вопрос "почему?". *«Подобно рабочему, маневрирующему со своим станком и не озабоченному вопросом о том, как он был собран, мы осуществляем преподавание в согласии с рутинами какого-либо из разнообразных течений юридического позитивизма. Поэтому наши громадные трактаты по "юридической догматике", наши магистерские курсы, наши системы - это всего лишь колоссы на глиняных ногах, и никто не может гарантировать, что эти прекрасные постройки не возведены на песке ...».*[21]

Правоведение, если его рассматривать во всемирном масштабе, определенно не может похвалиться и единством методологии. Приверженность американских ученых к случайному, эмпирическому выбору метода становится общим явлением. Это в принципе - знак катастрофы для любого французского мыслителя, так как для него все "made in USA" - это уже, по определению, нечто, грозящее самим основаниям человеческой культуры.[22] Единство же метода, представляющееся Вилле желательным, невозможно именно ввиду неосновательности правовых исследований, не нашедших своих фундаментальных принципов. Что же может обеспечить эту основательность?

Вилле констатирует тот факт, что любая из современных наук исходит из некоторого числа аксиом. Но важно заметить, что сами эти аксиомы не являются предметом той науки, которая на них базируется (по крайней мере - в понимании науки, как познавательной деятельности, а не как организованной совокупности результатов познания). Современная наука оперирует этими аксиомами, как данностями, построение которых восходит к другой дисциплине. Это положение могло бы вызвать сомнения в своей правильности. В самом деле, разве совокупность аксиом геометрии не является заслугой самой этой науки, разве она не есть неотъемлемая составляющая ее предмета? Это сомнение можно разрешить таким образом. Предметом любой науки является то, на активное познание чего она направлена, а не просто любое явление, касающееся каким либо образом области ее интересов. Стало быть, так как мы применяем слово "наука" в двух смыслах, согласно первому из которых, она рассматривается как активная деятельность познавательного характера, а согласно второму - как логически организованная совокупность результатов этой деятельности, то мы

[21] Там же. p. 10 .

[22] Здесь же можно попутно заметить и о том, что то раздражение, которое у Вилле вызывает современная концепция Прав Человека, отчасти обусловлено той активностью, которую проявляли в этом вопросе Соединенные Штаты. Сейчас, конечно, Совет Европы в своем безоглядном прогрессизме, явно перехватил у американцев пальму первенства, но при жизни Вилле ситуация, конечно, была иной. В первой же главе "Le Droit et les Droits de l'Homme" Вилле прямо говорит о том, что эта доктрина используется для "распространения в мире американского образа жизни". Ненаучно? Пожалуй. Но такое отношение к Америке - неустранимая черта французской психологии и эту особенность мы не должны упускать из вида, если уж мы взяли на себя труд по изложению чисто французского по своему стилю учения.

можем поставить перед собой вопрос: к какому из этих двух значений термина относится понятие предмета? Очевидно, что к первому. Теперь посмотрим, являются ли аксиомы геометрии объектом ее познавательной активности? По всей видимости - нет. Геометрия не занимается ни обоснованием справедливости известных аксиом (что невозможно, исходя из определения аксиомы), ни открытием новых аксиом. Ученые-геометры относятся к аксиомам действительно как к чему-то изначально данному. А если теперь мы вспомним о том, что аксиомы эти были сформулированы Евклидом в ту эпоху, когда, по существу, еще не произошло выделение геометрии в совершенно независимую от философии науку, то нам станет ясным, что обсуждаемый тезис Вилле, в принципе, справедлив.[23] Подобно другим ученым, считает он, юристы также не занимаются рациональным изучением неких принципов права, пришедших извне, используя их, как данность. Но, ввиду самого существования таких принципов, право не может быть вполне автономной наукой. *«Правовая наука "привязана" к общей системе философии»*. Если многие проблемы правоведения были вызваны к жизни «плохими» философиями права, то устранить их может только «хорошая» философия.

Вилле напоминает мнение Канта о том, что из двух вопросов: *"quid juris"* и *"quid jus"*, правоведение должно заниматься первым.[24] Ответ же на второй вопрос является делом философии. Указав на необходимость избегания позитивистских выводов из этого положения, Вилле вместе с тем признает его, в значительной степени, резонным. Проблема состоит лишь в том, что *«строгий ответ на вопрос* ***"quid juris"*** *невозможно дать, не обладая хотя бы какой-нибудь идеей относительно того, что такое право, т.е. -* ***"quid jus"***.[25] Ответ на этот фундаментальный вопрос нам может дать только философия права, но почему - именно **философия**? Вопрос этот откровенно труден, так как определение философии - это сама по себе сложнейшая задача.

По убеждению Вилле, для древних греков, которые явились изобретателями философии, она являлась *«универсальной наукой, познающей неограниченный предмет»*. Немаловажно и то, что античной философии была глубоко чужда априорность. Для нее не существовало никакого субъективного "чистого разума" и никаких конструкций, подразумевающих моральную **аксиоматику**. Античная философия была особой формой **созерцания** внешнего мира. Однако нельзя упускать из вида и того, что этому созерцанию был присущ определенный ценностный подход. Когда Платон говорит о государственных формах, его

[23] Вопрос о правильности этого утверждения весьма сложен и его подробное рассмотрение могло бы увести нас далеко в сторону. Так у Лобачевского и Эйнштейна мы видим несколько иной род аксиоматики, нежели у Евклида. Особая форма социальной аксиоматики предстает перед нами в европейском юснатурализме и в отчасти - в кантовском априоризме. Однако нам кажется достаточным то, что утверждение Вилле не противоречит классическому понятию аксиомы.

[24] Небезосновательным нам кажется указание Вилле на то, что упомянутая формула придает рассуждениям Канта о праве определенный позитивистский оттенок. В любом случае, это, несомненно - один из элементов кантовского наследия, который был впоследствии использован некоторыми течениями юридического позитивизма, в особенности - кельзеновским нормативизмом.

[25] Philosophie du Droit. p. 14.

волнуют справедливость и несправедливость. Аристотеля интересуют красота и соответствие предмета конечной цели; из созерцания природы, он приходит к выводу о существовании бога, и т.д. Античные философы озабочены поиском мудрости. Мудрость рассматривается и как познавательная деятельность и как ее результат. *«У стоиков было принято выделять /в философии/ три части: во-первых - диалектика, которая служит защитой от ошибок; она подобна стенам сада, которые охраняют его от воров. Далее - физика - изучение природы, подобная растущим в саду деревьям. И, наконец - мораль, соответствующая плодам, приносимым деревьями, плодам, ради которых и был устроен сад. Эта картинка дает нам представление о полноте древнего понятия философии»*.[26] Современная модель мышления носит совершенно иной характер. Наши ученые воспитаны на абстракциях и на накоплении фактов. Нашему восприятию чужда универсальность. Каждый специалист видит во внешнем предмете лишь то, что касается предмета его науки. Современный мир устойчиво предпочитает «праксис». Науки выступают в качестве орудий техники. А ведь первое условие качественности исследования, по мнению Вилле, состоит именно в его непрагматичности.

Истоки такого изменения миросозерцания Вилле видит в эпохе Нового времени, когда отделившиеся от философии науки, начали на нее агрессивное наступление. Практически на долю философии оставляются метафизика, мораль и политика, а сами науки берут на себя накопление и изучение фактического материала. Примерно тогда же возникает и априорный метод идеализма, а с возникновением позитивизма политика и социология выделяются в самостоятельные науки. Отделившимся от философии наукам свойственна слишком дробная специализация, полностью исключающая целостный подход. Вилле полагает, что надежда на “восстановление” философии связана не с ее самоопределением и самосозерцанием, а с возвращением от идеализма и субъективизма Модерна, с их сведением бытия к мышлению, к традициям реалистической философии[27] аристотелевского типа. *«Глаз не может созерцать сам себя. Он должен быть обращен к внешнему миру»*.[28] Философия противостоит

[26] Там же. p. 19. Следует заметить, что обобщение, которое делает здесь Вилле не вполне корректно. Данная формула не является общепринятой не только для всей эллинской философии, но и для учения стоиков. Многие стоики придерживались иных точек зрения. Посмотрим, что об этом пишет Диоген Лаэртский: *«Философия, указывают они* (стоики – Н.К.) *подобна… плодоносному полю, ограда вокруг которого – логика, урожай – этика, а земля и деревья – физика… Однако другие, и в том числе Зенон (в книге «Об учении»), Хрисипп, Архидем и Евдром ставят логику на первое место, физику на второе, этику на третье; Диоген из Птолемаиды ставит этику на первое место, Аполлодор – на второе; а Панэтий и Посидоний ставят на первое место физику…* (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль, 1979. С.281). Об этом же совершенно определенно свидетельствует и Секст Эмпирик в начале первой книги против логиков. (Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. – М., 1976. Т.1, С. 61-65).

[27] Под реалистической философией Вилле понимает философию, основанную на обобщении знаний, полученных в результате созерцания (в аристотелевском понимании термина) сущего. Этот термин противополагается рационалистической философии, структурирующей реальные явления, проецируя на них искусственные конструкции разума.

[28] Philosophie du Droit. p. 23.

всем частным (и в том числе - правовым) наукам своим стремлением к универсальности.

Тем не менее, необходимость философии для частных наук сохраняется. Так, например, она дает праву "небольшое дополнение" - его определение. Вообще, *«она играет роль пастыря множества наук, определяющего для каждой свое место, улаживающего между ними пограничные конфликты, определяющего для каждой соответствующие ей источники познания и предписывающего каждой ее границы»*.[29] Потому именно философия способна определить область права, само право (*quid jus*), его источники и метод. Для решения этой задачи недостаточна лишь теория права, представляющая собой, в сущности, попытку сциентизировать философию права, и занимающаяся анализом идей, полученных исключительно из современной реальности, причем преломленных через призму корпоративных предрассудков.

Второе по важности значение философии в ее применении к праву состоит в ее способности к совершенствованию правового лексикона. Вилле не устает повторять, что любой лексикон есть уже форма структурализации внешнего мира в сознании. Язык обусловливает мысль. *«Можно сказать, что любой язык содержит в самом себе философию, но философию спонтанную и бессознательную»*.[30] Настоящая же философия должна быть "правительницей языка", ибо она создает используемый нами понятийный аппарат. Она должна создавать максимально качественные определения. Но что значит "искать наилучшие определения справедливости права и закона"? Это значит, опять же - "искать источники, цели и принципы права". Слаженность общей структуры лексикона помогает лучшему использованию каждого отдельного термина.

И, наконец, именно с помощью философии может быть определена специфическая методология права. Очевидно, что на уровне прикладной юриспруденции и наукообразной теории права, эта задача так и не была решена.

Итак, Вилле приходит к выводу о необходимости применения философии к правоведению. Здесь необходимо должен встать вопрос о средствах такого применения. Вилле разрешает его следующим образом. Из всего огромного количества философско-правовой литературы, сплошь состоящей из опровергающих друг друга доктрин, необходимо сделать выбор какой-нибудь действительно достойной концепции. Но преклонение перед любым авторитетом должно быть исключено. Философия просто обязана быть критической и конформизм (такой, например, какой имел место в странах социалистического блока с присущим им определением официальной доктрины) при всем своем удобстве смертельно опасен для нее.[31] Нежелательна также вульгаризированная привер-

[29] Там же. p. 25.

[30] Там же. p. 26.

[31] Необходимо оговориться: Вилле не питает никакой антипатии по отношению к советской юридической науке и к науке стран социалистического лагеря. Более того, он видит существенное преимущество советских правоведов по отношению к правоведам западным в том, что первые значительно лучше осведомлены о разработках буржуазной философии права, чем последние - о достижениях социалистической теории. В плане проблемы кризиса современной юридической мысли, Вилле отмечает, что если отбросить несущественные де-

женность к “актуальности” и “современности”. Доведенное до крайности, это стремление обречено на провал, ибо при быстро идущем развитии мысли, при недолгом успехе любой доктрины, современность и актуальность неуловимы. Можно сказать, что философ, которому требуется значительное время на создание и публикацию своих работ, вечно «опаздывает на поезд актуальности». Однако факт остается фактом: в философии всегда наблюдается определенная мода. В основе упомянутой приверженности ко всему сверхсовременному и сверхактуальному, согласно Вилле, лежит доведенный до крайности историзм. Вилле не отрицает исторического подхода, более того: он прямо говорит, что нет настоящего философствования без исторического анализа.[32] Другое дело, каким должен быть этот исторический подход. Со времен Маркса[33] в любой философской доктрине хотят видеть, прежде всего, отражение сознания того времени, в котором она возникла. Вилле согласен с тем, что философские знания имеют историческое происхождение, но в корне неверно, что в ходе истории изменяется абсолютно все. Как чистый аристотелианец, Вилле считает, что не философия должна пребывать под контролем истории, а история, как и все частные науки, должна быть подконтрольна философии. Абсолютно порочен “прогрессистский” подход к истории философии, который подразумевает наличие прогресса абсолютно во всех областях. Согласно этому подходу, старая философия якобы не отвечает запросам сегодняшнего дня. *«Упадок на юридических факультетах исторических исследований есть следствие триумфа - зачастую бессознательного - этой идиотской догмы. Историзм убил историю».* Он превратил историю в “стерильную игру”.[34] Историки, зараженные прогрессистским фанатизмом, любят извлекать из прошлого самые грязные факты для того, чтобы доказать прогрессивность современности. Но настоящие историки не могут видеть прогресса абсолютно во всем. Он есть только в науках и в технике. Нет настолько четких критериев лучшего, чтобы можно было говорить о глобальном прогрессе. Вообще, по Вилле, рассмотрение истории, исключительно как движения - это глупость. Нельзя, подобно Гераклиту, замечать только изменчивость явлений. В истории всегда присутствует такой важный элемент, как **преемственность** (continuite). Многие явления кардинально не изменились. Например, мы видим прогресс в терминологическом обогащении языка. Но главное в любом языке - его древняя основная структура, которой присуща стабильность, а не изменчивость. То же - и в философии. В самом

тали, то и советское и западное правоведение находятся в одной системе координат и переживают аналогичные кризисные явления. Кроме того, интересным является убеждение Вилле в возможности, на основе преодоления крайностей политической идеологии, объединения усилий советской и буржуазной юридической науки для решения основных вопросов философии права. Подробно об этом - см. его эссе “Панорама современных философско-правовых учений Запада и марксистских учений социалистического мира” (1965 г.) в сборнике “Critique de la pensee juridique moderne” , DALLOZ 1976, p. 161 -186.

[32] См. Le Droit et les Droits de l’Homme. p. 18.

[33] Отношение Вилле к Марксу также нельзя назвать резко отрицательным. По его мнению, Маркс, бывший профессиональным юристом, имел гораздо большее моральное право на занятие философско-правовыми обобщениями, чем многие из предшествующих и современных ему мыслителей.

[34] Le Droit et les Droits de l’Homme. p. 20.

деле, главные проблемы философии не претерпели исторического изменения. Последнее относимо лишь к частным и мелким проблемам. Главные проблемы спекулятивны по своей сущности, и то, по поводу чего существует философская спекуляция, по определению, стабильно в реальности. Марксизм, рассуждая об историческом изменении и о прогрессе, определенно путает философию в целом с техникой мыслительного действия. Задача историков, помимо всего прочего - искать то хорошо забытое старое, которое мы, по неведению своему, считают новым. Надо искать в прошлом все самое достойное, чтобы уберегать его от забвения.

Что касается наших современников, считает Вилле, то за философию они принимают публицистику; а так как все мы - свидетели технического прогресса, то большинство из нас не может не быть "прогрессистами". Это накладывает на наше видение анализируемой проблемы определенный отпечаток. Вообще, всякая философская доктрина представляет себя в качестве прогресса по отношению к предшествующим ей доктринам. Но, если наука уточняет и "капитализирует" результаты своей деятельности, то философские истины не уточняются, а "устаревают". Однако парадокс состоит в том, что если нам нечего делать со старыми учебниками математики, то польза от чтения старых философских книг неоспорима. *«Хайдеггер, не смущаясь, питается идеями Аристотеля, Платона, Парменида и Гераклита. Кажется, он даже доказал, что философия - продукт древнегреческой цивилизации - не продвинулась вперед со времен древних греков. Что же касается тех, кто придерживается примитивной догмы прогресса, они, прежде всего, демонстрируют нам, что имеется прогресс (и еще какой значительный!) в незнании прошлого философии»*.[35]

Режим современного образования вовсе не способствует развитию философской культуры. Ему присущи узкая специализация и конформистская ориентация на потребности практики. В результате мы получаем дегенеративную философию, подражающую науке. Вывод напрашивается сам собой: прогрессу науки и техники вовсе не обязательно сопутствует прогресс в философии. С ходом истории мы не пришли к согласию ни в вариантах решения основных философских проблем, ни даже в определении философии.

По мнению Вилле, самой больной из всех философий является философия права, которая давно уже перестала рассматриваться, как обязательный элемент общей культуры. Философы "раскладывают по полочкам" все элементы внешнего мира, и в том числе - право, но им недостает правовых наблюдений и правового опыта. Результатом является отсутствие согласия также и в правовых доктринах. *«Кажется, что у нас нет ни одной правовой философии именно потому, что у нас их, как минимум, десяток»*.[36] В этой области царит полный беспорядок, ведущий зачастую к грубому эклектизму.

[35] Philosophie du Droit. Vol. I. p. 36. Замечательно, что в своих рассуждениях об относительности прогресса в некоторых областях человеческой культуры, Вилле придерживается таких же взглядов, как и многие из лучших представителей французской мысли нашего века.

[36] Там же. p. 38.

Сам Вилле предлагает вернуться к традициям античной диалектики, в которой он видит верное средство осуществления качественного философско-правового анализа. Для него древнегреческая философия продолжает оставаться высшей точкой философского мышления. Сомнения в ее применимости в нынешнем времени, по его мнению, могут быть легко преодолены, если мы избавимся от свойственного нам конформизма.

Итак, античная модель диалектики - хороший метод для философии и идеальный - для права. Не странен ли этот вывод для современного мыслителя? Для того чтобы с этим разобраться, мы должны вникнуть в подробности историко-философской концепции Мишеля Вилле.

Глава 2. Истоки кризиса современной правовой мысли

Сразу сделаем важное замечание. Я не считаю необходимым решать здесь вопрос о том, находится ли в действительности правовая мысль современности в состоянии кризиса. Вопрос этот не входит в рамки данного исследования. Здесь стоит задача всестороннего и, там, где это необходимо - критического изложения взглядов конкретного мыслителя, который в наличии этого кризиса убежден. Следовательно, необходимо изложить его доводы, которыми подкрепляется это убеждение, и дать этим доводам объективную научную оценку. Мои собственные взгляды на существо этого вопроса роли не играют, и более того: я просто обязан отвлечься от них, чтобы обеспечить непредвзятость своих оценок.

Вместе с тем, нельзя не заметить, что рассуждения о кризисе права и правопонимания не есть результат стремления Вилле к скандальной оригинальности его работ. Проблема эта обсуждалась многими европейскими правоведами. Так, например, Рене Давид (позиция которого, кстати, во многом близка к позиции Вилле, и на которого последний, несомненно, оказал влияние) отмечает: *«очевидно, что право находится в состоянии кризиса... Сегодня вышла на сцену идея дистрибутивной справедливости. Как следствие этого акцент, который когда-то делался на отношения между частными лицами и на частном праве, сегодня переместился на публичное право. Главная роль в обеспечении нового типа справедливости в обновленном обществе отводится государству и управлению. Правовые понятия и техника, которые еще недавно были вполне удовлетворительны, для реализации такой роли недостаточны... При решении <ряда> проблем настолько отсутствует определенность, что впору даже задавать вопрос, идет ли вообще здесь речь о праве».*[37] Из известных нашему читателю зарубежных авторов эту проблему (хотя и в ином ключе, чем Вилле) затрагивал Гарольд Дж. Берман в своем капитальном сочинении «Западная тради-

[37] Р.Давид. К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. М., Международные отношения, 1997. Стр. 52-53

ция права: эпоха формирования». В России вопрос о кризисе современного правопонимания поднимался в свое время и П.И. Новгородцевым.

Важно подчеркнуть и еще один момент. Что имеется в виду, когда Вилле говорит о “современной правовой мысли” (pensee juridique moderne)? Здесь мы встречаемся с понятием Модерна, весьма распространенным в западной научной литературе, и не слишком жалуемым у нас. Что нам следует под ним подразумевать в рамках концепции Вилле?

Согласно наиболее распространенному толкованию, «в выражениях со словом “modern” в исторических и философских сочинениях имеется в виду длительная эпоха развития, начинающаяся на переломе от Возрождения к Новому времени в XVI - XVII вв., и продолжающаяся еще сегодня. А вот уже во второй половине XX в. обозначается следующий перелом, свидетелями и участниками которого, мы, собственно, и являемся. Модерн переходит в Постмодерн».[38] В трактовке Мишеля Вилле этот термин носит, однако, несколько иной характер, так как он по существу игнорирует выделение постмодерна и рассматривает правовые доктрины второй половины нашего века в одном ряду с учениями нового времени. Нельзя забывать также и о том, что во французском языке слово “moderne” означает, прежде всего, “современный”. В любом случае, кризисные явления, ставшие характерными для философии права, начиная с эпохи Возрождения, интересуют Вилле постольку, поскольку, по его глубокому убеждению, они в полной мере относятся и к сегодняшнему правоведению. Раскрытие же значения этого термина для понимания существа философской ориентации Вилле достаточно важно. Именно постоянно подчеркиваемое им самим противопоставление его доктрины общему духу правовой мысли Модерна позволило А. Рено и Л. Сосо метко охарактеризовать концепцию Вилле, как “антимодернистскую деконструкцию философии права Модерна” (Deconstruction antimoderne de la philosophie moderne du Droit).[39]

Внеся ясность в используемую нами терминологию, мы вправе, наконец, изложить взгляды Вилле на основные пути развития европейской правовой мысли.

Основная идея историко-философской концепции Вилле заключается в трактовке им содержания всего пути развития правопонимания как истории борьбы двух фундаментальных традиций: с одной стороны, традиции “дикайон” (dikaion), вытекающей из учения Аристотеля о частной справедливости, а также из развития этого учения ранними римскими юристами, а с другой - традиции Торы (torah), ставшей, через преломление ее в христианстве, духовным истоком европейского морально-религиозного правопонимания.[40] Можно по-

[38] Н.В. Мотрошилова. О лекциях Ю. Хабермаса в Москве и об основных понятиях его концепции. \\ Юрген Хабермас. Демократия, разум, нравственность. – М.: И.Ц. “Academia”, 1995. С. 129.

[39] Alain Renaut et Lukas Sosoe. “Philisophie du Droit”. p. 96. Точности ради, заметим, что авторы этой капитальной работы характеризуют так не только учение Вилле, но также и учения К. Леви-Стросса, М. Хайдеггера, Х. Арендт и А. Мак-Интайра.

[40] О борьбе этих “двух основных подходов” см. М. Вилле. “Torah - Dikaion. (Вторая схоластика). “ в сб.: M.Villey. ” Critique de la pensee juridique moderne” p. 35-40.

спорить о том, сводится ли в действительности к этой борьбе история философии права, но тот талант, с которым Вилле проводит в своей исторической драме эту основную сюжетную линию, не может не впечатлять. Исследователь, не согласный с концепцией нашего мыслителя, все равно может получить от чтения его "Философии права" удовольствие, подобное тому, которое доставляет чтение романа с напряженной интригой. Перейдем, однако, к изложению исторической доктрины Вилле.

2.1. *Тора - задолго до права.*

Догмат о первородном грехе это единственный ответ, к которому сводится вся философия. Он объясняет двойную природу человека, влюбленного в единство, но рассеянного во множестве. Здесь все наши ценности противоречивы; они будут согласованы на небесах, где более не будет необходимости в праве, то есть во временном компромиссе между противоположными ценностями. Он объясняет, что на земле человек – лишь странник, идущий к другому миру, деятель, скованный пока правилами поведения.

Мишель Вилле

Согласно убеждению Вилле, в основе любой традиции правопонимания лежат определенные представления о справедливости. Ведь *«нет ничего более банального, чем приписать правовому ремеслу в качестве цели справедливость. Это определение традиционно»*.[41] Тора является истоком иудео-христианского понимания справедливости. Когда же мы говорим о чисто иудейской традиции правопонимания, последний термин мы применяем со значительной долей условности. *«Не представляется возможным,* - пишет Вилле*, - найти аналог /концепции права/ у народов, которые не были затронуты греко-римской культурой. Социологи говорят о **праве** в любой социальной группе, они ищут **право** на Древнем Востоке, в Китае, в Индии, у африканских племен. Для данной цели они пользуются слишком расширенным толкованием термина /"право"/»*.[42] В истории и в философии допускается много ошибок именно потому, что слова, вообще, употребляются беспорядочно и это приводит к смешению понятий. У древних евреев, несомненно, был Закон, были суды, в их среде заключались сделки, но им недоставало, как считал Вилле, четкой концепции права. Несмотря на то, что современные ученые извлекают из Торы нечто, называемое "еврейским правом", Тора по существу является совокупностью моральных инструкций, чисто императивной системой.[43] Само древнееврейское слово "torah" Вилле считает более близким по значению древнегреческому "nomos" и латинскому "lex". Оба эти термина означают

[41] Philosophie du Droit, Vol. I .p. 49.

[42] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 21.

[43] Позже мы увидим, что Вилле считает императивность признаком скорее присущим моральным нормам, нежели правовым.

“закон”, но не “право”. *«Жизнь еврея - это его путь к Земле обетованной, к которой его **ведет** Закон»*.[44] Эта совокупность **моральных** законов снабжена поощрительными и наказательными санкциями. Если Тора и напоминает право, то - по преимуществу - право уголовное и, притом особого рода. “Преступление” и “грех” здесь практически выступают как синонимы. Такого рода преступление – это, прежде всего, оскорбление Бога, нарушение Завета. И основной целью наказания является не что иное, как “очищение народа”. Бог, заключивший со своим народом Священный Завет, ставит перед собою цели, гораздо дальше идущие, нежели просто раздел внешних благ. В латинском и греческом переводах Библии термин “ts’daka” (ц’дака) а также относительно близкий ему по значению термин “mish’pat” (миш’пат) переводятся соответственно, как “dikaion” и “justitia” то есть - как “справедливость”, “правосудие”, или даже - “право” (в зависимости от контекста). Этот перевод не совсем точен, так как в оригинале имеется в виду справедливость, прежде всего религиозного характера, иначе говоря - праведность.[45] Тора чужда такой конкретизации понятия справедливости, какую мы позже увидим в учении Аристотеля. Это понятие лишено в ней того социального характера, который придавала ему античная мысль. Для древнего иудея справедливость есть, прежде всего - святость, повиновение Закону, вовсе не похожему на гражданский кодекс. Этот Закон в первую очередь предписывает любовь. *«Какого рода цель преследует справедливый человек, согласно Писанию? Подчеркнем здесь двойное отличие от целей аристотелевско-римской справедливости.*

1. Представляется, что эта цель мало отличима от тех планов, которые строит Господь относительно истории своего избранного народа. Цель эта далека и трудноопределима. В то время как аристотелевская справедливость - удел судей - осуществляется по ходу каждой судебной тяжбы, цель библейской справедливости уходит в далекое будущее.

*2. Цель эта носит прогрессивно духовный характер. В конечном счете, библейская справедливость пребывает во внутреннем мире человека, предполагаемого благочестивым и милосердным, вместилищем любви... Она касается того, **что есть каждый**, а не того, **что есть у каждого**[46]...».*[47]

Сделаем пока первый важный вывод: согласно Вилле, в иудейской традиции, которая будет позже воспринята христианской Европой, мы имеем дело с морально-религиозным Законом, но еще не с правом. Односторонность этого заключения очевидна. Прежде всего, Вилле забывает о том, что Древний Восток – это не только Моисеев Закон: это еще и китайский легизм, и Чанакья, с его гениальными озарениями в сфере процессуального права. Далее: Вилле

[44] Philosophie du Droit. Vol. I. p. 96.

[45] Немаловажно заметить, что в современном иврите “ц’дака” также означает, прежде всего, “благотворительность, милосердие”, а “мишпат” - именно “праведность”.

[46] Курсив наш.

[47] Philosophie du Droit. Vol. I. p. 98 -99.

исходит из признаваемого им определения сущности права, справедливость которого еще не доказана им в этой части его рассуждений. В свою очередь, позже мы заметим, что, давая свое определение сущности права, Вилле пользуется как данностью фактом противостояния иудейской и античной традиций. Иными словами, здесь мы имеем дело с "порочным кругом" в логическом обосновании данной концепции. Нельзя также не сказать и того, что Вилле не прав, вынося свой приговор иудейской традиции, основываясь лишь на тексте Ветхого Завета. Традиция эта не может быть в полной мере понята без знакомства с теми трактатами Талмуда, в которых освящаются вопросы права и правосудия. Анализ этих источников увел бы нас слишком далеко от рассматриваемой нами концепции. Заметим только, что даже поверхностное их чтение заставляет усомниться в том, что античной и иудейской традициям свойственна непреодолимая противоположность. К этому же выводу приводит и непредвзятое чтение греческих и римских текстов, что мы всегда будем далее отмечать в соответствующих местах нашего исследования.

2.2. *Dikaion - накануне права.*

Аристотелианец – человек мягкий, миролюбивый и терпимый ко всем. Он понимает, что не знает природы и способен уважать ее тайны. Он мудр. Ему следовало бы отдать, согласно завету Платона, бразды справедливого правления государством. Но, поскольку он способен изумляться реальности, и ему чужд любой фанатизм, он не деятелен и не желал бы править государством; он может быть только игрушкой в руках других: этих животных, которые ставят перед собой цель и, не обладая глубиной его познаний, пытаются осуществить ее. Он игрушка в руках деятельных грубиянов, которые воздвигли все это роскошное и слепое величие нашего Запада

Мишель Вилле

По глубочайшему убеждению Вилле, право вообще, как логически завершенная система, было изобретением римлян. Однако по существу, заслугой римских юристов была дополнительная теоретическая разработка греческого наследия. Для должного понимания сущности Римского права, необходимо предварительно проанализировать его теоретическую основу, созданную греческой философией.

Вилле считает, что при этом анализе из всех греческих авторов должен быть выбран Аристотель. В обоснование этого утверждения приводятся три соображения. Во-первых, притом, что римское философское образование не отличалось систематичностью, и изучаемые направления греческой философии "сваливались в кучу", именно учение Аристотеля преподавалось более или менее обособленно и именно его формулы оказали влияние на римское

правовое искусство. Во-вторых, время Аристотеля явилось “пиком греческой философии”. Начиная с Древнего Рима, европейская традиция видела в Стагирите чистого гения философии, он оказал громадное влияние на последующую европейскую культуру. До XVII в. европейское воспитание осуществлялось именно в духе аристотелизма. Этот философ – *«ключ к нашей культуре, в своей метафизике, морали, политике и логике»*.[48] И, наконец - в третьих, именно Аристотель был *«первым философом права в строгом смысле этого слова»*. У его предшественников не было правовых концепций. Даже Платон ведет речь в “Государстве” и в “Законах”, по преимуществу о моральной справедливости, а не о праве.[49]

Для изучения философско-правовой проблематики необходимо обратиться к V-й книге “Никомаховой Этики” Аристотеля, где, собственно и содержатся его рассуждения о dikaion. Если для нас - современных европейцев, - считает Вилле - справедливость относится к сфере идеального, то для Аристотеля это - “сектор реальности”, она в действительности достижима. Тут имеется мало сходства с Библейской справедливостью, которая, как мы это выяснили выше, состоит в неуточняемом требовании подчинения Закону. Аристотелевская мораль это вовсе не кодекс должного поведения, требования к которому исходят от Бога, или Разума (говоря о Разуме, Вилле уже в начале своих рассуждений явно делает выпад в сторону европейского идеализма более близкого нам по времени), не “антология императивов”. Это - анализ **наличных нравов**, их описание. Вообще “этика” (букв. – «формы поведения») - это термин, употребленный во множественном числе. В некотором роде, Этика Аристотеля - это характерология. Позиция Стагирита предельно реалистична. В отличие от идеалистических систем Модерна, система Аристотеля имперсональна; в её основе находится описание созерцаемой реальности. Каждое действие оценивается им в зависимости от того, насколько оно достигает своей цели. И уже только на этой основе можно вести речь о пороках и о добродетелях, о справедливости и о несправедливости. Именно определение цели юридической деятельности (в качестве которой выступает особый род справедливости) - дверь в правовую доктрину великого грека. Для того же, чтобы лучше раскрыть сущность справедливости, Аристотель прибегает к излюбленному им приему лингвистического анализа. *«Этот лингвистический анализ приводит его к открытию. Он различает два варианта употребления греческого термина “dikaiosune”. Это различение приобретает кардинальную важность для судеб правовой науки»*.[50] Греки использовали понятие “справедливости” в двух смыслах: широком и узком. Широкое значение предполагало признание справедливым того человека, который действует в соответствии с мировой гармонией. Для Платона “справедливый воин” это то же самое, что и “хороший воин”.[51] Это то, что Аристотель называет “общей справедливостью”. Это есть ничто иное, как соблюде-

[48] Там же, Vol. I. p. 52

[49] См. об этом: Le Droit et les Droits de l’Homme. p. 37-38.

[50] Там же, p. 41.

ние морали в целом, сумма всех добродетелей. Отчасти общая справедливость близка справедливости библейской. Однако, основой ее, - подчеркивает еще раз Вилле, - является космический порядок, а не любовь. Это не значит, что этот аспект справедливости лишен общественного значения. Аристотель не был бы Аристотелем, если бы не понимал, что всякая справедливость по необходимости социальна.

Более узкое понимание этого термина именуется у Аристотеля "частной справедливостью". В этом значении справедливым признается тот человек, который берет не более и не менее того, что ему принадлежит из внешних благ, которые должны быть разделены внутри его социальной группы. Здесь наблюдается прямое отношение к практическому интересу лица, и в этом проявляется существенное отличие частной справедливости от общей. Частная справедливость - есть чисто социальная добродетель, квинтэссенция социальной (а для античного мыслителя это значит, прежде всего - полисной) справедливости, это, собственно и есть dikaion politikon, иными словами - почти уже право.[52] Данное представление о частной справедливости как раз и составляет, по мнению Вилле, основу классического правопонимания.

Общей справедливости также *«может соответствовать некоторая разновидность права, но права бесформенного, неполного и неопределенного»*.[53] Справедливость в Государстве Платона - лишь "сектор" общей справедливости. Его Законы призваны не создавать, а лишь охранять общий моральный порядок, обусловленный порядком Макрокосма. Право у него как раз и сводится исключительно к соблюдению законов. Отсюда исходит традиция понимания права как инструмента морали, традиция, которая еще успеет в полную силу проявиться в Европе в эпоху Модерна.[54] Отсюда также исходит тенденция отождествления права и закона, которая позже переживет свой расцвет в нормативизме двадцатого столетия. У Аристотеля же писаные и неписаные законы, по мнению Вилле, рассматриваются скорее, как костяк общей справедливости, а не права. *«С нашей современной манерой мышления, - пишет Вилле, - в начальных разделах учебников мы определяем право, как "совокупность правил поведения" и тут происходит смешение. Анализ же Аристотеля дает нам критерий различения. Существует искусство, привязанное к субъективной добродетели индивида и занятое предписанием ему вариантов поведения - в том числе и справедливого поведения, присущего справедливому (dikaios) человеку;*

[51] Вилле, похоже, имеет в виду рассуждения Сократа о справедливости, приводимые Платоном в 1-й книге "Государства". См. Платон. Собрание сочинений. Том 3. М., Мысль, 1994 г. Стр. 82-93.

[52] Очень правильным нам представляется и замечание Вилле о том, что понимание этого социального аспекта, осознание того, что юридическое искусство практикуется только в социальной группе, уберегло античную мысль от построения "правовых робинзонад", явившихся основой многих философско-правовых концепций Нового Времени. Верно, что в этом проявляется одно из существенных различий правового мышления Античности и Модерна. Правильно также и то, что античная мысль не путает социального значения права с преследованием им общей пользы, которая, во всяком случае, не рассматривается как непосредственный объект.

[53] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 43. Как это и происходит в случае с "древнееврейским правом".

[54] Разумеется, не только в Европе, но и у нас в России. Вспомним хотя бы В. Соловьева с его пониманием права, как "некоторого минимума нравственности".

это искусство мы можем назвать моралью. Но от морали отлична другая дисциплина, которая состоит в провозглашении того, что справедливо, что принадлежит каждому. Это - наука не о субъективной справедливости (dikaiosune), не о справедливом (dikaios) человеке, не о правильном поведении, а об объективной справедливости (dikaion). Это и есть – право».[55]

По нашему мнению, рассуждая подобным образом, Вилле неоправданно преувеличивает радикальность проведенного Аристотелем различения общей и частной справедливости. Может сложиться впечатление, что первая из них полностью выведена Стагиритом из правовой сферы, и этим обусловливается полный разрыв с традицией "квазиправа", подобного тому, которое Вилле усматривает у древних евреев, а также с платоновской концепцией. Обратим внимание на то, что, критикуя законодательство Платона за требование общности имущества в полисе, Аристотель упрекает последнего не в том, что этим нарушались бы требования частной справедливости, а как раз в том, что это помешало бы проявлению добродетелей относящихся им к сфере общей справедливости.[56] Вряд ли Аристотель рассуждал бы об этом, если бы его правопониманию была бы присуща та некоторая односторонность, которую ему приписывает Вилле.

Встает вопрос: каким именно образом понятие частной справедливости может содержать в себе зачаток права? Вилле эта связь представляется сверхочевидной. Если мы считаем справедливым того человека, который берет не больше и не меньше надлежащей ему части, то ясно, что, прежде всего мы обязаны определить эту самую часть. Это определение относится непосредственно к области права. Аристотель считает, что этим должны заниматься судьи, и делают они это, разрешая каждый конкретный спор. Выходит, что право берет на себя политическую (в античном понимании этого слова) функцию формирования частной справедливости. Доля каждой стороны может быть определена надлежащим образом лишь в сентенции третьего лица, не заинтересованного в исходе дела. Таким третьим лицом не может быть любое частное лицо, ибо такое положение дел угрожало бы анархией. Лицо это должно выступать в качестве публичного органа, официально несущего на себе данную социальную функцию, то есть - быть судьей. А это означает, что *«не может быть права там, где нет судей, а судьи и юристы-советники могут существовать только в политической организации»*.[57] Отсюда вытекает, что экономика ("домашнее хозяйство" - в греческом употреблении термина) не составляет некоего "семейного права", а из правовой сферы исключается. Здесь не нужно определение доли, так как мы имеем место с практически абсолютным единством интересов, касающихся внешних благ внутри этой сферы. Получается, что невозможно и "международное право". В межполисной сфере интересы слишком трудно совместимы, а нахождение судьи, улаживающего споры, становится

[55] Philosophie du Droit. Vol. I. p. 68.

[56] Этой проблеме посвящена вторая книга "Политики". См. Аристотель. Сочинения. Т. 4. М., Мысль, 1983. Стр. 403 - 443.

[57] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 46

проблематичным. Оставим пока эти выводы, сделанные Вилле на основе трактовки им текста “Никомаховой Этики” и коснемся ряда положений его анализа, представляющих интерес для нашего исследования. Прежде всего, надо выяснить причину того внимания, которое Вилле уделяет самому термину “dikaion”.

По его мнению, термин этот - есть именно то, что должно по-настоящему интересовать философов права. Совершенно верно заметив, что в аристотелевском тексте слово это употребляется то в значении “справедливость”, то в значении “право”, Вилле говорит о трех его “атрибутах”: объект, пропорция и среднее между крайностями.

Первый атрибут предполагает, что dikaion является внешним, по отношению к человеку, объектом. Это - особый род сущего. Он представляет собой цель деятельности судьи и объект деятельности справедливого человека, и предстает как правильное распределение благ, то есть как сущее, он является не субстанцией, а отношением. Само понятие права предполагает множественность лиц. Право отдельного индивида выступает лишь как определенная ему часть внешних благ и обязательно - с соответствующим ей пассивом. Вилле полагает, что возобладавшее в Новое Время понятие “субъективного права”, трактуемое как возможность, или свобода действовать определенным образом, не соответствует классическому правопониманию.

Второй атрибут dikaion - пропорция, как результат распределения. Причем речь идет о геометрической пропорции[58], или арифметической пропорции. С этим атрибутом dikaion связаны два обстоятельства социальной жизни. Это **распределение** благ, количество которых должно соответствовать качеству наделяемых лиц и **обмен**, как добровольный, так и недобровольный, для которого только и применимо простое уравнение. Однако и в случае обмена судья должен принимать во внимание качество обмениваемых предметов.

Наконец - третий атрибут - meson - середина между двумя крайностями. Если первый и второй атрибуты касаются предмета права, то meson относится к его методу. Взятое из морального учения Аристотеля, это понятие приобретает иной оттенок. В морали оно относится к субъекту, в праве - к объекту. Это уже предвещает формулу Фомы Аквинского - medium in re - призванную подчеркнуть, что право, как середина находится не в субъекте, а во внешних вещах. «*Таким образом, провозглашается **метод**: право не состоит из приказов повелителя. Юрист сам его открывает наощупь*».[59] Подобно тому, как люди в

[58] На наш взгляд, Вилле несколько преувеличивает заслугу Аристотеля в разработке учения о геометрической справедливости. По большому счету, Аристотель не был первым. Об этом виде справедливой пропорции упоминал еще Платон. Да и на древнем Востоке, которому Вилле отказывает в «правильном» понимании справедливости, уже появлялись аналогичные идеи. Так конфуцианец-ревизионист Сюнь-цзы объявлял несправедливым простое уравнение благ: «Если распределение будет равным, тогда не хватит на всех… Когда могущество людей равно по силе, а то, что они желают… одинаково, вещей для удовлетворения оказывается недостаточно, и в этом случае неизбежно возникает соперничество… В «Шу цзин» по этому поводу сказано так: «Чтобы достичь равенства, нужно неравенство». (Сюнь-цзы, гл. 9. \\ Древнекитайская философия. Т.2., с. 152)

[59] Le Droit et les Droits de l'Homme, p. 53.

поисках золотой середины в своем поведении лишь стремятся к своей цели, право также не всегда достигает своего результата, но всегда стремится к нему. Такой подход определяет и основу метода. Если, согласно современному подходу, судья дедуцирует свое решение из общей посылки нормы права, через частную посылку обстоятельств конкретного случая, то традиция dikaion предполагает обращение к античной диалектике. Два мнения спорящих сторон - две крайности, золотую середину для примирения которых должен найти судья в своей сентенции, выступающей не как логическая демонстрация, а как авторитетное мнение. Ведь право, в отличие от философии, занято поиском справедливости, а не истины, это - лишь правильная мера распределения благ. В некотором роде право (dikaion) - это "вещь нематериального характера", которую ищет юрист[60]. Позже мы увидим, что данные положения лежат в основе взглядов Вилле на методологию права.

2.3. *"Изобретение права" в Древнем Риме*

Мы подходим к одному из наиболее существенных моментов историко-философской концепции Вилле. Момент этот является и наиболее спорным. Являлось ли Римское право в действительности развитием аристотелевского учения о частной справедливости? Были ли римские юристы твердыми аристотеликами? Так ли уж непроходима граница между иудейской и античной традициями? И, наконец - является ли право "чисто европейским явлением"? Вот основные вопросы, на которые мы должны ответить, анализируя этот раздел концепции Вилле.

По мнению французского мыслителя, право было "изобретено" в Древнем Риме в эпоху, предшествующую Цицерону. Именно последнему, вроде бы принадлежит свидетельство, сделанное в трактате "De oratore" о том, что, если ранее не существовало основательного юридического образования, если право и медицина некоторое время преподавались одинаково, то с появлением первых поколений юрисконсультов, написавших первые трактаты по jus civile, право сделалось организованным искусством. Сам Цицерон, как считает Вилле, старательно подчеркивает, что этот процесс происходил под влиянием греческой философии, а его определение права практически совпадает с аристотелевским[61]. Зададим вопрос: верно ли Вилле трактует высказывания Цицерона, и не увидел

[60] Профессор Бо в своей новой монографии «Право жизни и смерти» подвергает эту формулу сомнению: «Древние греки говорили о справедливости и о законах, но не о праве, поскольку пресловутое *dikaion*, столь важное в Школе Мишеля Вилле обозначает только справедливое судебное решение" (стр. 85-86). С профессором Бо нас связывает многолетняя дружба; именно он в свое время посоветовал мне обратить внимание на работы Вилле, как на возможный объект внимательного изучения. Однако в данном случае Истина, как говорится, дороже. Вилле все же прав. Dikaion не тождественно справедливому решению: последнее его отражает. Dikaion объективно существует до решения и справедливость решения в том и состоит, чтобы в ходе его принятия dikaion было обнаружено. Если бы дело обстояло иначе, то любое суждение о справедливости решения превращалось бы в системе Аристотеля в субъективистскую спекуляцию. Однако гениальность Аристотеля была такова, что такого рода спекуляции в его мысли невозможны. Если же Бо прав, то Аристотель превращается в Перельмана, фактически подменяющего справедливость решения его «убедительностью».

ли он в его трактатах лишь того, что хотел там увидеть? Если бы первоисточники дали нам возможность сделать заключение о том, что в своей политической доктрине Цицерон был аристотелианцем, то обоснование концепции Вилле было бы безупречным, но анализ работ Цицерона приводит нас к совершенно противоположному результату. Так в диалоге "De re publica" Цицерон прямо говорит: *«хотя учения греков так нравятся вам, существуют и другие, более простые и более доступные всем, и мы можем применять их либо в своей частной жизни, либо с пользой для государства»*. Далее он называет в числе "самых искушенных в вопросах государственного устройства" греков Панэтия и Полибия, но не Аристотеля.[62] В письме к брату Квинту Цицерон называет «первым по уму и учености» Платона[63]. Когда Цицерон в другом письме к брату пишет о том, что Аристотель повлиял на него[64], или в письме к Лентулу указывает, что диалог «Об ораторе» он написал в духе Аристотеля[65], он имеет в виду исключительно стиль диалога и порядок рассмотрения вопросов. Для древнего читателя, который привык различать «платоновский» и «аристотелевский» диалоги было совершенно ясно, что здесь подразумевается; современный же читатель легко может впасть в заблуждение и именно это, кажется, произошло в случае с Вилле. Далее. Судя по пересказу Лактанцием недостающего фрагмента анализируемого нами диалога, Цицерон упрекает Аристотеля за то, что из его учения вытекает, что *«справедливость должна быть присуща одним только судьям и облеченным властью, а не всем»* [66]. Между тем, именно в вопросе о роли судьи в осуществлении частной справедливости Вилле видит несомненную преемственность от аристотелевского учения к Римскому праву. Наконец, обратим внимание на очень существенное высказывание Цицерона, сделанное им в диалоге "De legibus", и гласящее дословно следующее: *«мы, по природе своей склонны любить людей, а это и есть основа права»*.[67] Очевидно, что это гораздо больше напоминает Закон, основанный на любви, воплощенный, по мнению Вилле в традиции Торы, нежели аристотелевскую частную справедливость. Нельзя не упомянуть о том, что доводы Вилле основываются на приводимой им следующей цитате из трактата "De oratore": *«Sit ergo in jure civile finis hic legitimae atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio»*. По его мнению, это означает признание Цицероном в качестве назначения права сохранения справедливой пропорции в распределении благ между гражданами. Взятая вне контекста, эта формулировка могла бы действительно привести к такому выводу. Но контекст сознательно, либо

[61] Еще в ранней своей работе «Римское право: его актуальность» Вилле безапелляционно заявил: «философия Цицерона была только адаптацией греческой философии». Le droit romain. Son actualite. C. 22

[62] Цицерон. Диалоги. О Государстве - О Законах. - М., НИЦ "Ладомир", 1994, с. 18 - 19.

[63] Письма Марка Туллия Цицерона. Т. 1 с.100, - М., 1994. В своей переписке Цицерон признается, что авторитет Платона для него чрезвычайно велик. В одном из писем к Аттику оценка Платона еще выразительнее – «наше божество». Вообще, «наш Платон» – сочетание, очень часто встречающееся у Цицерона.

[64] Там же, с.306

[65] Там же, с.329

[66] Цицерон. Диалоги. О Государстве - О Законах. М., НИЦ "Ладомир", 1994 г. Стр. 57

[67] Там же. Стр. 102

неосторожно опущен Вилле. Внимательное чтение первой книги “De oratore”, из которой взята эта цитата, приводит к выводу о том, что Цицерон в значительной мере противопоставляет римский правовой опыт греческому. Несомненно, что речь здесь идет вовсе не о подчеркивании преемственности, а об ее отрицании. Спорным нам представляется и тот подробный анализ приводимой формулы Цицерона, который Вилле счел необходимым сделать.[68] По его мнению “jus civile” упоминается здесь для подчеркивания полисного характера правового искусства. Так как, согласно Аристотелю, право возможно лишь там, где есть судья, то, следовательно, оно возможно лишь в среде граждан одного полиса, то есть оно выступает всегда как “гражданское право”. Отсюда французский мыслитель черпает свое твердое убеждение в том, что именно jus civile и выступало как собственно право в Древнем Риме. Все же остальное: jus gentium, jus naturale, и т.д. относилось к сфере морали. Это утверждение в принципе можно обосновать, в особенности, если речь идет о классическом периоде римской истории, но, основывая его на текстах Цицерона, Вилле значительно ослабляет фундамент своих рассуждений, ибо сам Цицерон неоднократно подчеркивает, что гражданское право является лишь частью права, как более широкого явления. Добавим к этому, что положение вещей осложняется чрезвычайно расплывчатыми представлениями Вилле о существе “естественного права” и “права народов”. Так в “Le Droit et les Droits de l'Homme” он определяет jus naturale сначала как *«не совокупность правил, выводимых из требований разума, а совокупность <бестелесных> вещей - ... юридических отношений между всеми одушевленными существами»*, а затем как *«правила, общие всем существам, универсальная мораль»*. Это противоречие весьма существенно. Ведь если первая дефиниция (базирующаяся на высказывании Ульпиана) роднит jus naturale с jus civile, понимаемым Вилле также как совокупность бестелесных вещей-отношений между гражданами, то вторая дефиниция резко противопоставляет оба явления. То же имеет место и с jus gentium. Согласно первому определению Вилле - это *«чисто моральные требования, предъявляемые к межполисным отношениям»*, согласно же второму - это *«право, общее для всех цивилизованных народов»*.[69] Кажется, что Вилле сам чувствует себя не совсем уютно в тех узких рамках понимания сущности права, которые он для себя определил. Вернемся, однако, к анализу остальных элементов цицероновой дефиниции.

“Aequibilitas”, по мнению Вилле, совершенно аналогично аристотелевскому “meson”. Иначе говоря, здесь имеется в виду геометрическое равенство в распределении благ. Если бы Цицерон, подобно Аристотелю, оставил нам до-

[68] Положение осложняется и тем, что грамматическая структура данного цицеронова высказывания не дает возможности перевести ее однозначно. В русском переводе (см. Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., НИЦ “Ладомир” , 1994. стр. 111.) оно, например, может звучать так: “... для гражданского права... должна быть определена цель, а именно - справедливое соблюдение законов и обычаев в тяжбах граждан”. Как видно, в таком переводе ее значение весьма отличается от того, которое приписывает ему Вилле.

[69] Ср. Le Droit et les Droits de l'Homme , p. 73 и p. 93. Противоречие очевидно.

статочно развернутые рассуждения о геометрическом равенстве, причем в одном контексте с рассуждениями о назначении правового искусства, данное утверждение могло бы быть подвергнуто нашей проверке, но так как дело подобным образом не обстоит, то следует признать, что данная трактовка термина не может быть ни доказана, ни опровергнута. Термин “causisque”, как считает Вилле, предназначен для того, чтобы связать проявление права с возникновением юридической тяжбы. Он вообще полагает, что именно в деятельности судей по разрешению конкретных дел и заключалось в Римской традиции право. Обоснование этого утверждения дается им, однако, несколько позже и поэтому мы пока воздержимся от его подробного рассмотрения.

Некоторые позиции анализа приводимой формулы, осуществленного Вилле, кажутся нам очевидно искусственными. Так, например, утверждается, что термин “usitatae” должен рассматриваться, как *«призыв к поиску справедливого распределения... в обычаях, нравах, через наблюдение социальной реальности»*.[70] Очевидно, что здесь Вилле делает еще одну попытку отождествить цицеронову позицию с аристотелевой. Очевидно и то, что трактовка эта абсолютно бездоказательна и по существу, Вилле видит в тексте лишь то, что он изначально хотел в нем увидеть. Еще более показательно рассмотрение термина “legitimae”. Указав на то, что, хотя судья и придерживается ряда полисных законов, это не значит, что его решения полностью диктуются законами, Вилле делает заключение столь важное для понимания его концепции, что мы не можем не привести его здесь дословно. *«В Риме, и тем более - в Греции,* - пишет он, - *не существует ничего похожего на Кодексы, правящие современным правом... Право здесь есть стремление к справедливому распределению... Эта сжатая формула есть конденсация тезисов, открытых в Этике Аристотеля... Похоже, что Цицерон делает копию с греческой модели».*[71] Назначение этого пассажа также понятно. Как мы увидим позже, Вилле пытается доказать то, что законодательство в классической традиции предназначалось для регулирования, главным образом, вопросов морали, и лишь отчасти касалось правовой сферы. Опять же бросается в глаза упорное желание автора, вопреки всякой очевидности, показать Цицерона одним из наследников Аристотеля в философии права. Нельзя не заметить и того, что эти соображения вводятся Вилле на место обещанного толкования термина, который остается неразъясненным. Это и неудивительно. Уважительное отношение Цицерона к законам, причем как к явлению неотделимому от права, общеизвестно и непредвзятый анализ необходимо бы опроверг те утверждения, которые Вилле напротив всячески стремится обосновать[72].

[70] Там же, p. 59.

[71] Там же, p. 59 - 60.

[72] Обосновать некоторую преемственность в этом вопросе от Аристотеля к Цицерону, скорее, можно было бы на основании трактата «Об обязанностях». Цицерон там пишет: *«права ведь люди всегда искали равного; ибо иначе вообще не существовало бы права. Если люди добивались такого права от одного справедливого и честного мужа, они были довольны им; но так как это им не удавалось, то были придуманы законы, дабы они со всеми людьми говорили одним и тем же языком»* (Кн. II. XII, 42). Здесь можно увидеть влияние аристотелев-

Если Вилле действительно хотел доказать преемственность в правопонимании от Аристотеля к Цицерону, ему лучше следовало бы основывать свои рассуждения не на цитате из «Ораторского искусства», а на следующем положении трактата «Об обязанностях»: *«первая задача справедливости - в том, чтобы никому не наносить вреда, если только тебя на это не вызвали противозаконием; затем – в том, чтобы пользоваться общественной собственностью как общественной, а частной как своей»*[73]. Здесь действительно можно бы было построить достаточно корректную аналогию, сказав, что первая задача справедливости (не чинить вреда) подобна аристотелевской общей справедливости, а вторая (различать свое и чужое) – частной. Однако, поскольку сам Вилле этого не делает, мы не станем дальше развивать эту аналогию.

Выдвинув тезис о происхождении римской правовой традиции от аристотелевской философии, и отметив то, что рассмотрение Цицерона в качестве непререкаемого авторитета в области римской науки права оспоримо (здесь правомерным было бы задать вопрос: зачем в таком случае понадобилась вся эта сложная операция с подробным анализом вырванной из контекста цитаты?), Вилле переходит к рассмотрению содержания Дигест, разумеется, лишь в интересующем его аспекте. Здесь он также видит несомненное влияние аристотелевского учения о частной справедливости. Основное свое внимание он концентрирует на нескольких определениях, демонстрирующих эту преемственность. Прежде всего, имеется в виду известная дефиниция, содержащаяся в Институциях Ульпиана, и определяющая право, как “искусство хорошего (доброго) и равного (справедливого)” (ars boni et aequi). Здесь имеется, по мнению Вилле, нечто среднее между частной и общей справедливостью. А так как (о чем мы уже говорили выше) французский ученый видит прямую зависимость между правопониманием конкретной эпохи и представлением этой эпохи о справедливости, то его не может не интересовать вопрос об этом представлении у древних римлян. Ответ на этот вопрос также находится у Ульпиана, определяющего справедливость (justitia) как *“постоянную и неизменную волю присуждать каждому его право”* (jus suum cuique tribure).[74] В соответствии с этим, Ульпиан определяет юриспруденцию как “науку о справедливом и

ской идеи о том, что законы создаются ввиду несовершенства людей, неспособных в каждом случае находить справедливое решение. Однако даже из этого пассажа не следует, что закон относится только к сфере морального регулирования. Как мы видим, Цицерон делает однозначное указание на правовую сферу.

[73] «Об обязанностях» Кн. I, VII, 20

[74] Вилле полемизирует с Кельзеном, который считал эту формулу тавтологичной и бесполезной, так как она не раскрывает, что собственно принадлежит каждому. Вилле видит в этом существенную ошибку. Он саркастически замечает, что “настоящая формула лишь позволяет нам не путать юридическое искусство с функциями техника, или ученого, чем собственно всегда и грешил сам Кельзен. (Philosophie du Droit § 35).

Тем не менее, очевидно, что своей трактовкой Вилле как раз и придает римской формуле ту тавтологичность, в которой ее несправедливо упрекает Кельзен. По-существу, право определяется как справедливость в распределении благ, а справедливость - как стремление предписывать каждому его право. Эта тавтологичность могла бы быть преодолена, если бы Вилле признавал различие между правом субъективным и правом объективным, но, по его глубокому убеждению, право всегда объективно, и на страницах своих работ, посвященных правопониманию Средних веков и Нового времени, он последовательно доказывает несостоятельность термина “субъективное право”.

несправедливом". Справедливое же может рассматриваться двояко: как универсально доброе и справедливое - Jus naturale, аналогичное предмету общей справедливости у Аристотеля, и как целесообразное для данного полиса - jus civile, гораздо больше напоминающее предмет частной справедливости. Эта информация, почерпнутая из Дигест, как считает Вилле, доказывает, что римские юристы понимали право как реализацию частной справедливости при разрешении судьей каждого конкретного дела и что такая концепция права исключает возможность чего-либо аналогичного нормативистскому подходу. Значение закона в Римском праве - считает он - определяется лишь тем, что он устанавливает судебную организацию и процедуру, без чего юридическая деятельность не представляется возможной, а также - законы затрагивают сферу права в области санкций, но не более того.

Здесь мы вновь видим определенную некорректность рассуждений. Прежде всего, неправомерно прямолинейное сопоставление аристотелевской терминологии («естественное право – узаконенное право») и терминологии римских юристов («естественное право – цивильное право»). Параллельное изучение «Этики» и «Дигест» приводит к выводу, что эти пары терминов не аналогичны. Римляне, некоторым образом, противопоставляют естественное начало – цивильному, универсально-природное – человеческому, общечеловеческое - цивильному. Согласно Ульпиану, *«естественное право – это то, которому природа научила все живое: ибо это право присуще не только человеческому роду, но и всем животным, которые рождаются на земле и в море, и птицам… мы видим, что животные, даже дикие обладают знанием этого права. Право народов – это то, которым пользуются народы человечества; можно легко понять его отличие от естественного права: последнее является общим для всех животных, а первое – лишь для людей в их отношениях между собой»*[75]. Далее в «Дигестах» следует дефиниция Гая: *«то право, которое народ установил для себя, является собственным правом государства и называется цивильным правом…»*[76].

У Аристотеля нет ничего подобного данному противопоставлению. У него естественное и узаконенное право это две ипостаси единого политического права. Причем естественное право у него относится к человеческим отношениям, а не к отношениям всего живого. Там где у великого грека – гармоническое единство указанных начал, у римлян – их доктринальное сочетание. Там где у Аристотеля два начала, у римлян – три. Если в этом принципиальном вопросе древние римляне и предстают перед нами как аристотелианцы (а Вилле пытается это доказать), то и Ульпиан и Гай и прочие в лучшем случае были аристотелианцами-ревизионистами.

Неверно и другое сопоставление, приведенное выше. Вилле уподобляет римское jus naturale предмету общей справедливости у Аристотеля. Для такого

[75] Дигесты, Кн. 1. I, 1, 4.
[76] Дигесты, Кн. 1. I, 9

уподобления оснований быть не может, поскольку нет аналогии между «правом, которому природа научила все живое» и «универсальной добродетелью человека». К тому же сам Вилле связывает с общей справедливостью сферу законодательного регулирования, противопоставляя ее сфере судебной деятельности, выводимой из частной справедливости. В этом аспекте аналогия общей справедливости с римским пониманием естественного права совершенно не ясна.

Вилле также позволяет себе уподобить jus civile и предмет частной справедливости, забывая о том, что рассуждения Аристотеля в отличие от рассуждений римских правоведов, не касаются различения частного и публичного начал в цивильном праве. Такое различение у римлян разрушает аналогию. И опять же – Вилле связывает частную справедливость со сферой судебной деятельности в противовес законодательному искусству, связанному со сферой общей справедливости. У римлян же цивильное право тесно связано с законодательным регулированием, в чем текст Дигест не оставляет сомнения. Вновь там, где Вилле видит подобие, на самом деле налицо очевидное разногласие. Его система изящных аналогий не выдерживает проверки по существу[77].

Вилле, однако, этим не ограничивается. Его позиция подкрепляется рядом положений, обнаруженных им в Corpus Juris Civile. Помпоний вроде бы говорит, что *«jus civile в чистом смысле состоит в отсутствии всякого писаного закона, в том, что составляет результат работы юрисконсультов»*. (Впрочем, сам Вилле признает, что здесь римский юрист повествует о положении, имевшем место во времена архаического права.) Здесь нам кажется важным сказать о том, что данная интерпретация текста Помпония является, пожалуй, чересчур вольной. Этот достаточно известный афоризм (*Aut est proprium jus civile quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*) означает буквально следующее: *«особенностью гражданского права является то, что оно устанавливается без записи одним толкованием знатоков права».* Нет никакого упоминания о законе, и, кажется, никаких оснований для отождествления установления права без записи с отрицанием роли письменного законодательства. Более того, мы опять имеем здесь место с фрагментом, вырванным из контекста. Помпоний говорит о том, что после появления Законов XII Таблиц, появилась необходимость в interpretatio, на основании чего и возникла юриспруденция. И право действительно некоторое время действительно существовало без записи, одним толкованием. Получается, что римский юрист связывает появление jus civile с возникновением письменного закона. Более того, повествуя о древнем периоде, Помпоний говорит: *«в начале нашего государства народ действовал без определенного закона, без определенного права…»*[78].

[77] Не видя необходимости в том, чтобы подробно развивать эту мысль, укажем все же и на то, что Вилле в своей системе терминологических аналогий не учитывает такого источника права как jus honorarium. Я полагаю, что любая попытка ввести его в виллеанскую систему аналогий, скорее всего, привела бы к разрушению этой системы. А ведь от этого источника права древнего Рима никуда не денешься!

[78] Дигесты, Кн.1. II,2,1

Иными словами, здесь отсутствие закона отождествляется с отсутствием права. Но если бы даже трактовка Вилле была справедливой, данный пассаж относится к гражданскому праву, а то, что лишь последнее и считалось правом у римлян, ему, как мы это выяснили выше, не удалось обосновать достаточным образом. Сам Помпоний в этом фрагменте говорит о разных видах права, одно из которых «устанавливается на основании закона», а другое «устанавливается без записи». Основная ошибка Вилле состоит в том, что он сопоставляет гомогенное понимание термина «право», свойственное Аристотелю с римским пониманием. А, как об этом свидетельствуют Дигесты, римлянам было свойственно рассуждать о праве во многих смыслах этого слова. Тем не менее, Вилле убежден в том, что, выступая как "наука о справедливом и несправедливом", право у римлян не может являться системой позитивных норм, но скорее должно рассматриваться как раздел философии. Это не дедуцирование решений из текстов законов, а наблюдение реальности и диалектический поиск справедливого решения. Казуистичность Римского права объясняется именно его ориентацией на разрешение конкретных споров, а не на создание универсальных норм. Позднее придание сентенциям юристов письменной формы не меняет положения дел, так как по существу они рассматривались не как императивные правила, а как примеры наиболее разумных решений, получившие официальное одобрение. Таким образом - не право исходит из правила, а правило - из права, как собственно и гласит известная римская формула: *«Jus non ex regula sumatur sed ex jure, quod est, regula fiat»*. Неверие римлян в возможность построения универсальных и долговременных норм, согласно Вилле, доказывается и известным положением из Дигест, гласящим: *«всякая юридическая дефиниция случайна и может быть отвергнута».*

Впрочем, Вилле сам признает, что уже в эпоху Империи право становится *«из цивильного - имперским, и по преимуществу – законодательным»*. В сложном организме Империи уже трудно было держаться в рамках исключительно частной справедливости. Определение доли каждого в громадном государстве становится делом крайне затруднительным.[79] Наступает момент, когда право полиса сменяется всеобщим моральным законом: моралью стоиков, а позже - иудео-христианской моралью. Вилле, кажется, не отдает себе полностью отчета в том, что само по себе признание этого очевидного исторического факта, "снимает" с Европы обвинение в том, что она не столько произвела рецепцию Римского права, сколько порвала с его классическими традициями. Ведь именно по соседству с Империей формировались западноевропейские государства и потому неудивительно, что ими было воспринято не раннеримское, а имперское правопонимание. Этот факт ставит под сомнение и уже известное нам утверждение Вилле о том, что признанию позитивного закона основным источником права, мы обязаны по преимуществу философии Модерна. Впрочем,

[79] Как нам представляется, сказать это - значит, признать, что правопонимание, основанное исключительно на концепции частной справедливости, не является универсально применимым, а стало быть - и единственно правильным. Но разве сам Вилле не старается доказать обратного утверждения?

Вилле пытается смягчить это несоответствие оговоркой о том, что даже в императорскую эпоху речь идет, прежде всего, о справедливости[80], хотя и о справедливости законной. Оговорка эта выглядит слабо, так как подобное можно сказать о правопонимании любой системы, даже построенной на самом крайнем нормативизме, который как мы знаем, отрицается Вилле в принципе.

В отличие от "квазиправа", исходящего из традиции Торы, Римское право оценивается Вилле крайне высоко. *«Вот право,* - восклицает он, - *не падающее с небес, не происходящее из воли суверена, не исходящее из теологической доктрины или от моралистов... Нет ничего похожего на наши "права человека", на современную субъективистскую идею свободы субъекта, или на властное повеление. Но насколько более богато, выведенное из реалистического наблюдения за юридической деятельностью, это греческое понятие права, предназначенного для познания и определения части каждого в разделе между гражданами».*[81]

А. Рено и Л. Сосо совершенно справедливо подчеркивают, что абсолютное предпочтение, оказываемое Вилле "аристотелевско-римской" (классической) философии права, обусловлено выделением им четырех ее базовых принципов, положительное значение которых для него неоспоримо.[82]

Во-первых, по мнению Вилле, для этой философии права было свойственно ясное и четкое определение соотношения между моралью, политикой и правом, в то время как в философии Модерна, эти сферы оказываются смешанными[83]. Недостаточно и разделение этих сфер в доаристотелевский период философии. Так тоталитаризм платоновского государства, по мнению Вилле отчасти определен тем, что, различая уже право и политику, Платон еще не различает права и морали. Поэтому право у него выступает как *«орудие этатистской морализации граждан, род обучающей диктатуры».*[84] Для Аристотеля было свойственно понимание того, что основы права и морали различны. Если право основывается на объективном действии, то мораль - на субъективных интенциях. Таким образом, в сфере права можно объективно поступать справедливо, не

[80] Вилле упорно отказывается замечать, что в основе распределения благ лежит не только справедливость, но и экономические и прочие интересы. И античные юристы, с их страстью к анализу социальной реальности (на которую совершенно правильно указывает сам Вилле) не могли этого не заметить. В конце концов, давая определение частного права Гай, видимо, не зря подчеркнул, что оно «относится к интересам частных лиц».

[81] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 68.

[82] A. Renault et L. Sosoe. Philosophie du Droit. p. 133.

[83] Вилле, конечно, преувеличивает степень разграничения права и морали в «классической» правовой традиции. Преувеличено и его требование абсолютно разграничить их в современном правоведении. Можно согласиться с тем, что главная задача человека в правовой среде – jus suum quique tribuere. Однако сделать эту задачу предметом своей «постоянной и неизменной воли» может только тот, кто способен honeste vivere. То есть возможность неизменного исполнения чисто правовой заповеди все же обусловлена неизменным исполнением моральной заповеди. Не зря обе эти заповеди, плюс третья (тоже скорее моральная, чем чисто правовая) – neminem laedere – преподносятся Ульпианом в неразрывном единстве.

[84] M. Villey. La Formation de la pensee juridique moderne. Dalloz. 1968. p. 26. Рено и Сосо верно подмечают, что здесь у Вилле намечается некоторое сходство с идеями, высказанными в книге К. Поппера "Открытое общество и его враги". Но, несомненно и то, что если рассуждения Поппера носят скорее публицистический характер, то для Вилле свойственна философско-правовая аргументация. Этот факт неоднократно отмечался французскими исследователями творчества Вилле.

будучи, при этом, внутренне справедливым. Стало быть, право направлено на совершение справедливости, а анализ движущих причин и мотивов действия остается задачей морали. Этим отчасти объясняется тот факт, что Вилле признает настоящим правом лишь гражданское право, признавая за правом уголовным лишь претензии на наименование "квазиправом"[85]. Рено и Сосо вынуждены признать, что объективно, здесь предлагается действительно качественный критерий для чисто правовой оценки философско-правовых доктрин.[86]

Второй базовый принцип состоит в признании того, что право основывается на созерцании (теории) мира. Миру свойственен разумный порядок, запечатленный в природе вещей[87]. Задачей человеческого разума является обнаружение этого порядка. Здесь речь идет об объективном (не в модернистски-волюнтаристском, а в классическом понимании этого слова) праве. Правовая реальность основана на реальности объективного мира. Учебник Гая является не компендиумом рациональных построений, а описанием Римской правовой реальности в той же степени, в какой Этики Аристотеля были описанием наличных нравов. Судебная сентенция не указывает на должное поведение, а дает в индикативе описание справедливого положения вещей.

Право также предполагает реализацию естественных сущностей вещей, и поэтому оно может рассматриваться как естественное право. Если в Новое время старались выделить постоянные аксиомы естественного права, тем самым, придавая "истинному" праву неподвижную стабильность, то классическое естественное право предполагает, напротив, изменчивость права, некоторую его спонтанность именно в силу его естественности. Так, например, спонтанно сформировалась Афинская конституция, что, по мнению Вилле, служит блестящим примером проявления естественного права, предсуществующего позитивному. Здесь мы приходим к важнейшему для понимания виллеанской доктрины моменту. Если большинство исследователей видят в развитии европейского юснатурализма органическую преемственность, идущую от времен античности, то для Вилле существует две концепции естественного

[85] Некоторые основания для этого предоставляет римское право. Если мы заглянем в третью книгу Институций Гая, то увидим там, что «уголовная» ответственность понимается как совокупность обязанностей правонарушителя, вытекающих из факта совершения преступления и, в этом смысле, она представляет собой не более чем просто раздел обязательственного права.

[86] A. Renault et L.Sosoe. Philosophie du Droit. p. 26.

[87] В такой концепции некоторое значение приобретает «вещь в себе». Разумная воля не может постановить нечто, грубо противоречащее природе вещей. Если «вещь в себе» не может быть товаром, исходя из своих природных особенностей, никакое правовое уложение не сделает ее таковым в качестве «вещи для нас». Именно в таком положении вещей Вилле усматривает сущность естественного начала в праве. Для правоведа-реалиста понятие вещи в себе, при рассмотрении некоторых проблем может стать необходимым понятием. Всякого рода экзистенциалистские спекуляции по этому поводу эффектны, но пусты. Сартр говорил, что вещь в себе - бессмыслица. «Когда я использую уран для получения электричества, - рассуждал он, - его ценность определяется моим решением». Это – игра словами! Попробуйте для той же цели использовать песок! Вы можете тысячу раз определить своим решением его ценность в качестве источника энергии, но поскольку песок, как вещь в себе, в отличие от урана, не является источником энергии, трансформируемой в электрическую, ваше решение будет безрезультатным. Бессмыслицей будет как раз ваше решение, ваша идея о песке, как вещи для вас, а вовсе не вещь в себе.

права. Первая - истинная, содержащаяся в работах Аристотеля и Фомы Аквинского, и вторая – *«рационалистская доктрина Модерна, узурпировавшая это имя»*.[88] Вилле убежден, что юснатурализм Модерна гораздо более заслуживает наименования "юридического рационализма". По существу, выходит, что, проведя различение права от политики и от морали, и поставив вопрос об условиях справедливости закона, различив позитивное и естественное право, Аристотель явился отцом подлинного юснатурализма, а Римская правовая традиция не знает сомнений в существовании этого подлинного естественного права. Эти рассуждения не лишены справедливости, однако, они плохо согласуются с уже упомянутым нами тезисом Вилле о том, что jus naturale (единого определения которого, как мы помним, Вилле не имеет) относится не к сфере права, а к сфере морали.

Третий принцип состоит в определении права как науки о справедливом распределении внешних благ, а не как системы установленных правил поведения.

И, наконец - четвертая положительная особенность классической философии права - есть строгое определение метода права. Тут логика кажется вполне ясной. Если справедливость находится в природе вещей, то дело юриста - наблюдение этой природы. Таким образом, аристотелевская диалектика становится органическим методом права. Ошибка юснатурализма Модерна состояла в замене его аксиоматически-дедуктивным методом, слабо согласующимся со спецификой права. Дело права - не поиск догм, а поиск верного решения для конкретного случая. Это и есть - juris prudentia. Праву ни в коем случае не чужда рациональность, но это особая форма рациональности - диалектическая. Рационализм же Модерна ему глубоко чужд.

А. Рено и Л. Сосо, несомненно, правильно говорят о том, что если второй и третий признаки классической философии права (право как форма созерцания мира и как наука о справедливом распределении внешних благ) подмечались и другими мыслителями: например К. Леви-Строссом и, отчасти, М. Хайдеггером, то выделение первого и четвертого признаков (определение четкой сферы права и его специфического метода) является оригинальным теоретическим достижением Мишеля Вилле.[89]

Нельзя, конечно, не сказать о том, что жесткое разграничение общей и частной справедливости, а стало быть - права и морали - в работах Вилле, стало не только одной из основных мишеней критиков виллеанской доктрины, но и

[88] Ch. Perelman. Droit, Morale et Philosophie. p. 13. В 194-м параграфе своей "Философии права" Вилле также отмечает, что этим термином, значение которого всегда было достаточно туманным, пользовались самые непохожие европейские доктрины. Он ссылается на результаты исследований немецкого ученого Эрика Вольфа, который в 1959 году сделал сообщение о том, что в европейской философии права термин "естественное право" используется более чем в пятидесяти значениях. Напомним также мнение Рене Давида, считавшего, что "вопреки своему неудачному наименованию, школа естественного права видела в праве не какое-то естественное явление... а творение человеческого разума, признанного отныне единственной направляющей право силой" (Р.Давид, К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. Стр. 38).

[89] A.Renault et L.Sosoe. Philosophie du Droit. p. 133.

вызывало определенные нарекания и у мыслителей виллеанского направления. Так, например, Жорж Пьери в своей статье "Jus и Jurisprudentia", придерживаясь в целом достаточно близких к Вилле позиций, пытается путем тщательного лингвистического анализа по сути дела, продемонстрировать взаимосвязь этих явлений, сохраняя, однако их сущностную автономию.[90] По его мнению, справедливое распределение благ в античной традиции не могло не рассматриваться в качестве элемента мирового порядка. Следовательно, требования частной справедливости таким же образом направлены на сохранение этой гармонии, как и нормы общей справедливости. Ведь, по сути дела, определить долю человеческого существа во внешних благах - значит определить зону его действия. Определение этой зоны имплицирует реализацию добродетели справедливости, что является феноменом морального порядка, а право, как искусство такого определения, неразрывно связано с добродетелью prudentia.

Пьери весьма справедливо замечает, что формулы Ульпиана, на которых основаны выводы Вилле, с их обобщающим характером, достаточно уникальны на фоне в целом казуистической римской юриспруденции. Далеко не все римские юристы разделяли взгляды Ульпиана. И если даже предположить, что последний в действительности был адептом греческой философии аристотелевского толка, то тезис об универсальной преемственности в масштабах всего римского правоведения вряд ли справедлив.

Результаты исследований Пьери ставят под сомнение и абсолютное противопоставление восточной и западной традиций. Выясняется, что в архаический период своего развития западное правопонимание концептуально приближалось к восточному. По убеждению Пьери, анализ древних языков доказывает несомненную связь римского архаического права с религиозно-моральными моментами. Само слово jus, как доказывают исследования языковедов, является однокоренным с термином Авесты yaosda (очищать) и термином Вед samyoh (полнота времени, благосуществование, установленное Богом). Иными словами, любое архаическое право в основе своей имело акты, дающие каждому его определение и назначение. Это может осуществляться, в том числе, и путем определения доли во внешних благах. Особенность греко-римской традиции заключается лишь в том, что в то время как в других культурах сохранился почти нетронутым религиозный аспект, в античном мире он был достаточно быстро переведен в чисто социальный план. Право первоначально вообще предназначалось для определения объема власти конкретного субъекта в зависимости от его статуса. Некоторым образом, доля во внешних благах определяет зону ограничения этой власти. Причем, в этом понимании, субъектом права мог быть не только человеческий индивид, но и бог. Недаром в римских сакральных текстах формула "tibi jus" относится к божеству. Не замеченный Вилле аспект состоял в том, что именно функция индивида в мировом порядке и

[90] См. Georges Pieri. Ius et iurisprudentia. Archives de Philosophie du Droit. Tome 30. La jurisprudence. Siray. Paris, 1985.

его добродетель является в раннем праве основанием для определения его доли в разделе благ. От себя добавим, что, несомненно, отголоски этой традиции все еще явственно слышны в “Никомаховой этике” Аристотеля, и именно они видны в упорном требовании пропорционального равенства в сфере распределительного права. Отмеченный переход из религиозного в социальный план не носил абсолютного характера, не было полного отрыва от традиции. Этого, кажется, не замечает не только Вилле, но и уточняющий его концепцию Пьери. Конечно, в развитом античном праве функция провозглашения справедливости - jus dicere - становится центральной функцией правовой деятельности и явно возвышается от совершения справедливости у древних - yaos da. Но, во-первых, “центральная функция” - не означает “единственная функция”, а, во-вторых, само по себе провозглашение справедливого решения, если оно не предполагает последующих действий по приведению положения вещей в соответствие с ним, абсолютно бессмысленно в любой правовой традиции. И, наконец, говорить о полном разделении религиозного и социального планов деятельности индивида применительно к античности (как, кстати, и к европейскому средневековью) нам кажется невозможным. Сама связь термина “дикайон” со словом “дике” является лишним доказательством связи политических и в особенности правовых конструкций античного мира (по крайней мере - доэллинистической Греции) с мифологемой судьбы[91]. Другие термины, служившие для обозначения судьбы, как показывают лингвистические и исторические исследования, также чрезвычайно тесно связаны с правовым лексиконом. Так, используемое еще Гомером слово “айса” имеет первоначальное значение “часть” или “доля”[92]. То же относится и к слову “мойра”, а также к “морос”. Последний термин иногда мог означать “земельная мера”. Сам термин “номос”, обозначающий “закон”, также имеет несомненную связь с этой мифологемой, так как в раннем употреблении он был тесно связан со словом “мойра”. Оба слова означали разделение, или определенную долю, но “мойра”, как определение доли по жребию противопоставлялось “номос”, как определению доли, не связанному с бросанием жребия.[93]

Схожее положение наблюдается практически во всех древних цивилизациях. Так имя египетской богини правды, честности и справедливости Маати происходит от слова “маат”. Так “... назывался стебель, служивший *мерой* тростника...”.[94]

Даже у того же самого Аристотеля, перед авторитетом которого Вилле так преклоняется, мы видим отголоски мистически-религиозного правопонимания. Процитируем один весьма знаменательный в этом плане фрагмент «Большой

[91] Связь эта, разумеется, не была односторонней. Не только мифологема Судьбы отражалась в философии справедливости, но и ходовые представления о справедливости не могли не повлиять на учение о Судьбе. Известно ведь, что «в эпоху господства мифологии природа осмысливалась по аналогии с родовой общиной и человеком» (В. Соколов. Философия древности и средневековья. С. 26).

[92] См. В.П. Горан. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, Наука, 1990. Стр. 22-23

[93] Там же. Стр. 125

[94] Уоллис Бадж. Египетская религия. Египетская магия. М., Новый Акрополь, 1996.

Этики»: *«бог… распределяет доброе и злое по заслугам… Если мы допустим, что бог распределяет случайно, то признаем его дурным и несправедливым судьей»*[95].

Некоторые оговорки самого Вилле позволяют нам сделать вывод о том, что и он сам ощущал порой некоторую крайность своей позиции. Так, например, в предисловии к книге Хаима Перельмана "Право, Мораль и Философия"[96] он говорит буквально следующее: *«Возможно, правовая наука есть сектор морали. Ведь право представляется нам чем-то иным, нежели просто совокупностью правил, нежели чистой дедукцией из правила, но чем-то, исходящим, прежде всего, из работы "практического разума", использующим аргументацию, таким образом - из морали»*. Здесь интересна близость Вилле к Кельзену, проявляемая им, несмотря на то, что он относится к отцу нормативизма резко отрицательно. Именно Кельзен сказал однажды в одной из своих малоизвестных статей, что *«философия права ищет ответ на вопрос: какие правовые правила следует принять или установить, иными словами - ее основное содержание - проблема справедливости. Исходя из того, что справедливость есть постулат морали, философия права представляет собою ветвь моральной философии, или этики. Ее метод и метод этики идентичны»*.[97]

В целом, по данному сектору историко-философской концепции Вилле, мы можем заметить, что, несмотря на ряд интереснейших наблюдений и оригинальных идей, он не смог с достаточной полнотой и непротиворечивостью доказать ряда важнейших для всей его доктрины положений, а именно:

- того, что классическая традиция Римского права построена на аристотелевской философии[98],

- того, что традиция Торы и традиция Дикайон абсолютно противоположны[99],

---

[95] Аристотель. Сочинения. Т.4. с. 358

[96] Droit, Morale et Philosophie. Par Chaim Perelman. Ed. 2. Librairie generale de Droit et de Jurisprudence. Paris. 1975. p. 9 -14.

[97] Archives de Philosophie du Droit. vol 7. p. 136. Siray. Paris 1962.

[98] Как нам представляется, рассматривая римских юристов в качестве последователей, главным образом, Аристотеля, Вилле явно недооценивает ту роль, которую в формировании римской правовой идеологии сыграл стоицизм. Прав был Э. Ренан, отметивший, что именно *«стоицизм успел провести в римское право свои широкие правила и сделал его правом естественным, философским, мыслимым по разуму для всех людей… Жесткое право уступает дорогу справедливости; кротость берет верх над строгостью; правосудие кажется нераздельным с благотворительностью».* (Э. Ренан. Марк Аврелий и конец античного мира – Ярославль, «Терра», 1991. С. 20).

Любопытно, что и сам Вилле в раннем периоде своего творчества не был склонен преуменьшать оригинальность римского правового мышления в сравнении с греческим. В книге «Римское право: его актуальность», написанной в 1945 году Вилле заявлял, что, если греки были озабочены исключительно философией справедливости, то римляне в своем праве положили начало европейской традиции защиты индивидуальной свободы. Интересен следующий пассаж из этой работы: *«римские юристы не ставили перед собой задачи дальнейшего развития теоретических спекуляций греческих философов. Их задачей было претворить в жизнь (чего греки не смогли сделать) идеальные принципы равновесия и хорошей социальной организации. Нужно было установить на деле порядок и мир в римском государстве и за его пределами. Наконец, нужно было разработать процедуру которая действовала бы эффективно, уравновешенно и с пользой».* Droit romain… С. 23.

- и - самое главное - того, что именно классическое Римское цивильное право представляет собой единственный образец “настоящего права”.

В этой части выводы Вилле представляются нам несколько «метафизическими». Вилле как будто фактически отрицает возможность развития, как явлений, так и соответствующих им понятий. Некоторым образом, это противоречит логике его же концепции. Он отрицает существование права у древневосточных цивилизаций только потому, что у них существовали иные понятия, чем у греков и римлян, потому только, что древний Восток и древний Рим – не одно и то же. Но современная цивилизация также есть нечто иное, чем цивилизация древнеримская и, тем более, древнегреческая! Исходя из этого, мы можем либо признать, что право, как таковое, существовало только в древнем Риме и не может существовать у нас; либо мы вправе задать вопрос: почему мы в

Здесь следует, впрочем, заметить, что уже аристотелевская традиция подразумевала возможность защиты достоинства гражданина полиса, без которой, конечно, невозможна защита индивидуальной свободы. Для грека достоинство есть нематериальная вещь, принадлежащая индивиду (по разным основаниям). Покушение на нее есть нарушение требования геометрической справедливости, и может быть основанием для судебного спора. В Древнем Риме применялся термин “Existimatio” - состояние ненарушенной чести и достоинства. Покушение на existimatio - есть также основание для иска. Некоторая преемственность – налицо.

Однако по существу у греков еще не могло быть речи о правовой защите ЛИЧНОСТИ – это более сложный вопрос. А.Ф.Лосев утверждал, что в греческом языке не было термина, аналогичного слову “личность” в его современном философском понимании. Речь может идти, в лучшем случае, о защите членов общины, граждан, или лиц, наделенных рядом гражданских прав, то есть защищалось «лицо», но не «личность» (разумеется, говоря о «лице», я выражаюсь достаточно условно, поскольку этот термин еще не был известен грекам). В любом случае, это не самоцель, а одно из средств поддержания справедливого равновесия и порядка. У древних же римлян, субъект права это персона – абстрактная личность. Современные же представления о правовой защите личности подразумевают личность конкретную.

[99] Вопрос о соотношении восточной и западной традиций правопонимания, конечно крайне сложен. Он всегда будет упираться в вопрос о самом существовании, или, по крайней мере, о роли права на Востоке. В рассмотрении этого вопроса достаточно трудно избежать крайних оценок. Конечно, мы должны признать, что право не было там основной нормативной системой. Однако из этого не следует, что этим цивилизациям не присущи вовсе элементы правового регулирования, и что у них отсутствует право, существующее, хотя бы, в специфическом варианте. Вместе с тем, если мы делаем вывод о наличии права на Востоке только исходя из наличия там социально-регулятивных норм, мы рискуем впасть в опасную крайность. В этом смысле прав И.Ю. Козлихин, который, оппонируя мне, сказал, что последовательное и логичное развитие этой позиции может превратить правоведение в нормологию. Проблема, однако, состоит в том, что последовательное развитие позиции Вилле также приводит к негативным результатам. В самом деле, если у восточных народов не существовало права, а современное западное право и правопонимание базируется скорее на традиции Торы, отражающей восточную традицию, то придется признать, что и на Западе, по крайней мере - с момента упадка каролингского возрождения - тоже не существует права в классическом смысле этого слова. На мой взгляд, нахождение компромиссного взгляда на этот вопрос, который не приводил бы к парадоксальным выводам, является делом будущего и требует еще значительных усилий исследователей.

В связи с этой проблемой возникает и еще один вопрос: как связан античный юснатурализм с традицией Торы? Только ли противостоянием? Согласно Вилле - безусловно. Я, однако, придерживаюсь иной точки зрения. Прав Ж.Пьери, который говорит о том, что распределение благ есть лишь одна из линий поддержания космического порядка. Эта формула подчеркивает религиозный аспект Дикайон, который роднит его с традицией Торы.

Далее. Нравственно-религиозные аспекты права, заметные в античных источниках (“Апология Сократа”, “Критий”, “Федон” Платона, диалоги Цицерона) не могут быть объяснены только неведением правовых истин. Нельзя забывать о тесных контактах ранних культур на земле Эллады с восточными цивилизациями, оказавших некоторое идеологическое влияние на них.

Наконец, сама возможность искажения традиции Дикайон традицией Торы в истории европейского правопонимания, о котором говорит Вилле, или, по крайней мере - многовекового сосуществования их элементов, не была бы возможной, если бы обе традиции исключали взаимодействие и взаимовлияние.

совершенно ином мире должны замкнуться на древнеримских правовых понятиях? Позже мы откроем читателю ответ на этот вопрос, данный Вилле. Однако ответ этот вряд ли для всех будет убедительным.

2.4. *Противостояние Торы и Дикайон в Средние Века*

Следующий этап развития европейского правопонимания, по мнению Вилле, заключался в торжестве морального закона над частной справедливостью, в аннексии права моралью. В этих существенных чертах правовой мысли патристики и раннего средневековья - исток правопонимания Модерна.

Раннее христианство, с присущим ему аскетизмом и убежденностью в скором наступлении конца света, очевидно, не могло уделять достаточного влияния правовой проблематике. По меткому выражению Ренана, «кончина мира, висевшая над человечеством как постоянная угроза, заставляя человечество трепетать в течение веков, много повредила светскому развитию»[100]. Формула “кесарево - кесарю, Богово - Богу” как бы выражала достаточность законов Империи для решения процессуальных вопросов и прочих суетных нужд. Вилле прав, говоря, что для представителей патристики гораздо более важны доказательство преимущества христианского морального закона перед языческим и проблема реализации Торы в Новом Завете, текст которого, вопреки убеждению оптимистически настроенных христианских исследователей более близкого к нам времени, не содержит каких либо четких принципов христианского права.[101] Часто упоминаемое в Писании слово “справедливость”, никогда не встречается в контексте распределения внешних благ. Когда Иисуса просят произвести раздел наследства, он отказывается, прямо говоря, что он послан не для этого.

Христианский моральный закон противопоставляется по своему значению правовым законам Империи. ***Патристика*** создает градацию законов. Первым выступает естественный закон, начертанный Богом, по словам Ап. Павла в сердцах всех людей, вторым - Моисеев Закон и третьим - Lex Nova - реализация Моисеева Закона и восстановление естественного закона в явлении Слова Божьего. Уже апостол Павел упрекает единоверцев за обращение к римскому суду[102]. Позже Августин проводит резкое противопоставление закона божьего законам человеческим. Триумф же августинизма, как считает Вилле, неминуе-

---

[100] Э. Ренан. Жизнь Иисуса – М., 1991. С. 201

[101] M.Villey. “Torah - Dikaion” (1972) в сб.: “Critique de la pensee juridique Moderne”. Dalloz. 1975. p. 21. Вообще, мы видим, что Вилле видит в основу качественного правопонимания в качественной же философской мысли. Это делает понятным его нежелание видеть в Священном писании какие либо правовые принципы. Дело в том, что тексты Писания Вилле, как он сам прямо об этом говорит в “Философии права”, считает “недостаточно философскими”.

[102] 6 1-е Кор. 1-8. Слова Апостола заставляют усомниться в справедливости дальнейших высказываний Вилле. Разделяя позицию святого Фомы, Вилле указывает, что Новый завет не содержит прямого осуждения Римского права. Здесь наш герой вновь противоречит сам себе. Он признает судопроизводство сердцевиной правовой системы Древнего Рима. Запрет, наложенный Павлом на сношения с этим основным институтом – не есть не это, в таком случае, осуждение всей правовой системы Рима?!

мо должен был привести и привел-таки к враждебности христианской мысли по отношению к праву, к стремлению полностью заменить его моральным законом, подобным иудейскому. Задачей становится призвать каноническое право на смену цивильному, а не христианизировать последнее, как полагают многие исследователи. Августин совершает немыслимый для классического римского правопонимания переворот. Если раньше jus привычно рассматривается как явление производное от Justitia[103], то в "Граде Божьем" эти понятия противопоставляются. Подлинные справедливость и право возможны лишь в «истинной республике, основатель и глава которой – Христос». Более того, Августин доказывает "несправедливость" Римского права, не связанного с необходимостью воздавать должную любовь Создателю. Вилле правильно замечает, что августинианское понимание справедливости практически совпадало с древнеиудейским и представляло собою почти синоним праведности, или милосердия. Августин в этом не одинок. Другой крупнейший авторитет западной христианской мысли - Петр Ломбардский дает следующее определение справедливости: justitia in subveniendo miseri est[104].

Во французском правоведении эти тенденции развития христианского правопонимания, разумеется, отмечались не только Вилле. Так, характеризуя период патристики, Рене Давид пишет: *«Отброшен сам идеал общества, основанного на праве. Христианское общество основывалось скорее на идеях братства и милосердия... Немецкая пословица XVI века гласит: "Юристы - плохие христиане". Хотя ее применяли преимущественно к романистам, поговорка, тем не менее, относится ко всем юристам: само право считалось плохой вещью".*[105]

Опорой христианской справедливости мог стать только Lex, и на его фоне значение Jus все более меркло[106]. Вилле видел в этой тенденции упадок правосознания. В этом он расходился с Гарольдом Дж. Берманом, который отождествлял возрастание роли закона в период «папской революции» с возрастанием роли права и, таким образом, считал эту тенденцию прогрессивной[107]. Создав-

[103] Есть основания полагать, что соотношение было как раз обратным. Вполне логичным кажется, что термин jus возник раньше, а justitia происходит от "jus dicere' – провозглашать право. В любом случае, римляне, конечно, правильно усматривали органическую взаимосвязь этих терминов и обозначаемых ими явлений.

[104] «Справедливость состоит во вспомоществовании обездоленному». На наш взгляд подобные формулы не всегда должны противоречить аристотелевскому пониманию справедливости. Трудно спорить с Эразмом, когда он говорит: «Пусть они (законы) сильнее склоняются к тому, чтобы помогать самым беспомощным, поскольку удел слабых более уязвим перед несправедливостью». (Эразм Роттердамский. Воспитание христианского государя – М., 2001. С. 85) Если мыслитель считает верхом справедливости помощь обездоленным, это вовсе не значит, что он стремиться подменить право благотворительностью. Аристотелю как раз недоставало понимания того, что определенные слои граждан чаще становятся жертвами несправедливости, а, следовательно, нужны особые способы их защиты, выходящие за рамки простого соблюдения правильной пропорции.

[105] Р. Давид. К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. Стр. 32.

[106] Вилле заявляет, что нормативистское понятие закона, народившееся в средние века, вытекало из евангельской формулы: «В начале было Слово…». Эта параллель, конечно, остроумна, но для серьезного исследования неуместна, поскольку она основывается на примитивизации содержания этой формулы. «Логос» - это не обязательно изреченное или написанное слово!

[107] Гарольд Дж Берман. Западная традиция права: эпоха формирования. С. 11.

шееся таким образом правопонимание раннего Средневековья укреплялось ввиду постепенного забвения, как греческой философии, так и римских правовых текстов. Немаловажным фактором являлось и то, что «рудиментарная экономика раннего средневековья могла обойтись без юридического искусства».[108]

Возрождение городской жизни воскресило потребность в частном праве. Неизбежный в силу неостановимых экономических процессов, Ренессанс Римского права требовал согласования последнего с христианством. Именно компромисс христианской идеологии и языческой правовой традиции явился основной целью правовой доктрины ***Фомы Аквинского***. Не слишком вникая в казуистику, Фома рассуждает главным образом о принципах права и о его лексиконе. Вопрос лексикона стал чрезвычайно важен, так как в эпоху, предшествующую Фоме, он пришел в полный беспорядок. Смешение моральных и правовых понятий, возникшая синонимичность lex и jus должны были быть устранены, поскольку при их сохранении не появилось бы возможности гармоничной рецепции и дальнейшего развития частно-правового лексикона. По убеждению Вилле, тексты работ Фомы позволяют сделать вывод о том, что последний понимал сущностное различие между иудейской и римской традициями. Он, кажется, признавал, что древние евреи имели Закон, но не имели права. Ведь в Ветхом Завете (который, кстати, согласно Фоме, устарел с появлением Нового Завета) имеются лишь отдельные и весьма несвязные квазиправовые принципы. Но Евангелие также не содержит специфически правовых принципов, и вообще почти никак не касается современных ему институтов Римского права. Более того, христианизация права может быть лишь относительной, так как в сферу правовых отношений включены и христиане, и иноверцы, и неверующие. Это, несомненно, приводит к выводу о том, что источники права могут и должны быть светскими. Не правы, по мнению Вилле те, кто видит в томизме теорию христианского права. Фома восстанавливает аутентичные принципы языческого Римского права, доказывая их непротиворечие христианской морали и христианской теологии. Так, например, согласно Фоме институт собственности не является сам по себе препятствием к реализации христианской справедливости. Призывы к отрицанию частной собственности в духе Платона, или некоторых представителей патристики представляются, таким образом, излишними. Ведь никто не мешает праведному человеку пользоваться своей собственностью во благо ближнему. Воскрешается известная аристотелевская формула, согласно которой собственность должна быть частной, а использование ее - общим. Канонические источники также не дают основания для такого противопоставления права и христианской морали, какое было проведено Августином. Евангелия не содержат однозначно враждебных выпадов в адрес Римского права, или права вообще[109], а римские правовые тексты не содер-

[108] Le Droit et les Droits de l'Homme. p. 108.

[109] То, что Иисус отказался провести раздел имущества между наследниками, вовсе не означает, по мнению Фомы, что такой раздел вообще не должен производиться и производится правильно и хорошо. Иными словами, молчание Евангелий о праве не есть отрицание права

жат не только противоречащих христианской этике, но и вообще никаких указаний на то, каким именно образом собственник должен пользоваться вещью. Немаловажно, что и право толкуется Фомой именно как справедливое распределение благ, осуществляемое специально уполномоченными на это лицами - в духе Аристотеля, и, несомненно, отличается им от универсального морально-религиозного императивного закона. Закон Евангелия не касается актуальной социальной справедливости. Его цель эсхатологична. Право же именно и призвано для разрешения актуальных социальных проблем. Ссылаясь на авторитет Вилле, Р. Давид остроумно подмечает, что труды Фомы Аквинского способствовали *"изгнанию чертей" из римского права"*, а его творчество *«знаменовало окончательный отказ от всяких попыток построить гражданское общество по апостолическому образцу, основанному на милосердии. С трудами Фомы Аквинского исчезло последнее препятствие на пути возрождения изучения римского права»*.[110]

Не отрицая значение Фомы как крупнейшего авторитета в христианской теологии, Вилле, тем не менее, видит в его учении ни что иное, как "критику и разрушение юридического клерикализма", и не считает справедливым устоявшееся мнение о том, что Аквинат был воплощением средневекового обскурантизма. Несомненно для Вилле и то, что, Фома по сути дела, не предложил правовой науке ничего качественно нового и его заслуга состоит именно в восстановлении и развитии[111] единственно правильной традиции правопонимания - традиции дикайон - а также в составлении чрезвычайно качественных комментариев к древним источникам. Вопреки достаточно широко распространенному в европейской науке мнению, французский ученый отказывается видеть регресс в обращении Аквината к аристотелизму. Особенно этот упрек несправедлив в отношении правовой доктрины томизма. Ведь сакральная юстиция была более ранним явлением по отношению к аристотелизму и классической римской правовой науке. И, следовательно, регрессом была как раз сакрализация правосудия в предшествующей Фоме средневековой европейской традиции[112].

По глубочайшему убеждению Вилле, отправной точкой в становлении правового индивидуализма явились ***скоттизм и оккамовский номинализм***. Если философия Фомы явилась ярчайшим знамением провалившейся второй[113] попытки европейского Ренессанса, то философия Оккама представляла собой революцию в отношении к классической философии. Негативное отношение христианской церкви к доктринам типа аверроизма, привело ортодоксальную теологическую мысль к отвержению античной идеи о существовании космического порядка. Признание Оккамом реального существования лишь индивидуальной субстанции не могло не повлечь за собою отказа от рассмотрения групп индивидов (семья, полис, и т.д.) в качестве естественных сущностей, как их всегда

[110] Р. Давид. К. Жоффре-Спинози. Основные правовые системы современности. Стр. 34

[111] Сущность развития и усложнения аристотелевской правовой доктрины в томизме, Вилле видит именно в разработке Аквинатом подробного учения о совместимости частной справедливости с религиозным благочестием.

трактовала классическая традиция. Эти группы относятся к разряду универсалий, имеющих лишь конвенциальное значение. А стало быть, если политическое образование - лишь универсалия, метка, то аристотелевско-римское понимание права (полисная, или политическая справедливость) автоматически утрачивает смысл. И, соответственно, право, в таких условиях не могущее быть объектом поиска в политической реальности, может впредь рассматриваться лишь как объект искусственного конструирования. Изменяется, таким образом, и представление об источнике права (в философском понимании этого словосочетания). Само существование права выводится отныне не из природы полиса, а из природы индивида. Это же впоследствии наблюдается и в юснатурализме Нового времени.

Признание права искусственной конструкцией, имеющей своим отправным моментом индивидуальную волю, не могло не отразиться на изменении понятия о законе. В последнем начинают видеть волюнтаристское указание, позитивный приказ. Источником такого понимания правового закона было оккамовское представление о божественном законе. Источником его Оккам, как известно, признавал не вечную божественную справедливость, а исключительно божественную волю. Широко известно мнение Оккама о том, что, в принципе, воля Бога могла бы пожелать дать людям и совершенно другие десять запове-

[112] Откровенно говоря, рассуждения Вилле о сущности христианского отношения к праву, порой, выходят за рамки научной корректности. Очень легко бы было объяснить специфику христианского правопонимания только забвением классического наследия, однако, на деле все не так просто. Христианское правопонимание было предопределено и догматами веры, и учением отцов церкви. Ставить, подобно Вилле, вопрос о его правильности, это ненаучно. Это все равно, что ставить вопрос о правильности самого христианского учения. По-существу, мыслители христианского направления виноваты перед Вилле в том, что они христиане. Но ведь невозможно требовать от правоверного христианина аристотелевского понимания права! Нельзя, чтобы христианин, подобно язычнику Цицерону, объявил справедливость («правосудность», если хотите) высшей ценностью общежития! Преподобный Исаак Сирин был великолепен, сказав: «Не называй Бога правосудным, ибо в делах твоих не видно его правосудия. Если Давид и называл Его правосудным, то Сын Его показал нам, что он более благ и милостив. Где его правосудие? Мы были грешники и Христос умер за нас» (Цит. по: Духовные наставления преп. Серафима мирянам и инокам \\ Преподобный Серафим Саровский – Мюнхен, Москва, 1993. С. 196). С точки зрения христианского учения, все упреки Вилле, адресованные христианским мыслителям – эксцесс рационального, и потому, - великая ложь. Однако, не меньшая ложь – учение его оппонентов, апостолов прав человека и правового государства, объявивших право (гражданскую справедливость) высшей ценностью! Но ведь, то, что воистину достойно восхищения, выходит за рамки справедливости. Нет ничего справедливого ни в подвиге Матросова, ни в служении Матери Терезы, ни в поступке отца, отдающего сыну свою почку. Невозможно также перенесение в церковную среду политико-правовых ценностей демократического государства. Допуская подобное, следуя политическому прогрессизму, церковь поддается третьему искушению Христа. Государство еще может оправдать свое либеральное отношение к гомосексуальным бракам, но когда то же самое делает церковь, оправдываясь ссылкой на общечеловеческие ценности, она может проститься с претензией на свое бытие в качестве мистического общения. Церкви не следует претендовать на демократизм. Не надо самообольщаться: церковь тоталитарна, ибо она церковь. Лица, нетерпимые к любому тоталитаризму, должны скорее выйти из круга церковного общения, чем, оставаясь в нем, вносить в этот круг чуждые ему идеи. Это хорошо понимали русские богословы. Лосский писал: «Каноны, направляющие жизнь церкви «в ее земном аспекте», неотделимы от христианских догматов. Они – не юридические статуты в собственном смысле слова, но приложение догматов Церкви, ее богооткровенного придания ко всем областям практической жизни христианского общества. В свете канонических правил это общество представляется некоей «тоталитарной коллективностью», в которой не существует «права отдельных личностей», но в то же время каждая личность этого тела есть его же цель и не может рассматриваться только как средство». В.Н. Лосский. Опыт догматического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. С. 132.

[113] Первой попыткой, на наш взгляд, следует считать «каролингское Возрождение».

дей: “убивай, кради...” и т.д. Творение земных законов относится к полномочиям князей, наделенных свыше частью божьего могущества, и правом приближать божьи законы к насущной реальности и снабжать их санкциями. Происходит жесткое и, по мнению Вилле, совершенно неизвестное римской традиции разграничение объективного права (Jus = Lex = позитивное право) и субъективного права (dominium, дарованный богом, либо дозволение князя). Вообще, как полагает Вилле, наши представления о субъективном праве зародились именно в рамках спора францисканцев о бедности и о собственности. Этот вывод был подвергнут достаточно жесткой критике в современной Франции. Так один из представителей французской биоэтики права Ж.-П. Бо в своей монографии *“Дело об украденной руке. Правовая история тела”*[114] замечает, что Вилле недостаточно четко представлял себе сущность развития средневековой романистической литературы ввиду того, что он не был знаком с капитальными, но незаслуженно забытыми манускриптами XII века. Вилле верит в оккамовский переворот. Но такие большие доктринальные скачки невозможны. Представления о них возникают в результате незнания о содержании переходных периодов, о котором как раз и свидетельствуют забытые юридические манускрипты. В споре францисканцев, на самом деле, продолжилось развитие в соответствии с духом времени ряда институтов римского права, а также возрождение неоправданно отброшенных ранним средневековьем понятий. Так, схоластика преодолела свойственное раннему средневековью смешение понятий о лицах и об индивидах и непонимание правовых отношений как отношений абстрактных индивидов. Если римское право не отличало обычных вещей от вещей, необходимых для жизни, то этот недостаток был преодолен схоластами. Ведь францисканцами именно и был поставлен вопрос о пользовании вещами, необходимыми для жизни, без нарушения обета бедности и при сохранении собственности церкви. Замечания Вилле о клерикализме этой мысли не более справедливы, чем развенчиваемый им самим миф об обскурантизме Св. Фомы. Францисканцы прекрасно понимали светский характер права. Более того, их задачей как раз и являлось разрешение коллизии между частно-правовыми и каноническими предписаниями. Оккам вовсе не пытался подчинить право в полном объеме христианской морали, он лишь доказывал преимущество моральных требований перед юридическими в данном конкретном казусе. Он говорил о том, что доступ к вещам, необходимым для жизни есть требование не человеческого, а божественного права, скорее даже - божественного порядка.

Если даже Вилле был прав, видя в этих терминологических разработках схоластов зачаток представлений о субъективном праве, нельзя приписывать эту заслугу исключительно Оккаму и его последователям. Истоки представления о субъективном праве возникли, конечно, задолго до спора францисканцев. Само римское различение лиц, вещей и действий, как считает Бо, уже содержит

[114] См. Jean-Pierre Baud. “L’Affaire de la main volle. Une histoire juridique du corps”, Editions du Seuil. Paris 1993. p. 62 - 67 и 126 - 128.

в себе в скрытом виде представление о субъективном праве. Оккам, таким образом, развивает римскую идею о том, что лицо может ревиндицировать право, только если относительно вещи существует гипотеза, предусматривающая действие юстиции. Развитие же этой идеи вполне органично может привести к возникновению теоретических представлений о субъективном праве.

К тому же, - добавляет Бо - непонятно, как Оккам - автор никогда не цитировавшийся юристами, мог оказать такое мощное влиянии на последующую правовую мысль. Последний довод, по нашему мнению, не совсем корректен. Ведь Вилле говорит не о непосредственном влиянии правовых идей Оккама, а о влиянии на европейскую мысль в целом, а значит - и на правопонимание - оккамовского номинализма.

Дальнейшее развитие этой волюнтаристско-номиналистской традиции имеет место во ***второй схоластике***, которая, в особенности - в испанском ее варианте - явилась, по мнению Вилле, преградой к возрождению Римского права в его первозданной чистоте. Ее влияние на правовую мысль было исключительно высоко именно благодаря большому вниманию ее представителей к правовой проблематике. Вилле характеризует вторую схоластику как *«смесь скоттизма, номинализма и томизма»*[115], однако справедливо подмечает, что правовой аспект учения Фомы, не был понят и оценен вторыми схоластами в должной мере. На место диалектического метода права, предлагаемого Фомой вслед за Аристотелем, они ставят чистую догматику. Противоречил томизму и исповедуемый ими чистый клерикализм. Поэтому явным преувеличением следует считать расхожее мнение о том, что вторая схоластика представляла собою возрождение томизма.

Право трактуется вторыми схоластами как система позитивных дозволений (фактически - абсурдное смешение jus и lex), в первом аспекте, и как домициум - совокупность индивидуальных полномочий (аналог современного понимания субъективного права) - во втором аспекте. В то время как у Фомы право это вещь, являющаяся предметом справедливости, несводимая к позитивному императиву, Виктория определяет право, как нечто, соответствующее моральному долгу, а Суарес прямо определяет его, как “то, что предписано законом” (id quod lege prescribitor). Если представителями второй схоластики и упоминается естественное право, то оно трактуется, прежде всего, как естественный закон, всегда являющийся частью божественного закона. Иными словами, на сцену опять вступает торжествующая традиция Торы.

Преемственность этой традиции, в трактовке Вилле, определяет капитальным образом дальнейшее развитие европейского правопонимания. Если отвлечься от ряда деталей, можно заметить, что в своей содержательной основе школа Естественного права Нового времени представляет собой относительно светский и более систематизированный вариант второй схоластики. Так, например, Гроций строит свою систему на схожих принципах естественного закона.

[115] Le Droit et les Droits de l'Homme, p. 126.

Базовые правовые требования выводятся им фактически из Десяти заповедей. Из зародившегося в средневековой мысли некорректного смешения римских терминов dominium (термин, относящийся к субъекту - бремя управления имуществом)[116] и proprietas (термин, относящийся к объекту, выражающий отношение к вещи собственника, или узуфруктуария, качество вещи, выражающееся в ее способности быть собственной) исходит локковская концепция собственности. Наследие средневековья распространяется и еще дальше в традиции европейского нормативизма. Вилле с иронией замечает, что тот же Кельзен, по существу - наследник всего самого клерикального, что было в правовых рассуждениях средневековых теологов.[117]

2.5. *Становление правовой философии Модерна*

Своим несравненным величием Аристотель и святой Фома обязаны приверженностью к отвлеченным рассуждениям. Локк преследует практическую цель, так же как Гоббс, Спиноза и Гроций. Их доктрины служат конкретному интересу: это - идеологии. Возможно, именно по этой причине они более амбициозны, менее «философичны» и даже более содержательны. Но ложны.

Мишель Вилле

Правовые и политические доктрины Нового времени были порождены образом философского мышления, не похожим на античное философствование. Как отмечает сам Вилле, правовые школы Модерна были наследницами теологической, а вовсе не классической традиции. Дедуктивная систематика, уже торжествовавшая в эпоху второй схоластики, доходит до высшей точки своего развития в философии Декарта. Потеря старого различения наук приводит к тому, что право полностью попадает в зависимость от морального закона. По существу, право дедуцируется из метафизических начал посредством морали. Важным фактором была и утрата свойственного когда-то античной мысли, духа объективного исследования. Уже испанские схоласты заражены политическим прагматизмом. Позже, Гоббс и Локк, очевидно, строят свои правовые доктрины исходя из конкретных политических соображений и из требований текущего момента. Однако прагматизм Нового времени странным образом сочетается с отрывом от реализма и склонностью к построению искусственных умозрительных конструкций.

Так ***Боден***, ставя перед собой конкретную задачу теоретического обоснования абсолютизма, выдвигает теорию гармонической справедливости, в которой причудливо сочетаются юридические понятия, философия числа и музыкальная гармония[118]. Исходя из чисто математических аналогий, Боден критикует Аристотеля за его требования геометрического равенства в распределении. Он, ка-

[116] См. М.Вилле. “Замечания о понятии собственности” (1975). В сб.: “Critique de la pensee juridique Moderne” p. 187 -200.

[117] См. Dikaion - Torah. В сб.: “Critique de la pensee juridique Moderne” , p. 50.

жется, не понимает того, что Аристотель делал свои обобщения исходя из наблюдений за политической реальностью, а не из математических абстракций. Боден отдает предпочтение Платону, за его преклонение перед Единым и постоянно подчеркиваемое им значение музыки. Вилле, однако, справедливо считает, что Боден читает Платона как рационалист, не замечая реалистического оттенка ряда платоновских положений. Ведь Платон призывает искать имитацию Единого гармоническим множеством именно в реальном мире, а музыка интересует его в плане социального ее воздействия, а не математических основ гармонии.

Такое же сочетание прагматизма и крайней умозрительности Вилле видит и в политической доктрине ***Гоббса***. Именно Гоббсу он отводит "почетную" роль разрушителя аристотелевских и создателя современных представлений о политике и праве. В сущности, английский мыслитель предстает, как основатель индивидуалистической философии права Модерна. Говоря о Гоббсе, нельзя забывать о том, что этот автор обширных философско-правовых построений не обладал юридическим образованием. Тем не менее, он счел возможным, не будучи знакомым с римскими юридическими текстами и полностью игнорируя классическую терминологию, создать новый правовой лексикон.

Как известно, в основе гоббсовой системы лежат "природа человека" и гипотеза естественного состояния.[119] Люди, в понимании Гоббса, есть уже не "общественные животные", а отдельные крупицы, в силу необходимости, под воздействием животного страха сгруппированные в политическое сообщество, обязанное быть жестоким и всепоглощающим, именно оттого, что необходимость и страх – мать и отец этого могучего чудовища. Политика уже рассматривается как искусственный продукт человеческого разума, а главная цель создания права видится в преодолении "естественного состояния". Вилле видит в этой концентрации внимания на природе и интересах индивида непосредственное влияние традиции оккамовского номинализма. Гоббсово определение естественного права[120] опять же сводится к оккамовской традиции и базируется на моральных, а не на правовых категориях.

Гоббсу Вилле отводит и «честь» первого неприкрытого упоминания о правах человека. Доктринальные последствия выделения Гоббсом этой категории, как он полагает, странным образом совпадают с реальными последствиями практического применения концепции прав человека в нашем столетии. Первое

[118] Вилле критикует Бодена за то, что в своих музыкальных аналогиях он руководствуется не современным ему учением о гармонии а устаревшими пифагорейскими представлениями, допуская, таким образом, очевидный анахронизм. Это один из примеров «двойного стандарта» в рассуждениях Вилле. Критик может таким же точно образом упрекнуть его самого в анахронизме за преклонение перед аристотелевским dikaion в ущерб современным представлениям.

[119] Вообще, Вилле считает весьма скверным обоснование Гоббсом его доктрины. В "Le Droit et les Droits de l'Homme" он прямо называет забавным тот факт, что единственное теоретическое обоснование построений Гоббса (эмпирика!) - гипотетическое понятие о естественно состоянии.

[120] "Естественное право... есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения собственной природы, т.е. собственной жизни и, следовательно, свобода делать все то, что, по его суждению является наиболее подходящим для этого". Гоббс Т. Сочинения. Т.2, с. 98

последствие - анархия (война всех против всех). Далее - юридический позитивизм: уполномоченный договором суверен действует путем издания законов, которые хоть и отличаются Гоббсом от права, но, в сущности, получают более высокое значение в сравнении с последним. Представляется вообще, что право трактуется Гоббсом лишь в субъективном аспекте, а объективное право полностью сводится к законодательству. Из этого Вилле делает вывод о том, что именно концепция общественного договора явилась основой для юридического позитивизма. Парадокс состоит в том, что эта концепция позволяет обосновать любой приказ, исходящий от власти и одновременно (особенно во французском ее варианте – у Руссо) претендует на то, чтобы считаться демократичной. И, наконец, третье последствие - тоталитарный режим.

Локк, в целом бывший последователем Гоббса, как классический прагматик, приспособил доктрину своего предшественника к практическим запросам иного исторически актуального момента. Необходимо было преодолеть этатизм гоббсовой доктрины, начинавший беспокоить буржуазию. Абсолютизация позитивного права начинала угрожать интересам частных лиц. Нужно было, следовательно, противопоставить государственному праву нечто более конкретное, чем просто монолитное естественное право. Локк (который также не был юристом) строит систему теоретического обоснования права частной собственности. Здесь он продолжает схоластическую традицию смешения римских представлений о dominium и proprietas. Право уже - не просто свобода действовать, как у Гоббса, но и власть в отношении вещей. Главный принцип, однако, остается общим: если для античной традиции право есть всегда отношение между индивидами, то для Модерна право есть нечто, находящееся на уровне отдельных индивидов. Юридические концепции строятся на понятии «человека», выработанном без учета его связи с социальной средой. В свои права вступает юридическая робинзонада.

Ярким показателем смешения правовых и моральных категорий явились формулы различных ***Деклараций прав человека***, принятых в ходе буржуазных революций XVIII-XIX вв. Декларации явились, по убеждению Вилле, особым родом юридической литературы. Возникая первоначально, как реакция на крайности абсолютистской монархии, этот род литературы доходит и до нашего столетия, выполняя в нем поначалу роль защиты от наследия гитлеризма, а затем - и от “права, порвавшего со справедливостью”. Особенность декларативных формулировок всегда состоит в том, что в отличие от стремящихся к четкости и предельной однозначности конструкций классического права, они отличаются крайней расплывчатостью и противоречивостью. Несостоятельность того варианта правопонимания, который проявляется в этих декларациях, для Вилле очевидна. Ведь если в построениях Гоббса и Локка есть границы применения абстракции индивида, то революционеры конца XVIII века уже не видели этой границы. Немаловажным Вилле считает и то, что очевидность эта не относится исключительно к рассмотрению данных документов “с высоты”

XX века. Уже многие из современников делали Декларации прав человека объектом достаточно аргументированной и довольно любопытной критики. Вилле, разумеется, прежде всего, имеет в виду Э. Бёрка и И. Бентама.

Позиция ***Эдмунда Бёрка*** особенно интересна. Защитник прав американских колонистов, ирландских католиков, индусов, чернокожих африканцев и сексуальных меньшинств, он, тем не менее, не приемлет концепции Прав Человека. Горячий франкоман и отличный знаток французской политической мысли, он не спешит позитивно оценить идеологические достижения французской революции. По его мнению, революция противопоставила правам конкретным и существенным права неконкретные и потому - несущественные. Вилле цитирует блестящий афоризм Бёрка: *"Человечность этих прав - как горизонт: она столь же недостижима"*. Вилле правильно подмечает, что Бёрк одним из первых, еще задолго до Маркса, вскрыл истинный характер идеологии французских революционеров. Приземленные цели буржуазии, желавшей, прежде всего, экономического господства, и боровшейся за отобрание преимуществ у старой аристократии, маскировались возвышенной идеологией.

Бёрк критикует философские основания концепции Прав человека. Из ложных представлений о природе абстрактного индивида возникает ложное же представления о его естественной свободе, а также о том, что народ вправе свергать правительства и составлять конституции исходя из собственной фантазии. Противоречат друг другу призыв к свободе, к уважению прав человека и представление о народном суверенитете. Отсюда и вся противоречивость революционной практики. Остается еще вопросом, было ли свержение короля волей всего французского народа. Трудно сочетается признание неприкосновенности собственности и разграбление священства, право на судебное разбирательство и чрезвычайщина трибуналов, свобода слова и массовые казни инакомыслящих.

Французскому варианту концепции Прав человека Бёрк противопоставляет свою концепцию прав английского народа. Он видит истоки прав, которыми пользуются английский подданные не в абстрактных принципах, а в традиции и многовековом опыте. Ценность этих конструкций гарантируется многолетней апробированностью. Содержание этих прав не является абсолютным, оно не мыслится без сопутствующей им социальной нагрузки. Но именно потому, что эти права не абсолютны - они конкретны, а значит - могут быть реально защищаемы. И, наконец, реальность этих прав гарантируется тем, что они обещаются только тем, кто имеет в них потребность, и тем, кому они в действительности могут быть предоставлены, а не всему человечеству. Права и свободы не могут не быть относительными по времени и ситуации. Всеохватность же французских деклараций бесполезна и ирреальна: индийскому крестьянину вовсе не нужен такой же самый набор прав и свобод, в котором нуждается английский буржуа. Это, однако, не значит, что не должны быть защищаемы его

конкретные права - права индийского крестьянина. Говорить же об универсальных “правах человека” Бёрку представляется излишним.[121]

Позиция ***Бентама***, находившего основные положения Деклараций абсурдными и неизбежно противоречащими друг другу, также находит поддержку Вилле. Он по сути дела не приводит собственной аргументации в опровержение правопонимания первых Деклараций прав человека, а лишь напоминает доводы Бёрка и Бентама, считая их вполне исчерпывающими.

В декларациях прав человека юридический рационализм, однако, только приближается к своей вершине. Достигнет ее он только в кантовском априоризме.

То позитивное значение, которое обычно придается исследователями истории правовой мысли работам двух крупнейших представителей немецкой классической философии - ***Канта и Гегеля***, по убеждению Вилле, является несколько преувеличенным. В особенности горячо отрицается им ценность правовой доктрины Канта. Влияние ее велико, и философская ценность неоспорима, - считал Вилле, - но значение ее для юристов ничтожно. Она направлена в пустоту, ибо не имеет никакого отношения ни к теории, ни к практике права. Именно на осознание этого факта должны быть направлены совместные усилия юристов и философов.[122] В сущности, мы имеем дело с бессмысленным перевертышем римской правовой терминологии, явившимся результатом попытки вывести из разума, a priori, юридический лексикон.

Роль Канта в развитии правосознания Модерна заключается в том, что именно в его творчестве достигла своей вершины новая школа естественного права, которая, как мы помним, трактуется Вилле как «юридический рационализм» в противоположность реалистической философии права античных авторов. Вместе с тем, - полагал Вилле, - в кантианстве юснатурализм Модерна, достигнув своей высшей точки, исчерпывает себя, переводя правовую мысль к горизонтам пандектизма и ряда иных течений правовой теории. Именно в системе кантовских работ, а не в строении византийских “Пандект” Вилле видит источник пандектистского разделения права на общую и особенную части. Пандектистская «фальсификация римской правовой терминологии» также вдохновлена кантовским лексиконом.

Несомненно, что Кант был гораздо более последовательным рационалистом, нежели его непосредственные предшественники в философии права. Лейбницу и Вольфу присущи еще некоторые элементы эмпиризма, проявляющиеся в предлагаемых ими дефинициях. Кант уже основывает свои построения

---

[121] Сам Вилле находит параллель рассуждениям Бёрка в современной проблематике. Он говорит, что все успехи, которые мировое сообщество имело в борьбе за права палестинского народа, достигались лишь тогда и постольку, когда и поскольку борьба шла за конкретные права конкретного народа. Рассуждения же по этому поводу о правах человека уводят нас лишь к вербализму и к отвлечению от реальных проблем – а, следовательно - к очередному всплеску насилия. Об этом см: М. Вилле “Философия права Бёрка”. В сб.: Critique de la pensee juridique Moderne” p. 125 - 138.

[122] Это серьезное заявление содержится в эссе “Rechtlehre Канта в истории правовой науки”. См . “Critique de la pensee juridique Moderne”. p. 139.

полностью на рациональном императиве. Его интересует главным образом умозрительное выведение основных принципов права. Нахождение же конкретных решений отводится юристам-практикам. Таким образом, происходит пагубное, по мнению Вилле, разделение функций юристов, использующих на практике рациональные конструкции и философов, осуществляющих контроль над правовым механизмом. Этот критический выпад не совсем логичен, исходя из контекста работ самого Вилле, который, обосновывая необходимость философии права, признает не только нормальной, но и обязательной привязку правовой науки к общей системе философии и неизбежную "подконтрольность" права по отношению к философии.

Есть у Вилле и более серьезные претензии к Канту. Прежде всего, Кант, по его мнению, не обладал тем минимумом правовых знаний, который необходим для того, чтобы философствовать о праве. Плохо зная Римское право, Кант воспринимает Кодификацию Юстиниана как новоевропейский систематизированный кодекс, а не как сборник рекомендуемых решений, а именно так его считал необходимым трактовать сам Вилле. Справедливо замечание Вилле о том, что обращение Канта к римским источникам носит абсолютно иной характер, по сравнению с работами его предшественников. Впервые совершается попытка соединения конструкций римского права с содержательным моментом европейского юснатурализма. Речь идет не о переводе терминов, и не об их переосмыслении, а об искусственном использовании латинских слов для обозначения собственных правовых конструкций.[123]

Что имеет в виду Вилле, говоря об искажении Кантом классической терминологии? Мы, со своей стороны, могли бы проиллюстрировать это искажение. Общее деление правовых обязанностей, Кант совершает «по Ульпиану».[124] Здесь, как известно, выводятся три формулы:

1. Honeste vive – «Будь человеком, действующим по праву»,
2. Neminem laede – "Не поступай с кем-либо не по праву"
3. Suum cuique tribue – "Вступай… в такое сообщество…, в котором каждому может быть сохранено свое»

Как видим, Кант использует те формулы, которые Ульпиан предлагал в качестве основных предписаний права[125]. Кант же рассматривает их в качестве основания для деления «основных правовых обязанностей». Это – первое искажение. Индикативное наклонение, использованное Ульпианом (vivere, laedere, tribuere) Кант искусственно переводит в императивное (vive, laede, tribue), никак не обосновывая корректности такого хода. Это – второе искажение. Далее, Кант придает этим формулам смысл, бесконечно далекий от их буквального

[123] Здесь нельзя не упомянуть о самом резком выпаде Вилле в адрес Канта. Видя основную причину терминологических вольностей Канта в том, что последний знакомился с правовой проблематикой, используя лишь поверхностные ходовые учебники и трактаты по философии права, написанные по большинству не юристами, Вилле говорит о том, что правовая доктрина великого немца - не только вершина юридического рационализма, но одновременно и апогей правового невежества. См. "Rechtlehre...", p. 150

[124] И. Кант. Сочинения. Т.4, ч.2., с. 146.

[125] Дигесты. Кн.1. I, 10.

значения («Жить честно», «Никогда не лгать», «Воздавать каждому свое»). Это – третье искажение. Кант, правда, заявляет, что он придает формулам Ульпиана *«смысл, который он вряд ли отчетливо мог представлять себе, но который они, тем не менее, дают возможность из них вывести, или в них вложить»*. Конечно, такие вольности объяснимы. Однако мы по этому поводу вправе задать ряд вопросов. Почему использованы формулы именно Ульпиана, а не Павла, или, скажем, Модестина? Что если бы Ульпиан предложил не три, а две, или четыре заповеди? Что, если бы труды Ульпиана не дошли до потомков? Как бы тогда выглядело кантовское «общее деление правовых обязанностей»? И каково соотношение между научной истиной и терминологической эквилибристикой?

Между тем, здесь мы привели только один из примеров вольностей Канта, проявленных им в отношении римской правовой терминологии. Подробное же их перечисление могло бы составить достаточный материал, для, по меньшей мере, объемной брошюры.

Вилле, впрочем, не считает, что основной порок кантовской доктрины заключается в наличии множества несообразностей. Дело здесь обстоит гораздо серьезнее. По существу, Кант не отводит праву большей роли (и Вилле видит здесь отголоски традиции Торы), нежели просто привеска к морали, причем к морали, построенной на началах индивидуализма. Здесь наблюдается крайнее проявление характерной почти для всей философии права Нового времени тенденции к выведению права из природы обособленного индивида.

Исходным пунктом правовой доктрины Канта становятся частные права отдельных индивидов. По меткому замечанию Вилле, все учение о частном праве сведено у Канта к набору форм и дефиниций. В основе возникновения частных прав лежит опять же индивидуальная инициатива. Создаваемые в связи с этим, конструкции Кант пытается облечь в одеяние римской терминологии, однако с последней они неважно согласуются. Так, выводя в качестве универсального основания права собственности на землю односторонний акт занятия (occupatio, factum) Кант, кажется, не знает о том, что акт, обозначаемый данными терминами, рассматривался в Римском праве в качестве основания для возникновения права собственности всего в трех случаях (добыча, полученная на охоте, добыча, полученная на рыбалке, и занятие участка с дозволения общины). Во всех остальных случаях в основание права ставился акт распределения внешних благ. Ошибкой является признание Кантом возможности возникновения обязательства исключительно из договора. Похоже, что понятие обязательства, вытекающего из деликта ему совершенно не известно. Сведение понятия контракта (обедняющее это понятие) только к согласию воль также является недостатком кантовского учения. В Римском праве к этому добавлялся целый ряд существенных элементов: форма, интересы третьих лиц, и т.д. Да и современное договорное право не вмещается в «прокрустово ложе» кантовских схем.

Последнее замечание Вилле представляется нам вполне справедливым. Его яркой иллюстрацией может послужить один фрагмент из «Институций» Гая: *«Немой не может ни стипулировать, ни обещать, это очевидно. То же правило принято и по отношению к глухому, так как и тот, кто стипулирует, должен выслушать слова обещающего, и тот, кто обещает, слова стипулятора»*[126]. Если бы договор сводился исключительно к согласованию воль, такого положения не могло бы существовать и, будучи правоспособными гражданами, немой с глухим вполне могли бы договориться. Немой выразил бы свою волю, сделав запись на табличке, а глухой прочел бы эту запись. Понятно, однако, что в данном случае произнесенному слову, как и ритуальному удару медной палочки о весы в договоре "nexum", придается сакральный смысл. Боги и люди должны их услышать. И если физическими особенностями договаривающихся может быть уничтожен сакральный смысл совершаемых действий, никакое согласие их воль не создает правовых последствий.

Немаловажный момент. Договор есть не просто согласование воль, но такое согласование, которое соответствует праву. Еще Гай указывал, что «договоры против правил цивильного права не имеют силы»[127]. У Канта же указанные нами необходимые элементы, отличающие собственно соглашение от сделки, не выделены.

В кантовском определении частного права, как считает Вилле, превалирует волюнтаристско-индивидуалистское начало. Для Канта это, прежде всего власть, или свобода действовать определенным образом. Этот волюнтаризм не имеет ничего общего с классическими представлениями о собственности, и современным представлениям он также уступает в богатстве содержания. Однако абсолютно неприемлемым Вилле представляется изобретенное Кантом понятие вещно-личного права. Здесь, *«будучи узником формы субъективного права, Кант приватизирует семейное право»*[128]. Подчеркивая лишь такие элементы, как власть мужа над женой, возможность возвращения жены и детей «из чужого незаконного владения», и пр., Кант значительно обедняет семейные отношения, которым на деле, конечно, присуща множественность нюансов.[129]

В своем учении об источниках публичного права, Кант сводит право к государственным законам, а затем - к законам международного политического сообщества. Парадокс доктрины состоит в том, что данное понятие о публичном праве практически делает ненужными все предшествующие им рассуждения о частном праве. Если отвлечься от ряда деталей, полагает Вилле, то получится, что в итоге кантовская доктрина признает единственными подлинными источниками права власть и силу. Гипертрофирование роли законодателя ослабляет

[126] Институции. III, 105.

[127] Дигесты, Кн. 2. XIV,28,1

[128] Кант определяет брак как «законное половое сожительство». С точки зрения того же римского права это определение курьезно. Конкубат также является законным половым сожительством, однако он отличен от брака.

[129] "Rechtlehre…", p. 155

остальные элементы правовой реальности. Фактически Кант никаким образом не раскрывает роли судьи в процессе распределения общественных благ, да и сам этот процесс распределения в контексте кантовской доктрины может предстать лишь в весьма искаженном виде, что в целом и дает Вилле возможность видеть в Канте провозвестника восторжествовавшего позже нормативизма.

Это не вполне справедливо. Дело в том, что Вилле не замечает, или не желает замечать того, что Кант утверждал неустранимую зависимость права от государства и государственного законодательства, как правило, применительно к политическому праву и общественной конституции, а не к праву вообще. Более того, уже знакомые нам Рено и Сосо совершенно справедливо отмечают у Вилле непонимание одного важного нюанса, определяющего мировоззренческое отличие кантианства от нормативизма, отчетливо заметное, несмотря на внешнее сходство позиций. Действительно, Кант рассматривает позитивное право, исходящее от государства в качестве важнейшей формы реализации естественного права. Действительно, Кант не дает вариантов прямого, не опосредованного позитивным правом практического использования естественного права. Отсутствует у него и критический аспект естественного права в отношении позитивной реальности. Нельзя, однако, забывать, что государство у Канта пребывает в сфере должного и сама эта апелляция к должному не позволяет свести право к любому наличному позитивному праву политического сообщества, как мы это наблюдаем в нормативизме. Более того, Кант вообще ищет понятие права в «метапозитивной области должного».[130] Вместе с тем, мы считаем необходимым отметить одно немаловажное обстоятельство. Приведенный выше выпад французских коллег в сторону Вилле, несомненно, справедлив. Однако если бы даже Вилле согласился признать, что апелляция к sollen освобождает кантовскую доктрину от обвинений в предвосхищении нормативизма, это вряд ли и изменило бы его негативное отношение к кантианству. Рено и Сосо в свою очередь забывают о том, что для Вилле жесткое противопоставление Кантом sollen и sein является столь резким уходом от реализма аристотелевского типа, что оно уже само по себе препятствует построению качественной правовой доктрины.[131]

Рено и Сосо, впрочем, считают критику Мишелем Вилле концепции Канта несправедливой в целом. Они полагают, что если в Новое время и был философ, четко различающий понятия “субъект права” и “индивид”, то это был Кант. Он, таким образом, не вписывается в данный Вилле общий обзор рационалистско-индивидуалистского правопонимания. Кант понимал автономию воли, как подчинение самому себе данному закону. А для позитивного закона

[130] A.Renault et L.Sosoe. Philosophie du Droit. p. 369-389

[131] Упорные попытки Рено и Сосо спасти Канта от гнева Вилле иногда связаны с некоторой небрежностью их аргументации. Доказывая, что кантовский критицизм не мог являться предвестием юридического позитивизма, ввиду того, что он не переставал быть одновременно юснатурализмом, они забывают о том, что применительно к виллеанству это доказательство не срабатывает, так как Вилле и в юснатурализме видел четкие предпосылки позитивизма. Особый характер кантовского юснатурализма он также всегда подчеркивал, говоря что “кантовский критицизм был теоретическим юснатурализмом и в то же время - практическим позитивизмом”.

требовал соответствия общественной природе человечества. Субъективное право не ставит задачи опровержения возможной трансцендентности справедливости по отношению к индивиду. Несводимость субъективности к индивидуальности и есть возможная фигура этой трансцендентности. Вопрос состоит в том, является ли прогрессивной эта фигура внутренней по отношению к человечеству, имманентной трансцендентности? Позиция Вилле, - считают Рено и Сосо, - смешивающая субъективность и индивидуальность, не позволяет констатировать эту трансцендентность, без которой идея права теряет свое значение.[132] На наш взгляд - это действительно крайне интересное замечание, в какой то мере ослабляющее позиции Вилле. Во всяком случае, Рено и Сосо в данном вопросе демонстрируют гораздо более тонкое понимание кантианства, чем Вилле с его несколько односторонним подходом.

Вилле, как это уже было замечено, в основу правопонимания кладет представления о справедливости. На его взгляд, на основе кантовских возвышенных представлений о справедливости, как о всеобщей свободе и равенстве, трудно было бы построить добротную философию права, допускающую в качестве целей права разрешение реальных и насущных вопросов распределения внешних благ. В конце концов, Вилле приходит к выводу о том, что ни цели создания “Rechtlehre”, ни разрабатываемые автором конструкции, ни его метод, ни его аргументация не позволяют считать кантовскую доктрину настоящей теорией права.

В философии права ***Гегеля*** индивидуализм сменяется оригинальной формой коллективизма. Немецкий гений, с его яркой способностью охватывать своей мыслью всеобщее, еще в предварительном варианте своей системы однозначно провозгласил: *«с точки зрения права следует исполнять только всеобщую волю, невзирая на намерения и убеждения единичного человека»*[133]. По точному выражению Вилле, в творчестве Гегеля имеет место *«противопоставление конкретного и глобального видения мира видению атомистичному и абстрактному»*.[134] В универсализме гегелевского миросозерцания Вилле видит определенное влияние греческой философии. Гегель возрождает аристотелевскую традицию признания естественного и реального существования политических сообществ, образованных людьми, которым от природы присуща социальность. Вместе с тем, в качестве основного недостатка гегелевской концепции Вилле рассматривает незавершенность в ней разрыва с традициями номинализма. Немецкий гений все же не смог, подобно многим своим предшественникам, избежать соблазна начать свои рассуждения с рассмотрения природы отдельных индивидов. Диалектическая реконструкция политического сообщества выступает лишь в качестве следующего шага. Действительно, утвердившееся в поздних работах Гегеля «вырастание» всеобщего из единичного пронизывало все его творчество, начиная с самых ранних набросков его системы. Уже в

[132] A.Ranault et L.Sosoe. Philisophie du Droit. p. 150

[133] Философская пропедевтика \\ Работы разных лет. Т.2, с. 36

[134] Philosophie du Droit . Vol I. p. 157.

«Иенской реальной философии» эта схема представлена во всей своей четкости: для того, чтобы причаститься всеобщему, чтобы совершить самоотречение перед всеобщей волей, индивид должен разумно целеположить свою индивидуальную волю. Всеобщая воля *«должна сначала конституироваться из воли отдельных индивидов»*[135].

Вместе с тем, высокое значение коллективизма во всех вариантах концепции Гегеля не превращает его в «певца Политии» в аристотелевском духе. Несомненно, что существенным отличием гегелевской мысли от мысли аристотелевской было наличие претензии на абсолютное постижение тайны государства и права и утверждение догмата об абсолютном примате государства над индивидом.[136]

Понятие права в трактовке Гегеля постоянно изменяется, подобно прочим гегелевским понятиям в зависимости от фазы диалектического развития. Служение индивиду провозглашается целью права только на первой ступени его развития (абстрактное право, субъективное право, частная собственность). Переход к коллективизму имеет место на следующих ступенях, где происходит осознание долга перед другими. Здесь, впрочем, Вилле видит большую близость правопонимания Гегеля к традиции Торы, нежели к традиции Дикайон, ведь фактически здесь происходит отождествление права с моральным законом в понимании, сходном с христианской традицией и с кантианством.

В результате перехода индивидом самого себя и объединения его с другими происходит возникновение коллективных образований. Результатом этого становится повышение эффективности прав индивидов, которые теперь обретают реальное существование, будучи теперь гарантированными социальной группой. Однако немаловажно, что это не является главной целью коллективного образования. В качестве последней Гегель все же признает реализацию стремления индивидов к свободе и нравственности. Выходит, что, начиная свои рассуждения с иных позиций, чем Кант, Гегель все же приходит к идее вторичности права по отношению к морали.

Поскольку же роль коллективных образований столь велика, высшее из них - государство - наделяется верховным правом по отношению к правам индивида. Тем не менее, это еще не последняя ступень диалектического развития. Само государство должно быть принесено в жертву всемирной истории. Победа Духа, которая наступит в этот момент, собственно и является конечной целью права. Здесь мы, как и в случае с философией права Канта, имеем дело с провозглашением возвышенных и грандиозных целей, имеющих весьма малое отношение к реальной практической деятельности юристов, что, по мнению Вил-

[135] Иенская реальная философия \\ Работы разных лет. Т.1, с. 356

[136] Вилле, похоже, видит в этой позиции Гегеля опасное зерно этатизма. Но, откровенно говоря, разве учение Аристотеля с его признанием логической первичности государства по отношению к человеку и с его введением «политичности» в само определение человека, не создает некоторой опасности этатистских интерпретаций? В конце концов, нет ни одной столь светлой идеи, чтобы она не могла быть переведена в своё кошмарное искажение. Любимая Вилле аристотелевская формула частной справедливости: «каждому – своё!», как известно, «украшала» вход в Освенцим.

ле, значительно снижает ценность гегелевских разработок в области философии права.

2.6. *Позитивизм, марксизм и социология права.*

Маркс придавал слишком большое значение науке – то есть сведению действительного объективного мира к тому, что разум способен понять и перемолоть в жерновах диалектики. На самом деле, Маркс не реалист. Если бы он признавал сущее во всей его полноте, со всем таинственным, что ему присуще, он должен бы был признать существование чистой спекуляции.

Мишель Вилле

Отход от традиций индивидуализма явился одной из основных характеристик правопонимания девятнадцатого века. Наиболее репрезентативной в этом плане Вилле считал философию права первых позитивистов и в особенности - ***Огюста Конта***.[137] Последний, опять же, не имел юридического образования и считал юридическую литературу (классические образцы которой в его время были отмечены печатью индивидуализма) литературой "метафизической"[138]. Отражение наступления нового - "позитивного" этапа в развитии правоведения он, похоже, как раз и видел в крушении индивидуалистической традиции. Опорой юридического индивидуализма Конт интуитивно (и притом совершенно справедливо) считал понятие о субъективном праве, и возможно именно по этой причине он так нападал на субъективные права, предлагая устранить этот термин из юридического лексикона и впредь говорить исключительно об обязанностях. Если в школах философии права XVIII века первой и несомненной реальностью является индивид - этот атом социума, то для Конта первой и несомненной реальностью является Человечество - Великое Существо, трансцендентное времени и состоящее из мертвых более чем из живых. Поэтому, считал Конт, индивидуалистическая метафизика должна быть отвергнута, уступив место социологии, как объективной науке. Парадокс состоит в том, что, ниспровергая достижения "мифологического" этапа в истории человеческой мысли, Конт в своем правопонимании фактически

[137] Philosophie du Droit. Vol. I, p. 162.

[138] Конт призывал перейти от метафизики к реализму. Однако это был реализм вовсе не аристотелевского образца. У основателя позитивизма мы наталкиваемся на следующий пассаж: *«Аффективный принцип обязывает нас изучать естественный порядок только для того, чтобы лучше применять наши индивидуальные или коллективные силы к его искусственному улучшению».* («Родоначальники позитивизма» Сборник, вып. 5. СПб., 1913. Цит. по: Антология мировой философии в 4-х томах. Т.3., с.585) Аристотель же изучал естественный порядок, напротив, для того, чтобы улучшить механизмы действия социальных сил. Общество именно через принципы естественного права приближается, насколько это возможно, к совершенной и безупречной природе. Оно стремится наиболее полно реализовать те возможности, которые заложены в нем именно благодаря естественному порядку вещей. Аристотелю показалась бы еретической сама мысль о возможности «искусственного улучшения» естественного порядка индивидуальными или коллективными силами человека. Конт в своем призыве предстает не как наследник классического реализма, а как наследник всех без исключения апостолов «земного рая» – от инквизиторов до якобинцев.

использует модель одного из главных детищ этого этапа - Торы. На место культа Бога - творца им ставится культ Великого существа, а на место морально-религиозного закона Моисеева Пятикнижия - позитивистский катехизис. Прогрессу Человечества и установлению порядка обязана, согласно Конту, служить наука. Именно из научно наблюдаемых фактов должно отныне выводиться право. Его философским источником больше не могут быть заветы разума и отвлеченные рациональные конструкции. Правовые правила могут вытекать только из социального факта.

Успех позитивистских взглядов на источники права, как считал Вилле, объясняется недостаточной эффективностью кодексов, созданных еще на волне индивидуализма и неубедительностью рациональных систем. Философия права в ее старом понимании терпит жестокое крушение. Именно подъем сциентизма, вызванный к жизни первым позитивизмом, позволил привести на смену философии права «теорию права». Успех позитивистской модели познания не мог не привести к тому, что генезис права и его материальные проявления стали вызывать больший теоретический интерес, нежели цели права, или его сущность. Правоведение, по выражению Вилле, становится сведенным к науке о правовых фактах. Это означало невозможность изучения права иначе как в тесной “привязке” к совокупности правовых текстов.

Указанные выше тенденции в полной мере проявились в юридическом позитивизме. Вилле выделяет три “вершины” позитивизма в правоведении.

Во-первых, речь идет о концепциях ***Иеринга и Хека***. Несмотря на то, что у Иеринга уделяется значительное внимание юридической телеологии, Вилле не считает возможным видеть в этом исключение из общей характеристики позитивистских концепций. Он призывает проводить различие между рассуждениями о цели права и рассуждениями о цели в праве, которыми, собственно, и был занят Иеринг. Он, как и Хек, был озабочен мыслью о выражении в праве конфликта интересов. Право, в сущности, предстает у обоих мыслителей не иначе как результат борьбы интересов частных лиц. При этом игнорируется вопрос о справедливости в праве, что, по большому счету, характерно для любого позитивистского правового учения.

Вторая вершина - учения ***Рэдбруха и Вебера***. Рэдбрух был создателем плюралистической философии правовых ценностей, определяющих содержание правовых систем. Вебер, в свою очередь, объявил невозможной саму постановку вопроса об осуществлении юристом выбора в этой системе ценностей, которая воспринимается как фактическая данность. Такой взгляд, считал Вилле, несовместим с пониманием юридической деятельности как целенаправленного поиска справедливости в реальных отношениях и, следовательно, идеология, на которой базируются указанные концепции, вновь размывает границу между сферой права и сферой морали, что позволяет Вилле видеть даже в этой вполне современной концепции следование традиции архаического правопонимания - традиции Торы.

Наконец, третьей “звездой” позитивизма был ***Ганс Кельзен***. Он окончательно сделал из правоведения позитивную науку. Из его учения вытекает, что юрист должен концентрировать свое внимание на любых существующих и эффективно действующих нормах установленного права. Контовское отвержение понятий добра и зла находит здесь свое крайнее и логически завершенное выражение в применении к праву. Определение справедливого, бывшее целью права в классическом правопонимании, не находит для себя места в системе координат “чистого права”. Кельзен считает представления о справедливости иррациональными и субъективными, относящимися к области должного, а не к области сущего, которая только и должна интересовать ученых.

Юридический легализм (как Вилле предпочитает именовать нормативизм) не является достижением исключительно Кельзена. Корни его - в далекой истории европейского правопонимания. Здесь и абсолютизация значения божественного Слова в средние века, приведшая к усилению значения императивного морального закона, и философия общественного договора. Гоббсов вариант последней, как отмечалось выше, уже был в свое время источником его собственного варианта легалистского правопонимания. С гоббизмом нормативизм роднит и использование мифологического построения для обоснования концепции. Если у Гоббса это миф общественного договора, то у Кельзена это - миф “основной нормы”, природа и источник авторитета которой не ясны. И гоббизм и нормативизм, в сущности, делают основой права “брутальную силу государства”.[139] “Будучи не в силах утвердить правосудие, мы оправдали силу” - этот афоризм Паскаля, относящийся к правовым доктринам его современников, Вилле, и не без основания, относит к нынешним философиям права. Он, как нам кажется, совершенно прав, говоря о том, что нормативизм абсолютно безоснователен как система, ибо нельзя обосновать авторитет правил, если система не содержит ничего кроме правил. Можно лишь ставить вопрос о слепом подчинении.[140]

Нормативизм, несомненно, значительно упрощает алгоритм деятельности юристов. Сведение права к закону автоматически означает, по мнению Вилле, сведение работы юристов всего лишь к двум операциям. Сначала производится накопление указаний позитивного права, затем положения позитивных текстов применяются к конкретным ситуациям по модели силлогизма. Такое упрощение, однако, вызывает ряд трудностей теоретического характера. Непонятно, что делать с основными принципами, правами и свободами. Нормативисты, как правило, не отрекаются от них, но тексты позитивного права не всегда достаточно четко их отражают. Множественность источников позитивного права и их коллизионность также затрудняет работу юриста. Простым провозглашением принципа иерархичности системы правовых норм эту задачу решить невозможно, ведь он не позволяет разрешить внутренние противоречия отдельных

[139] Philosophie du Droit. Vol II. p. 158.
[140] Critique de la pensee juridique Moderne. p. 79.

нормативных актов.[141] Вновь встает вопрос о соотношении функций и полномочий законодателя и судьи, неразрешимый в узких рамках кельзеновского нормативизма. Под напором этих проблем нормативизм вынужден был расширить понятие позитивного закона, но тем самым он подточил свою теоретическую основу. Не ясно, как следует поступать в случаях с отношениями, не урегулированными позитивным правом. Теоретически, нормативизм вроде бы разрешает проблему пробелов. Если право защищает свободу субъекта, то именно к принципу свободы следует вернуться при молчании закона – вот общая формула разрешения ситуации. Вилле, однако, справедливо замечает, что подобное решение не устраняет правового конфликта, если последний имеет место. Прав он и в признании необходимости рассматривать в качестве пробелов в праве не только отсутствие соответствующих норм, но и те случаи, когда предназначенные для регулирования определенных отношений нормы неэффективны. Не все просто и со второй операцией юриста - силлогистическим подведением общей нормы к частному случаю. Здесь встает проблема интерпретации. Но интерпретация всегда субъективна, так как юридический лексикон в отличие от научного не дает возможности однозначного толкования. Это приводит к тому, что интерпретационная деятельность судьи фактически в такой же мере создает право, как и деятельность законодателя, что, конечно, не вполне согласуется с основными положениями нормативизма.

Социологические школы права (к которым Вилле относит и марксистскую концепцию) имея ряд существенных разногласий с концепциями юридического позитивизма, также как и последние примыкают к традиции Торы.

Маркс отказывался от звания философа права, но он, как считал Вилле, заслуживал его в гораздо большей степени, нежели многие из мыслителей, рассуждавших о праве, благодаря своему юридическому образованию и опыту. Он отказывался видеть в праве обособленную науку, ставя его в зависимость от экономики и классового господства. Несмотря на эту изначальную узость подхода, как полагает Вилле, марксизм занимает неоспоримо важное место в теории права. Он возродил функциональный подход к праву и концептуально воссоединил фрагментированную его предшественниками науку. Марксу была *«более противна буржуазная философия права, чем само буржуазное право»*.[142] Первая скрывает за туманом рациональных идеалов истинное положение вещей, которое как раз более всего и интересует Маркса. В его теории упадок юридического индивидуализма наблюдается так же четко, как это в свое время имело место в философии права Гегеля. Предполагается, что в любом классово организованном обществе право находится не на службе индивида, а

[141] Здесь Вилле имеет в виду не противоречия норм, объединяемых в одном акте, а более глубокие и неустранимые противоречия идеологического характера современного законодательства, которое, по его мнению, претендует на то, чтобы базироваться и на рационалистских основаниях Естественного права, и на волюнтаристских основаниях Общественного договора.

[142] См. “Панорама современных философско-правовых учений Запада и марксистских учений социалистического мира”. Critique de la pensee juridique Moderne. p. 161-186.

на службе господствующего класса, и, таким образом, необходимо служит политике, выступая в качестве одного из орудий осуществления экономического господства.[143] Парадокс этого учения состоял в сочетании стремления к реализму и в одновременном идеализме мессианистского учения о роли пролетариата и утопичности эгалитаристского идеала. В бесклассовом обществе, согласно Марксу, право должно отмереть, но в революционной практике оно должно еще послужить прогрессу человечества, выступая в качестве орудия борьбы с системой эксплуатации. Таким образом, как и у Гегеля, и у Конта, в марксизме право ставится в подчинение высшим коллективным моральным устремлениям.

По существу, в этом же русле находятся и прочие социологические школы. Лучшим примером юридической социологии сам Вилле считает доктрину ***Эрлиха***, созданную в эпоху кризиса эффективности австрийского законодательства. Предлагается новая теория источников права. В основу права кладется совокупность социальных норм, регулирующих поведение, задача поиска которых возлагается не столько на юриспруденцию, сколько на социологию. Право добавляет к этой обнаруженной социологами совокупности норм нормы особого рода - решения, призванные на помощь судьям и действующие в рамках судебного процесса. Из этого следует, что онтологическим источником права является не мысль законодателя, а социальный факт. Вообще, все развитие современной юридической социологии происходило под знаменем противопоставления легализму кельзеновского толка коллективистских учений о социальных нормах. Так Дюркгейм утверждал превосходство коллективного сознания группы над письменными распоряжениями законодателя. Гурвич предполагал наличие у каждой социальной группы своего собственного скрытого права.

Вилле, однако, считает, что философская основа юридического позитивизма и юридической социологии остается общей, и расхождения не носят базового характера. Нормативистскому приоритету позитивных государственных законов противопоставляется в социологии не что иное, как позитивный же социальный факт. Если для Эрлиха в качестве такого факта выступали нормы, то в современных вариантах правовой социологии это может быть дискурс, отношение, поведение, переживание и пр. В некотором роде - триумф юридической социологии, по меткому выражению Вилле есть лишь *«сокрушение юридического позитивизма научным позитивизмом»*[144]. Чрезмерный успех юридической социологии представляется ему явлением негативным. Кажется, что социология приходит на помощь правоведению, но на самом деле она - “служанка-госпожа”. Происходит захват социологией правоведения, которому отныне остаются лишь вспомогательные функции. Право лишается своих собственных специфических источников. Ему предлагается довольствоваться только социальным фактом. Вместе с тем, социология претендует на роль для правоведения, с которой она объективно не в силах справиться. Смешивать право с сово-

[143] Не разделяя марксистских взглядов в целом, Вилле, тем не менее, считает необходимым заметить, что “классовый характер права неоспорим”. (Philosophie du Droit. Vol I. p. 161).

[144] Там же. Vol II. p. 109.

купностью социальных фактов одновременно означает и - лишать право его специфической общественной функции и - насильственно искажать содержание этих самых позитивных фактов. Философской основой социологии является научный позитивизм, отрицающий ценностный подход. Однако право само по себе является социальной ценностью и правовая система не может быть нейтральной. Факт, на котором основывается социология - явление по определению состоявшееся, относящееся к прошлому, в то время как право всегда нацелено в будущее. Негативные последствия воздействия социологии на право огромны по своему значению. Под ее влиянием правоведение капитулирует в решении проблемы источников права (в философском смысле этого термина). Возникает неоправданный эклектизм исследовательской литературы. При всем кажущемся разнообразии подходов к праву, на самом деле есть лишь крайне небольшое число идей подающихся каждый раз “под разным соусом” и в различном сочетании.

С утверждением юридического позитивизма и юридической социологии Вилле связывает логическое завершение процесса накопления различного рода ошибок и искажений правопонимания, благодаря которым современная правовая мысль оказалась в глубоком кризисе.

* * *

В завершение рассмотрения той концепции исторического развития правопонимания, которую предложил Вилле, необходимо все же вкратце изложить суть нашего к ней отношения. Не подлежит сомнению, что перед нами достаточно четкая концепция. Тезис о борьбе двух направлений - Торы и Дикайон - в истории европейской правовой мысли как об основе ее развития, является достаточно добротной гипотезой, действительно позволяющей объяснить ряд феноменов, интересующих философов, теоретиков и историков права. Концепция Вилле позволяет объяснить глубинные причины становления различных направлений в философии права, глубже понять механизм рецепции Римского права европейской цивилизацией, выявить философские основания трактовки различных правовых институтов на разных этапах развития европейского права.

Негативный аспект рассматриваемой доктрины проявляется главным образом в доведении до догматической крайности ряда ее положений. Если бы Вилле рассматривал обе традиции правопонимания в качестве равноправных, допуская возможность их взаимопроникновения и, в конечном счете - синтеза, мы бы могли с полным основанием сказать, что перед нами ярчайший образец диалектической концепции истории правовой мысли. Однако Вилле, как мы видим, предпочитает отстаивать право на существование лишь традиции Дикайон. Односторонность такового подхода осложняется неприкрытым европоцентризмом философии права Вилле. Для него не существуют ни правовая мысль Азии, ни достижения русских философов права. Советская правовая теория ин-

тересует лишь постольку, поскольку она совпадает с направлениями исходящими с Запада.

Другой аспект этой односторонности заключается в чрезмерно узком понимании социального назначения права, которое сводится у Вилле исключительно к разделу внешних благ между лицами. Оба негативных аспекта философии Вилле, как нам представляется, взаимно обусловливают существование друг друга и могут быть устранены лишь вместе. Однобокость виллеанской диалектики могла бы быть преодолена только в том случае, если бы он осознавал, что раздел внешних благ есть лишь одно из практических проявлений регулятивной функции права вообще. Повышенный интерес именно к этому проявлению у античных авторов, столь пленяющий воображение Вилле, обусловлен особым экономическим положением субъектов права в античном мире, а также - особенностями греческой и римской психологии. В античном полисе, в отличие от государств азиатского типа производства, гражданин экономически свободен и гораздо ярче проявляет себя как собственник. Он сам берет на себя функцию организации общественного производства, вступая, поэтому в сферу сложнейших отношений с себе подобными по поводу материальных и нематериальных благ. Это общество не приемлет ни тоталитарной религии, ни тоталитарной морали, а стало быть - оно не нуждается в праве, поддерживающем главным образом религиозные и моральные устои (т.е. – в «воспитательном» праве, представляющем собой универсальную регулятивную систему). В таком обществе право для реализации своей регулятивной функции действительно может ограничиться регламентацией разделения внешних благ между субъектами. На Востоке же, породившем традицию Торы, само государство берет на себя организацию производства, поддерживая экономику, как правило, экстенсивным путем – через максимальное задействование физических сил значительных масс населения. Распределение благ проводится бюрократически-административными методами, и потому необходимость в его институциональном регулировании на уровне отдельных хозяйствующих субъектов отсутствует. Напротив, для поддержания социальной стабильности общества, организованного таким образом, необходимо задействовать механизмы подчинения, связанные с моралью и религией. Потому вся регулятивная сила права направляется на поддержание моральных и религиозных устоев в обществе. Иными словами, мы можем говорить о двух глобальных содержательных типах права. Оба эти типа совершенно равноправны и только экономическая ситуация и национально-психологические особенности, но никак не доктринальные обоснования предпочтительности, могут лежать в основе выбора того или иного типа тем или иным обществом в конкретно-историческую эпоху. Различие между традицией Торы и традицией Дикайон обусловлено причинами цивилизационного порядка, и признать правильной лишь одну из них, это значит признать право на существование и уважение лишь одного типа цивилизации - по существу, у Вилле - цивилизации западной.

Трактовка Мишелем Вилле содержания правовых доктрин Модерна является несколько односторонней. Если учение Аристотеля излагается им очень подробно, с учетом всех тонкостей и нюансов, то изложение концепций, относимых им к традиции Торы очень кратко и схематично. По существу они излагаются лишь в той мере, в какой это позволяет Вилле констатировать их отход от аристотелевско-римской традиции. Этой цели посвящен как отбор авторов, так и выбор их отдельных работ, на основании содержания которых делаются заключения. Мы не склонны вслед за Ж.-П. Бо упрекать Вилле в отсутствии внимания к каким-либо малоизвестным юридическим манускриптам XII в. Изъян его исторического анализа состоит в игнорировании довольно важных и заметных явлений в истории правовой мысли. Критикуя юснатурализм Модерна, он в должной мере не рассматривает концепцию одного из его крупнейших авторитетов - Гуго Гроция. Практически “вынесены за скобки” концепции французских просветителей. Последние удостаиваются внимания лишь как небольшой переходный этап от правопонимания английского рационализма к правопониманию Деклараций прав человека и гражданина. Единственное, чем здесь ограничивается Вилле - это предельно краткая и не имеющая большого значения в общем контексте исторического обзора характеристика правовых идей Руссо. Вклад немецкой классической философии в историю правовой мысли оценивается лишь на основе работ Канта и Гегеля, причем берутся во внимание по преимуществу лишь наиболее крупные работы (вроде “Философии права” и “Метафизических оснований учения о праве”), без учета содержания прочих работ, зачастую более близких к правовой конкретике.

В своей концепции Вилле не смог преодолеть и свойственного современным историкам правовой мысли вообще крайнего схематизма в изображении философско- и теоретико-правовых учений нашего века, с присущими им многоаспектностью и разнообразием подходов правовой проблематике.

Все сказанное выше должно привести нас к выводу о том, что при всей несомненной теоретической ценности, виллеанская концепция истории философии права нуждается в целом ряде уточнений.

(продолжение следует)

На соседних полях

ОТ РЕДАКЦИИ

Новая рубрика будет освещать сюжеты, которые совпадают с темами нашего журнала, но они разрабатываются в других сферах духовного творчества. Двадцать лет назад я показал, что тормозом социально-политических реформ в стране являются не только аппарат КПСС, но и военные и карательно-репрессивные ведомства (так называемые «правоохранительные органы»), а также их пенсионеры (так называемые «ветераны»), публицисты и идеологи[1]. Эта констатация целиком подтвердилась, многократно описана в литературе, в том числе в нашем журнале[2]. Предпосылки и следствия этого процесса многообразны. Они изучаются во всем блоке гуманитарных наук и изображаются в искусстве.

Для иллюстрации представляю читателю венок сонетов тверского писателя, журналиста и краеведа Валентина Штубова[3]. Мы с ним вместе служили в Советской армии. Правда, мой армейский опыт не полностью совпадает с опытом Валентина Штубова (я был штабной крысой). В любом случае это важная часть жизни нашего поколения рекрутов и солдат, рожденных во время и сразу после советско-германской войны. Лбы нам забрили в 1963 году. А сегодня нам уже за шестьдесят… По крайней мере, наш ровесник - питерский поэт В.Максимов - еще в 1960-е годы писал:

Не верю я в военных по призванью, -
Я верю только в призванных солдат.

Стоит ли напоминать библейскую мудрость о «званных» и «призванных»?.. Пусть читатели сами судят об актуальности нашего опыта для нынешнего и следующих поколений отечественных воинов и офицеров.

В.П. Макаренко

---

[1] См.: Макаренко В.П. Революция и власть: размышления политолога. Ростов-на-Дону, Ростиздат, 1990, с.188-206

[2] См.: Гудков Л.Д. Массовая идентичность и институциональное насилие // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2009, № 2, с.122-159 http://politconcept.sfedu.ru/2009.2/contents.html

[3] См. подробнее: http://ru.wikipedia.org/wiki/Штубов,_Валентин_Николаевич

АРМИЯ
Венок сонетов

Валентин Штубов

1

Да! Армия была для нас дурдом.
А ведь мечталось вроде бы о «школе».
Но знанья здесь мы постигали лбом,
Разбитым до сердечной долгой боли.

Задуматься об этом мне легко ли? –
Как будто поутру проспать подъём.
…Встаём! Ну, слава Богу, что встаём!
А то во сне привиделось та-акое… –

Как будто нас, подбодрив матерком,
В такую гонят лютую атаку,
В какой пыряют вовсе не штыком,
Но – словом! Нагоняя миру мрака,
И превращая жизнь в один содом.
И, право слово, дать хотелось тягу.

2

И, право слово, дать хотелось тягу:
Вот лейтенант, комвзвода Соловей
Глумится над тетрадкою моей.
И чтобы врезать – нет руке размаха.

А вот службист с фамилией Бабий
Швыряет в грязь мои тетрадки, книги:
Они ему в лицо – такие фиги!
На заповедь плюёт он «Не убий».

Мы для него – конечно, только пыль,
Прижатая блестящим сапогом.
…Но мы-то б ы л ь, дурак! Ты слышишь, б ы л ь!

Ты нам уже не скажешь: «Марш бегом!».

Ты и другие стали глупым сном.
…Ну вот – мы по Владимиру идём.

3

Ну вот – мы по Владимиру идём.
Под Золотые входим мы ворота.
Нет «золота». И «меди» мало что-то…
Есть жесть команд «Направо!» и «Кругом!».

В Ленкомнате нас учит особист –
Что на погонах крылышки – для виду.
«Ракетчики вы! – со значеньем выдал! –
Но никому не издавайте писк
О том ни в письмах, да! И даже в м ы с л я х.
Иначе знайте: это – трибунал!».

…И нам письмо бедняги прочитал,
Какой сболтнул, стал от тюрьмы зависим.
Нагнал, короче, нам такого страху!
Мы ёжились, таращились, тряслись
И – одевали «крылышками» мысль:
«Мы – лёгкая команда лишь! – клялись. –
Хвосты заносим самолётам лишь,
Юнцы, ещё не вжатые в присягу».

4

Юнцы, ещё не вжатые в присягу,
Мы знали больше «нужного», да-да…
И за других краснели от стыда,
Кто просвещал озябшего салагу:

– Ты понимаешь? Мы б должны служить
В Даурии. Да выдал гад Пеньковский
Значенье и расположенье войска!
И стали нас под Орск перевозить.

…И вот мы гордо приняли присягу.
И замерли под знаменем полка.

И мысль была значеньем высока:
«Америке уж мы нагоним страху!
Она о нас не ведает пока…».
Нам говорят уже: «Прибавьте шагу!».

5

Нам говорят уже: «Прибавьте шагу!»
И каждый уж «обжил» противогаз.
Стал кем-то вроде ящера сейчас.
…И вот бежим мы, якобы, в атаку.

Со стороны когда глядеть на нас –
Как будто *ископаемые* мчатся!
Но стали вновь людьми… Какое счастье!
В казарме столько точим новых ляс!

Про девочек, конечно, про погоду.
Приёмничек любой из нас припас:
Ведь что там, за бугром, узнать охота.
…Но вдруг поотобрали… вот те раз!

«Устав читайте. Вот ваш звук. Ваш том.
Раздумия оставив на потом».

6

Раздумия оставив на потом,
Мы продолжали всё ж «крамольно» думать:
«Ведь надо же Америке так дунуть
В казармы наши знобким ветерком:

Ведь прохрипел приёмничек о том:
Мол, с новыми сигарами под Орском
Мы поздравляем «русское геройство».
…Аж сам комдив издал звериный стон!

И особист растерянным котом
Следить на время бросил за «мышами»:
Америка, ну как бестселлер-том,
Листает нашу жизнь и наше знамя!
Да это с неба ясного ведь гром!

…И вот по Оренбуржью мы идём.

7

И вот по Оренбуржью мы идём.
На боевое стали мы дежурство.
И особист – очнулся… Стало жутко.
И выступил опять перед полком:

– А ну-ка, рядовой Серебряков!
Из строя на три шага выйти, выйти!
…Ишь, как в словах вы поднабрались прыти!
Ч т о накатал домой средь пустяков?..

…Мол, Машка, загуляла ты с другим.
А если б ты узнала, б...ь, бедняга,
Г д е я служу! Качну перстом одним –
Твоя деревня станет дымом-прахом!

Мы, хохотнув, опять скорбим-грустим.
Ракетами на мир нагоним страху.

8

Ракетами на мир нагоним страху!
Когда они гремят – земля дрожит!
Мурашками покрыться мир спешит!
Мы доконаем ведь его, беднягу!

…Ведь замполит в Ленкомнате сказал,
Что «миру—мир» – то лишь для дипломатов.
А мы не зря наращиваем атом –
Чтоб враг когтями первым нас взял.

…Вот оно как! И Чехов ведь сказал:
– Не зря ружьё на стенке! Не запрятано!
Ведь выстрелит!.. Он тоже это знал.
Всё определено и предугадано!
И классика толкнул на скандал!
«Идут полки рожденья сорок пятого»!

9

«Идут полки рожденья сорок пятого»[1] –
Слегка поошалевшие юнцы.
Про нас горланят песню… Молодцы!
А мы идём средь зноя распроклятого.

Он выжигает что в душе запрятано –
Всю нежность, всю любовь и даже честь.
Не успеваем духа перевесть.
Идут куда-то «меченые атомы».

…Что «за бугром»? Вьетнам в огне-пыли.
В Китае – потасовка… Не дремли.
В Израиле вон тоже мина спрятана.
Рябит спина у матушки-Земли!
«Идут полки рожденья сорок пятого…».

Мы до Афганистана не дошли.

10

Мы до Афганистана не дошли,
Но – кто до трибунала иль психушки.
Сейчас об этом вроде вспомнить скучно.
Но сны опять в огне, в дыму, в пыли.

…Ведь рядом с нами рухнул Комаров!
Он, перед тем как рухнуть, матерился,
Что чуть ли он *не в той* стране родился!
Ей лакомство его, выходит, кровь.

«Подстроено», – вдруг слухи побрели.
И прах его слезой обжёг Гагарин.
…Ах, этого мы видеть не могли!
Но и до нас донёсся запах гари.

Нам утереться, нет, не предлагали.
На стрельбищах нам говорили: «Пли!».

[1] Это – строчка из песни, которую во время нашей службы пел Марк Бернес – популярный певец, вкладывающий дущещипательность в любые бочки советской рутины, включая армейскую (прим.ред.).

11

На стрельбищах нам говорили: «Пли!»
Куда? В макет-подобье человека.
…Ах, я такой был в этом неумеха!
Ж и в ы м я представлял его вдали.

«Стреляй как я!» – солдат с плаката звал –
Румяненький такой, такой «обкатанный»!
А он в ж и в о г о иль в макет стрелял?...

Нам всюду жить под пулями-снарядами,
Выходит, надо?.. Я ж д р у г о е знал:
Не то, к чему Толстой нас призывал –
«Непротивленье злу»… Нет! Биться с гадами,
Конечно, надо! Это не скандал.
И мы стреляли, «меченые атомы».

12

И мы стреляли, «меченые атомы»,
Воображая: лупим в подлость, в зло.
И – в смерть саму! Вот как нам повезло!
Нам отвечают гулкими раскатами.

У них оружье нашим не чета
Ни автоматам и ни карабинам.
Вот уж они в ответ не лупят мимо!
Но мы сжимаем губы: «Ни черта!
Прорвёмся, обязательно прорвёмся!
Пойдём на дембель, целыми вернёмся!
Как говорится, это кровь из носу!
В бою за жизнь победа высока!».

Нас не убили, не лишили роста
Три года – автоматных три хлопка.

13

Три года – автоматных три хлопка.

Неужто были так они поспешны?..
Сейчас они и глупы, и потешны,
Как три хлопка в руке у дурака.

Америка хваталась за бока!
Она всю нашу «мощь» пересчитала.
И – новые нацеливала жала.
Три на одно! Но это лишь пока…

Какая «тайна»?.. Да она пропала,
Едва родившись, словно «сын полка».
И как-то сразу «выкидышем» стала!

Жила уже в подобье матерка.

Три года – автоматных три хлопка.
Но память вот о них не коротка.

14

Но память вот о них не коротка –
Об оренбургских смерчах и буранах.
И о степных засушенных тюльпанах.
К ним привела венка сего строка.

Ещё, конечно, и о самоволках.
Ходили с Лёшей Гошмером мы в них.
Стихи читали с толком и без толку.
Девчонки нас считали за родных.

Да! Жизнь вели тогда вразрез армейской.
Настаивали всё же на своём.
Ловили нас, наказывали с треском!
Нам было это даже интересно –
В дурацком круге быть прямым углом.
Да! Армия была для нас дурдом.

15

МАГИСТРАЛЬ

Да! Армия была для нас дурдом.

И, право слово, дать хотелось тягу.
Ну вот – мы по Владимиру идём,
Юнцы, ещё не вжатые в присягу.

Нам говорят уже: «Прибавьте шагу,
Раздумия оставив на потом».

И вот – по Оренбуржью мы идём.
Ракетами на мир нагоним страху.
«Идут полки рожденья сорок пятого»…
Мы до Афганистана не дошли.
На стрельбищах нам говорили: «Пли!»
И мы стреляли, «меченые атомы».

Три года – автоматных три хлопка.
Но память вот о них не коротка.

28 июня – 2 июля 2002

Научная жизнь

СОВРЕМЕННОСТЬ: ДИЛЕММЫ И ПАРАДОКСЫ

А.И. Субботин
Педагогический институт
Южного федерального университета

17 июля 2009 г. в Донской государственной публичной библиотеке состоялся первый тур летней школы «Политическая концептология: теоретико-методологические основания и институционально-символические аспекты социальных наук». Круглый стол был посвящен теме, указанной в заглавии. На этот раз Центр политической концептологии ЮФУ пригласил Бориса Гурьевича Капустина – известного политического философа, автора книги «Современность как предмет политической теории», главного научного сотрудника Института философии РАН и одновременно – профессора Йельского университета США. Я опишу свои впечатления от данной научной импрезы.

1. Организация, режим обсуждения.

Как обычно бывает на таких мероприятиях, большинство только выслушало презентации новых книг и доклад Б.Г. Капустина (видимо, чтобы хоть так восполнить незнакомство с его книгой "Современность как предмет политической теории". М., 1998 г.), и ушло после перерыва, отказавшись от чая, кофе и печенья. Остались только аспиранты и люди, пожелавшие поучаствовать в «дискуссии» и высказать свое мнение по теме. Собственно дискуссии не было: никто никому не возражал и никто ни с кем не спорил; В.П. Макаренко, как опытный ведущий, сразу пресекал любой намек на возможное обострение ситуации обсуждения, хотя, скорее всего, зря, т.к. только в режиме спора происходит коллективное углубление содержания. В результате это углубление шло только по плану докладчика, который умело использовал для этого реплики участников.

2. Тема (доклад, содоклад), вопросы, комментарии.

Актуальность темы не вызвала сомнений. Доклад гостя был построен логично и содержательно: тщательная выверенность тезисов избавила изложение от излишних подробностей. Вопросы, заданные докладчику, носили, в основном, уточняющий характер; комментарии, если и имели критический характер, то настолько завуалированный, что вряд ли гость его уловил. В целом, доклад был принят весьма одобрительно, как интересный и будящий мысль. В этом плане столь же содержательный содоклад В.П. Макаренко имел не полемический, а дополняющий характер, и не вызвал никаких вопросов и комментариев.

3. Доклад и докладчик.

а) Характер и стиль. Борис Гурьевич Капустин сразу завоевал доверие и интерес аудитории своей непосредственностью и живым интересом к присутствующим; сразу стало понятно, что его глубоко волнуют обсуждаемые вопросы: он это не скрывал, а наоборот, подчеркивал. Так, он просил присутствующих не относиться предвзято к его концепции и призывал к пониманию (приведя в пример отзывы на его книгу, из которых в одних его называли махровым марксистом, а в других – отъявленным ницшеанцем). В ходе дискуссии он подробнейшим образом отвечал на задаваемые вопросы, и было заметно, что он отлично владеет всеми нюансами темы, очевидно, давно им продумываемыми. Также он внимательно вслушивался в комментарии, очевидно, надеясь извлечь из них что-нибудь полезное для себя.

б) Мировоззрение. Все это свидетельствовало о том, что концепция гостя не есть чисто теоретическое построение, а опирается на его собственное мировоззрение, сложившееся в эпоху перестройки, со всеми ее проблемами – решаемыми и нерешаемыми, понятными и непонятными, т.е. для его мировоззрения свойственна «интериоризация культурно-исто-рических конфликтов».

в) Методология. Поэтому в центре обсуждения оказалось понятие «современность», рассматриваемое в онтологическом контексте, как некая субстанция политической деятельности, осознаваемой, осуществляемой и ощущаемой «здесь и теперь» (такой взгляд сразу напоминает идею Э.В. Ильенкова об общественной деятельности как субстанции, и по-видимому, является ее распространением с социально-деятельностного на индивидуально-деятельностный контекст). Понятие «современность», очевидно, выражает здесь самосознание действующего индивида в конкретной политической ситуации, который имеет желания, намерения и цели, действует для их реализации, сообразуясь с теми или иными своими предметными представлениями, с помощью которых он оценивает ситуацию, и сталкивается

как с фактами достижения своих целей, так и с неудачами; в последнем случае он *либо* начинает искать причины неудач и, находя их в неправильных предметных представлениях, совершенствует эти представления, после чего начинает действовать сначала (и это вполне марксистский подход), *либо*, уверившись в абсолютной невозможности (для себя и/или вообще) преодолеть неудачи (из-за неспособности переделывать собственные предметные представления), начинает переживать по этому поводу, описывать и анализировать эти переживания, делать из них, в духе скептицизма, принципиально негативные выводы для любого осмысляемого контекста (и это, конечно, целиком ницшеанский подход).

Получается, что авторы упомянутых гостем отзывов были правы в своей противоречивости; сам гость демонстрировал эту двойственность в ходе обсуждения, рассуждая то как марксист, то как ницшеанец. У участников это вызвало легкое удивление, но чего не встретишь в наше время на Руси. Лично у меня *возник* вопрос, как эти два взгляда умещаются в одной конкретной голове, поскольку обычно они присутствуют только в разных головах. Но ответ не так уж труден для философа: исходя из кантовой схемы самосознания, критерий осознаваемости и методологической рефлексивности любой проблемы задается границей ее разрешимости и неразрешимости; используемый как механизм самооценки, этот критерий работает в *марксистском* смысле, когда некая проблема признается, в принципе, разрешимой; он же начинает работать в *ницшеанском* смысле, когда проблема по каким-то причинам (объективным и/или субъективным) признается неразрешимой.

Ясно, что в наше время интеллектуального хаоса переход от одной из этих двух оценок проблемы к другой не поддается рациональному контролю. Более того, невозможно рационально оценить, каких же проблем сейчас больше в нашей жизни – разрешимых или неразрешимых, так что стабильность индивидуального сознания зависит только от воли личности (как учат Шопенгауер, Ницше и экзистенциалисты).

г) Концептуальный аппарат. Доклад начался с противопоставления эпистемического контекста, задаваемого четкими категориальными структурами, и того, что докладчик назвал «аристотелевским фронезисом» (справку см. ниже): это феномен, характеризующий положение действую-щего субъекта в динамической ситуации, со всей ее неопределенностью, многозначностью и проблематичностью для субъекта. Ясно, что речь идет о другой онтологии, нежели эпистемическая, в рамках которой и задается содержание понятия современности. (На мой взгляд, это был самый ценный момент доклада, свидетельствующий о высоком уровне концептуально-онтологического мышления докладчика.)

Далее выяснилось, что содержательная специфика фронезиса задается именно факторами, порождающими проблемы, и докладчик перешел к понятиям *воля и страсть*, *свобода и интерес*, соотношение и взаимосвязь

которых должно было раскрыть понятие современности. Действительно, если воля есть исходный и врожденный двигатель человеческой деятельности, то в страсть она переходит, когда человек сталкивается с препятствиями, и тем более резко, чем неожиданнее это происходит. И тогда человек переходит в положение свободы – когда он, фактически, уже не связан с определенными нормативами, а должен сам определить, где он оказался, что происходит и что ему делать. Это положение проблемное, и если человек не ответит себе на эти вопросы, он «зависает» в пространстве рефлексии, не имея возможности опереться на предметные формы деятельности. Это значит, что целеполагание не дает человеку гарантии овладения ситуацией, в отличие от «предметополагания», которое только и позволяет ему ориентироваться в реальной ситуации. Но проблемой самосознания для человека становится вопрос: являются ли «предметы» (т.е. заранее заданные, культурные опредмеченные нормы ориентирования в ситуациях) полезными или же это, наоборот, препятствия, ограничивающие его свободу?

В этом свете свобода для человека – это не состояние, а, скорее, процесс – освобождения от тех или иных факторов, расцениваемых, как препятствия. Но устранять эти препятствия можно по-разному, например, не выходя за пределы собственной воли, что означает уничтожение любой другой воли. Выход же за эти пределы означает учет другой воли как естественного фактора, а мотив, включающий это, приобретает статус интереса (интерес не бывает только индивидуальным). Получается, что для человека самое главное – познать свой интерес: если он сумеет это сделать (хотя бы и в марксистской парадигме), он найдет свое место в мире; если же нет – то станет ницшеанцем. Но поскольку у всякого человека это то получается, то нет, в той или иной ситуации, то он вынужден прыгать от отчаяния к надежде и обратно (что опять возвращает нас к скептикам, Екклезиасту и экзистенциалистам). Именно таково положение политика: человека, разрывающегося между требованиями аморальной и бесчеловечной политической целесообразности и собственной человеческой совестью.

4. Эпизоды обсуждения.

Был задан вопрос о различии понимания современности в марксизме (где оно, конечно, должно присутствовать) и изложенным в докладе. Ответ был дан в том смысле, что марксистское понятие современности оторвано от ситуативной данности конкретному индивиду, что оно есть взгляд на подлинную современность с позиции, смещенной в далекое – коммунистическое – будущее, так что в результате получается весьма упрощенная, смазанная и урезанная картина современности, не включающая индивидуальное содержание. В марксизме современность не есть самоцель, а

есть только средство достижения будущего, – фактор реализации проекта. Это интересное категориальное построение.

Проф Г.В. Драч высказал уверенность в том, что древнегреческая философия никогда не потеряет своего значения в деле анализа философских проблем, которые возникают всегда, с каждым новым поколением; нужно только, чтобы это новое поколение отнеслось к этим проблемам не как к поводу для личного самоутверждения, а как к имеющим социокультурный, т.е. всеобщий, смысл, и тем послужило человечеству.

Доц. А.И. Субботин, желая сделать «онтологическое резюме» выступления проф. Г.В. Драча, отметил важность термина *фронезис*: фактически, сейчас все мы оказались в ситуации фронезиса, даже здесь, на этом обсуждении, мы все находимся в этой ситуации. Возникает естественный вопрос: что должен представлять из себя *субъект* фронезиса? Теоретический анализ этого вопроса еще предстоит, но наглядный образ такого субъекта демонстрирует не кто иной, как наш уважаемый докладчик («Вот он!», – как сказал гоголевский Вий, обнаружив, наконец, философа Хому Брута), за что мы все должны быть ему очень благодарны.

Проф. В.А. Шкуратов предложил новый термин – «видеодигма» – для обозначения ментальной специфики решения жизненных проблем современной молодежью. Это хороший пример применения философского мышления для характеристики современности.

Из выступления аспиранта В.Козера следовало, что в полемике по вопросу действительного содержания понятия капитализма мало смысла: каждый вкладывает в него свое понимание, и это никак не сказывается на экономической действительности. В экономике происходят системные преобразования, которые, конечно, завершатся ее стабильным состоянием, независимо от политических игр и распрей. Это прозвучало, как сомнение в актуальности обсуждения предложенных докладчиком контекстов и, тем более, принятия их так близко к сердцу, как это имело место у докладчика. У аудитории это выступление породило уверенность в блестящем будущем, каковое будет обеспечено передовой философской молодежью, смело стряхивающей со своих одежд прах и пепел прошлых догм и традиций на головы стариков, где им самое место.

Проф. Т.Г. Лешкевич поинтересовалась, почему в докладе не были отражены политические концепции постмодернизма и само это направление в целом. Докладчик признал этот недостаток и ответил в том смысле, что такие концепции, если они вообще есть, не могут быть рациональными, а что такое иррациональная политика – пока неизвестно (если не считать политикой маргинальность и амбивалентность).

Вопросы аспирантов уточняющего характера, а также выступления участников с собственным видением темы здесь не рассматриваются.

5. Идеи, порожденные докладом.

1) Если проблематичность, т.е. *неравновесность*, есть главная характеристика фронезиса, то главной задачей самосознания становится восстановление равновесия (что выводит нас прямо в восточную философскую традицию и заодно – в синергетику), а деятельность человека (как и вообще все процессы в природе) предстает в виде циклической схемы *нарушения/восстановления* исходного равновесия. Именно она, хотя и сильно формализованная, лежит в основании гегелевской системы.

2) Определение: современность – это совокупность (позитивных и негативных) обстоятельств в ситуации человеческой деятельности. Это определение предметное, и к нему можно относиться, как к предмету (в том смысле, что можно не ограничиваться переживаниями).

3) Версия: свобода – это состояние нарушенной привычки. До революции на Руси хорошо различали волю и свободу, а вот после – это различие смазалось: воля была сведена к свободе.

4) Версия категориальных связок: «свобода для» – это воля; «свобода от» – это протест (или освобождение). Налицо эволюция культуры от «дисциплинирования протеста» (юриспруденция) к «фабрикации воли» (информационное манипулирование).

5) Классический эволюционный цикл генезиса политического сознания: воля → ограничение воли → протест → отмена ограничения (свобода) → воля' (экспансия воли). В этом цикле точка замыкания – воля. В современном политическом сознании эта точка смещена на протест; в этом суть политтехнологий (см., например, Р. Шайхутдинов. Охота на власть. – Есть в интернете).

6) Термин «фронезис» («практическая рассудительность», «мудрость», а в современной терминологии – «обеспечение реализуемости проектов») уже широко ходит в интернете, и именно в связи с политическим контекстом. Исходным текстом является: Аристотель. Никомахова этика/Соч. в 4-х т. Т. 4. М., 1983, с. 175-181. Этот термин сопоставляется с терминами «ноэзис», «поэзис», «праксис» и др. и используется современными авторами для выражения специфики политической действительности. Но само понятие фронезиса до сих пор не подвергалось анализу; по сути, его используют как метафору. Не исследовано также понятие «ситуация фронезиса» как онтологически исходное для понятия «современность» у докладчика, равно и как понятие *субъект фронезиса*, явно име-ющее важное значение для современной политологии. Что касается последнего, то очевидно, что само это понятие парадоксально: на феноменальном уровне всякий, кто осознает себя в ситуации фронезиса (т.е. тотальной проблематичности), тем самым является ее субъектом, неважно, знает он это или нет; на эпистемическом же уровне таковым может быть только тот, кто решит для себя (и других), что же ему в

этой ситуации делать. Но для последнего надо, по крайней мере, знать, а что вообще *можно* в такой ситуации делать, и что *нужно* в ней делать, т.е. мыслить на уровне самосознания. Как мне показалось, уважаемый докладчик демонстрировал на себе эпистемизацию ситуации фронезиса, и, похоже, кое-что у него получилось.

Выводы. Таким образом, данный круглый стол был проведен на весьма высоком организационном, методологическом и теоретическом уровне и, безусловно, внес большой вклад как в подготовку аспирантов, так и в дело привлечения специалистов-философов к политико-философской проблематике. Нет сомнения, что у всех присутствовавших была блестящая возможность, на примере Б.Г. Капустина, приобщиться к пониманию всей сложности (объективной и субъективной) политического сознания, выработка которого на Руси была прервана революцией и которое еще предстоит возрождать и развивать.

ЗАМЕТКИ О V РОССИЙСКОМ ФИЛОСОФСКОМ КОНГРЕССЕ (Новосибирск 25-28 августа 2009 г.)

Н.С. Розов
Институт философии и права
Сибирского отделения РАН,
Новосибирский государственный университет

Регулярные национальные конгрессы – важная часть жизни и деятельности интеллектуальных сообществ, в том числе, философского. Поэтому цели таких мероприятий не эпохальные, а обычные, даже рутинные – поддержание коммуникации, установление новых профессиональных связей, обмен идеями и результатами и т.д.

Как правило, темы таких конгрессов задаются широко и достаточно формально, поскольку есть огромное разнообразие философских направлений и дисциплин, всем нужно дать место. Основная заявленная тема в Новосибирске – взаимосвязь науки, философии и общества. Об этом говорилось на пленарных заседаниях, на некоторых секциях.

Иногда говорят, что большие конгрессы не имеют никакого отношения к истинному творчеству. Такой взгляд поверхностен и неверен. Собственно философские проблемы решаются в процессе философского творчества (за письменным столом, компьютером, во время прогулок, долгих обсуждений с коллегами и учениками, а иногда и во сне). Зато стимулом для такого творчества часто является личное общение, столкновение с непривычными взглядами. См. об этом переведенную мной (совместно с Ю.В.Вертгейм) книгу Рэндалла Коллинза «Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» (Новосибирск, 2002). http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/collins.htm.

Нередко указывают на «низкий КПД» больших философских форумов. Вряд ли можно и нужно вычислять общий КПД как «среднюю температуру по больнице». У кого-то он больше (нашел коллег, познакомился с новыми взглядами на свою проблему, узнал о ранее неизвестных идеях, авторах, книгах и т.д.), у кого-то – меньше (приехал, отчитал, послушал – никого и ничего нового). Этот КПД для каждого участника, таким образом, зависит и от общей организации собрания, и от уровня участников, и от случайности (кто-то смог

приехать, а кто-то нет, встретились с интересными коллегами – не встретились), и от активности, настроя самого человека.

Новосибирский форум — это лишь первый российский конгресс, в котором я участвовал, хотя на международных побывал два раза – в Стамбуле и Сеуле. По отзывам знаю, что участников на прошлом IV Российском философском конгрессе в Москве было больше, а организация – хуже. Я организовывал и вел секцию «Философия истории», участвовал в обсуждении моей статьи «Социологическая отмена философии – вызов, заслуживающий размышления и ответа» (Вопр.филос. 2008, №3 http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/otmena.htm), на общем итоговом заседании рассказал о своем видении «Семи смеШных философских грехов» (собираюсь написать про это).

Попробую сравнить российский конгресс со Всемирными философскими конгрессами. Есть много схожего, прежде всего, по множественности направлений, интересов, огромному числу людей из разных мест и традиций. Дополнительная трудность на международных конгрессах – языковой барьер, причем, для нас он, увы, более высок, чем для философов большинства других стран, где английский преподают и изучают гораздо лучше.

К тому же, на международных философских конгрессах все же не бывает такого большого числа откровенно слабых, невежественных участников, как это бывает у нас. Разумеется, чувствовался провинциализм многих участников. Кстати, первый смеШной философский грех я так и определил – «невежественная доморощенность». Это отнюдь не означает отсутствия грамотных и ярких фигур из провинции, но последние, увы, в меньшинстве.

Основная линия конфликта пролегла между новосибирскими, томскими адептами аналитической философии и большинством приехавших философов (преимущественно из других провинций), больше ориентированных на соборность-духовность. О последнем «направлении» я умолчу, а к аналитической философии у меня отношение двойственное. Всемерно поддерживаю установку на точное словоупотребление, ясность и логичность утверждений, однако, надежды аналитических философов на обнаружение каких-то «истин» относительно онтологии, познания, мышления, культуры, истории и т.д. через анализ языковых выражений, дискурса считаю совершенно безосновательными и безнадежными.

Секцию «Философия истории» я организовал как серию панельных заседаний, для каждого из которых заранее были определены тема, ведущий, диспутант, и 4-5 докладов, причем диспутант в своем заключительном обобщающем выступлении опирался на полные тексты докладов, с которыми предварительно знакомился. Такова давно установившаяся практика на международных научных конференциях, и я твердо убежден, что ее надо распространять и для наших философских конгрессов.

Не все получилось, как было задумано, прежде всего, поскольку некоторые значимые участники не сумели приехать (проф. И.А.Гобозов, проф. Л.Е.Гри-

нин, проф. А.П.Назаретян), однако, в целом, все участники и я в их числе оценили опыт как положительный. Выражаю отдельную благодарность проф. А.И.Липкину за содержательный доклад, участие в качестве диспутанта и за предварительное вывешивание всех тезисов докладов по философии истории на своем сайте: http://civilizations.rsuh.ru/congr/index.htm. Также хочу отметить доклад проф. Т.В.Панфиловой, которая, говоря о такой сложной и рискованной теме, как «смысл истории», продемонстрировала ясную и взвешенную логику, внятную цепочку рассуждений. Порадовали некоторые молодые участники, например, Николай Проценко из Ростова-на-Дону, показавший хорошее знакомство с литературой по своему вопросу, способность мыслить и говорить ясно и четко (вне зависимости от того, насколько я согласен со всеми упомянутыми участниками).

Иногда спрашивают, как отвечают философы на глобальные вызовы современности. Большинство никак не отвечают, поскольку заняты своими вопросами (от изучения античной философии до философии сознания или виртуалистики). Некоторые известные фигуры, такие как Хабермас, пытаются отвечать, но без особого успеха и резонанса. У меня есть статья о глобальном экономическом кризисе и его вероятных последствиях для России (Полис, 2009, №3, http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/glob-crisis2.htm), но здесь я выступил, скорее, не с философских, а с исторических, макросоциологических и политологических позиций.

Следует отметить, что роль философа в современном обществе мизерна, причем, не только у нас, но и в других странах. Последними крупными публичными фигурами были К.Поппер и Ж.-П.Сартр – это 1960-е годы. Сейчас продолжается кризис философии, глубокий спад и творчества и общественной значимости. Об этом довольно подробно сказано в моей книге «Философия и теория истории» (М., 2002) http://www.nsu.ru/filf/rozov/publ/fti/fti7-1.htm.

Не заметно особых усилий власти по привлечению внимания к «публичной философии». «Русский журнал» в Интернете, организованный г-ном Павловским, следует трактовать как попытку откровенного манипулирования сознанием, попытку навязать российской интеллигенции лояльность к власти, в том числе через имитацию «философствования». В этом контексте слово «публичный» заставляет вспомнить иные его коннотации, связанные с обиталищем представительниц древнейшей профессии.

Насколько мне известно, руководство Российского философского общества (РФО) весьма заинтересовано и ответственно участвует в подготовке всех конгрессов. Организация философской жизни в стране не централизована, каждое региональное отделение работает (или не работает), как может — и это совершенно правильно. Если начнутся попытки централизованного управления, например, навязывания взглядов, идеологии философам со стороны каких-либо властных структур или партий, то уважающие себя философы будут сопротивляться, либо просто покинут общество. Крайне важным является издание

«Вестника РФО», причем дело здесь не в качестве публикаций, а в оперативном отражении происходящего в российской философии. А из сосуда, как известно, можно налить только то, что в нем уже есть…

РФО – это обычная весьма обширная и рыхлая профессиональная ассоциация. Внутри небольшого аппарата, разумеется, есть интриги и борьба, а как без этого? То, что аппарат пришел к согласию и навязывает единую позицию остальным членам общества, которые ее тут же принимают – следствие рыхлости и пассивности большинства. То, что выборы безальтернативные и единогласные, я считаю весьма порочной, исконно советской практикой.

Насколько «производителен» философский труд? Философы, как и ученые, политики, религиозные деятели ни в России, ни где-либо еще, не производят товаров (кроме книг, разве что). Если же расширить понимание «производства» на сферу символических продуктов (идей, концепций, методов) и на сферу развития человеческих качеств (широта и критичность мышления подрастающих поколений, способность обсуждать основания действий и суждений), то философы оказываются вполне производящим сообществом. Качество производимых продуктов и их востребованность — отдельные вопросы. В России планка качества результатов философствования драматическим образом упала вместе с отплытием двух рейсов «философского парохода» в 1922 г. и тех пор, несмотря на редкие всплески талантливых одиночек, так и не восстановилась.

О причинах стагнации интеллектуального сообщества в России (как философского, так и социально-гуманитарного), см. статью, в которой я использую идеи Р.Коллинза, «(Не)мыслящая Россия: антитеоретический консенсус как фактор интеллектуальной стагнации» (Прогнозис, 2007, №3. www.nsu.ru/filf/rozov/publ/nonthinking.htm).

НАШИ АВТОРЫ

Бардаков Алексей Иванович – доктор политических наук, профессор, Волгоградская академия государственной службы.

Дерлугьян Георгий Матвеевич – кандидат исторических наук, Ph.D. по социологии (Университет штата Нью-Йорк в Бингамтоне), доцент Северо-Западного университета г. Чикаго (США).

Кравцов Николай Александрович – кандидат юридических наук, доцент, Южный федеральный университет.

Ледяев Валерий Георгиевич – доктор философских наук, Ph.D. (Manchester, Government), профессор кафедры анализа социальных институтов Государственного университета – Высшей школы экономики.

Лейси Дуэйн – доктор философии, доцент кафедры философии Колледжа гуманитарных и социальных наук Университета Объединённых Арабских Эмиратов.

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор, Южный федеральный университет.

Мамедов Октай Юсуфович – заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, Южный федеральный университет.

Николаев Илья Викторович – студент факультета социологии и политологии, Южный федеральный университет.

Никольский Сергей Анатольевич – доктор философских наук, профессор, зам. директора Института философии РАН, зав. сектором философии культуры.

Петров Михаил Александрович – ассистент кафедры политической теории факультета социологии и политологии, Южный федеральный университет.

Розов Николай Сергеевич – доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН, профессор Новосибирского государственного университета.

Савчук Валерий Владимирович — доктор философских наук, профессор философского факультета СпбГУ.

Субботин Александр Ильич — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Педагогического института Южного федерального университета.

Шкуратов Владимир Александрович – доктор философских наук, кандидат психологических наук, профессор, Южный федеральный университет.

Шнирельман Виктор Александрович – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН.

Штубов Валентин Николаевич – поэт, писатель, журналист, Лауреат Всероссийского конкурса "Заповедный" (1996 г.).

Contents

Editor's Word
MAKARENKO V.P. The Soviet Catastrophe: From Asian Plague to the Main Personality Structure……..……5

General Problems of Political Conceptology
LACEY D.J. The Inadvertency Principle: Wittgenstein's *Tractatus* and Political Inadvertency……45
BARDAKOV A.I. The Epistemology of Power and Culture: Conceptological Approach…….55

Russian Power: Descriptions and Reflections
LEDYAEV V.G. Power, Authority, and Domination in Russia: The Main Characteristics and Forms……...61
NIKOLSKY S.A. Russian Self-consciousness among the Realities of 21st Century...95
MAKARENKO V.P. Political Bureaucracy and the Popular Intelligence Service...111
DERLUGYAN G.M. The Sovereign Bureaucracy. Theses to a Study of Ruling Elites.....140

Economic Choice and Political Concepts
MAMEDOV O.Y. Regeneration of Economic System in Russia: Specificity and Tendencies.....157
NIKOLAYEV I.V. The Economic Crisis in Mirror of Public Discourse, or Why the Mirror Pictures Us?.....171

National and Regional Context
SHNIRELMAN V.A. The Aryan or the Turks? A Struggle for Ancestors in the Central Asia……...…192
PETROV M.A. War as Tradition and Traditions of War……..213

Science Community
SAVCHUK V.V. On Resources of Russian Philosophy……224
SHKURATOV V.A. Funeral and Festivities (on Scripto-politics and Scripto-religion of Russian Intelligentsia)……...248

Analytical Jurisprudence
KRAVTZOV N.A. The Michel Villey's Legal philosophy (ch. I & II).....266

In the Neighboring Margins
Editorial Note……339
SHTUBOV V.N. Army. A wreath of Sonnets……..340

Science Reports
SUBBOTIN A.I. The Present: Dilemmas and Paradoxes…….348
ROZOV N.S. Notes at 5th Russian Congress of Philosophy……355

Our Authors.....359
Contents.....361
Notes for contributors.....363

К сведению авторов

Требования к оформлению статей:

1. Статья должна быть объемом не более 1,0 п.л. – 40 тыс. знаков, набрана в формате .doc (Microsoft Word или OpenOffice.org).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.
3а. Допускается использование шрифтов Arial и Courier New для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

4. Сноски обычные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

5. Текст сносок оформляется следующим образом: Фамилия И.О. Название работы. Город, год издания. С. 23; Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. Год. Номер. С. 15. (без дополнительных тире).

7. Статью следует отправлять в электронном виде по адресам: politconcept@mail.ru, konstantinov-ms@mail.ru (просьба дублировать на оба адреса). В теме письма укажите: «Статья для электронного журнала «Политическая концептология».

Рукописи не возвращаются. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о своём решении относительно публикации по запросу автора.